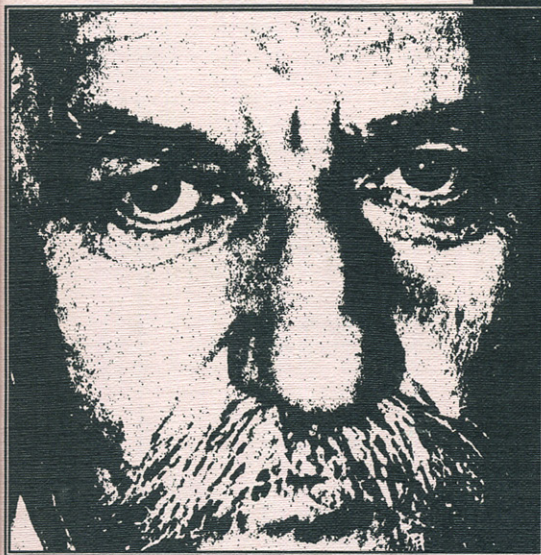


НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Б.Ф. Егоров



ЖИЗНЬ
И
ТВОРЧЕСТВО
Ю. М. ЛОТМАНА

Б.Ф. Егоров
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО Ю. М. ЛОТМАНА

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО Ю. М. ЛОТМАНА



Б. Ф. Егоров

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО Ю. М. ЛОТМАНА

]

Новое литературное обозрение
Москва
1999

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. XIX

В оформлении книги использованы рисунки Ю. М. Лотмана

Егоров Б. Ф.

Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. — М.: Новое литературное обозрение, 1999. — 384 с.

Книга известного литературоведа Б. Ф. Егорова посвящена жизни и творчеству выдающегося ученого-филолога, историка литературы, культуролога, семиотика, пролагателя новых путей в области гуманитарных знаний, основателя и главы знаменитой Тартуской школы Ю. М. Лотмана. В своем исследовании многолетний друг и соратник Лотмана Б. Ф. Егоров соединяет житейскую биографию ученого с обстоятельным анализом его научного наследия. В книгу включены также военные воспоминания самого Лотмана и другие материалы.

*Коллегам по Тартускому университету,
лучшим представителям эстонского народа,
давшим возможность Ю. М. Лотману и его
окружению в тяжелейшие для гуманитариев
годы учить молодежь, трудиться в сфере
науки и публиковать свои труды*

ВСТУПЛЕНИЕ

Я знал Юрия Михайловича Лотмана около полувека. Впервые я его увидел на набережной, около филфака Ленинградского университета, кажется, в 1947 г. Его облик бросался в глаза: сосредоточенный, какой-то отрешенный взгляд, большой нос и большие усы, быстрая, почти бегущая походка. Мне сказали сокурсники, что это очень талантливый студент. Выглядел он значительно старше студенческого возраста, да ему и в самом деле было уже 25 лет, а дать можно было еще лет на десять больше. Он мне напомнил то ли знаменитого шахматиста прошлых лет Э. Ласкера, то ли великого А. Эйнштейна (похожий облик А. Швейцера тогда мне не был известен). По-настоящему же мы познакомились в Тарту, в 1951 г., и вскоре по-настоящему же подружились, пройдя вместе без ссор и охлаждений свыше сорока трудных лет.

Мы вместе создавали кафедру русской литературы Тартуского университета (поэтому я применительно к тем годам часто буду употреблять «мы» — т. е. мы с Лотманом или даже весь коллектив кафедры), я как бы из рук в руки передал в 1960 г. Юрию Михайловичу заведование кафедрой, которую, кстати сказать, до сих пор считаю родной, своей. Я был единственным человеком, которому Ю. М. Лотман всегда доверял *все* свои идеи, замыслы, душевные тайны, и одним из немногих, кто так тесно интеллектуально и сердечно общался с ним в течение многих десятилетий.

Поэтому, когда китайские коллеги предложили мне подготовить книгу о Лотмане, я воспринял это с честью и радостью: кому, как не мне, создать такую книгу?! Ученые будущих поколений, вероятно, смогут с высоты XXI века написать более яркие и перспективные ис-

следования научных заслуг Лотмана, но считаю — может быть, самонадеянно, — что никто не соединит так тщательно анализ его творческой эволюции с реальной человеческой биографией, с конкретными, нигде не зафиксированными высказываниями и с конкретными чертами характера. Когда уйдет из жизни мое поколение, многое из таких конкретных черт и фактов навсегда исчезнет, а для памяти потомков, считаю, будут важны не только закрепленная в научных, художественных, бытовых текстах продукция, но и ее негласные причины, ее сложные человеческие сопутствия и последствия, тем более когда речь идет о текстах выдающегося ученого. К тому же — ученого-гуманитария, в творчестве которого значительно сильнее, чем у представителей точных и естественных наук, проявляется личная субъективность.

Таким образом, предлагаемая читателю книга соединяет житийскую биографию Ю. М. Лотмана, куда включаю и психологические характеристики, с анализом его научного наследия. Слава Богу, относительно последнего аспекта у меня есть уже немало предшественников. На Западе давно известна монография Анн Шукман¹. Затем возникло много исследований о «советских» структуралистах и семиотиках, где, естественно, значительное место уделяется и Лотману². Теперь в нашей стране и за рубежом появилось уже много статей и целых сборников, посвященных непосредственно нашему ученому, особенно много их издано в последние годы³. Да и мне

¹ *Shukman A. Literature and Semiotics. A Study of the Writings of Yu. M. Lotman.* Amsterdam; New York; Oxford, 1977.

² Большой список таких работ 1976—1994 гг. приведен в статье: *Николаева Т. М.* Введение. — В сб.: *Из работ московского семиотического круга.* С. XVI—XVII. Здесь же указаны библиографии трудов по «советской» семиотике.

³ *Semiosis. Semiotics and the History of Culture.* In *Honorem Georgii Lotman.* — «Michigan Slavic Contributions», 1984, № 10; *Semiotics and the History of Culture.* In *Honor of Yuri Lotman. Studies in Russian.* Columbus, Ohio, 1988; Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992; «Literary Tradition and Practice in Russian Culture. Papers from an International Conference on the Occasion of the 70th Birthday of Yu. M. Lotman». Edited by V. Polukhina, J. Andrew & R. Reid (они же — издатели трех следующих книг). Amsterdam, Rodopi, 1993; «Russian Culture: Semiotics and Structure». — «Russian Literature» (Amsterdam). Vol. 36 (Special Issue — Ju. M. Lotman), t. I—II. October, November 1994; «Structure and Tradition in Russian Society». — «Slavica Helsingiensia». 14. Helsinki, 1994; «Pour Iouri Lotman». — «Théorie. Littérature. Enseignement». 13. Paris, 1995; «Наследие Ю. М. Лотмана: настоящее и будущее». — «Slavica Tergestina». 4. Trieste, 1996; Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994; Лотмановский сборник. 1—2. М., 1995—1997; Московско-тартуская семиотическая школа. История, воспоминания, размышления. М., 1998; Лотмановские чтения. Саратов, 1998; «Вышгород» (Таллинн), 1998, № 3 (номер весь посвящен Лотману и его кафедре).

Наиболее ценные отдельные статьи: *Чернов И.* Три модели культуры. — В сб.: «*Quinquagenario.* Сб. статей молодых филологов к 50-летию проф. Ю. М. Лот-

принадлежит уже добрая дюжина биографических и творческих очерков⁴.

В указанных сборниках в честь ученого опубликовано, наряду с аналитическими статьями, немало и воспоминаний. Сам Ю. М. Лотман, обладая фантастически громадным запасом памяти (в молодые годы помнил день за днем все четыре года Отечественной войны — как бы дневник держал в голове), не любил автовоспоминаний, вернее — не желал их фиксировать на бумаге, считал, что научная работа важнее мемуаров; мои многолетние увещевания оказались безус-

мана». Тарту, 1972. С. 5—18; *его же*. Опыт введения в систему Ю. М. Лотмана (к шестидесятилетию учителя). — «ТГУ», 28 февраля 1982 г., № 1—2 (статья перепечатана в кн.: *Лотман Ю. М. О русской литературе*. СПб., 1997. С. 5—12); *Marzaduri M.* Gli anni universitari di Jurij Lotman. Gli studi e i primi scritti. — «Dalla forma allo spirito. Scritti in onore di Nina Kauchtschischwili». Milano, 1989. P. 267—283; *Eco U.* Introduction. — In: *Lotman Yu. M. Universe of Mind*. London, 1990. P. VII—XIII (в русском переводе: *Эко У.* Предисловие к английскому изданию. — В кн.: *Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров*. М., 1996. С. 405—414); *Кузовкина Т.* Тема смерти в последних статьях Ю. М. Лотмана. — «Russian Studies». СПб., 1995, № 4. С. 288—303; *Гаспаров М. Л.* Ю. М. Лотман: наука и идеология. — В кн.: *Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии*. СПб., 1996. С. 9—16; *Кузовкина Т.* Сообщение о неопубликованном наследии Ю. М. Лотмана. — «Таллинн», 1996, № 2. С. 117—120; *Bethea D. M.* Bakhtinian Prosais Versus Lotmanian «Poetic Thinking»: The Code and its Relation to Literary Biography. — «Slavic and East European Journal». Vol. 41, № 1, 1997; *Śliwowski R.* Jurij Michaiłowicz Łotman — człowiek i pisarz. — «Slavia orientalis», 1997, № 1. S. 83—92; *Левченко Я.* Хаос — космос — текст. — «Русская филология». 9. Сб. научных работ молодых филологов. Тарту, 1998. С. 251—265; *Киселева Л. Ю. М. Лотман: от истории литературы к семиотике культуры (о границах лотмановской семiosферы)*. — «Studia russica Helsingiensia et Tartuensia». VI. Тарту, 1998. С. 9—21; *Sebeok Th. A.* The Estonian Connection. — Σημεωτική. 26. Tartu, 1998. P. 20—41; *Григорьев Р. Г., Даниэль С. М.* Парадокс Лотмана. — В кн.: *Лотман Ю. М. Об искусстве*. СПб., 1998. С. 5—12; *Лотман Ю. М.* Послесловие: Структуральная поэтика и ее место в наследии Ю. М. Лотмана. — Там же. С. 675—686.

⁴ К 60-летию Юрия Михайловича Лотмана. — «Finitis duodecim lustris. Сб. статей к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана». Таллин, 1982. С. 3—20; От игры до ЭВМ. — «Вперед» (Тарту), 5 марта 1987 г., № 27; Биография души. — В кн.: *Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина*. М., 1987. С. 7—10 (перепечатано в издании книги в серии «Жизнь замечательных людей»: М., 1998. С. 5—10, и, с добавлением, в кн.: *Лотман Ю. М. Карамзин*. СПб., 1997. С. 5—8); Полвека рядом с Ю. М. Лотманом. — В сб.: Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1984. С. 475—486; У истоков тартуской школы. Воспоминания о 1950-х годах. — «Новое литературное обозрение». М., 1994, № 8. С. 78—98; О Ю. М. Лотмане-пушкинисте. — «Русская литература», 1994, № 1. С. 227—235; Лотман и другие (из воспоминаний о тартуской школе 1950-х годов). — «День заднем» (Таллинн), 24 марта 1995 г., № 22. С. 21; Личность и творчество Ю. М. Лотмана. — В кн.: *Лотман Ю. М. Пушкин*. СПб., 1995. С. 5—20; У нас была любимая шарада «Самсон». — «Таллинн», 1996, № 2. С. 88—101; На рубеже пятидесятых. — «Вышгород» (Таллинн), 1998, № 3. С. 66—76; Наша молодая кафедра. — Там же. С. 147—153; Ю. М. Лотман в быту: характер и поведение. — «Лотмановские чтения». Саратов, 1998.

пешными. Юрий Михайлович горячо уговаривал других, например, великую пианистку М. В. Юдину: «С листков Вашего письма на меня глянуло столько имен, и таких имен, что как историк культуры не могу не закричать: «А написали ли Вы мемуары??» Ведь мемуары — это *memoria*, а человечество страдает беспамятностью. Возвращаюсь к началу: культура — это коллективная память человечества. Всякое забвение преступно — это уступка смерти. Человек умирает не когда умирает, а когда его забывают» (письмо от 22 июня 1969 г.), но сам оставался непреклонен. Лишь в самые последние годы жизни он продиктовал ценнейшие фрагменты воспоминаний. Слава Богу, воспоминания о Лотмане оставили его родные и близкие.

Помимо печатных источников я пользовался устными сообщениями родных и коллег, и поэтому очень благодарен сестрам ученого, а также В. С. Бахтину, С. Г. Исакову, В. А. Каменской, М. Г. Качуриной, О. М. Малевичу, П. С. Рейфману, Ф. С. Сонкиной, В. Н. Топорову, М. И. Халевиной, Т. В. Цивьян за ценные сведения разного рода.

Несколько технических замечаний. Прежде всего — о проблеме, которая возникла на самых первых этапах работы над книгой: как называть Юрия Михайловича Лотмана? Ведь его имя будет упомянуто несколько сот раз! Старшие родственники и университетские (студенческие) сокурсники, естественно, называли его «Юра». Я вначале называл «Юрий Михайлович», потом сократил до «Юрмиха»; это имя затем широко распространилось, оно даже стало появляться в серьезной печати. Но использовать в книге сокращения вроде «Ю. М.» или «Юрмих» я счел неудобным, поэтому предпочел называть его в главе «Детство и юность», главным образом, «Юра», а в дальнейшем — просто «Лотман».

Вторая проблема. На нашем веку произошло немало политико-административных и географических переименований. Я старался, минуя свои личные пристрастия, применительно к советскому периоду называть Петербург Ленинградом (хотя иногда и употреблял «Питер» — в моем окружении это название не исчезало и после 1924 года), к Петербургскому университету прилагать тогдашнюю аббревиатуру ЛГУ, как и ТГУ — к Тартускому (сейчас эстонцы убрали эпитет «государственный», название университета сокращено до ТУ), а тогдашнюю Эстонию, когда речь идет об официальных документах, именовать ЭССР. И еще об одном важном термине. Все западные коллеги и исследователи времен Советского Союза называли московских и тартуских семиотиков и структуралистов «советскими». Конечно, этот термин означал административную принадлежность, а никак не идеологическую сущность ученых; я старался по возможности обходить этот термин, но когда без него не обойтись (см., например, выше), то я старался брать это слово в кавычки, подчеркивая его условность.

Даты жизни и краткие биографические факты сообщаю лишь по отношению к лицам, наиболее значимым для жизни и деятельности Лотмана, для сведений же о многих других личностях, упоминаемых далее, рекомендую обращаться к «Именному указателю» в книге: *Лотман Ю. М. Письма...*

Все подчеркивания в цитатах принадлежат цитируемым авторам, это специально уже не будет оговариваться.

Чтобы не загромождать текст обилием сносок, в книге применены некоторые упрощения. Во-первых, если работы Лотмана упоминаются в тексте без цитирования, то выходные данные этих работ, в том числе и указания на периодику, сборники и т. п., сообщаются в скобках непосредственно после названия труда. Для более подробного ознакомления со всем печатным комплектом сочинений ученого и его коллег рекомендую обращаться к библиографиям его работ⁵ и к библиографии всех изданий по линии кафедры русской литературы ТГУ⁶. Во-вторых, частое цитирование из некоторых источников сопровождается сокращенной ссылкой в скобках тоже непосредственно после цитаты. Приняты следующие сокращения:

Лотман. I (или: II, III) — *Лотман Ю. М. Избранные статьи. I—III. Таллинн, 1992—1993.*

Лотман. Внутри... — *Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. М., 1996.*

Лотман. О рус. лит. — *Лотман Ю. М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958—1993). История русской прозы. Теория литературы. СПб., 1997.*

Лотм. сб. 1 — «Лотмановский сборник». 1. М., 1995.

НЛО, 3; НЛО, 8 — «Новое литературное обозрение». 3 (1993); 8 (1994).

Письма — *Лотман Ю. М. Письма 1940—1993. М., 1997.*

Семиотика. 1 (или 2...25). — «Труды по знаковым системам». 1—25. («Уч. зап. ТГУ», вып. 160—936). Тарту, 1964—1992.

«Уч. зап. ТГУ» — «Ученые записки Тартуского университета».

Неопубликованные письма Лотмана цитируются и реферируются по подлинникам (мне присланы ксерокопии) из архивных фондов адресатов: Ю. Г. Оксмана — РГАЛИ (Российский гос. архив литературы и искусства, Москва), ф. 2567, оп. 1, ед. хр. 639 (из этого же фонда цитируются мои письма к Ю. Г. Оксману — оп. 1, ед. хр. 492, 493); П. Н. Беркова — Архив РАН (Российской Академии наук, Пе-

⁵ Материалы к библиографии трудов проф. Ю. М. Лотмана <за 1949—1990 гг.; составитель Л. Н. Киселева>. — В кн.: Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 514—565; Список трудов Ю. М. Лотмана <за 1949—1992 гг.; составитель Л. Н. Киселева>. — Лотман. III. С. 441—482.

⁶ Труды по русской литературе и семиотике кафедры русской литературы Тартуского университета. 1958—1990. Указатели содержания. Тарту, 1991.

тербург), ф. 1047, оп. 3, ед. хр. 373; В. М. Жирмунского — Архив РАН, ф. 1001, оп. 3, ед. хр. 539; М. В. Юдиной — Отдел рукописей РГБ (Российской Государственной библиотеки, Москва), ф. 527, карт. 15, ед. хр. 33. За присылку ксерокопий писем Лотмана (и моих) к Ю. Г. Оксману сердечно благодарю С. И. Панова, к П. Н. Беркову и В. М. Жирмунскому — М. Ш. Файнштейна, к М. В. Юдиной — А. М. Кузнецова.

Цитируемые письма Ю. Г. Оксмана к Лотману хранятся в фонде Лотмана в библиотеке Тартуского университета; я очень благодарен директору библиотеки П. Олеску и Т. Д. Кузовкиной за присылку мне ксерокопий.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Сведения о родителях Юрия Михайловича Лотмана существуют ныне в очень схематичном, отрывочном виде. В советские годы во многих семьях как-то не было принято подробно рассказывать детям о предках, и семья Лотманов не была здесь исключением.

Что хорошо известно — оба родителя были одесситы; по характеру — чрезвычайно трудолюбивы, добры и благожелательны к людям, любовно внимательны к детям. Отец, Михаил Львович (1883—1942), происходил из зажиточной семьи коммерсантов Финкельштейнов. История с ранней переменной фамилии на «Лотман» загадочна: то ли по каким-то причинам, чуть ли не связанным с подпольной революционной деятельностью в студенческие годы (по другой легенде — из-за устройства, для заработка, механиком на пароходе), нужно было ехать за рубеж по чужому паспорту, а потом Михаил Львович так и оставил себе эту фамилию, то ли для обретения самостоятельности: сын уже с молодых лет не носил родительскую фамилию.

Михаил Львович поступил в архитектурное училище, хорошо рисовал и чертил, подрабатывал на этом поприще (таланты рисовальщика, чертежника, плакатиста потом передались сыну Юрию). Затем перешел на юридический факультет Петербургского университета (еще учился на математическом — но, кажется, не кончил), по окончании работал помощником присяжного поверенного, специализировался по гражданским делам. В советское время он убедился, что невозможно защищать права гражданина, если он судился с государством, и поэтому перешел в область, где как-то можно было результативно вести дела: стал специалистом по авторскому праву, поэтому работал юрисконсультom в ленинградских издательствах. Был честным и ответственным человеком; сын рассказывал, каким бледным

и потрясенным приходил Михаил Львович домой после кровавых митингов на предприятиях, когда принимались резолюции с «требованиями трудящихся» казнить «изменников Родины» и «иностранных шпионов» — шли политические процессы 1937—1938 гг. Отец опасно заболел в блокадную зиму из-за своей честности: учреждение, где он работал, находилось у Кировского завода, на окраине Ленинграда, приблизительно в 10 км от дома, и при отсутствии городского транспорта в заснеженную зиму Михаил Львович почти каждый день пешком преодолевал это расстояние туда и обратно и в конце концов безнадежно простудился. Он умер в первых числах марта 1942 г.

Мать, Александра Самойловна, урожденная Нудельман (1889—1963), происходила из бедной многодетной семьи (у родителей — 13 детей!), занимавшейся производством швейных изделий. Девочка уже с шестилетнего возраста должна была работать в мастерской, помогая старшим; потом она стала хорошей белошвейкой. Гимназию она закончила заочно. Живая и любознательная, она решила посмотреть мир и отправилась с двумя подружками в Париж, где она тоже, как и в Одессе, шила кофточки, — а заодно побывала в блистательной столице. Потом вернулась на родину, где еще раньше познакомилась с будущим мужем. Он ухаживал за ней 8 лет, способствовал поступлению избранницы в медицинскую (стоматологическую) школу, помогал ей материально, обучал ее духовно и по-бытовому (она, например, совсем не умела готовить). Наконец молодые поженились перед первой мировой войной и счастливо прожили потом почти тридцать лет.

Детей было четверо. Вначале появлялись девочки: Инна (1915 г. рождения), Лидия (1917), Виктория, по-домашнему — Ляля (1919). Инна, значит, дореволюционного происхождения, Ляля родилась уже при советской власти. А Лидия не просто ровесница Советов по году, но еще и по дню: она родилась именно 25 октября 1917 г. по старому стилю, в день захвата большевиками власти в Петрограде. Почти под залп «Авроры». По семейным преданиям, когда у матери появились предродовые признаки, то отец никак не мог найти акушерку: семья жила недалеко от Дворцовой площади (но не в том доме на Невском проспекте, 18, где потом семья проживет полвека), шла стрельба, по Невскому бежали матросы с винтовками... Наконец нашлась какая-то храбрая женщина, и Лидия благополучно появилась на свет.

А Юрий, единственный мальчик, оказался последним, он родился 28 февраля 1922 года.

Универсальное культурное воспитание началось в семье Лотманов с самого раннего возраста детей. Ежедневно было принято собираться всем, и родителям, и детям, и читать вслух романы западных классиков (В. Скотт, Ч. Диккенс и др.) — чтецом была Инна; а отец читал вслух Пушкина и Чехова, а также Вольтера.

Михаил Львович любил устраивать пешие прогулки по городу, превращавшиеся в экскурсии-беседы; в связи с архитектурным образованием отец прекрасно разбирался в городской строительной истории и читал детям целые лекции об особенностях и о смене разных архитектурных стилей, о постройке известных питерских зданий и т. п. Много возился отец и персонально с Юрой, своим любимцем, например, научил его играть в шахматы и много времени проводил с ним за доской.

Особенно частыми были семейные экскурсии в Эрмитаж и в Русский музей; отец подробно рассказывал детям о знаменитых картинах, излагал биографии художников, объяснял мифологические и библейские сюжеты. Первый раз Юру взяли в Эрмитаж, когда мальчику едва исполнилось три года. Контролер при входе не хотел его пускать: слишком мал! Но Юра важно достал из кармана дедовские серебряные часы, и контролер умилился... С 10—12 лет Юра уже и один ходил в Эрмитаж, где однажды был задержан: служителю показалось подозрительным, что мальчик целых полчаса стоит перед «Кающейся Магдалиной» Тициана. Пришлось объясняться.

В Русском музее на детей сильное впечатление производили «Явление Христа народу» Иванова, «Запорожцы» Репина, яркие краски Куинджи, но особенно — «Последний день Помпеи» Брюллова. Дети решили дома воссоздать потрясшую их картину. Сдвинули вместе четыре кровати, из постельных принадлежностей устроили гору, на которую посадили Юру: он должен был бросать в потолок кубики, полотенца, подушки, изображая извержение Везувия, а девочки принимали позы персонажей картины. Вернувшиеся с работы родители остолбенели, увидев такой разгром... 60 лет спустя Лотман создаст целую статью о пушкинской интерпретации картины Брюллова; возможно, он вспоминал тогда, как сам изображал Везувий.

Частыми были семейные походы в театры, особенно — в драматический Александринский и в оперно-балетную Мариинку. Детей потрясла опера Чайковского «Евгений Онегин». Юра потом дома неоднократно изображал сцену дуэли, попеременно воплощаясь то в Ленского, то в Онегина. Опять же — не отсюда ли протягиваются нити к серьезным научным занятиям творчеством Пушкина и историей русской дуэли, занятиям, которые были очень существенны для уже немолодого Лотмана?

Родители хотели дать детям приличное музыкальное образование и рано их посадили за пианино. Лидия и Виктория не увлеклись, зато старшая Инна сделала музыку своей профессией: она пошла в консерваторию, стала композитором и теоретиком музыки, преподавала и историю музыки. Универсальное воспитание детей повлияло на разнообразие выбора профессий: Инна — музыковед, Ляля стала, по стопам матери, врачом, а Лидия и Юра — филологами.

Как бы в дополнение к отцовским лекциям-экскурсиям, Инна дала младшим хорошее музыкальное образование. Она разбирала с

ними клавиры классических опер Моцарта, Глинки, Римского-Корсакова; под руководством Инны вся семья пела романсы Глинки, Чайковского, Шуберта, Шумана. Юра не только участвовал в этих коллективных занятиях, но и персонально хорошо играл на фортепиано, даже получал награды на общегородских смотрах художественной самодеятельности. Но только до 12-летнего возраста, потом бросил и уже никогда затем не садился за музыкальный инструмент, весь погруженный в филологию. Может быть, в нем не реализовался знаменитый пианист.

Талантливый человек, имея относительную свободу выбора, пробует несколько путей, выбирает в конце концов один-два, а остальные отставляет. Еще Лотман не состоялся как замечательный актер. А потенции явно были. Вот он живо изображал дуэль Онегина и Ленского. А в шестом классе (или в седьмом?), когда учительница литературы раздала учащимся роли в «Ревизоре» Гоголя и они на уроке проигрывали пьесу, то Лотман блестяще исполнил роль Хлестакова, под смех и аплодисменты. Но недалекая учительница больно оскорбила мальчика, бездумно объяснив, что он потому так хорошо играет Хлестакова, что у него подобный характер. Это отвратило подростка от театральных воплощений — навсегда, а от литературы — на два года, пока не появился прекрасный учитель в старших классах. Блеск артистического таланта прорывался у Лотмана в зрелом возрасте в минуты наших вечерних постановок шарад — об этом еще будет речь, — но это мгновения отдыха, а не профессия.

Еще одна область, в которой Лотман мог стать выдающимся ученым, — зоология. Несколько лет он регулярно посещал кружок юннатов (юных натуралистов) во Дворце пионеров, особенно серьезно занимаясь пресмыкающимися. Летом в пионерском лагере были часты такие сцены: ребята несут на палках змею из леса на консультацию к Лотману: ядовитая особь или безвредная?

С детства Лотман был, как бы сейчас сказали, экологом: пропагандистом бережного отношения к природе, проповедником гармонии и ценности природных явлений; мог для доказательства чистоты живых брать в рот лягушку.

Кроме пресмыкающихся Юра еще увлекался насекомыми. Он находился под сильным влиянием будущего известного энтомолога, профессора А. С. Данилевского, а тогда, в тридцатых годах, — аспиранта и приятеля сестры Лидии (Данилевский как дворянин подвергался репрессиям, был сослан в Казахстан, но так как он был праправнуком Пушкина и внучатым племянником Гоголя, то его перед Пушкинским юбилеем 1937 г. вернули в Ленинград). До старости Лотман сохранил жутковатое удивление и любовь к загадочному и необъятному миру насекомых.

Да и любовь к животным вообще. В лотмановской квартире в Тарту почти всегда — чуть ли не членами семьи — были собаки. Симпатичные псы Керри и Джерри вошли в легендарные байки о быте

профессорского дома. И даже в тяжелейшей фронтовой маете Лотман помнил о мире животных. Среди сохранившихся рассказов солдата о войне один из самых ярких — о встрече в поле под артобстрелом с перепуганным зайцем (см. Лотм. сб. 1. С. 25—26). И нельзя не привести со слов бывшей тартуской студентки В. Н. Кухаревой устный рассказ Лотмана о цветном сне, который он видел в страшную военную ночь: синее море, белые барашки волн, плывущее коричневое бревно, за которое цепляются два белых медвежонка...

Но биология не стала для юноши профессией. Предпочтение филологии произошло под сильным влиянием старшей сестры Лидии. Она воспитывала брата с самых ранних его лет, обучила его в 5—7-летнем возрасте основам школьной премудрости, поэтому брат смог 8-летним (а тогда именно в этом возрасте поступали в школу) пойти сразу во 2-й класс, минуя 1-й, и это потом юноше подарило целый год обучения до армии в университете: школу он закончил не 18, а 17-летним, а в армию призывали 18-летних.

В 1934 г. сестра Лидия поступила на филологический факультет Ленинградского университета (только что были отменены ограничения; до этого непосредственно из школы в вуз могли поступать лишь дети рабочих и крестьян, а выходцы из интеллигенции должны были по крайней мере два года отработать на производстве). В доме появились друзья-студенты. Одним из Лидиных приятелей был Анатолий Кукулевич, который и ввел в лотмановский дом своего товарища Данилевского. Кукулевич оказал на Юру еще большее влияние, чем друг-энтомолог. Он был прирожденным филологом, активно занимался сразу на двух отделениях: русской филологии и античной; будучи студентом, писал уже серьезные научные работы под руководством профессора Г. А. Гуковского, который, как и труды других выдающихся студентов, опубликовал две его статьи в престижных изданиях: «Русская идилия Н. И. Гнедича “Рыбаки”» в «Ученых записках ЛГУ» (серия филологических наук, вып. 3, 1939) и два раздела в главе «Гнедич» в академической «Истории русской литературы» (т. V, М.; Л., 1941). К сожалению, аспирант Кукулевич, призванный в армию, погиб в 1941 г., в самом начале Отечественной войны.

Юра под впечатлением бесед с Кукулевичем страстно увлекся Древней Грецией и Римом, штудировал «Илиаду» Гомера, знал ее чуть ли не наизусть, изучал труды античных историков (Геродот, Плутарх, Тацит), попросил Кукулевича давать ему уроки греческого языка. Выбрав филологию, Лотман понимал необходимость серьезных занятий иностранными языками. Хорошо, что по стопам сестер он поступил в известную «Петершуле», школу с немецким языком преподавания: дети тем самым приобретали отличные познания в этом языке. К сожалению, Лотман учился в Петершуле только в младших классах: в начале тридцатых годов по тогдашней манере всех стричь под одну гребенку Петершуле была преобразована в обычную русскую среднюю школу. Но хороший языковой фундамент помог

потом Лотману — во время войны — быстро освоить немецкий язык. Французский он учил в студенческие годы и продолжал заниматься им на фронте. В зрелые годы он уже мог писать статьи и делать доклады по-французски. Итальянский и английский он осваивал в тартуское время самостоятельно.

Еще будучи школьником, Юра стал ходить на филфак слушать блестящие лекции профессора Г. А. Гуковского по русской литературе XVIII века и не менее блестящие лекции доцента Л. Л. Ракова по античной литературе. Он по-настоящему открыл для себя великую классическую русскую литературу с помощью учителя, преподававшего в старших классах школы; Лотман забыл его фамилию, именует в воспоминаниях «Ефимом Григорьевичем». В старших классах Юра от корки до корки прочитал 12-томное собрание сочинений Льва Толстого (приложение к журналу «Огонек» 1928 г.); отец подарил сыну и 12-томного Достоевского — и он тоже прочитал всего.

Усиленно занимаясь в выпускном классе всеми предметами, даже став бесплатным репетитором отстающего соклассника — чтобы основательно повторять материал, Лотман окончил в 1939 г. школу на все пятерки, т. е. с золотым аттестатом, поэтому мог поступать в университет без вступительных экзаменов, которые его почему-то тревожили (не без основания: тогда вступительные экзамены на филфак были нелепо обильными; например, нужно было сдавать математику и химию). И как чуял: после выпускного вечера в школе всю июньскую белую ночь он прогулял с товарищами по городу без пиджака, в одной белой рубашке, и сильно простыл — потом все лето, простуженный, провалялся в постели и поправился только к сентябрю, к началу занятий на филфаке, на отделении русской филологии. Хорош бы он был, если бы ему, только что вставшему после долгой болезни с постели, пришлось сдавать большой комплект экзаменов!

Подчеркнем, что Лотман окончил школу и просуществовал до середины Отечественной войны, не вступив в комсомол, что для юноши большого города было уникально; обычно в 8-м классе все коллективно становились комсомольцами. Лотман пошел здесь по стопам сестер: не то что они были антисоветчиками, но все-таки понимали жесткую дисциплину, которую налагала на своих членов молодежная большевистская партия, и не хотели добровольно подчиняться такой дисциплине (вдруг будут предъявлены требования совершить поступок, который не соответствовал личным нравственным нормам? Это советский поэт Э. Багрицкий провозглашал: «Если прикажут солгать — солги, если прикажут убить — убей»; Лотманы не хотели подчиняться таким императивам). Лишь в тяжелых фронтовых условиях 1942 г., когда приход в партию был мужественным актом (известно, что в случае пленения советских воинов немцы немедленно расстреливали коммунистов), Лотман подал заявление о вступлении в партию.

В ЛЕНИНГРАДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (1939—1940)

Итак, с осени 1939 г. Лотман стал студентом Ленинградского университета и с яростью, с ничем не остановимой страстью бросился в науку. Надо сказать, что пафос науки, пафос знаний вообще был характерен для интеллигентной молодежи тридцатых годов. Промышленный рост Страны Советов создавал ощущение безграничных перспектив развития науки и техники. А воспитание в духе коммунистических идеалов: уничтожение паразитирующей буржуазии, создание в мировом масштабе справедливого для всех трудящихся строя, основанного на началах всеобщего равенства и братства, — делало мечты о мировой революции чуть ли не реальными. Вот только с фашистами надо поскорее разделаться. А чтобы эффективно участвовать в построении коммунистического общества, нужно быть разносторонне образованным человеком, прекрасным специалистом, поэтому ленинский лозунг «Учиться, учиться и учиться» был очень значимым.

Эйфории поддавались многие молодые люди, в том числе и юный Лотман. Когда разразилась гражданская война в Испании (1936—1939) и Советский Союз явно и тайно помогал республиканскому правительству, то Юра вместе со своим школьным другом Борисом Лахманом пробрался в порт; мальчики хотели укрыться в трюме корабля, отправляющегося с грузом помощи в Испанию, чтобы лично принять участие в революционных битвах; бдительные охранники задержали «беглецов», но отпустили без последствий.

При таком романтическом подъеме и радужных перспективах отодвигались на второй план и считались издержками, недостатками роста и неудачи колхозно-совхозного хозяйства, и репрессии 1937—1938 гг., и странные, непонятные дружеские договоры с фашистской Германией. А на первом плане было томительное ожидание

будущих битв с фашистами и империалистами, когда явно забудутся партийные склоки — кто троцкист, а кто бухаринец (фраза то ли самого Лотмана, то ли его школьного приятеля Лахмана; прямо по-евангельски: «несть ни еллина, ни иудея») — все будут в едином строю.

А пока нужно учиться и учиться. И Лотман учился, чуть ли не по 16 часов в сутки, просиживая не только на университетских занятиях, но и полдня в библиотечных помещениях. Филологический факультет Ленинградского университета отличался в тридцатых—сороковых годах блестящим созвездием ученых с всесоюзным и даже, некоторых, с мировым именем: академики В. Ф. Шишмарев, Л. В. Щерба, А. С. Орлов, В. М. Алексеев, члены-корреспонденты Академии наук Д. К. Зеленин, Н. К. Пиксанов, В. М. Жирмунский, профессора Г. А. Гуковский, В. Я. Пропп, М. К. Азадовский, Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Томашевский, В. Е. Евгеньев-Максимов, В. В. Гиппиус, А. С. Долинин, Г. А. Бялый. Тогдашние программы филфака были весьма обширными. Русистам, например, полагался полный курс не только отечественной, но и зарубежной истории (античную историю первокурсникам читал доцент Д. П. Каллистов). Конечно, очень обстоятельно были представлены лингвистические курсы. «Современный русский язык» преподавала юным студентам проф. М. А. Соколова. Античную литературу первокурсникам читал выдающийся специалист проф. Иван Иванович Толстой (1880—1954), будущий академик, который не просто знакомил слушателей с произведениями греческих и латинских авторов, но старался чаще цитировать тексты в подлинниках, чтобы студенты наглядно воспринимали звучание шедевров.

Кафедру русской литературы тогда возглавлял один из самых молодых профессоров факультета Григорий Александрович Гуковский (1902—1950), специалист по XVIII веку, но уже переходивший в своих научных занятиях к пушкинской эпохе. Первокурсники знакомились с профессором с первых же дней пребывания в университете: он читал им «Введение в литературоведение».

На первом курсе филфака читались два вводных пропедевтических предмета: введение в языкознание и введение в литературоведение. Первый читал известный лингвист профессор Александр Павлович Рифтин (1900—1945), специалист в области семито-хамитской филологии и вообще разносторонне образованный ученый. Он заставлял студентов расширять знания, рекомендовал им штудировать классиков языкознания, в том числе и относительно мало тогда популярного основателя структурной лингвистики Фердинанда де Соссюра. Блестящий лектор и педагог, он был одновременно деканом факультета, именно он организовал трудную отправку факультета в эвакуацию в Саратов, когда началась Отечественная война, толково руководил факультетом там, на Волге, и затем так же толково организовал переезд факультета в родной город в 1944 г. Он скоропостижно скончался от инфаркта в мае 1945 г., по легенде — сразу же

после известия об окончании войны: сердце не выдержало радостного сообщения.

А введение в литературоведение читал Гуковский, не менее блестяще. Он почти все лекции импровизировал (то, что он не повторялся никогда, проверено слушавшими его курсы лекций в разные годы). Объясняя методологию и методику литературоведческого анализа, он приносил какое-либо стихотворение крупного поэта, читывал его перед аудиторией и затем импровизировал анализ различных уровней и аспектов художественного текста. И экзамен он проводил оригинально: отказавшись от обычных билетов и вопросов в них, он заранее предлагал студентам список произведений, из которых нужно было выбрать одно и подробно его на экзамене проанализировать; Лотман выбрал «Осень» Е. А. Баратынского; Гуковский сразу же оценил выдающиеся способности студента.

Как уже говорилось, Лотман еще школьником прослушал курс русской литературы XVIII века, который Гуковский читал на русском отделении (когда Лотман стал студентом, этот курс Гуковский уже отдал П. Н. Беркову, а сам взял начало XIX века). Обладая феноменальной памятью, Гуковский знал наизусть почти всю русскую поэзию XVIII века, умел свежо и интересно преподносить почти совсем неизвестный студентам материал русской литературы XVIII века, реабилитировал значение А. П. Сумарокова в истории русской культуры. Лекции он читал очень непринужденно: расхаживал по аудитории, курил, присаживался на край стола, помогал жестами понять суть темы, а при этом импровизационно возникали интересные повороты объясняемого, взрывались банальные истолкования и рождались оригинальные, перспективные концепции... Каждая лекция Гуковского, читавшаяся обычно в зале филфака (так много было желающих слушать), заканчивалась бурей аплодисментов — вот как артистично он умел преподнести материал. Коллеги не любили такую «театральность» (она, увы, отражалась иногда в перевесе эффектности над точностью); на отношение к Гуковскому еще влиял и его неспокойный, колючий, своенравный характер; он неоднократно ссорился с товарищами по кафедре. Но все признавали за Гуковским выдающиеся творческие начала, генерирование новых идей и уникальные лекторские способности.

На 2-м курсе Лотман успел приступить к занятиям в просеминаре по русской литературе XVIII века, который вел Гуковский. А лекционный курс по этому предмету, как сказано, начал читать профессор Павел Наумович Берков (1896—1969), известный специалист по XVIII веку и по библиографии. В 1960 г. он будет избран членом-корреспондентом Академии наук.

Уже в начале студенческой жизни Лотман увлекся народным творчеством. Кафедру русского фольклора тогда представляли два выдающихся ученых. Заведовал кафедрой и читал общий курс лекций

по фольклору профессор Марк Константинович Азадовский (1888—1954). Лотман не удовлетворялся программным курсом, а еще посещал дополнительные лекции профессора, которые тот читал для желающих. Под влиянием ученого Лотман собирался стать фольклористом. Находясь в армии, даже в самом пекле тяжелых боев во время Отечественной войны, он старался, общаясь с местным населением Украины, Белоруссии, Северного Кавказа, записывать песни и частушки. Некоторые из них он посылал М. К. Азадовскому, который был, кажется, единственным университетским преподавателем, с которым солдат Лотман переписывался.

Второй знаменитый фольклорист, профессор Владимир Яковлевич Пропп (1895—1970), вел на первом курсе семинарские занятия. Лотман читал у него доклад «Бой отца с сыном в русском фольклоре», с параллелями из немецких произведений. Профессору этот доклад очень понравился. Незадолго до кончины Лотман написал интересный очерк «Азадовский и Пропп: два подхода» (опубликован: Лотм. сб. 1. С. 64—67), где показал существенные методологические различия двух ученых: Азадовский главное внимание уделял эмпирическому материалу и новаторству, индивидуальному своеобразие фольклорных текстов у разных сказителей, а Пропп — типологическим обобщениям, выделению многовековых постоянных структур, уходящих корнями в далекое доисторическое прошлое. Лотман подчеркивал при этом, что лишь при существенных различиях творческих индивидуальностей вузовских учителей и ученых наука может плодотворно развиваться.

Отметим еще, что с первых университетских дней Лотман много занимался языками: французский, латынь, греческий (последний — факультативно). Французский язык преподавала Б. Я. Хаскина, жена дипломата, много лет прожившая в Париже; она своими знаниями, педагогическими способностями и даже внешним «парижским» обликом внедряла в души студентов любовь к языку Вольтера и Флорабера.

К непрерывным, по 12 часов ежедневно, университетским и библиотечным занятиям прибавлялись еще домашние штудии, да еще нужно было прирабатывать для нормального материального существования, поэтому Лотман уже тогда научился спать по 4 часа в сутки. Конечно, это было сжигание организма, похлеще алкогольного изматывания, и оно потом очень-очень пагубно отразилось на здоровье уже почтенного ученого, но и тогда тревожные симптомы не остановили бессонных творческих занятий.

Первый университетский год был чрезвычайно важен для Лотмана и в плане совершенно новых взаимоотношений с сокурсниками. В средней школе, как это бывает почти всегда, в одном классе случайно собраны люди самых различных характеров и интересов, поэтому там невольно создаются небольшие группы по 2—3—4 человека, на-

личествуют и замкнутые одиночки, и лишь в последние год-два, особенно при хорошем классном наставнике, медленно может возникать «корпоративное» целое, с тем чтобы быстро потом распасться на мелкие группы друзей.

В студенческом мире при взрослении и большей индивидуализации личностей, казалось бы, распад должен продолжаться, да он и продолжается, но здесь возникает и важная центростремительная сила, объединяющая людей: общность интересов, общность будущей специальности. Эта тенденция может быть усилена еще и наличием хороших организаторов-объединителей: куратора (из преподавателей) и лидера из своего коллектива. Волею судеб Лотман с самого начала, с сентября 1939 г., стал старостой своей группы — 5-й группы русистов филфака. Его на этот пост назначили в деканате, хорошо зная только что окончившую факультет сестру Лидию: дескать, и брат должен быть таким же способным, ответственным, аккуратным. Авансовое доверие деканата оказалось оправданным, Лотман с честью выполнил поручение, которое было совсем не простым.

О тогдашней жизни 5-й студенческой группы я имел счастье получить подробные сведения от Ольги Николаевны Гречиной, бывшей потом доцентом родного университета, а ныне пенсионерки.

В группе числилось 17 человек, и народ собрался очень разный. Кроме Лотмана из питерской и околоспитерской интеллигенции было шесть девушек: О. Гречина (дочь военного врача, внука известного слависта В. И. Ламанского), И. Евсеева-Сидорова (из Царского Села; отец ее, полунемец, пошел однако в партизанский отряд и героически погиб, а сама Ирина вышла замуж за немца-оккупанта и уехала с ним в Германию; работала потом в Мюнхене на радио «Свобода»), Л. Алексеева (дочь китаиста академика В. М. Алексеева), З. Папкович (дочь адмирала, кораблестроителя), А. Матвеева, Л. Ратнер. Две девушки, З. Васильева и В. Орлова, из питерских пролетарских семей, чувствовали свою недостаточную образованность, начитанность, страдали потому комплексом неполноценности и компенсировали ее чрезвычайно активной комсомольской деятельностью (потом их судьбы разошлись: Зоя начала подниматься по ступенькам партийной работы, а Валя, пройдя большую войну фронтовой медсестрой, пошла затем в медицинский институт и стала крупным хирургом). Еще одну группу составляли пять провинциальных евреек, отличавшихся сильным местечковым акцентом, закомплексованностью из-за своей «не-столичности» и, опять же, очень активной комсомольской работой: Д. Соркина, А. Зайдель, К. Лившиц, Ф. Элиашберг, Н. Фукс. Их судьбы тоже оказались разными: Д. Соркина потом осознала, что творилось в стране, стала чуть ли не диссиденткой; долгие годы она преподавала в Томском университете; Ф. Элиашберг в конце сороковых годов попала под арест, тоже, наверное, осознала; К. Лившиц и Н. Фукс почему-то со 2-го курса ушли из университета.

Комсомольские активисты не решались вначале прорабатывать трех не-комсомольцев (Лотман, Гречина, Евсеева-Сидорова), но когда Лотман ушел в армию, то двум девушкам пришлось солоно: на их головы непрерывно сыпались упреки по поводу их беспартийности. Но Гречина и Евсеева-Сидорова под влиянием событий в стране и, видимо, семейного воспитания уже начинали понимать, какая партия правит страной, и отказывались под любыми предлогами.

На периферии группы находились три скромных мальчика, погибших потом во время войны: Ю. Островский (ушел на 2-м курсе на отделение классической филологии), В. Шниторов (тоже куда-то ушел на 2-м курсе), А. Терентьев (в отличие от первых двух, не был призван в армию из-за бельма на глазу, но погиб в блокадную зиму, пропав на лесозаготовке; видимо, потерялся и замерз в лесу).

Вот такой разношерстной компанией нужно было «руководить» старосте Лотману. По складу характера, по интеллигентской деликатности Лотман, казалось бы, совсем не годился в «руководители»: ему было абсолютно чуждо форсированное, начальственное, основанное на властных приказах «лидерство». Но он становился во всех коллективах, где ему приходилось обитать, лидером негласным. Так и здесь, на первом курсе университета: самый молодой (только он и О. Гречина пришли в университет 17-летними, остальным было 18 или даже больше), он пользовался в кругу студентов непререкаемым авторитетом из-за своих обширных познаний, работоспособности, остроумия — и благодаря истовому исполнению обязанностей старосты: он вел нужные переговоры с преподавателями относительно зачетов и экзаменов, с деканатом — относительно аудиторий, знал о материальных нуждах товарищей. Большинство студентов жило трудно, особенно если рассчитывали, главным образом, на скудную стипендию (она тогда составляла 12 рублей).

Лотмановская семья тоже не была зажиточной, юный студент постоянно подрабатывал рисованием и черчением, а иногда ходил вместе с сокурсниками в морской порт, работать грузчиком. И даже небольшая стипендия была подспорьем. А если и ее лишиться? В. Шниторов на тройки сдал экзаменационную сессию, поэтому не получил стипендию и страшно бедствовал. Когда Лотман увидел, что Виктор подвязывает веревочками обваливающиеся подошвы ботинок, он собрал группу и предложил каждому раскошелиться, чтобы получить определенную сумму денег. Хотя многим было тоже трудно, но все безропотно согласились и собрали Виктору средства на покупку обуви. Сколько раз потом, уже в почтенном возрасте, придется Лотману участвовать в сборе денег: для бедных студентов, для нуждающегося М. М. Бахтина, для политических заключенных...

Еще Лотман педантично следил за тем, чтобы учебный процесс протекал нормально, чтобы не было опозданий и прогулов. Когда Гречина отправилась хоронить отца (пограничная зона у Мельнич-

ного ручья), а потом помогать матери срочно собрать имущество для отъезда в Ленинград, она пропустила почти две недели занятий — и была встречена суровым вопросом Лотмана: «Оля, почему ты прогуляла 10 дней?» Узнав причину, он был очень смущен и огорчен.

Лотман активно участвовал как художник и литератор в местной самодеятельной периодике: в стенгазете, в журнале своей группы «На берегах Невы», который придумала и выпускала О. Гречина и который тоже объединял студентов общим интересом. Иными словами, Лотман был и формальным, и неформальным лидером, центральной фигурой в группе, да и весьма заметным на факультете. Его выступления в семинарах, блестящие ответы на экзаменах и зачетах обращали внимание всех профессоров и преподавателей.

Видное положение старосты почти целиком женской группы делало его объектом внимания и по мужской линии. Эх, если бы ему еще повыше рост и вообще помощнее физический облик! О. Гречина и И. Евсеева-Сидорова, совместно готовясь к экзаменам, тратили сказочные белые ночи на сочинение устного остросюжетного романа, где героем был Лев, сочетававший духовную значительность Лотмана со статью могучего красавца...

Недолго, однако, юному старосте удалось наслаждаться творческой и товарищеской университетской жизнью. Страна готовилась к будущим войнам. Нарком обороны К. Е. Ворошилов, как очень быстро узнали все молодые люди, сказал, что следует отменить студентам отсрочку призыва в армию, и все 18-летние юноши должны были проститься с «гражданкой». Большинство сокурсников Лотмана было призвано уже на первом году обучения, а 17-летний Лотман, перепрыгнувший в детстве через 1-й класс, сразу пойдя во 2-й, смог нормально закончить первый курс, а в начале второго постарался досрочно сдать некоторые зачеты и экзамены за весь год, что потом помогло ему при возврате в университет в 1946 году.

В АРМИИ И НА ФРОНТЕ

Осенью 1940 г. пришел черед и Лотмана — он уходил в армию. Пока было мирное время. Но уже отгремела «малая», «незнаменитая» война с Финляндией, и уже ожидалась «большая». Лотману пришлось прослужить в армии шесть лет, из них немислимо трудных четыре года «большой» войны с фашистской Германией. Конечно, шесть лет отвлечения от учебы и научной деятельности для молодого человека с прекрасной памятью и чрезвычайно работоспособного, жаждущего творить и творить, — большая, просто огромная потеря. Но нет худа без добра. Поколение Лотмана, прослужившее в армии почти год до начала войны, набралось армейской сноровки и выучки, и ему легче было освоить премудрости самой войны, чем безусым мальчикам, из школы попадавшим прямо на фронт, почти без всякого обучения. Ровесники Лотмана, призванные в 1940 году, оказались во всех смертоносных боях более живучими, более сохранившимися, чем юноши следующих годов рождения (1923—1927). Сам Лотман все четыре года боев на передовой, в самом пекле, не был даже ранен, только однажды сильно контужен. А он работал связистом в артиллерии, ему постоянно приходилось бегать и ползать по полям, разматывая и сматывая катушки проводов или ища разрывы на линии телефонной связи, — и это под пулями, минами, снарядами, бомбами. И судьба его хранила, и мастерство, умение.

Проводы ленинградских новобранцев были торжественными: перед эшелонами устроили митинг, говорили напутственные речи. В заключение попросил слово старый питерский рабочий, который оказался не совсем трезвым. Его напутствие было очень коротким: «Ребята! Гляжу я на вас и жалко мне вас. А пораздумаю я о вас, так и хрен с вами!» Вместо хрена звучало, разумеется, более короткое сло-

во. Вся наполненная народом площадь захохотала. Такая нестандартная речь не входила в замысел начальства, командир эшелона, нахмурившись, крикнул: «По вагонам!» — и все кончилось.

Сестра Лида, провожавшая брата, ушла рыдая. Майор, дирижер военного духового оркестра, игравшего на проводах, пытался утешить девушку, показывая на бравых музыкантов: вот ведь как в армии хорошо. Лида резонно ему возразила: «Если бы он был в вашей команде, я бы не плакала».

Сестра еще очень беспокоилась по поводу общения брата с товарищами по оружию. В. Бахтин передал нам интересный рассказ Л. М. Лотман, который он выслушал после кончины Лотмана: «В армию он ушел совсем мальчиком. И мы беспокоились — как он там, интеллигентный, тихий наш Юра, сойдется с ребятами из деревни, с городскими заводилами. Но вот ближе к концу войны все чаще стали забегать к нам солдаты — с приветами, письмами от него. И нас поражало, с каким уважением говорили они: «Лотман сказал». — «Лотман сказал: подлец, кто бросает книги врагу!» — и они собирали книги в оставленных библиотеках, везли их с собой, а потом, когда появлялась возможность, сдавали по назначению...»⁷ Лотман и в армии стал в кругу солдат негласным лидером.

Питерских новобранцев 1940 года повезли через всю европейскую часть страны в Грузию, под Кутаиси. Лотман попал в 427-й артиллерийский полк, позднее ставший гвардейской бригадой. Он входил во время войны в резерв главного командования, и его бросали на самые трудные и опасные участки — настолько он был укомплектован умелыми, мужественными и ответственными людьми.

Волна репрессий 1937—1938 гг., организованных Сталиным и его окружением, тяжело ударила по армии: были уничтожены чуть ли не 90% старших командиров (генералитета); из пяти маршалов остались в живых два самых малограмотных и дубоватых, знавших, как воюют с винтовками и пулеметами, и совсем не понимавших в новой технике, — К. Е. Ворошилов и С. М. Буденный; вскоре, в 1940 г., к ним присоединили новоиспеченного маршала С. К. Тимошенко, совершенно того же уровня, — но именно он сменил в 1940 г. Ворошилова на посту министра обороны. Бездарная армейская верхушка своим неумением воевать при ведущей роли авиации и танков обусловила страшные поражения и потери Советской Армии в первый год большой войны.

Но парадоксы истории таковы, что на место уничтоженных военачальников приходили молодые работники, большинство из которых было уже с хорошим современным образованием, а в условиях военного времени проходил жесткий отбор: выдвигались не чинов-

⁷ Бахтин В. В школе Лотмана. — «Санкт-Петербургские ведомости», 1993, 9 декабря.

ники и подхалимы, а талантливые, знающие, мужественные полководцы (к сожалению, советская профессиональная этика пренебрегала заботой о человеке; потому многие талантливые военачальники тех лет могли ради победы на своем участке совершенно не считаться с людскими потерями). В наиболее интеллектуальных родах войск — в авиации и артиллерии — молодые способные командиры были и нравственно значительно выше «среднего» армейского уровня. По крайней мере, в лотмановском полку большинство командиров берегло солдат, не бросало их бездумно в мясорубку боя, а когда Советская Армия вошла в Германию и во многих частях чуть ли не официально разрешались грабежи и мародерство, то полк (бригада), где служил Лотман, отличился безукоризненным поведением по отношению к местному населению; «грабили» только бесхозные склады и разбитые эшелоны. Впрочем, один раз, как рассказывал Лотман, его товарищи во время железнодорожной переброски полка на другой участок, украли на какой-то станции не из «чужого», а из отечественного грузового поезда, едущего на фронт, ящик, как им показалось в темноте, водки и ящик консервов. Увы, оказалось, что в одном находились бутылки с горючей смесью, а в другом — противотанковые гранаты без ручек.

Но мы забежали вперед. Армейская служба Лотмана началась в артиллерийском полку за 8 месяцев до начала Отечественной войны, и это были месяцы тяжелого труда в условиях проливных зимних дождей в грузинских бездорожных горах. Но зато это была хорошая профессиональная школа. Лотман очень тепло говорил о командире полка К. Дольсте, о командире батареи Григорьеве, командире взвода Шалиеве. Дольст, по иронии судьбы, был немцем, но он тщательно скрывал свое происхождение (иначе быть бы ему в лагере!) и выдавал себя за латыша. Это были настоящие, знающие артиллеристы, и они многому научили новобранцев за те 8 месяцев.

Лотману досталась нелегкая работа связиста: с двумя катушками проводов, каждая из которых весила 8 кг, он должен был прокладывать телефонную связь между соответствующими пунктами (радиопередатчиков тогда в Советской Армии было мало).

Вообще, армейская жизнь, тем более фронтовая, — это сплошной тяжелый труд, изматывающий, изнуряющий. Но Лотман, как филолог, умудрялся в нечастых перерывах учить французский язык (учебник прошел с ним всю войну; он сохранился у бывшего солдата, и, когда забирали в армию студента 1960-х гг. М. Я. Билинкиса, Лотман пришел его проводить и подарил тот самый учебник французского языка; М. Я. Билинкис хранит этот подарок как святыню). И еще начал учить трудный для европейца язык грузинский — к сожалению, недолго.

Весной 1941 г. полк был переведен на Украину, в район Шепетовки. На ростовском вокзале солдаты слышали из орущих громко-

говорителей (тогда радиорепродукторы были на всех углах!) опровержение ТАСС: английские газеты клеветают, что якобы в Советском Союзе происходит переброска военных частей к западной границе... На самом-то деле перебрасывали. За три дня до начала войны полк был поднят по боевой тревоге и ночными маршами, в строгой секретности («за курение ночью — расстрел на месте») переведен в район Могилева-Подольского, к «старой» (до 1939 г.) границе.

Видимо, в советском правительстве варилась сложная смесь из уверенности Сталина, что Гитлер не посмеет напасть, и желания все же иметь на западных границах достаточно сильную армию. Пока колебались — Гитлер и напал. 22 июня германская армия перешла западную границу нашей страны на всем громадном ее протяжении.

Лотмановский полк развернулся на «старой» границе, на высоком берегу Днестра, и три дня ждал, когда немцы пройдут поля Молдавии. Похоже, что наших войск там, впереди, не было. Через три дня начались ожесточенные бои, и полк мужественно держал фронт двое суток. Советская артиллерия уже в начале войны была лучше немецкой, но она была бессильна сражаться в одиночку (или вместе с пехотой). Превосходство немцев в авиации и танках было бесспорным, и это решало исходы битв первых месяцев войны. Ведь скорострельная пушка танка делала чуть ли не семь выстрелов в промежутке выстрелов обычной пушки, да еще не все орудия могли пробивать прочную броню танков. Поэтому дуэли танки — артиллерия кончались всегда победой танков. Началось отступление. Главным образом, ночное: немцы ночью спали, не воевали, поэтому можно было за ночь оторваться километров за 30—40. Почему не больше? Да потому, что скоростные тягачи пушек были немецкими танками и самолетами перебиты в первые же дни войны и потом пришлось реквизировать у колхозов гусеничные тракторы, скорость которых была 6 километров в час, так что артиллеристы передвигались со скоростью пеших солдат.

Началось многомесячное отступление по южной Украине. В июльскую и августовскую жару. По безводной степи. Все колодцы уже были вычерпаны отступавшими раньше. Часто единственным питьем были арбузы (на Украине много бахчей), соком арбуза и умывались. Однажды, придя поздно ночью в пустой, брошенный хутор, Лотман с группой солдат обнаружил в сарае полную бочку с кисленькой влагой. «Квас!» — закричали ребята и ополовинили бочку. Завалились спать. А утром появилась откуда-то хозяйка и сообщила, что она в той бочке развела навоз — чтобы поливать-удобрять огород.

Так как немцы прорывались ударными танковыми колоннами и часто высаживали с неба парашютные десанты, то артиллеристы часто оказывались в окружении, но, опять же ночами, благополучно выбирались. Лотман запомнил стоявшего у какого-то леска добровольца-майора, который всю ночь показывал разрозненным группам

и одиночкам, выбиравшимся из окружения, как, минуя передовые немецкие посты, пройти к своим.

От грязи, ненормальной еды и ненормального сна (научились, держась за лафет пушки, идти и на ходу спать) у Лотмана развился сильный фурункулез, все тело покрылось чирьями; ступни и пальцы ног были стерты до крови от непосильных пеших маршей — но все это преодолевалось силой духа и оптимистической, казалось бы, ни на чем не основанной верой в победу над фашизмом.

Лотман вообще был от природы оптимист, и хотя его нелегкая судьба мало давала пищи для поддержания этого настроения, он все-таки в целом оставался верен своей натуре. Он так формулировал свое состояние уже в конце жизни: «Как человек я по природе своей оптимист, но как относительно информированный историк я слишком часто сталкиваюсь с необходимостью ограничивать эту свою склонность» (запись Л. М. Лотман; Лотм. сб. 1. С. 145).

С первых же дней войны Лотман и его товарищи смогли преодолеть самое неприятное в условиях фронта чувство — страх. Оказавшись в самом пекле боев, в непрерывных обстрелах и бомбежках, они в какой-то степени «привыкли» к такому образу жизни, а повседневность страха постепенно его улетучивает. Позднее, когда Лотман стал сержантом и воспитывал молодое поколение только что пришедших в армию, он учил бороться со страхом таким образом: брал с собой молодого солдата на самые обстреливаемые участки и, обучая профессиональной сноровке, заодно отодвигал страхи. Зато поражался нравственному ничтожеству некоторых военных вельмож. Однажды, проводя связь на какой-то очень важный командный пункт, Лотман увидел в землянке под тремя накатами бледного маршала Тимошенко, губы которого тряслись и он еле выговаривал слова, — а всего-то была обычная артиллерийская дуэль.

К зиме 1941/42 года фронт остановился, кое-где наши войска даже переходили в наступление, это были месяцы некоторой передышки, Лотману удалось преодолеть неприятные физические недуги, но душа его болела от полного незнания судьбы домашних. До солдат докатывались слухи о ленинградской блокаде, о сильном голоде — но конкретно Лотман ничего не знал. В хаосе отступления, конечно, никакая почта не работала, письма не шли ни из дома, ни домой, хотя обе стороны пытались писать постоянно. В блокадный Ленинград почта все же прорывалась через Ладожское озеро. И когда отступление прекратилось, то и фронтовая почта заработала. 31 декабря 1941 г. от Лотмана-солдата пришла первая открытка — трудно вообразить что-либо более ценное и радостное из новогодних подарков. «Мальчик жив!» — воскликнул больной отец. Семья в самом деле голодала, но работа женщин в военных госпиталях (там работала в те месяцы и сестра Лида) давала хоть какие-то прибавки к блокадному рациону. Хуже всего было Лотману-отцу, он долго болел

(простудился), ослабленный организм не мог сопротивляться, появившийся стрептоцид, который дочери получали, меняли на драгоценный хлеб, лишь паллиативно помогал, отец прожил только два первых месяца 1942 года и скончался от воспаления легких. Но незадолго до кончины он собрал дочерей и попросил их поклясться, что вернувшемуся Юре они помогут закончить университет.

В последующие армейские месяцы и годы переписка Лотмана с семьей стала относительно регулярной, если не считать смутного лета 1942 г., когда опять началось сильное немецкое наступление, откатившее нашу армию до Волги и предгорий Кавказа. В начале лета, выходя из окружения между Донбассом и Доном, артиллерийский полк рассыпался на малые группы, Лотман переправлялся через Дон уже в одиночку, затем полк был собран, доукомплектован, и его направили обходным путем на Северный Кавказ, в район Моздока (Ингушетия), а потом на защиту Владикавказа, столицы Северной Осетии, который тогда назывался Орджоникидзе. Это были последние бои отступающей Советской Армии, с поздней осени 1942 г. началось всеобщее наступление.

Лотман прошел со своим полком через Крым, Донбасс, Западную Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Восточную Пруссию... Храбро и мужественно воевал, получал ордена и медали, а все свободное время посвящал учебе. В завоеванных городах, особенно на Западе, попадалось много бесхозных книг на немецком, на французском языках. Лотман старался набирать, сколько можно, с собой. Добыл томик стихотворений Гейне, перевел некоторые из них на русский язык, послал сестре Лиде. Простудировал «Закат Европы» Шпенглера, осилил несколько произведений В. Гюго и А. Дюма на французском, впервые прочитал изданную за рубежом «Белую гвардию» М. Булгакова. В письмах упоминаются еще «Обрыв» Гончарова, романы Б. Келлермана, стихотворения Б. Пастернака, К. Симонова, М. Дудина. Появилась возможность получать книжные бандероли. Сестры и довоенные сокурсницы, которые узнали фронтовой адрес Лотмана у Лиды, обильно посылали ему художественную литературу.

Памятные с детства основы немецкого языка Лотман совершенствовал, постоянно читая немецкие романы и стихотворения, общаясь с местным населением, а приобретенные познания во французском применил однажды в важном деле: группа французских военнопленных, освобожденных Советской Армией, пробиралась домой, а в том именно месте, где стоял артиллерийский полк, эти люди никак не могли объясниться с местными немецкими администраторами, и Лотман выступил как переводчик между французами и немцами.

Талантливый интеллигентный лейтенант из лотмановского полка Анатолий Томашевич объединил вокруг себя около пятидесяти музыкантов, декламаторов, драматических артистов, циркачей — и создал фронтовой театр, который имел громадный успех у изголо-

давшихся по культуре солдат и офицеров. Лотман стал художником в этом театре, декоратором. Были комические казусы, предвещавшие, однако, будущие невежественные акции руководителей советской культуры. Например, для каких-то сцен из античной драматургии Лотман нарисовал задник с античными богинями; принимавший спектакль крупный политработник (тогда все спектакли предварительно цензуровались) решил, что фигуры голых богинь взяты из оставшихся запасов немецкого театра, и потребовал немедленно убрать этих «немецких б...»; лишь когда художник объяснил, что это он сам вчера нарисовал, то милостиво разрешил.

Еще Лотман вместе с профессиональными художниками работал над изготовлением больших портретов вождей для армейского клуба и для праздничных стендов на улице. Рассказывал потом, как bravо научился передавать грубую фактуру шинелей и усов с помощью швабры, макаемой в краску. Рисовали обычно «по клеточкам»: образец разлиновывали карандашом на клетки и потом воспроизводили на тоже разлинованном холсте каждую клетку, увеличив ее соответственно в 5, 10, 20 раз. Один раз тоже возник комический казус: кандидатом в депутаты Верховного Совета от группы оккупационных войск в Германии был назначен В.С. Абакумов, правая рука Берии, глава КГБ. И так как он, видимо, считался сверхсекретной персоной, то на предвыборном плакате, откуда художникам предстояло срисовать лицо на 3-метровый холст, облик был нарочно размыт. Пришлось, прибегая к фантазии, самим сочинять, что стояло за той «кляксой». И когда в клуб на встречу с избирателями пришел сам Абакумов, то Лотман вместе со своим напарником Хачиком Галюмеряном чуть в обморок не упали: ну ничего похожего! Сошло. Хачик даже фантазировал — подойти бы к министру и сказать: «Товарищ Абакумов, дай я тебе сейчас морду на квадратики разобью, — мы живо срисуем».

Как уже говорилось, артиллерийский полк отличался в Германии нравственным поведением, отвращением к грабегам и мародерству. Брали лишь бесхозное (в складах, разбитых эшелонах), да и то солдаты больше думали о своих близких на родине: в связи с разрешением отправлять домой почтовые посылки, старались порадовать родных извлекаемыми из брошенных немецких армейских складов промтоварами и продуктами, главным образом — сахаром. И Лотман единственный раз в жизни послал домой посылку с сахаром. Характерно, что товарищ Лотмана, желавший приобрести для страстно ожидаемого часа демобилизации штатский костюм, мог бы его «реквизировать» почти в любой местной семье, но он честно откладывал получаемые за оккупационное пребывание небольшие немецкие деньги, предполагая потом купить отрез ткани или готовый костюм. Однако произошла вдруг денежная реформа, менялась немецкая марка, и товарищ срочно купил на сбережения мешок муки, надеясь

его затем продать. Но заниматься продажей он не стал, а друзья понемножечку выпрашивали у него муку на блинчики-оладушки, приговаривая: ну, мы лишь один рукавчик от пиджака съедим, не больше. А потом и весь пиджак съели, и перешли к брюкам — и кончился весь мешок... Так что разные были оккупанты.

Пребывание в армии по окончании большой войны было мучительным. Слухов о демобилизации совсем не было, зато появились разговоры, что Советскую Армию перебросят в Китай на помощь китайским коммунистам, воевавшим с «буржуазным» Гоминданом; что солдаты призыва 1940 года (сколько ребят осталось в живых от того призыва?!) должны нести армейскую службу еще полтора года, чтобы вышел весь «мирный» армейский срок...

Лишь в конце 1946 г., т. е. именно через полтора года по окончании войны, Лотман смог демобилизоваться. Домой! Приехал в Ленинград глубокой ночью; попросил подвезти от вокзала машину «скорой помощи». Можно лишь приблизительно представить ту ликующую радость, которую испытали все члены семьи, когда сын и брат после шестилетнего отсутствия, после четырех лет страшной войны наконец оказался дома.

Возвращение солдата живым и невредимым после четырех лет тяжелейших боев всеми воспринималось как чудо. По неофициальной статистике, призванных в армию юношей 1922 г. рождения вернулось с войны всего 5%. А ведь Лотман, как уже говорилось, даже ранен ни разу не был, лишь однажды сильно контужен от близкого разрыва снаряда (физиологический парадокс: до войны Лотман очень заикался; волнуясь на экзамене, он вообще мог замолчать, настолько парализовались мускулы речи; контузия оказала какое-то мощное воздействие на нервную систему управления голосом — и заикание почти исчезло, оно возникало лишь при очень сильном волнении). Но сколько было поводов войти в 95% погибших! Непрерывные окружения осенью 1941 года (Лотман рассказывал, что держал в кармане гимнастерки толстый карандаш, твердо решив в плен не сдаваться: при безвыходном положении кисть руки с помощью карандаша достает до курка винтовки, обращенной к своему лицу; пистолетов у солдат не было). Тысячекратная игра со смертью: связист постоянно ползал под обстрелом вдоль телефонного провода на открытых местах, соединяя куски, разорванные снарядами и бомбами. А один раз Лотман чуть не угодил на тот свет из-за ярости истеричного командира: тому показалось, что солдат нерасторопно соединяет провода, и он готов был расстрелять подчиненного; револьвер дал осечку, командир опомнился, даже расплакался... Чудом, подлинным чудом оказался солдат дома декабрьской ночью 1946 года.

СНОВА ЛЕНИНГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (1946—1950)

Как только наступило утро, Лотман помчался в университет. Его без труда зачислили на второй курс. Хотя третий семестр, т. е. осенний семестр 2-го курса, уже кончался, оставалось две недели до экзаменационной сессии, но, во-первых, некоторые предметы Лотман успел сдать еще в 1940 году, а во-вторых, он настолько бешено, интенсивно занялся текущими предметами, что быстро догнал и перегнал новых товарищей: новых потому, что старые, не служившие в армии, но, впрочем, пережившие блокаду и вынужденные во время войны — почти все — не учиться, а работать, уже закончили или заканчивали университет.

Выглядел тогда Лотман как типичный демобилизованный солдат: в военной гимнастерке, в высоких сапогах, чуть ли не трофейных, худой — и без знакомых всем усов. Он их умудрился отрастить в армии, но начальство возмутилось; Лотмана вызвали к полковнику, и тот потребовал сбрить⁸. Но в Ленинграде студент быстро восстановил усы в прежнем виде и потом их уже никогда не сбрасывал. Они стали легендарными, обрастали мифами (далее о них еще пойдет речь). По моей версии, причина — в художественной интуиции Лотмана: большие усы гармонично сглаживали слишком заметный крупный нос.

На том 2-м курсе, куда перешел наш студент, т. е. курсе набора послевоенного 1945 года, было восемь групп русистов (точнее сказать: «групп отделения русского языка и литературы», но для краткости употреблялось одно слово). На 1-м курсе группы состояли из 20—25 человек, но потом они уменьшались, некоторые чуть не наполовину: кто-то плохо сдавал экзаменационные сессии и отсеивался,

⁸ Качурин М. Г. «На предмет побрития усов...» — «Таллинн», 1996, № 2. С. 102.

кто-то уезжал из Ленинграда, а когда в 1946 г. организовался факультет журналистики, то некоторые студенты перешли туда. Но руководство факультета не сливало маленькие группы, они таковыми и остались до конца учебы (может быть, потому, что как раз 10—12 человек — норма для небольших групп на занятиях иностранным языком, и каждую из групп уже не надо было делить пополам). Лотман был зачислен в 5-ю группу — она, наверное, была самой небольшой, всего человек 12. Наиболее тесная человеческая связь была между студентами 4-й и 5-й групп: обе они были «французские», т. е. в качестве иностранного языка изучался французский, но это не самое главное. В 4-й группе ведущую роль играли «фронтовики», т. е. бывшие фронтовики, участники Отечественной войны 1941—1945 гг.: Владимир Соломонович Гельман-Бахтин, Лев Александрович Дмитриев, Марк Григорьевич Качурин, в будущем известные литературоведы; они сразу вовлекли и Лотмана в свой дружеский круг. В этот круг входили и студенты из других групп: тоже фронтовики Евгений Александрович Маймин (будущий профессор, зав. кафедрой в Псковском пединституте) и испанист Николай Борисович Томашевский, будущий известный переводчик. Вообще процент мужского пола на русском отделении филфака стал более весомым, чем раньше, стоит вспомнить, что из нефронтовиков на том курсе учились будущие известные литературоведы Сергей Васильевич Владимиров, Евгений Соломонович Калмановский, Марк Константинович Перкаль. Из фронтовиков в 5-й группе нужно назвать Виктора Сергеевича Маслоva, впоследствии доцента ЛГУ; но он не входил в узкий дружеский круг Лотмана.

Теперь состав групп и курса в целом был очень не похож на контингент 1939—1940 гг. Юноши почти все пришли из армии, были уже «в возрасте», да и невоевавшие были постарше, а девушки, наоборот, 17—18-летние школьницы, сразу поступившие в университет. Но мужская солидность лишь способствовала сближению студентов, отношения в целом были очень дружескими. Были частые коллективные празднования (в 5-й группе, как правило, — в квартире Лотмана, он жил ближе всего к университету, в начале Невского проспекта), коллективные подготовки к экзаменам. Сближались и со студентами других групп, так как на общих лекциях, на спецкурсах и спецсеминарах группы объединялись или перемешивались, то, конечно, было близкое знакомство и с сокурсниками из других групп. Например, Фаина Семеновна Сонкина, адресат интереснейших писем Лотмана, училась в 1-й группе — с иностранным немецким языком.

По тогдашним вузовским правилам каждую студенческую группу должен был опекать кто-то из преподавателей или аспирантов, назначаемых от кафедр факультета, такой опекун назывался куратором. В 4-й группе куратором был молодой тогда преподаватель Георгий Пантелеймонович Макогоненко (1912—1986), будущий про-

фессор и заведующий кафедрой русской литературы, а в 5-й — аспирант Моисей Михайлович Гин (1919—1984), тоже будущий профессор и заведующий кафедрой русской литературы Петрозаводского университета. В каждой группе полагался, как уже говорилось, свой студенческий староста. В 4-й ею была Надежда Феокистовна Дробленкова, впоследствии известная исследовательница древнерусской литературы, научный сотрудник отдела в Пушкинском Доме, руководимого Д. С. Лихачевым, кандидат филологических наук, автор многих ценных трудов; в 5-й — Маргарита Ивановна Халевина, в будущем — аспирантка А. С. Долинина по пединституту им. М. Н. Покровского, потом — кандидат филологических наук и преподаватель в ленинградских вузах. Автор этих строк очень благодарен ей и В. С. Бахтину за подробные рассказы о студенческой жизни Лотмана.

Уже в первые месяцы пребывания на факультете он поражал сокурсников своими познаниями. М. Халевина вспоминает, как он сдавал экзамен по русской литературе XVIII века. Курс лекций прочитал проф. П. Н. Берков, а экзамен принимал Г. П. Макогоненко (такое часто практиковалось: почтенные профессора просили кафедральную молодежь помогать при приеме экзаменов). И когда отвечал Лотман, то всем присутствующим стало ясно: вместо традиционной пары «учитель—ученик» как бы образовалась беседа на равных между двумя учеными, двумя творческими личностями.

В дальнейшем Лотман, как хороший знаток, бескорыстно и активно помогал сокурсникам перед экзаменами овладевать обширнейшим кругом литературного материала, который он уже сам познал в совершенстве. М. Г. Качурин вспоминает⁹, что Лотману помогала не только изумительная память, но и своеобразная картотека: он резал тетрадные листы на три части и на пачке таких продолговатых карточек конспективно записывал содержание того или другого курса лекций. Со студенческих лет он приучался к созданию научных картотек.

Советская молодежь предвоенных, военных и первых послевоенных лет в основной своей массе была воспитана на высоких, доходящих до романтизма, социалистических идеалах, суровая жизнь и суровые лозунги правящей верхушки трансформировались в ее, молодежи, мировоззрении и душах в аскетическую стойкость, в повышенную нравственную требовательность к себе и к своим ближним. Лотмановский круг не был исключением.

Характерна в этом отношении история с Евгением Калмановским. Он перевелся на третий курс, придя на факультет чуть позже Лотмана, из Саратовского университета, где он был любимым учеником Гуковского (который, видимо, и способствовал переводу студента

⁹ Качурин М. Г. «На предмет побрития усов...» — «Таллинн», 1996, № 2. С. 104.

в Ленинград). Некоторые воспитанники Гуковского жадно воспринимали, наряду с содержанием, и артистическую форму личности учителя и стремились, конечно, подражать ей. Были в ходу «гуковизмы», т. е. каламбуры, парадоксальные выкрутасы, оригинальные истолкования обычных явлений. Калмановский был тоже таким типичным «гуковистом», но он еще отличался ярко выраженным индивидуализмом, стремился выглядеть «Чайльд-Гарольдом каким-то», разочарованным и высокомерным. Уклонялся от коллективных дружеских собраний, от участия в первомайской и ноябрьской демонстрациях, когда весь город дефилировал через Дворцовую площадь (подобно тому как Москва проходила через Красную площадь), а если и участвовал, то отказывался нести портреты вождей и транспаранты с лозунгами.

Кажется, последней каплей, переполнившей чашу терпения сокурсников, была его реплика по адресу народных сказительниц (хранителей и исполнителей фольклора): «Противные старухи»; это особенно возмутило старосту Н. Дробленкову, уже тогда специализировавшуюся в области древнерусской литературы. Решили вынести персональное дело Калмановского на комсомольское собрание. А тут, как всегда в те времена, обрадовались хранители советской нравственности, со стороны официальных партийных инстанций начался нажим; от Н. Дробленковой потребовали, чтобы она произнесла разгромную речь, но она решительно отказалась, увидев, к чему пытаются склонить весы «правосудия». Мнения вообще разделились, но многие голосовали за исключение сокурсника из комсомола. Возмущение комсомольцев поддерживали партийные фронтовики (Калмановский позднее рассказывал мне, что он особенно был обижен, как ему казалось, на поддержку комсомольского экстремизма со стороны Лотмана и М. Качурина, воспринимая их поведение как официальное, хотя на самом-то деле это было раздражение многие переживших мужчин по поводу «выпендривания» мальчишки). Если бы исключение тогда, в страшное время последних сталинских лет, состоялось, неизвестно, как сложилась бы судьба юноши, но райком комсомола, не желая шумной истории, не утвердил исключение. Ограничились выговором.

Вообще тогда разборки и проработки на комсомольских и партийных студенческих собраниях, фактически отражая общую «проработочную» атмосферу страны, были весьма типичны. Например, на комсомольском собрании курса возникло персональное дело Николая Томашевского: как это он посмел в качестве темы курсовой работы взять творчество Лорки! Великий испанский поэт тогда воспринимался в качестве декадента!

Лотман на «отлично» сдал самую первую сессию, получил повышенную стипендию (что для него было очень существенно: не желая обременять мать и сестер, он готов был в случае, если бы стипендии

ему не дали, оставить стационарное дневное отделение, переведясь на вечернее или заочное, и пойти работать). С третьего курса он начал получать Сталинскую стипендию в 500 руб. (почти в два раза больше обычной); ее давали круглым отличникам, хорошо зарекомендовавшим себя еще и в научной и общественной работе.

И начались три с половиной года ликующего счастья молодого ученого: после стольких лет вынужденного занятия совсем не научными делами каждодневно иметь возможность по 16 часов посвящать учебе и творчеству. Как и до войны, Лотман целиком погрузился в филологию. Он сам признавался: «...с какой-то жадностью алкоголика принялся за работу. Из университета я бежал в Публичку и читал там до самого закрытия. Это было совершенно осязаемое чувство счастья» (Лотм. сб. 1. С. 34).

Стало ясно, что жизнь будет отдана науке. В буквальном смысле. Когда в 1980-х гг. Лотман сдружился с ленинградскими физиологами, занимавшимися изучением разных функций двух полушарий головного мозга и с помощью электрошоков отключавшими у обследуемых душевнобольных одну половину, он увидел в этих опытах ограниченность, посчитав, что нужно исследовать и здоровых людей, — и предложил себя для опасного эксперимента¹⁰. А сжигание своего организма непосильным научным трудом, что в конечном счете привело к преждевременной кончине, — разве это не отдача жизни науке?

После войны университет по-прежнему славился выдающимися научными силами. Основной раздел истории русской литературы — XIX век, по тогдашнему обычаю, делился на три части. Первую треть читал доцент Н. И. Мордовченко (о нем будет речь ниже) — читал обстоятельно и скучновато, студенты не любили его лекций и часто прогуливали; Лотман горячо убеждал сокурсников, что они легкомысленны, не понимают всей глубины лекций Мордовченко, но широкой студенческой массе, увы, нужно не только содержание, но и яркая, живая форма изложения. Среднюю часть XIX века читал доцент Александр Григорьевич Дементьев (1904—1986). Умный, знающий, хитроватый, он представлял собой парадоксальную смесь партийного функционера и серьезного ученого, разрабатывавшего сложные разделы в истории русской общественной мысли, особенно разделы о славянофилах и о консервативной журналистике. Его забирали в Москву, в столице нужны были такие толковые партийные литературоведы (Дементьев позднее станет замечательнейшим «комиссаром» при А. Т. Твардовском как руководителе журнала «Новый мир»). Дементьев огорчил и испугал студентов тем, что экзамен по его курсу уже будет принимать доцент И. Г. Ямпольский, славившийся придирчивостью и строгостью оценок.

¹⁰ См.: *Иванов Вяч. Вс.* Голубой зверь. (Воспоминания). — «Звезда», 1995, № 3. С. 176.

Последнюю треть XIX века читал кумир студентов, один из самых блистательных лекторов университета профессор Григорий Абрамович Бялый (1905—1987). На его общих лекциях и лекциях по спецкурсам (о Тургеневе и о Чехове) яблоку негде было упасть; деканат старался выделить ему самые большие аудитории факультета (когда в 1949 г. власти громили «космополитов», то «мероприятие» частично задело и Бялого: его обвинили в уничтожении советской литературы — якобы из-за блестящего прочтения и необычно высокой оценки курса русской литературы XIX века). Русскую литературу начала XX века читал тоже замечательный специалист доцент (потом профессор) Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904—1987). Один из лучших исследователей русской поэзии XX века, он не мог при тогдашних идеологических условиях довести до конца свою докторскую диссертацию об А. Блоке и позднее написал новую, о Лермонтове.

Курс советской литературы читал профессор Лев Абрамович Плоткин (1905—1978), знающий специалист, но цинический, беспринципный, излагавший материал в свете последних партийных указаний, а не по объективным критериям.

Из других преподавателей следует отметить читавшего «Введение в славяноведение» проф. Константина Александровича Копержинского (1894—1954), зав. кафедрой славянских литератур; он же преподавал польский язык. Большой курс зарубежных литератур студентам читали: средневековые — проф. Александр Александрович Смирнов (1883—1962), известный литературовед и переводчик, новый период — проф. Мария Лазаревна Тронская (1896—1987), видный специалист по немецкой литературе, новейший период (с конца XIX в.) — проф. Александр Львович Григорьев (1904—1990), зав. кафедрой зарубежных литератур пединститута им. А. И. Герцена. Таким образом, основные предметы послевоенным студентам читались самыми крупными литературоведами Ленинграда.

Большинство преподавателей, проводивших практические занятия, тоже принадлежали к специалистам самой высокой категории. Французский язык в 5-й группе преподавала кандидат наук, известная переводчица Ольга Сергеевна Заботкина. А практические занятия по основам марксизма-ленинизма вел не начетчик-талмудист (коих тогда уже немало было в вузах!), а научный, творческий преподаватель Марк Яковлевич Ратгаузер, из-за своей не лакейской самостоятельности потом, во времена борьбы с космополитами, арестованный и отправленный в ГУЛАГ.

Спецкурсы и спецсеминары на русском отделении вели, помимо указанных, самые выдающиеся специалисты: Г. А. Гуковский, М. К. Азадовский, Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Томашевский, А. С. Долинин.

Студентам к третьему курсу надо было выбирать руководителя спецсеминара. По давней традиции студент русского отделения

филфака с третьего курса, во-первых, определял свою основную специальность: лингвистом он хотел быть или литературоведом, а затем выбирал определенный спецсеминар. Можно было потом и менять пристанище: на третьем курсе быть в одном семинаре, на четвертом — в другом, а на пятом курсе, при утверждении темы дипломной работы, попасть под крыло уже третьего руководителя. Но целеустремленные студенты, избрав семинар и руководителя в начале третьего курса, уже оставались верны «направлению» все последующие три года: оставались в одном семинаре и на третьем, и на четвертом курсах и потом дипломную работу писали под руководством того же ученого, к которому пришли вначале.

Интерес Лотмана к фольклору, проявившийся в предвоенное время, видимо, теперь ослабел, его потянуло на занятия русской литературой конца XVIII — начала XIX в., очень мало исследованной, но многое объясняющей в истории отечественной культуры следующих эпох. Общим кумиром студентов был, конечно, Г. А. Гуковский, занимавшийся именно тем периодом. Но что-то сдерживало Лотмана.

Григорий Александрович Гуковский, как уже говорилось, — один из самых талантливых питерских литературоведов. Прекрасный лектор, импровизатор, человек, хорошо понимавший и чувствовавший художественные начала, мастерски читавший стихи, вообще — артист на кафедре, завораживавший аудиторию не только манерой изложения, но и фейерверком идей и перспектив, он был окружен славой и поклонением. Его книги и статьи несколько бледнели по сравнению с устными лекциями и докладами — ступевывалась живая артистичность, но и они имели большой успех у научной молодежи.

Выдающиеся преподавательские, организационные, научные способности выдвигали Гуковского на самое видное место, заслуги его признавали даже недруги, и он по праву еще с довоенных времен возглавлял кафедру русской литературы: с 1939 по 1943-й и с 1946 по 1949 годы (в перерыве, из-за эвакуации, он работал в Саратовском университете, в 1945—1946 гг. был даже там проректором по научной работе).

Почему же Лотман не пошел в спецсеминар к этому талантливейшему человеку? Автору этих строк он объяснял это двумя причинами: во-первых, скромному и сдержанному Лотману был чужд слишком открытый, бушующий, даже любивший рисоваться характер профессора; во-вторых, и это главное, — он видел и знал, что коллеги оспаривали некоторые его концепции, где за эффектной внешностью не всегда существовали строго проверенные факты, концепции иногда создавались на натяжках, на неточностях: генератору идей важно было выдвинуть яркую, новаторскую идею, а обеспечение ее фундаментальной конкретикой отставало, иногда же и вообще игнорировалось.

В значительном, содержательном очерке «Томашевский и Гуковский» (Лотм. сб. 1. С. 54—64) Лотман справедливо отметил, что, создавая концепцию Гоголя как народного и реалистического писателя, Гуковский фактически игнорировал «Выбранные места из переписки с друзьями»: «Его Гоголь не должен был писать “Выбранные места...”» (С. 64). А Лотман по натуре и воспитанию желал прежде всего изучить максимально большое количество конкретного материала, а потом уже делать выводы. Гуковский предпочитал дедукцию, Лотман — индукцию.

Поэтому, неожиданно для всех, он пошел в спецсеминар внешне неброского, незаметного доцента Н. И. Мордовченко (он чувствовал, что тем самым нанес обиду Гуковскому, уже рассчитывавшему на руководство талантливым студентом, но иначе поступить не мог).

Николай Иванович Мордовченко (1904—1951), заведующий кафедрой русской литературы с 1949 г., после ареста Гуковского, был добротным, объективным литературоведом, свои концепции строившим на фундаментальном материале. Он был учеником Ю. Г. Оксмана, делал выводы лишь после всестороннего изучения и самого художественного объекта (писателя или произведения), и его обширного фона, включавшего «соседних» писателей и произведения, журналистику и критику, общественно-политические и философские течения, а также все, что касается предшествующих этапов развития культуры, влиявших на объект; большое внимание уделялось работе в архивах. Недаром, прежде чем приступить к исследованию Пушкина и его современников, Мордовченко обстоятельнейше занялся тогдашней журналистикой и критикой: докторскую диссертацию, защищенную в 1948 г., он посвятил литературной критике первой четверти XIX в., а потом подготовил большой труд «В. Белинский и русская литература его времени» (вышел в 1950 г.). В методе Мордовченко, как и у его учителя Оксмана, чувствовалась закваска русского позитивизма XIX — начала XX века, оказавшего решающее воздействие на формирование методов петербургских-ленинградских литературоведов (обстоятельнейшее накопление материалов, детальнейшее изучение «фона» во всех аспектах, от социально-политического до бытового, нелюбовь к «глобальным» обобщениям). Эти принципы передались и ученику — Лотману. Правда, другие влияния (гегельянство, главным образом) тянули Лотмана именно к всеобъемлющим обобщениям, чуждым и Оксману, и Мордовченко. Но «генерализация» (термин Б. М. Эйхенбаума) — тоже характерная черта русского литературоведения, может быть, не столько петербургского, сколько московского и более южного (Харьков, Саратов и др.). Опираясь на философский фундамент (не обязательно гегельянство, участвовали еще неокантианство и психологические школы) и на теоретические достижения мирового языкознания, некоторые ученые (М. М. Бахтин, А. П. Скафтымов, ведущие формалисты, настоящие,

в отличие от приспособленцев, гегельянцы-марксисты во главе с Д. Лукачем) достигали в своих трудах крупных и перспективных обобщений. Лотман и у них учился, но — главным образом — позднее, в тартуский период, когда он стал более самостоятельным. В молодые же годы более заметно влияние Оксмана—Мордовченко.

Я имел счастье слушать спецкурс по Белинскому, который Николай Иванович читал с сентября 1947 года. Не было никакой импровизации, артистизма, романтических дальних перспектив: лектор спокойно и подробно разворачивал соответствующие темы, постоянно заглядывая в тетрадку. Отсутствие эффектов и много «скучных» разделов спецкурса с громадным количеством материала отваживало от него студентов, ходило всего 3—4 человека, но фундаментальная научная ценность записей нами осозналась много позже: эти записи очень своеобразно, объемно корреспондировали с печатной книгой 1950 г., создавая стереоскопический эффект восприятия.

Абсолютная честность научной работы полностью соответствовала его личным человеческим качествам. Вообще Мордовченко был одним из самых благородных, неслегка мужественных преподавателей филфака. Он достойнейше вел себя во время политических «космополитических» кампаний конца сороковых годов и достойнейше встретил неожиданную смерть. Умирая после неудачной операции, он торопился пересказать жене замысел монографии об «Евгении Онегине» и других своих намеченных трудов. Много не успел сделать этот замечательный человек...

Вот к кому пошел учиться Лотман на третьем курсе (впрочем, он уже полгода второго курса участвовал в работе спецсеминара своего нового учителя). Спецсеминар в 1947 г. Мордовченко объявил как раз по «Евгению Онегину». Он раздал записавшимся по одной главе, и каждый должен был создать к концу учебного года небольшую монографию о «своей» главе: творческая история, текстология, художественный строй главы, отзывы в критике.

Но жадный к творчеству Лотман не ограничился «Евгением Онегиным». По какому-то наитию ему с самого начала новой студенческой жизни захотелось серьезно заняться переходом к «настоящей» художественной русской литературе (Пушкин, Лермонтов, Гоголь и т. д.) от ее ростков предшествующего столетия, особенно деятельностью Карамзина и как литератора, и как реформатора языка, и как журналиста. Это был мужественный шаг: ведь в идеологически суровые сороковые годы Карамзин числился в отсталых консерваторах: монархист, идеалист и т. д. Заниматься им — значит совершить отважный поступок, а руководитель Мордовченко, да и заведующий кафедрой Гуковский, разрешая студенту писать курсовые работы о монархисте и идеалисте, тоже оказывались мужественными людьми.

Лотман в 1947 г. написал курсовое сочинение о карамзинском журнале «Вестник Европы», а в 1948 г. — «Карамзин и масоны». Пер-

вую работу Лотман и в конце своей жизни считал самой любимой. Вот как он рассказывал о ней в своих воспоминаниях: «Карамзин декларировал, что «Вестник Европы» будет журналом полностью переводным, публикующим информацию о новейших событиях в Европе. Источники он указывал очень глухо или не указывал их вообще. Я занимался поисками источников. Было совершенно не сравнимым ни с чем наслаждением сидеть в пустой комнате Публичной библиотеки, где стояли французские журналы, и рыться в них, пока не начнут выгонять (т. е. пока библиотека не закроется вечером. — Б. Е.). Скоро обнаружилось, что Карамзин очень неточно указывал свои источники и фактически публиковал не переводы, а очень тенденциозные пересказы, делавшиеся с отчетливой ориентацией на события русской жизни. Например, мне удалось доказать, что Карамзин откликнулся на гибель Радищева, замаскировав этот отклик под перевод с французского» (Лотм. сб. 1. С. 34). Обе студенческие работы были тотчас же приняты Гуковским для публикации в академическом сборнике «XVIII век». И — о ужас — когда в 1949 г. Гуковского неожиданно арестовали (в городе на Неве тревожно расходились репрессивные волны вокруг политического «ленинградского дела»), обе эти статьи вместе с архивом профессора бесследно исчезли в КГБ. Одна из обидных потерь нашего времени (слава Богу, у Лотмана сохранились черновые материалы, и некоторые из них он потом использовал в позднейшей статье об эволюции мировоззрения Карамзина — о ней у нас пойдет речь ниже).

А Гуковский через год скончался, находясь под следствием в Лефортовской тюрьме. Еще более страшная потеря.

Единственно, что Лотман успел реализовать из своих первых студенческих работ, это опубликовать замечательную находку, появившуюся в виде научной статьи в «Вестнике Ленинградского университета» (1949, № 7): «“Краткие наставления русским рыцарям” М. А. Дмитриева-Мамонова. (Неизвестный памятник агитационной публицистики раннего декабризма)». Это — первый печатный труд молодого ученого.

«Неизвестный» в заглавии не совсем точное слово: декабристы давно знали о существовании французской брошюры Дмитриева-Мамонова, напечатанной в 25 экземплярах и распространившейся среди участников ранних тайных обществ, но ни в каких архивах и библиотеках не могли ее найти (видимо, при разгроме восстания все экземпляры были уничтожены боявшимися обысков и улик). Лотман нашел ее рукописную копию в Ленинградской Публичной библиотеке, в бумагах видного масона М. Невзорова, причем копию не французского перевода, а русского подлинника.

Сообщая об этой находке и публикации, Мордовченко писал Ю. Г. Оксману 18 декабря 1948 г.: «Ю. Лотман — участник моего семинара, необыкновенно талантливый и одаренный юноша, каких я

еще никогда не встречал. Он занимается масонами, Карамзиным, Радищевым, но сейчас — больше всего масонами. Прошлогодний доклад Лотмана о карамзинском «Вестнике Европы» меня совершенно потряс»¹¹.

А энергичный студент подготовил еще одну научную работу, самую крупную (три печатных листа) из его ранних трудов: «Из истории литературно-общественной борьбы 80-х годов XVIII века. А. Н. Радищев и А. М. Кутузов». В виде статьи эта работа появилась в сборнике «Радищев», изданном Ленинградским университетом в 1950 г. Статья посвящена общественно-политической полемике самого радикального русского мыслителя XVIII века Радищева с его другом и идеологическим антагонистом масоном Кутузовым. Здесь же предпринята попытка хотя бы в общих чертах реконструировать потерянную обширную переписку полемистов. Проблема восстановления несохранившихся записей, замыслов, разговоров всегда будет интересовать ученого, и он будет публиковать свои замечательные реконструкции: от попытки восстановить беседы художника А. А. Иванова и радикального журналиста Н. Г. Чернышевского («Вопросы литературы», 1966, № 1. С. 131—135) до поздней статьи «Несколько добавочных замечаний к вопросу о разговоре Пушкина с Николаем I 8 сентября 1826 года» («Пушкинские чтения». Таллинн, 1990. С. 41—43).

Накопленные разысканиями студенческих лет богатства Лотман потом реализовал, добавляя к более поздним исследованиям, в своих диссертациях, в статьях и книгах. Например, ценная его статья «Масонство» («Советская историческая энциклопедия», т. 9. М., 1966) во многом опирается на студенческие разработки.

Незаметно Лотман стал центральной фигурой в научной жизни студенчества; недаром он три года был бессменным председателем СНО, студенческого научного общества факультета. В те годы сформировались основы творческого метода Лотмана. Его постоянное стремление при исследовании какого-либо периода или писателя досконально «пропахать» все вокруг: выходившие тогда книги и брошюры, максимально всю периодическую печать, максимально большое число архивных источников — это восходит к методу Н. И. Мордовченко, в свою очередь учившегося такому максимализму у Ю. Г. Оксмана, а тот, опять же, учился у С. А. Венгерова (которого в этом ракурсе можно считать методологическим «прадедом» Лотмана); методы этих духовных предков, как сказано, восходят к самому распространенному в дореволюционной России гуманитарному методу, методу литературоведов и историков — позитивизму, и черты позитивизма явно проглядывают в методологии Лотмана: просветительский культ разума, знаний, науки; культ фактов, из совокупности которых уже стоит

¹¹ *Марк Азадовский. Юлиан Оксман. Переписка 1944—1954.* Изд. подготовил К. Азадовский. М., 1998. С. 204.

делать выводы (т. е. индуктивный метод); тяга к точности, даже к математичности анализа (эта тяга потом перейдет в структурно-семиотические работы ученого). Позитивистские черты лотмановского метода довольно плавно соединились с важными элементами гегельянства и гегельянского раннего марксизма, воспринятыми через «официальное» философское обучение советского студента: широкомасштабное обобщение всех частных, целостность анализа, историзм, связь изучаемых художественных методов с социально-политическими реалиями, вплоть до классовых проблем и интересов, пафос закономерностей общественного и культурного развития (лишь к концу жизни Лотман начнет колебать железную закономерность включением обильных случайностей бытия), всеобщая диалектическая сложность, создающая многозначность мира и всеобщую переплетенность его частей.

Указанные фундаментальные основы методологии будут в дальнейшем развиваться, соединяться с новыми влияниями, но основная их сущность сохранится до конца.

Казалось бы, перед молодым ученым расстилалась прямая дорога в светлое будущее: по окончании университета — аспирантура на родном филфаке, защита диссертации, оставление преподавателем на лучшей кафедре страны, перспективы научной и педагогической деятельности... Как бы не так! Сталин уже до Отечественной войны не без влияния немецкого фашизма стал вытеснять классовые марксистские приоритеты национальными, юбилеи Пушкина (1937), Руставели (1937), Шевченко (1939) были организованы как празднование великих национальных поэтов. После войны область национального восхваления сузилась до русской культуры; патриотическое стихотворение известного поэта В. Сосюры «Люби Украину» было в 1951 г. подвергнуто хамскому разному за «национализм». Разрешалось превозносить только русский патриотизм, а все остальные народы должны были стать советскими патриотами под руководством старшего брата, великого русского народа. Неприязнь Сталина к отдельным нациям вылилась после войны в превращение миллионов людей во врагов Советского Союза, якобы всеобщее в рамках своих наций бывших во время войны предателями, сотрудничавшими с немецко-фашистскими оккупантами; были репрессированы и высланы в Сибирь и Среднюю Азию чеченцы, ингуши, крымские татары, калмыки, карачаевцы...

Попутно все сильнее закручивались идеологические гайки. После постановления ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград», где разносилось в пух и прах творчество Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, уже невозможно было нормально, объективно заниматься предреволюционным «серебряным веком» русской культуры и литературой 1920-х гг. После шумной кампании 1947 г. против давно скончавшегося академика Александра Веселовского, якобы «компаративиста», отрицавшего самостоятельность русской культуры и за-

нимавшегося только поисками иностранных источников сюжетов и мотивов (абсолютно искаженное представление о творчестве великого ученого), клеймо компаративиста стали прикладывать ко многим известным филологам. Из ленинградцев больше всего пострадал от этой кампании В. М. Жирмунский, много работавший над публикацией и пропагандой наследия Веселовского.

И постепенно начались антисемитские идеологические выходки. Деспотическому режиму для отвлечения своего народа от раздумий над причинами экономических и социально-политических бед нужно было придумать внешних и внутренних врагов, которые якобы и создают трудности. Перед войной главными врагами были шпионы и диверсанты, якобы наводнившие всю страну. После войны врагом внутренним сделали евреев. Это они — и антипатриоты, и пособники мирового империализма. В будущем, где-то весной 1953 г., Сталин планировал организовать грандиозную высылку отечественных евреев в Восточную Сибирь, но не успел, умер в марте. А кульминациями предшествующих этапов оказались кампания против «космополитов» 1949 г. и дело о врачах-отравителях 1952 г.

Удивительно, что Лотман как-то без страха и тревоги встречал и разгромные постановления 1946—1948 гг., и слухи об арестах: ему казалось, что при грандиозных социально-политических катаклизмах, потрясавших мир, подобные явления лишь периферийны: «лес рубят, щепки летят». А газетно-журнальные интерпретации партийных постановлений шустрými борзописцами и выступления дубоватых партийных деятелей на собраниях вообще воспринимались им как нелепица, к которой не стоит относиться серьезно, это «пузыри земли», как образно говорил Шекспир в трагедии «Макбет».

«И мне казалось, — вспоминал Лотман, — что лично ко мне это никакого отношения не имеет и все «пузыри» исчезнут так же, как появились».

Однажды, зайдя к Мордовченко (каждое посещение для меня было событием, и прежде чем звонить в дверь, я долго стоял на лестнице и волновался), я застал его испуганно-встревоженным. Понижая голос, хотя разговор шел в его квартире, он сказал мне, что в Москве арестован еврейский антифашистский комитет. Я совершенно не понял, почему он так взволнован, мало ли кого тогда арестовывали. В дальнейшем события разворачивались очень быстро по заранее подготовленной программе.

А я все бегал в библиотеку и в архив. Когда события непосредственно вошли в университетские стены и начались разгромные заседания и проработки Эйхенбаума, Гуковского, Жирмунского и других профессоров, я долго не мог понять, в чем дело» (Лотм. сб. 1. С. 34—35).

На апрельских партийном и общефакультетском собраниях 1949 г. деятельность Азадовского, Гуковского, Жирмунского и Эйхенбаума

была объявлена вредной из-за «космополитических» воззрений этих профессоров, и все они были вскоре уволены из университета, а Гуковский и арестован¹². Тут уже нельзя было не понять, что творится в стране: подобные экзекуции совершались в академических Институтах русской литературы, т. е. в Пушкинском Доме (Ленинград), и в московском Институте мировой литературы, в Московском университете.

Эти акции заставляли собраться, съехиться, быть осторожным относительно высказываний на современные темы. Стало известно, что в каждой студенческой группе имеются наушники, так называемые «стукачи», сообщавшие куда следует о поведении своих сокурсников. Будущий тартуский коллега Лотмана, а в студенческие годы его старший сокурсник, кончивший университет годом раньше, вспоминает, что Лотман любил тогда назидательно повторять популярные поговорки: «У каждого кустика — своя акустика» и «Веселитесь, но умеренно, быть нельзя ни в ком уверенным»¹³. Стали более осторожными и преподаватели. Тот же П. С. Рейфман вспоминает рассказ Лотмана о трагикомическом эпизоде из жизни факультета. Сокурсники Е. Маймин и Л. Дмитриев, бывшие фронтовики, поэтому выглядевшие солидно, решили послушать спецкурс профессора А. С. Долинина о Достоевском — уже начинались официальные нападки на «реакционного гения», и было интересно послушать, что говорит о нем известный специалист. Пришли в аудиторию, слушают, но профессор почти всю лекцию перевел на рассказ о Герцене; пришли в другой раз — то же самое. Отстали. И уже потом, когда Аркадий Семенович узнал, кто были эти неожиданные пришельцы, признался: «Вижу — незнакомцы, в одинаковых синих плащах, решил — «оттуда», потому и читал про Герцена». Подобный рассказ я сам слышал от Г. А. Бялого, который, увидев в аудитории постоянно присутствовавшего неизвестного человека, очень скованно стал читать лекции; а потом оказалось, что это был аспирант пединститута им. М. Н. Покровского Я. С. Билин-кис, пришедший послушать курс лекций у известного профессора.

Но Лотман до самого окончания университета еще надеялся на свои научные способности и достижения и на помощь старших товарищей. Безукоризненно благородный Н. И. Мордовченко, единственный, кто не косвенно, а открыто пытался защищать на проработочных собраниях шельмуемых коллег, и в 1950 г., когда Лотман

¹² На последние лекции Гуковского, когда стало ясно, что ему не остаться в университете, студенты уже боялись ходить. На самую последнюю лекцию о «Мертвых душах» пришли двое: Лотман и Н. Дробленкова. Профессор держался с удивительным самообладанием, читал блестяще, как всегда. Лотман не боялся посещать опального Гуковского и дома, когда от него почти все отвернулись.

¹³ Рейфман П. С. Дела давно минувших дней. — «Вышгород» (Таллинн), 1998, № 3. С. 30.

был на последнем курсе, делал все возможное, чтобы добиться для своего любимого ученика факультетской рекомендации в аспирантуру при кафедре (напомним, что с 1949 г. Николай Иванович стал ее заведующим). Ведь все данные у Лотмана были, казалось бы, безукоризненные: выдающийся творческий работник, студент, кончающий университет уже с печатными публикациями, сталинский стипендиат, член партии, отважный воин с орденами и медалями и с выдающейся хвалебной характеристикой, которую ему выдали в бригаде при демобилизации. Все хорошо, кроме «пятого пункта» в анкете, пункта о национальности: Лотман был еврей. Поэтому Мордовченко ничего не смог сделать, все его попытки замирали перед непробиваемой партийной стеной. Один в поле не воин. Во главе партийной организации факультета стояли тоже бывшие фронтовики: капитан Г. П. Бердников, ученик Гуковского, пригретый в свое время открытой душой профессора, да еще и сокурсник старшей сестры выпускника Лидии, знавший Лотмана с детских лет, и Ф. А. Абрамов, бывший сотрудник фронтового грозного Смерша, аспирант кафедры советской литературы, в будущем ее заведующий, а после известный писатель. Они не были кровожадными злодеями и даже не были активными антисемитами, но они выполняли волю верховных инстанций, а негласный приказ был прозрачно прост: евреев не брать в аспирантуру, да и вообще не принимать в университет ни в студенты, ни в преподаватели.

Наступила пора государственных экзаменов, выпускных за университет. Обстановка была смятенная: мало было предшествующих постановлений партии, неожиданно в июне 1950 г., в самый разгар госэкзаменов появился новый труд Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», разгромивший учение Н. Я. Марра о языке, много лет считавшееся непререкаемым канонem. Сталин, в свете своего уклона в национальное, возвышаемое над сословным, справедливо издевался над представлениями о классовых языках, но в конкретных вопросах допустил немало ненаучных фантазий; однако все положения Сталина немедленно становились законом; и преподаватели, и студенты переучивались на ходу, госэкзамен по русскому языку проходил в тревожной, полупанической атмосфере. Но Лотман благополучно защитил дипломную работу и сдал все госэкзамены на пятерки.

Тогда оканчивающие университет подлежали официальному распределению на работу. Бывший студент должен был три года за бесплатное (и даже часто платное наоборот, со стипендией) обучение отработать на государственной службе — куда государство назначит. Посылали, естественно, в отдаленные места, где учреждения остро нуждались в сотрудниках, в преподавателях, — вплоть до Восточной Сибири и Дальнего Востока. Получить свободный диплом можно было или по большому благу, или при каких-то исключительных обстоятельствах.

Распределительная комиссия, в которую входили, главным образом, члены партбюро факультета, видимо, долго не могла придумать, что делать с Лотманом. Отправлять его в какую-нибудь сибирскую школу, наверное, не позволяли остатки совести, в Ленинграде придумать назначение не давал негласный приказ. Поздно вечером, почти в полночь, долго заседала комиссия, вызывали по одному, наконец дошла очередь и до Лотмана, вызвали и тут же попросили выйти, еще подождать. В конце распределения, так и не решив, что делать, сказали, что он должен прийти «в другой раз». «Кончилось дело тем, что через несколько дней меня вызвали к Бердникову, и он сообщил, что мне дают возможность открытого распределения. Когда я спросил Бердникова, где моя характеристика, выданная в бригаде при демобилизации, он, посмотрев мне своими ясными глазами в глаза, сказал отчетливо: «Она потерялась». Это была та цена, которую с меня взяли за открытое распределение» (Лотм. сб. 1. С. 35).

Оказывается, с помощью «потери» блестящей характеристики можно было как бы официально объяснить, почему такого студента не рекомендуют в аспирантуру. Так Лотман неожиданно оказался «свободным» гражданином. Не могу далее не процитировать большой отрывок из его воспоминаний: «Начался длительный период поисков работы. Протекал он по вполне стереотипному сценарию. Утром я отправлялся в одно из тех мест, где, как накануне я выяснил, есть вакантное место (как правило, это была школа). Директор принимал меня очень ласково, говорил, что место есть, и просил на следующий день принести заявление и заполнить анкету. Как ни странно, еще в 50-м году я сохранял то качество, которое в зависимости от ориентации можно назвать и наивностью, и глупостью. Смысл заполнения анкеты для меня, весь жизненный опыт которого был связан с войной, был совершенно неясен. Когда мой приятель, веселый циник Димка Молдавский (до войны мы с ним были на одном курсе, но он страдал пороком сердца и на фронт не попал; к этому времени он был уже аспирантом при Наумове и занимался Маяковским) при первой же встрече спросил меня “Ты кем вернулся?” — я не понял вопроса. “Ну с каким пятым параграфом, балда?” — мать Димки была русской, и по паспорту он был записан русским. После объяснения я решительно возмутился и послал его довольно далеко. Сама постановка вопроса мне казалась дикой.

Мое образование в этом вопросе завершил А. В. Западов — человек умный, насмешливый и цинический. Когда мы с ним однажды столкнулись на филфаке, я ему пожаловался на то, что места как бы есть, но все время повторяется одна и та же странная процедура: сначала подробная и многообещающая беседа, затем просьба заполнить анкету, предложение зайти через пару дней, а после этого какой-то странный взгляд в сторону и одна и та же формула: “Знаете, к сожалению, это место у нас вчера отняли”. Западов посмотрел на

меня, как на идиота. Я давно не видел такого изумленного лица. “Не знаете, в чем дело?” — спросил он меня. — “Не знаю”. — “Знаете, сходите в зоомузей, им нужен человек с филологическим образованием, поговорите”. Я отправился туда. Зайдя в кабинет к заместителю директора, толстому пожилому еврею, я сказал, что меня прислал Западов. Человек посмотрел на меня с нескрываемым возмущением: “Зачем он вас прислал? Я же ему объяснял, что у нас уже работают два еврея. Больше я взять не могу”. Я повернулся и ушел. Через пару дней я встретился на улице с Западковым. “Поняли?” — “Понял”, — сказал я. — “Ну что ж, — сказал он, — дурень умом богатеет”» (Лотм. сб. 1. С. 36).

Характерно, что в те тревожные дни, когда, казалось бы, не оставалось никакой надежды, никакой перспективы, Лотман все же не терял оптимизма, органически присущего ему, и уповал, что если не найдет работы в Ленинграде, то поедет в какую-нибудь деревенскую школу, и потому старательно покупал нужные сельскому педагогу книги. А заодно по-прежнему интенсивно занимался наукой, всерьез приступил к диссертации, материалы к которой уже в основном собрал за студенческие годы. Не пустили в аспирантуру? — ничего, можно и так, без всякой аспирантуры, написать диссертацию.

А тут неожиданно подвернулась и достойная работа. Сокурсница Ольга Зайчикова, получившая при распределении очень хорошее место — преподавателя в Тартуском учительском институте, узнала, что туда еще требуются работники. Лотман тотчас же позвонил директору института А. Тарнику, прочитал ему все пункты анкеты — и оказалось, что претендент годится в преподаватели русской литературы. Лотман тут же отправился в Тарту с документами, был зачислен в штат и таким образом неожиданно стал жителем Эстонии, которая тогда 15-й республикой входила в состав СССР: ведь Советский Союз в 1940 г. по сговору с фашистской Германией нахально оккупировал и присоединил к себе прибалтийские республики Эстонию, Латвию и Литву.

В Тарту. УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

Эстонским советским властям, занятым реальной борьбой с враждебными настроениями большинства населения, с остатками партизанских отрядов, воевавших с Советской Армией и с милицией и после 1945 года, было не до антисемитизма, хотя они, наверное, и получали соответствующие инструкции из Москвы. Еще нужно учесть, что своих евреев в Эстонии было мало, да и многие, не успевшие уехать, погибли в фашистских лагерях, поэтому в конкретной национальной ситуации тех лет на этом участке не было материала для мероприятий, подобных московским или ленинградским.

Кроме того, Эстония тогда остро нуждалась в учителях русского языка: во всех школах республики ввели во всех классах обязательный курс русского языка с большим количеством учебных часов, а учителей, конечно, не было. Нужно было срочно их готовить. В дополнение к Тартускому университету был открыт в Таллине педагогический институт, а в Тарту — учительский, и там тоже не хватало преподавателей.

Учительские институты еще до войны открывались во многих городах Советского Союза, тоже из-за большой нужды в школьных преподавателях. Эти институты — двухлетние, за четыре полугодовых семестра студенты проходили сжатый курс полного, четырехлетнего педагогического института. Выпускники получали незаконченное высшее образование, но вполне достаточное, чтобы обучать школьников уму-разуму. Позднее, где-то в конце 50-х — начале 60-х годов, учительские институты страны стали или закрываться, или превращаться в педагогические; Тартуский был закрыт.

Итак Лотман получил место старшего преподавателя Тартуского учительского института. На него свалились чуть не все литерату-

роведческие курсы, пришлось преподавать фольклор, историю русской литературы: древнюю, XVIII века, XIX века, советскую, да еще и теорию литературы.

В день выходило 4—6 часов лекций. А потом, как и раньше, он шел в университетскую библиотеку и занимался, занимался до позднего вечера. Библиотека Тартуского университета, к счастью, была одной из лучших вузовских книгохранилищ страны: основанная в самом начале XIX века, она приобретала почти всю научную продукцию России и даже основных стран Западной Европы, выписывала большинство «толстых» русских и зарубежных журналов; в период свободной Эстонии 1920—1940-х в библиотеку поступало много изданий русских эмигрантов, в том числе и периодики (вся эта часть была передана в «спецхран», но преподавателям и даже студентам было нетрудно получить разрешение на работу с этими источниками); в советское время, благодаря каким-то обязательным экземплярам, библиотека получала почти всю гуманитарную продукцию страны, вплоть до провинциальных сборников стихотворений, не говоря уже о научной периодике и вузовских ученых записках. Молодому преподавателю можно было в этой библиотеке и готовиться к лекциям, и заканчивать кандидатскую диссертацию.

Лотмана опять охватила волна счастья: интересная работа, прекрасная библиотека, все впереди! Он не замечал тогда, как напряжено было эстонское население, какая ненависть к оккупантам клочкотала в душах аборигенов, какая гнетущая атмосфера царил в обществе, где шли непрерывные аресты или высылки в Сибирь. О репрессиях и о настроениях эстонцев Лотман узнает чуть позднее, когда сблизится с некоторыми местными интеллигентами. А пока он весь был погружен в науку и педагогику. Его не смущала лекционная перегрузка, не очень волновали и бытовые неурядицы. Он приехал в Тарту в единственном черном костюме, перешитом из отцовского, без осенне-зимней одежды, и, когда начались дожди, он попросил родных прислать ему в долг 150 руб. на покупку плаща. Поселили Лотмана в студенческом общежитии, и, так как свободных комнат уже не было, ему предоставили изолятор, т. е. медицинскую комнату для заразных больных. Изолятор, к счастью, пустовал, но комендантша общежития сильно трусила: придет доктор и устроит разнос за такое использование комнаты. Пока директор искал новому сотруднику более приличное жилье, Лотман поселился у университетского преподавателя А. М. Шаныгина, недалекого, но доброго человека, и двое мужчин зажили домашним «колхозом»: сами покупали еду, готовили обеды и т. д. Через несколько месяцев директор отыскал небольшую комнатку: по-советски уплотнили жилье директора продуктового магазина.

В калейдоскопе лекций и библиотечных занятий Лотман не забывал о ближних. Он уже думает, как устроить летний отдых родных близ Тарту, где было много прекрасных дачных поселков, хлопочет

о путевке в санаторий для матери; узнав, что в Ленинграде перебои с маслом, тут же посылает с оказией три килограмма сливочного масла... Приближалось 60-летие профессора Б. В. Томашевского, выдающегося пушкиниста, текстолога, теоретика стиха, и Лотман задумал сделать ему оригинальный подарок. В Тарту жила талантливая художница-прикладница, делавшая на продажу изумительно красивые и изящные фигурки зверей и домашних животных. Лотман заказал ей тигра, переслал сестре Лидии, и Томашевский получил подарок в день своего рождения. Жена ученого, Ирина Николаевна, сказала, что этот рыжий тигр очень похож на Бориса Викторовича... Внимание к людям, забота о них — характернейшая черта Лотмана-человека. Когда он на закате жизни станет дедом девяти внуков и внучек, то будет поражать владельцев итальянских или немецких обувных магазинов, когда вынет из портфеля девять разных картонных стелек и купит по ним подарки каждому наследнику...

К концу 1950/51 учебного года в жизни Лотмана произошло важнейшее личное событие: он твердо решил жениться, и вскоре давно уже ставшая его избранницей Зара Григорьевна Минц переехала в Тарту.

Зара Григорьевна Минц (1927—1990) — в будущем известный специалист в области русской литературы XX века, организатор Блоковских конференций в Тарту и создатель, вместе со своим университетским учителем Д. Е. Максимовым, замечательных «Блоковских сборников», выходивших под эгидой Тартуского университета. Дочь ленинградских интеллигентов, она почти не знала родительского дома: мать умерла, когда ей было всего семь лет, и она фактически воспитывалась старшей двоюродной сестрой Симой, директором ленинградского детского дома. Отец Зары Григорьевны умер в страшную блокадную зиму 1941/42 года, и дочь осталась круглой сиротой. С детдомом старшей сестры она эвакуировалась на восток страны, и таким образом вся ее детская-школьная жизнь была детдомовской, и специфические привычки детдомовской вольницы, как и отсутствие привычек к специфически женским занятиям по дому (кухня, уборка, создание уюта), сказались потом на ее семейной жизни. На филфак Зара Григорьевна поступила в 1944 г., избрала потом славившийся своей творческой атмосферой и относительно свободным в идеологическом смысле бытом Блоковский спецсеминар Д. Е. Максимова и вскоре стала одной из любимых учениц руководителя, проявив хорошие творческие способности литературоведа.

Познакомился Лотман со своей будущей женой еще в середине университетского пятилетия. З. Г. Минц была активнейшей участницей различных научных студенческих мероприятий, входила, как и Лотман, в руководство СНО и однажды при подготовке конференции, посвященной В. В. Маяковскому, зная, что Лотман хорошо рисует большие портреты вождей и писателей, подошла к нему с просьбой оформить зал и сделать портрет Маяковского. Лотман вспо-

минал, что, занятый сверх головы своими научными разысканиями, отнесся к такой просьбе без всякого энтузиазма и сообщил, что он рисует только за деньги. Зара Григорьевна со своим комсомольским бескорыстием была потрясена, расплакалась и громко произнесла: «Сволочь усатая!»

А следующая встреча оказалась еще менее удачной. З. Г. Минц осмелилась на конференции, посвященной В. Г. Белинскому (в 1948 г. широко отмечалось 100-летие его кончины), прочитать доклад «Белинский и романтизм». И товарищи, и Н. И. Мордовченко деликатно, но сурово говорили, что докладчица опиралась не столько на конкретный материал, сколько на общие штампованные представления о романтизме. Тогда Лотман со свойственной ему рыцарственностью выступил в защиту критикуемой. Видимо, защита была не очень мотивированной, Зара Григорьевна обиделась на нее еще сильнее, чем на «корыстный» ответ о портрете Маяковского.

Лишь потом постепенно стали налаживаться добрые отношения, Лотман помогал Заре Григорьевне и ее приятельницам Виктории Каменской и Людмиле Лакаевой готовиться в 1949 г. к госэкзаменам. По окончании университета З. Г. Минц уехала по распределению учительствовать в средней школе Волховстроя, районного центра Ленинградской области (с 1940 г. город стал называться просто Волхов, но по привычке его до сих пор все называют Волховстрой). Она с энтузиазмом и любовью погрузилась в школьную работу, и, когда Лотман еще летом 1950 г. предложил ей руку и сердце, она долго не соглашалась покинуть своих ребят, так она увлеклась и привязалась к своему классу (Лотман ядовито шутил, что она хочет строить социализм в отдельно взятом классе — по аналогии с известной формулой «... в отдельно взятой стране»). Наконец все-таки в 1951 г. решила покинуть Волховстрой, приехала в Тарту, здесь Лотману пришлось опять уговаривать невесту отправиться для регистрации в ЗАГС: она долго не соглашалась, считая официальный брак мещанским пережитком. Однако и это препятствие было преодолено, Лотман за руку втащил свою упирающуюся невесту в государственное учреждение, где симпатичный эстонец оформил все нужные документы. Свадьбу отметили в кафе, пригласив Шаныгина: каждому пришлось по две чашки кофе и по обильному количеству вкусных булочек со взбитыми сливками. Так родилась семья Лотманов. Зара Григорьевна, по советскому обычаю, оставила свою фамилию.

Вскоре после женитьбы у Лотмана произошло еще одно важное событие: он завершил диссертацию. В течение первого тартуского учебного года он сдал полагавшиеся три кандидатских экзамена (специальность, философия, иностранный язык) и в начале следующего учебного года подготовил диссертацию; в аспирантуре на эти работы отводилось время в два раза длиннее — 3 года.

Экзамен по специальности состоял из проверки знаний претендента по всему курсу истории русской литературы и из двух спецвоп-



З. Г. Минц. Фото начала 1950-х гг.

росов, дававшихся заранее; у Лотмана таковыми были «Ломоносов» и «Белинский о XVIII веке».

В начале 1952 года он успешно защитил в Ленинградском университете на родном филфаке кандидатскую диссертацию «А. Н. Радищев в борьбе с общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Н. М. Карамзина». Оппонентами выступили два доктора наук (хотя обычно вторым оппонентом был кандидат наук): литературовед П. Н. Берков и историк А. В. Предтеченский.

В диссертации было пять глав: 1. Радищев в борьбе с дворянским идеализмом 80-х гг. XVIII в. 2. Мировоззрение Радищева. 3. Эволюция мировоззрения Н. М. Карамзина с 1790 по 1800 год. 4. Радищев и Карамзин в первые годы XIX в. 5. Эстетические воззрения Радищева.

Творчество Радищева тогда серьезно интересовало Лотмана: помимо большой работы студенческой поры в сборнике «Радищев», о которой уже говорилось, и нескольких небольших статей, он в течение всего последующего после защиты десятилетия опубликовал ценные труды о своем объекте: «О некоторых вопросах эстетики А. Н. Радищева» («Научные труды, посвященные 150-летию Тартуского государственного университета», Таллин, 1952), «Был ли Радищев дворянским революционером?» («Вопросы философии», 1956, № 3), «Радищев и Мабли» (сб. «XVIII век», т. 3. М.; Л., 1958), «Радищев и русская военная мысль в XVIII в.» («Уч. зап. ТГУ», вып. 67, 1958). В ранних работах Лотмана вынужденно проявлялись особенности напряженного идеологического состояния страны перед кончиной И. В. Сталина. Диссертация называлась не как-нибудь характеризую соотношение методологии Радищева и Карамзина, а именно «Радищев в борьбе...». Справедлива была тогдашняя ходячая шутка: «Борьба с борьбой борьбуется». Автореферат диссертации начинался цитатой из Ленина, а кончался цитатой из Сталина.

Разоблачались «фальсификаторские измышления буржуазно-дворянских “ученых”» и «клеветнические попытки буржуазных космополитов». Это была дань времени. Но под этими внешними атрибутами момента находятся результаты серьезной многолетней работы над темой. Несколько схематизируя облик Радищева, утрируя в его мировоззрении и творчестве революционные, материалистические, реалистические элементы, автор, однако, демонстрирует свои обстоятельнейшие знания, позволяющие уточнить развитие идей Радищева и этапы его взаимоотношений с масонами, А. М. Кутузовым, Карамзиным, а попутно уточняется и путь Карамзина в его сложных связях с масонами и Кутузовым.

Любопытно, что, написав к 1952 году кандидатскую диссертацию о Радищеве и Карамзине, Лотман решил, что для более полного понимания русской общественной мысли и литературы конца XVIII в. ему необходимо серьезно заняться истоками столетия, т. е. Петровской эпохой. Впрочем, позднее он оставил этот замысел как тему главных занятий жизни и стал переходить вперед, в XIX век.

Особенно ярко новаторство Лотмана ранней поры проявилось в статьях о Радищеве и Кутузове (в сборнике «Радищев», 1950) и об эстетике Радищева (в тартуском юбилейном сборнике 1952 г.). Они построены на большом архивном материале (в том числе, во второй статье, уже на материалах Эстонского исторического архива: автор успел поработать там над фондом канцелярии Прибалтийского генерал-губернатора!), поэтому дают новые факты, новое освещение, а также надежную основу для соответствующих выводов. Здесь продолжается уточнение воззрений Радищева, например, отмечается своеобразный фанатизм радикального идеолога, писавшего по поводу частых переделов земли в крестьянской общине, что это «весьма худо для земледелия, но хорошо для равенства» (см. с. 161 статьи об эстетике Радищева).

Этот аспект найдет свое уточнение и развитие в чуть более поздней статье Лотмана «Радищев и Мабли», где он убедительно доказывает, что в противовес коммунистическим идеалам французского утописта, настаивавшего на общественном владении землей без всяких переделов (Мабли считал, что они приведут к неравенству, к концентрации земли в руках немногих), Радищев был сторонником частной собственности на землю; ежегодная же переделка в крестьянской общине, по его мнению, ведет именно к равенству, к справедливости, к корректировке при умножении или уменьшении душ в семьях.

Подчеркнем, что статья «Радищев и Мабли» начинала довольно обширную серию трудов ученого, посвященных русско-западноевропейским культурным связям (главным образом, русско-французским, но еще и русско-немецким, русско-итальянским, русско-английским): «Новые материалы о начале знакомства с Шиллером в русской литературе» (опубликована в 1959 г. в Германии на немецком языке — в «Научном журнале» университета в Грейфсвальде), «Руссо и русская культура XVIII века» (сб. «Эпоха Просвещения». Л., 1967), «К проблеме “Данте и Пушкин”» («Временник Пушкинской комиссии». Л., 1960) и много других. В этих статьях, начиная уже с работы о Радищеве и Мабли, все больше и больше расшатывалась жесткая социально-политическая категориальность, вытесняясь усложнением, детализацией, индивидуализацией изучаемого материала.

В целом же в 1950-х гг. Лотман методологически еще оставался в рамках марксистских классовых определений¹⁴. Характерна в этом

¹⁴ М. Л. Гаспаров в статьях о Лотмане различает марксистский метод и марксистскую идеологию — зная «победившего» марксизма, утверждение абсолютных истин: «Лотман относился к марксистскому методу серьезно, а к идеологии так, как она того заслуживала» (Гаспаров М. Л. Лотман и марксизм. — В кн.: Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 416). В целом это так, но в ранние годы Лотману, увы, приходилось иногда прикрываться «идеологическими» лозунгами. В послесталинское время они исчезнут со страниц его работ.

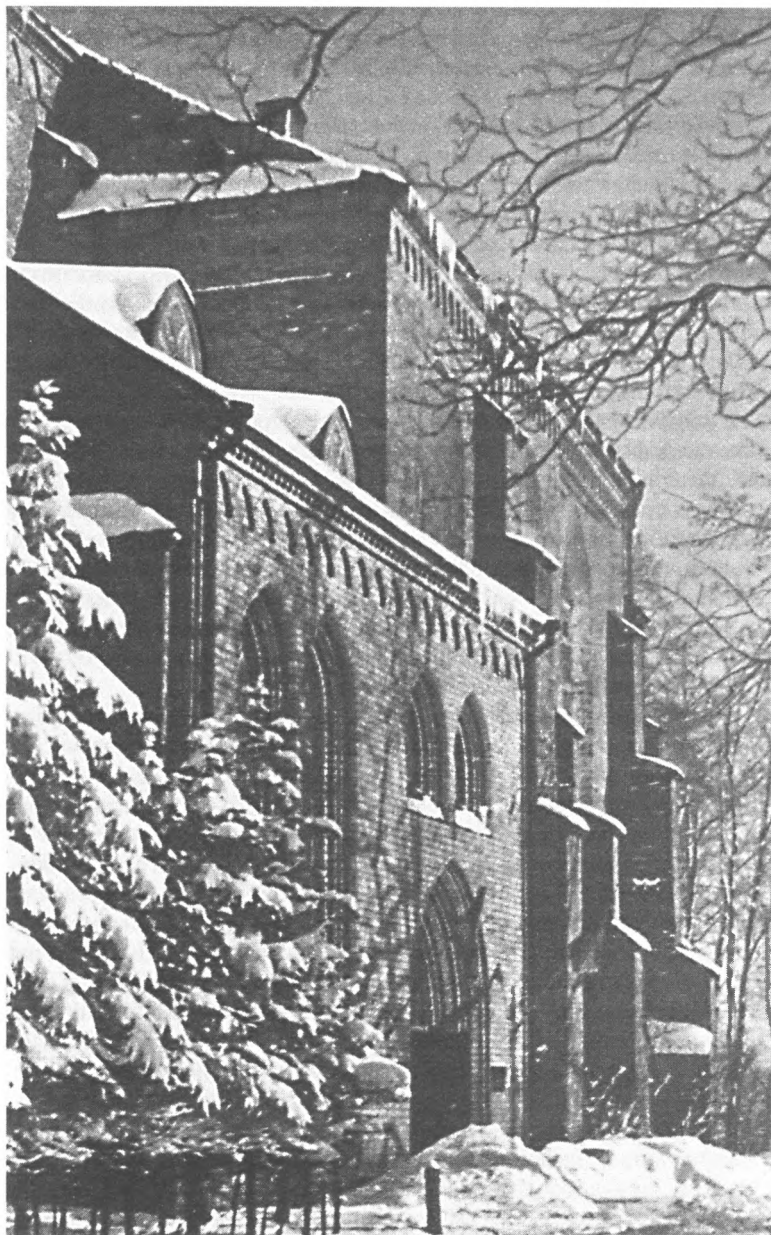
отношении его статья «Был ли А. Н. Радищев дворянским революционером?»¹⁵. В ней оспаривается утверждение передовой статьи журнала «Вопросы истории» (1955, № 9), что нельзя Радищева именовать революционным демократом, он — дворянский революционер. А Лотман, подробно проследив все революционные высказывания мыслителя и его представления о народе-суверене, о праве народа на восстание и на силовую защиту своих интересов, попутно показывая дворянские черты в мировоззрении декабристов, заканчивает свою полемическую статью так: «Все приведенные соображения дают основания утверждать, что характеристика А. Н. Радищева как дворянского революционера не выражает социального содержания его взглядов, затушевывает их революционно-демократическую сущность».

Между тем страницей выше (с. 171) полемист говорит о такой классификации куда более осторожно: «Однако вопрос о том, можно ли пользоваться для характеристики мировоззрения А. Н. Радищева термином «революционный демократ» или нет, по сути дела, является второстепенным. Анализ действительного содержания основных теоретических положений А. Н. Радищева свидетельствует о демократическом характере его воззрений, которые выходят за рамки дворянской революционности».

Творчеством Радищева Лотман интересовался почти до конца своей жизни; в дальнейшем в концепцию ученого вводятся новые уточнения, в том числе и касающиеся сложного вопроса о революционности; он будет все больше нитей протягивать от Радищева к декабристам.

В такой эволюции немалую роль сыграла критика первоначальной концепции со стороны Ю. Г. Оксмана. Когда Лотман послал старшему коллеге отпечаток своей статьи из «Вопросов философии», тот решительно не согласился с применением к Радищеву понятия «революционный демократ» и с оспариванием его «дворянской революционности». В письме к Лотману от 18 октября 1956 г. он писал: «... вы очень хорошо говорите о разночинцах конца XVIII в. и первой трети XIX — от Пнина и Крылова до Надеждина, но забываете о самом главном — о том, что если для дворянских революционеров неотделима борьба с крепостничеством от борьбы с самодержавием, то для «разночинцев», в том числе и для тех из них, которые были предшественниками и учителями наших революционных демократов, характерно раздельное толкование принципов борьбы с абсолютизмом (это, мол, дворянские штучки) и борьбы с крепостничеством. Я об этом давно хотел написать, но меня очень уж запугали мои друзья, считая, что вся эта проблематика слишком уж непривыч-

¹⁵ «Вопросы философии», 1956, № 3. С. 165—172.



Тарту. Фундаментальная библиотека
Государственного университета

на для местных лбов, монополизировавших в пору известной личности вопросы идеологии. А между тем без моего толкования политической позиции разночинцев 20—30-х гг. непонятен и Белинский периода 1836—1840 гг.

Мы привыкли смотреть на переход от «дворянской революционности» на позиции «революционной демократии» как на некое помазание, как на производство в следующий чин, а между тем и Белинский, и Чернышевский, не говоря уже об их эпигонах 50—60-х гг., нередко твердили зады, давно уже преодоленные дворянскими революционерами. Я имею в виду не только политическую невоспитанность разночинцев... Думаю, что мы с вами спорим только о словах, а на деле вы все же поддерживаете Бабкиных» (Д. С. Бабкин — примитивный сотрудник Пушкинского Дома, занимавшийся Радищевым; объект научных анекдотов).

В сознании Лотмана тоже зрели подобные мысли, окончательно же они оформятся в начале 1960-х годов, при завершении докторской диссертации.

Постоянно углублялось и расширялось и представление Лотмана о своеобразном «оппоненте» Радищева — о Карамзине. В статье «Эволюция мировоззрения Карамзина (1789—1803)» («Уч. зап. ТГУ», вып. 51, 1957. С. 122—162) он впервые в нашей науке показал путь Карамзина не статично, как его представляли даже выдающиеся учителя молодого ученого (Г. А. Гуковский и Н. И. Мордовченко), а в сложных поэтапных изменениях.

Лотман демонстрирует прежде всего сложность мировоззрения молодого литератора, с самых юных лет находившегося под масонским влиянием (1785—1789): здесь у Карамзина смешивались воздействие масонской системы (представление о субъективности человеческого восприятия мира, о эгоистической природе человека, о необходимости нравственного воспитания и т. д.) с противоположными идеями энциклопедистов и Руссо о приоритете общественных влияний на личность; но последние влияния были незначительными, а с масонами Карамзин вскоре расстался, на грани идейных расхождений, уехав в дальнейшее путешествие. Настоящая творческая работа Карамзина началась после его возвращения из заграничной поездки — он стал издавать «Московский журнал» (1791—1792), где напечатал свои первые выдающиеся произведения: «Письма русского путешественника» и повесть «Бедная Лиза». Лотман здесь видит первый период писателя: относительная объективность в изображении внешнего мира, введение бытовых и географических черт, но они лишь фон, а главное — психологические свойства человека.

Второй период (1793—1800) отличается сложной эволюцией Карамзина, в которой можно найти несколько иногда противоречащих друг другу положений, но в целом это был путь к субъективизму (относительное смыкание с масонством), к преобладанию лирических,

личностных элементов в художественной прозе, к противопоставлению высокой поэзии низкой прозе жизни.

Третий период — главным образом, политический. Карамзин становится видным публицистом в своем журнале «Вестник Европы» и пропагандистом неограниченной монархии и вражды к демократическим идеям. Лотман определяет этот путь «эволюцией от дворянского либерализма к умеренному консерватизму» (с. 145 статьи).

В отличие от масонов, веривших в преобразующую роль просвещения, Карамзин теперь скептически относится к возможности самостоятельного нравственного возвышения массы людей и ее отказа от эгоизма; он возлагает основную надежду на внешнее принуждение, на сильную государственную власть. Любопытно, что Лотман ни разу не употребил термина «сентиментализм», так часто приклеиваемого к Карамзину: ученый уже понимал жесткость обобщенных философских и литературоведческих терминов. Но в социально-политической сфере он оставался все-таки весьма схематичным, неоднократно определяя мировоззрение Карамзина как дворянское, хотя подробный анализ самых разных индивидуальных черт, отделяющих мыслителя от тогдашних собратьев по перу и даже личных друзей, тоже дворян, наглядно показывает, насколько общо и не дифференцированно такое определение. В дальнейшем предстоит и эволюция самого Лотмана, постепенно освобождавшегося от общественно-политического схематизма понятий.

ПЕРЕХОД В ТАРТУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Уже с первых недель пребывания в Тарту, с сентября 1950 г., Лотман стал преподавать в университете, пока не в штате, а как почасовик: вначале замещал по курсу истории русской литературы XIX века уехавшего на месяц А. М. Шаныгина, затем, со второго семестра 1950/51 учебного года, стал читать спецкурс по Радищеву. Однажды он прочитал даже «Введение в языкознание» — по линии соседней кафедры русского языка.

В следующие годы он уже постоянно проводил разные занятия по кафедре русской литературы и принимал живое участие в научной жизни кафедры и всего университета. На университетском торжественном заседании, посвященном 150-летию со дня смерти А. Н. Радищева (1952), Лотман от имени кафедры выступал с основным докладом. В сборнике к 150-летию самого университета (тоже 1952) опубликована упоминавшаяся статья ученого об эстетике Радищева.

Уже в 1952 г. я «агитировал» Б. В. Правдина, а вместе с ним — ректора Ф. Д. Клемента найти штатную единицу для перевода Лотмана в университет. Но, во-первых, последние месяцы 1952 г. и первые два 1953 г. протекали в таком социально-политическом напряжении и в нарастании антисемитских кампаний, что ректор колебался, а во-вторых, сам Лотман отказывался тогда от разговоров о переходе, так как была свежа память об аресте доцента кафедры В. Адамса: получалось, что преподаватель приглашается на место изгнанного коллеги.

Лишь после смерти Сталина в марте 1953 г. и после моего официального вступления в должность заведующего кафедрой русской литературы в 1954 г. удалось уговорить ректора Ф. Д. Клемента пригласить Лотмана на штатную должность доцента (ректор сам обра-

тился к нему), и таким образом с 1954 года Лотман стал полноценным сотрудником одного из самых известных университетов нашей страны.

Тартуский университет пережил много трудных этапов в своей истории. Впервые высшее учебное заведение — Академия Густавиана — было создано в Тарту при шведском владычестве, по инициативе короля Густава-Адольфа, в 1632 году. Но просуществовала Академия всего 33 года, правда, была попытка возродить ее в конце XVII века, опять же ненадолго (1690—1710).

Потом вторично, уже как настоящий университет, но с немецким языком обучения, он был открыт при Александре I, в 1802 году. Город менял свое название в зависимости от административно-политических ситуаций. В XI веке, возникая в новгородских землях, он был назван Юрьевом, затем при завоевании города Ливонским орденом и при дальнейшем господстве прибалтийских немцев стал называться Дорпат (в русском обиходе Дерпт). В 1893 г., при Александре III, городу вернули русское название Юрьев. А при отделении в 1919 году Эстонии он стал Тарту — так он издавна назывался по-эстонски. Соответственно и университет был то Дерптским, то Юрьевским, а с 1919 г. стал окончательно Тартуским.

В свободной Эстонии в 1932 году праздновался юбилей университета с отсчетом времени от Густава-Адольфа: 300-летие. А в советский период, тем более незадолго до кончины Сталина — в 1952 г., отмечался, разумеется, русский этап, 150-летие. По справедливости, наверное, следовало бы учитывать обе даты, и шведскую, и русскую, но в политической жизни о справедливости свои понятия.

По окончании Отечественной войны 1941—1945 гг. на Тартуский университет пали суровые репрессии. Большинство сотрудников оставалось в годы фашистской оккупации при немцах, это, по тогдашним советским обычаям, был громадный грех. А убежала с немцами или тайно переправилась через Балтийское море в Швецию лишь незначительная часть тартуских педагогов (впрочем, самая творческая, самая талантливая), большинство оставалось на месте. Конечно, трудно было арестовать или просто уволить весь профессорско-преподавательский состав, поэтому власти действовали выборочно, а всех держали под постоянным страхом возможных репрессий, которые, увы, часто воплощались в жизнь, и не только по отношению к университетским сотрудникам, но и в общеэстонском масштабе.

Пик таких акций пал как раз на время приезда Лотмана в Тарту, на 1950—1951 гг. Мало было прошлых репрессий: арестов и высылки 1940—1941 гг., потом первых послевоенных лет, когда пострадали все слои населения, от работников умственного труда до простых крестьян; это объединяло в общем горе все прибалтийские республики. Но Эстонию зацепило особо. Как известно, при всех партийных боссах, возглавлявших республиканские компартии, находились при-

ставленные к ним русские комиссары, так называемые вторые секретари. Таким комиссаром в эстонском ЦК КПСС был после войны Кедров, человек из круга ленинградских партийных руководителей. И, когда Сталин приказал уничтожить ленинградских вождей, когда завели громкое «ленинградское дело», пострадал и Кедров, а его арест повлек, как всегда было при Сталине, репрессии против окружавших его. Был арестован президент Эстонской Академии наук Х. Круус, незадолго до этого, в 1940—1944 гг., — ректор Тартуского университета, смещен первый секретарь эстонской компартии Н. Каротамм (удивительно, что его не посадили, а лишь сместили: он потом, как рассказывал мой питерский коллега историк Р. Ш. Ганелин, служил научным сотрудником академического Института экономики в Москве!). Зато поставленный на его место И. Кэбин процарствовал потом почти 40 лет, дожив до М. Горбачева: рекорд, достойный занесения в книгу Гиннеса.

И вот для партийно-советского укрепления Тартуского университета в 1951 году ректором был назначен ленинградский доцент Федор Дмитриевич Клемент (1903—1973). Какой это оказался счастливый выбор! Клемент — уникальная фигура советской эпохи, о нем нельзя не рассказать в связи с историей Тартуского университета пятидесятых—шестидесятых годов. Его отец — путиловский рабочий, еще до революции приехавший на заработки в Питер. Сын Федор — типичный комсомолец послереволюционной поры, вступивший в партию большевиков по ленинскому призыву 1924 года, связал свою судьбу с Петроградским-Ленинградским университетом, в меру сил занимался научной и преподавательской работой, был активным общественником, верил в наш путь к коммунизму, был добрым товарищем, ухаживал за женщинами... В общем, останься он в Питере — был бы средним доцентом, мало известным, мало заметным. Но сочетание партийности, ученой степени и эстонского происхождения уготовило ему другую судьбу: он стал ректором национального университета в труднейшую эпоху для республики и для всего Советского Союза, в последние два года жизни Сталина.

На Клемента сразу, как тогда бывало, посыпались блага: звание профессора, избрание в Академию наук Эстонии, в Верховный Совет СССР, членство в ЦК компартии ЭССР. Последнее особенно важно: в отечественной провинции, в России и других республиках, ректоры вузов, как и директора заводов, оказывались рабами местного партийного руководства; секретарь обкома или горкома мог в любой момент вызвать к себе такого начальника, да еще продержатъ часа два в приемной; партийные и советские вельможи приказывали принимать на работу, на тепленькие места своих родственников, друзей, любовниц, без конкурса зачислять в студенты своих младших, часто ректор университета или директор крупного завода должны были участвовать в верховных попойках, оргиях, охотах... Клемента



Тартуский Государственный университет.
Главное здание

миновала чаша сия: став членом ЦК, он мог пренебречь любыми местными руководителями, ибо они ходили к нему на приемы, а не он к ним!

Главное же, что особенно уникально, это нравственный, духовный рост Клемента на посту ректора (значительно чаще, увы, мы наблюдаем нравственное и духовное оскудение при подъеме по ступеням начальственной лестницы!). Как будто бы вступив в круг карьеристов, пройдох, тупиц, циников, хапуг, развратников и пьяниц, он не сблизился с ними, не испачкался, держался в отдалении (слава Богу, этому помогало периферийное положение университетского эстонского города по отношению к столичному Таллину) и, кажется до конца дней своих сохранив веру в прогрессивность и перспективность советского строя, все же главное внимание уделял развитию университета, науки. Он хорошо понимал, что такое настоящий вузовский преподаватель и что такое наука. Свое назначение ректором он воспринял как высокую честь, налагающую на него большую ответственность, и весь отдался университету, очень много сделав для его вхождения в круг виднейших научно-учебных заведений мира.

Я был совсем юным назначен им заведовать кафедрой русской литературы, много общался с ректором по всем вопросам, особенно — по кадрам. Когда речь заходила о каком-либо кандидате, то Клемент прежде всего расспрашивал об основных его достоинствах

(научные, педагогические, человеческие), затем обязательно внимательно изучал анкету, «личный листок по учету кадров» (помню, как крикнул и пробормотал, что впервые такое видит, когда я ему принес анкеты семьи А. В. и Г. Е. Тамарченко, которые были тогда, по некоторым причинам, безработные: «русская», «из дворян» и «еврей», «из крестьян»). И не было ни одного случая, чтобы моя рекомендация была отклонена ректором. На кафедру пришли таким образом Лотман, З. Г. Минц, Павел Семенович Рейфман, Яков Семенович Билинкус. Особенную трудность представляло устройство талантливых выпускников. Эстония нуждалась в школьных преподавателях, и министерская комиссия не желала считаться с нашими интересами. Выручал Клемент. Удалось оставить при кафедре Сергея Геннадиевича Исакова и Владимира Петровича Килька, чуть позже Валерия Ивановича Беззубова. После 1960 г. добывание ставок для новых преподавателей продолжил Лотман, и опять же с помощью доброжелательного к нам ректора.

В противовес установившимся в стране байско-вельможным обычаям, Клемент утверждал европейские правила: на любые заседания и свои лекции приходил точь-в-точь, приемы в кабинете начинал минута в минуту, строго соблюдал интервалы: если за 15 или 30 минут (последний интервал — лишь в особых случаях) посетитель не успевал изложить намеченное, то ректор, извиняясь, обрывал прием, чтобы ожидающие не томились. Был очень собран, организован, ничего не забывал, обещанное выполнял обязательно.

Ввел он в советский быт и европейскую манеру встреч и проводов посетителей. Когда входили в его кабинет, он немедленно вставал из-за стола, шел навстречу вошедшему (кабинет громадный!), здоровался, подводил к креслу и, лишь когда посетитель усаживался, обходил стол и сам садился. То же и при прощании — проводы до двери. И неважно, пришел к нему знаменитый академик или уборщица. Здесь не только стремление к внешней четкости и к цивилизованным ритуалам, Клементу был присущ внутренний демократизм, уважение к человеку. И был он, как бы сказали просветители, по природе добр.

Расскажу характерный случай. Группа наших студентов ездила пригородным поездом в Эльву, известный дачный поселок близ Тарту, никто не купил билетов, нарвались на контролеров, вместо извинений подняли шум, грубили; контролеры забрали всю компанию, по документам переписали фамилии, сочинили грозное письмо ректору: тот резонно возмутился, в сердцах распорядился подготовить приказ об отчислении всех провинившихся. Конечно, молодые люди отнеслись к слуху о приказе легкомысленно, зато ужаснулись и впали в панику их родители. Одна матушка немедленно примчалась из Питера, отправилась на прием к ректору — умолять. И как он по-доброму, утешительно отнесся к убитой горем матери: дескать,

ребят надо наказывать, приструнить, они вообще распустились, но не выгоним их, дадим по выговору.

Распушенности Клемент терпеть не мог, но к бытовой невоспитанности молодежи относился без раздражения: «Вот был я на конференции в Новосибирске: до чего есть талантливые студенты! Но распоясанные очень: уселся на стол президиума, утащил у профессора стул и т. п. — а я смотрел и думал: может быть, отдельно не продается?»

В отличие от многих приехавших из России начальников, презиравших местный язык, Клемент тотчас же стал его осваивать. Помогла память эстонского языка детства, наличие бытового лексического запаса, и уже через несколько месяцев ректор относительно свободно изъяснялся по-эстонски; правда, доклады и выступления он все же делал по-русски.

Партийное республиканское начальство, конечно, ненавидело Клемента, завидовало его независимости и духовному и нравственному превосходству, давно подкапывалось под него и в конце концов в застойные брежневские времена съело его, варварски сняло с работы. Таллинскому функционеру Коопу, не получившему при очередном дележе пирога желаемого куска, устроили почетную ссылку в качестве ректора Тартуского университета, перед этим вытеснив Клемента на пенсию. Кооп изумил своих новых подчиненных, привыкших к раннебольшевистскому аскетизму Клемента: прежде всего он заказал в Западной Германии для своего особняка какую-то автоматически регулируемую систему парового отопления, которая съела годовую валютную сумму, отпускаемую университету...

Я так подробно остановился на личности Клемента, чтобы подчеркнуть его выдающуюся роль в жизни Тартуского университета пятидесятых—шестидесятых годов, и особенно в жизни нашей кафедры. Не будь его, мы бы не смогли так быстро развиваться и входить в контакты с литературоведческими кругами страны и мира. Без томов «Ученых записок», без Блоковских конференций и летних семиотических школ, без оплачиваемых командировок, при завистливо-враждебном отношении некоторых факультетских коллег — нам было бы очень трудно работать. Наверно, прошло бы лет 15, пока мы смогли добиться хотя бы части тех кадровых и научных благ, которые получили от Клемента легко, неунизительно, на самой заре нашей деятельности. Вот уж воистину в наших душах навсегда сохранится светлый образ этого уникального партийно-государственного деятеля, пытавшегося в узких рамках провинциального университета строить социализм с человеческим лицом. Очень бы хотелось, чтобы и наши потомки чттили его память.

Местная университетская публика в массе своей относилась к Клементу, увы, сдержанно. Оценила его быстрое вхождение в сферу эстонского языка, да и местных обычаев. Воспитанные на немецком

бытовом формализме, эстонцы скрупулезно следуют самым мелочным регламентациям, которые иногда очень удобны (например, там невозможно представить столкновение встречающих в дверях или толпу, штурмующую автобус), иногда тягостно-смешны (например, даже если три минуты спустя после первого приветствия ты встретился с человеком, надо опять здороваться, опуская головной убор до пояса, — и так хоть тысячу раз в день), а иногда отвратительны мешанской иерархичностью (мне было сделано замечание, что доценту неприлично идти с корзинкой в магазин: бытовыми покупками должны заниматься женщины). Бытовой педантизм Клемента, конечно, нравился, но очень были не по душе питерское происхождение и воспитание ректора, полное отсутствие антирусского национализма, научная и человеческая поддержка нашей кафедры. Клемент оставался для них «чужой».

Справедливости ради следует еще назвать имена эстонских коллег, которые не вставляли нам палки в колеса, а даже по возможности помогали. Добродушный декан факультета А. Пярль, снабжавший нас оплачиваемыми научными командировками в Москву и Питер. Библиограф университетской библиотеки Э. Вигель (потомок знаменитого Ф. Ф.!), всегда готовый виртуозно докопаться до нужных источников при каком-нибудь справочном казусе. Один из руководителей факультетской редколлегии, понимавший ценность наших сборников, строгий, вьедливый до буквоедства Р. Клейс, издавший до войны многотомную эстонскую энциклопедию, в которой за несколько десятилетий никто не мог обнаружить ни одной ошибки, ни одной опечатки! Он был настоящим националистом, но без всякого высокомерия или коварства по отношению к «чужим». Я с ним однажды сцепился на факультетском совещании, когда нужно было послать в Ригу на какую-то конференцию сотрудника факультета с докладом на латышскую тематику. Эстонцы с латышами живут не в самых лучших отношениях (я предлагал вывесить в городе лозунг-цитату из Маяковского: «Чтобы в мире без России, без Латвий жить единым человечьим общежитьем») — но надо было показать, что в университете всерьез занимаются культурой соседнего народа. Я сразу же назвал С. Г. Исакова, единственного у нас исследователя эстонско-латвийских связей, и тут впервые увидел взорвавшегося Клейса: почему Исаков будет представлять эстонский университет?! надо послать Карла Абена (это был недалекий, совсем не научного склада преподаватель латышского языка). Конечно, утвердили Абена. А после заседания мы с Клейсом одновременно потянулись друг к другу: я говорил о стыде за «оккупанство», но и о научных ценностях и справедливости, Клейс — о стыде за несдержанность, но и о боли за угнетение Эстонии... Разошлись, однако, с пониманием позиций.

Как и в других вузах Эстонии с гуманитарными факультетами, в ТГУ открылось и постоянно расширялось отделение русского языка

(и литературы, соответственно)¹⁶. В тридцатых годах в университете такого отделения не было, единственным преподавателем русского языка был Б. В. Правдин, наряду с единственными преподавателями латышского, литовского, польского, чешского языков.

В конце Отечественной войны, когда Тарту был освобожден от немецких оккупантов, возобновил работу и университет (ноябрь 1944 г.). Тогда же было открыто небольшое отделение русского языка и литературы с эстонским языком обучения. Ведущими педагогами на нем были доценты В. Т. Адамс и Б. В. Правдин, знающие специалисты и своеобразные личности.

Вальмар Теодорович (в русифицированном варианте — Владимир Федорович) Адамс (1899—1993) родился в Петербурге, но всю сознательную жизнь был связан с Эстонией. Он уверял, что родители его — петербургские эстонцы, но скептические тартуанцы, завсегдаи главного городского кафе «Вернер», шептали, что на самом деле Адамс — русский, что его якобы псевдоним молодых лет «Александровский» и есть настоящая фамилия, а Адамс — как раз псевдоним. Не нам разбираться в его родословной, отметим лишь, что Адамс вошел во взрослую жизнь с прекрасным знанием трех языков: эстонского, русского, немецкого, что принесло ему потом ничем незаменимые блага — и, почти одновременно, тяжелые несчастья. Конечно, самые большие несчастья ему всегда приносил характер: самолюбивый, самонадеянный, капризный, постоянно рвущийся «на рожон». В конце жизни, подводя свои итоги, он с грустной улыбкой произносил: «Мне довелось жить при девяти режимах, и при всех мне было плохо». По крайней мере при трех он сидел в тюрьмах.

В 1918 г. он впервые стал известен в Тарту. Недавний гимназист активно участвовал в организации Советской республики, ходил с большим красным бантом на груди, издавал на русском языке большевистскую газету «Молот». Но «буржуазные» силы Эстонии победили, советская власть уничтожена, и коммунистический лидер Адамс попал в тюрьму, которая отличалась, как он рассказывал, большим либерализмом: в камеру допускались друзья с продуктовыми подарками.

Советская юность сильно подпортила последующую биографию Адамса, но все же он окончил Тартуский университет и даже получил стипендию для продолжения научного образования в области славянской филологии в Пражском университете. С двадцатых годов он

¹⁶ Хронологические сведения об отделении и о кафедре и ряд конкретных фактов берутся из следующих статей: *Правдин Б. В.* Русская филология в Тартуском университете. — «Уч. зап. ТГУ», вып. 35, 1954. С. 130—164; *Киселева Л.* «Кафедра принадлежит истории культуры». — «Вышгород» (Таллинн), 1998, № 3. С. 6—13; *Пономарева Г.* Перед оттепелью. История кафедры русской литературы конца 1940-х — начала 1950-х годов. — Там же. С. 53—65.

стал известен как эстонский поэт и новатор, языковой (вводил неологизмы) и стиховедческий (вводил свободные ритмы, декламационный тонический стих); стихи писал, главным образом, символистские и «декадентские»; т. е. представляя собой своеобразную смесь Блока и Маяковского.

Когда в 1940 г. в Эстонии установилась советская власть, то Адамс оказался на коне: выступал на митингах, громил буржуазию и прославлял Советы, наконец, смог преподавать в университете, куда ему раньше был закрыт путь как человеку с запятнанной репутацией.

Но в 1941 г. город заняли фашисты, просоветские деяния Адамса стоили ему немецкого концлагеря, где сидеть было не так уж выгодно, как в эстонской тюрьме двадцать лет назад. Заключенный не был героем, он согласился сотрудничать с оккупантами, и, знаток трех языков, оказался полезным немецким офицерам как переводчик.

В возобновленном советском университете Адамс начал работать с первых дней (ноябрь 1944), а в марте 1946 г. он был назначен и.о. заведующего кафедрой русского языка (нужно учитывать, что эта кафедра была довольно многочисленной по составу: ведь введение на всех факультетах обязательных занятий по русскому языку требовало большого числа преподавателей). Вскоре Адамс издал по-русски свою книгу «Идиллия Гоголя «Ганц Кюхельгартен» в свете его природоописаний» (Тарту, 1946) в виде «Ученых записок» Тартуского университета. Когда-то эта давняя работа Адамса, серьезная, но с элементами наивного фрейдизма, была издана на немецком языке, теперь автор перевел ее на русский. Конечно, время он выбрал самое неудачное: в августе 1946 г. по всей стране прокатилось эхо от известного постановления ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград», всюду начались разоблачения идеализма, декадентства и прочих «буржуазных» грехов, а в книге Адамса можно было найти сколько угодно разных «измов». В эстонской печати появились разгромные рецензии, и уже в октябре 1946 г. Адамса заставили написать заявление об уходе с поста заведующего. Однако его хлопоты в Москве, поддержанные известным «западником» академиком М. П. Алексеевым, увенчались в 1947 г. успехом — и его в июне восстановили, а в сентябре назначили доцентом вновь созданной кафедры русской литературы. С этого момента и должен вестись отсчет будущей известной кафедры.

Не сразу, но все-таки Адамс был назначен и.о. заведующего и этой кафедрой, два учебных года (1947/48 и 1948/49) возглавляя самого себя — он был единственным штатным преподавателем кафедры, приглашая вести занятия коллег с соседних кафедр. Опять против Адамса начались идеологические гонения, вспомнили и его «декадентские» стихи давних юных лет. В сентябре 1949 г. заведующим кафедрой русской литературы стал Б. В. Правдин, а год спустя, в декабре 1950 г., Адамса вообще уволили из университета. Через несколько месяцев он был арестован — всплыло его сотрудничество с

немецкими оккупантами — и отправлен на каторгу в Карагандинские рудники. В 1955 г., на рассвете хрущевской оттепели, он был освобожден, вернулся в Тарту. С большим трудом автору этих строк, тогдашнему заведующему кафедрой, удалось добиться его восстановления на работу, и затем Адамс 20 лет был одним из самых заметных членов кафедры, активно участвуя в научной работе и читая на эстонском языке (для эстонских филологов) почти все курсы русской литературы. И в пенсионные годы он не порывал научных и человеческих связей с кафедрой. К его 90-летию Лотман написал живую статью «Я знаю пять Адамсов» (тартуская газета «Вперед» от 28 января 1989 г.), где подчеркнул многогранность облика маститого коллеги: поэт, литературовед, человек бурного темперамента, мемуарист, романист, яркая университетская личность.

Адамс, человек эстонской культуры, тесно общавшийся с кругом местной интеллигенции, много рассказывал нам о настроениях, слухах, конфликтах в университетской среде. В том числе и об анекдотических истолкованиях облика Лотмана, становившегося уже тогда, в пятидесятых годах, заметной фигурой на тартуском фоне. В сталинское время, оказывается, тартуская публика пришла к твердому убеждению, что Лотман подражает вождю. Поэтому завсегдатаи знаменитого кафе «Вернер» с нетерпением ждали после доклада Хрущева на XX съезде КПСС, что Лотман сбреет усы. Не дождались. Тогда возникла новая версия: теперь уже неудобно показывать связь, поэтому оставил усы...

Адамса в качестве заведующего кафедрой русской литературы сменил Борис Васильевич Правдин (1887—1960). Сын рижских интеллигентов, специалист по французскому языку, он во время 1-й мировой войны, перед занятием немцами Риги, эвакуировался с семьей в Тарту, где с 1919 г. стал преподавать в университете русский и французский языки. Как и Адамс, писал в молодые годы «декадентские» стихи; дружил с Игорем Северяниным, часто приезжавшим в Тарту, возглавлял Юрьевский цех поэтов. Во время немецкой оккупации 1941—1944 гг. работал переводчиком в издававшейся эстонской администрацией газете «Новое время» — но, в отличие от Адамса, он не был отправлен в ГУЛАГ; возможно, что служба в штатской, да и не немецкой газете, показалась менее криминальной, чем в фашистской армии. Однако идеологическое «пятно» сковывало Правдина, он был замкнутым, осторожным, постоянно советовался, как в марксистском духе нужно трактовать те или иные разделы истории русской литературы. Научной работой по проблематике кафедры он совсем не занимался, целиком уйдя в лексикографию. Ему принадлежат прекрасные подробные словари: русско-эстонский и эстонско-русский. В 1954 г. он поспешил уйти на пенсию, и я принял от него кафедру, будучи предшествующие три года негласным помощником и советчиком.

Я после окончания ЛГУ (1948) и года преподавания в средней школе поступил в аспирантуру Ленинградского пединститута им. М. Н. Покровского, а в 1951 г. переехал в Тарту, так как жена, С. А. Николаева, химик, на год раньше меня кончила аспирантуру и подлежала распределению; из предложенных университетов мы выбрали Тартуский. Один год я формально числился аспирантом ТГУ, а с декабря 1952 г., после защиты диссертации, стал старшим преподавателем, с августа 1954 г. — заведующим кафедрой русской литературы.

Кроме Б. В. Правдина и меня, в те первые годы работы Лотмана на кафедре в качестве почасовика в ее штат вошло еще несколько преподавателей. Вместо отправленного в ГУЛАГ Адамса лекции по русской литературе на эстонском языке (для других отделений факультета) читал преподаватель кафедры русского языка Иван (Йоханнес) Александрович Фельдбах (1902—1972). Родившийся в Эстонии, он воевал в гражданскую войну в Красной Армии, в 1936 г. окончил Ленинградский пединститут им. А. И. Герцена; коммунист, общественник, в 1946—1951 гг. он заведовал кафедрой русского языка, а затем был переведен на нашу кафедру, так как его учебная нагрузка почти полностью относилась к кафедре русской литературы. Человек он был скучный, невзрачный, нетворческий, в научной работе кафедры участия совсем не принимал, да и вообще был в стороне от нас, от молодежи. Выглядел он значительно старше своих 50 лет. Когда в 1954 г. после ухода на пенсию Б. В. Правдина ректор предложил мне заведовать кафедрой, а я смущенно отнекивался, ссылаясь на молодость и плохое знание местных особенностей, Ф. Д. Клемент с раздраженной улыбкой подвел итог: «Не Фельдбаха же мне назначать!»

С 1950 по 1953 гг. доцентом кафедры был Александр Михайлович Шаныгин (1917—1990), тот самый, у которого первое время по приезде в Тарту жил Лотман. Он в 1950 г. защитил в ЛГУ кандидатскую диссертацию о скучном третьестепенном писателе XIX в. Н. А. Благовещенском и больше наукой не занимался, да и учебной работой совсем не интересовался. Он оказался слишком ленив и бездарен для вузовской работы, лекции мог читать лишь по заранее написанному тексту (однажды он по ошибке положил в портфель из пачки тетрадей-конспектов по романам Достоевского не нужный конспект, а следующий и прямо объявил студентам: «Пропустите в ваших тетрадях 24 страницы» — как будто у всех слушателей почерк и объем написанного были такие же, как и у лектора!). Студенты роптали, начали бунтовать и нахально пропускать лекции Шаныгина. Ему вскоре подвернулась возможность вернуться в Ленинград, и он быстро уехал. Читать лекции по литературе и там не смог и потом долгие годы преподавал в ЛГУ русский язык для иностранцев.

На его место с помощью Б. В. Правдина и, конечно, ректора Ф. Д. Клемента мне удалось в 1953 г. устроить своего товарища по аспирантуре Якова Семеновича Билинкиса, в будущем известного про-

фессора, специалиста по творчеству Толстого, Достоевского, Чехова. Он — блестящий лектор, собирал всегда полные аудитории, активно включился и в научную работу кафедры. К сожалению, его неизменно тянуло в Ленинград, и он в 1955 г. покинул Тарту.

Отделение русского языка и литературы ТГУ росло с каждым годом. В конце сороковых годов на каждом курсе училось всего около десятка студентов, но в 1950 г. было принято уже 25 человек, в 1951—59; в дальнейшем, как правило, прием утвердился на цифре 50, с разбивкой на две равные группы: с русским и эстонским языком обучения (иногда возникали требования принимать в «русские» группы местных выпускников школ, со знанием эстонского языка, тогда в эти группы редко удавалось набрать 25 человек).

Рост количества студентов, естественно, увеличивал нагрузку кафедры, как и соседней кафедры русского языка, появлялась возможность просить в ректорате новые штатные места. В 1954 г. на кафедру пришла Инна Марковна Правдина, невестка Бориса Васильевича, жена его сына Анатолия, лингвиста, закончившего аспирантуру в Москве и вскоре, с 1956 г., занявшего должность заведующего кафедрой русского языка ТГУ. И. М. Правдина — специалист по советской литературе, мы нуждались в преподавателе русской литературы XX века. Но она, подобно Я. С. Билинису, хотела вернуться — только не в Питер, а в родную Москву, и, когда там, в музее В. В. Маяковского, нашлась штатная единица, в 1956 г. уволилась из ТГУ. На ее место удалось взять Зару Григорьевну Минц, и таким образом супруги Лотманы оба стали преподавателями Тартуского университета.

Таков был основной преподавательский состав кафедры в пятидесятых годах. Добавим еще, что с помощью Ф. К. Клемента почти в каждом учебном году удавалось оставлять в качестве лаборанта или преподавателя способных выпускников нашего отделения. Опять же нельзя не поблагодарить судьбу, пославшую университету такого ректора. Я как заведующий кафедрой приходил к нему с настоятельной просьбой, ректор подробно расспрашивал о кандидате, затем вызывал начальника отдела кадров, и они при мне отыскивали какую-нибудь вакантную ставку. Насколько это было уникально в советское время, можно судить по воспоминаниям Вяч. Вс. Иванова о его аспирантской и преподавательской молодости в Московском университете, когда вокруг ученого образовалась целая плеяда талантливейших учеников, которых было невозможно по окончании сохранить при университете¹⁷.

Нам в 1954 г. удалось оставить выпускника отделения Сергея Геннадиевича Исакова¹⁸, будущего известного профессора, автора мно-

¹⁷ «Звезда», 1995, № 3. С. 157—159.

¹⁸ Биографию и список его трудов см. в кн.: «Профессор С. Г. Исаков. Биобиблиографический указатель. 1953—1990». Тарту, 1991.

гочисленных научных трудов, заведующего кафедрой в 1980—1992 гг., а ныне еще и депутата эстонского парламента. Один учебный год С. Г. Исаков проработал лаборантом кафедры (этот год — самый идеальный из всех последующих лаборантских трудов), а в 1955 г., опять же с помощью ректора, добыли для него ставку преподавателя. Кроме того, почасовиками кафедры были будущий известный философ профессор Леонид Наумович Столович и тоже будущий профессор, но литературовед Павел Семенович Рейфман (он в штат кафедры войдет с 1959 г.).

Аппетит приходит во время еды. Очень хотелось привлечь к работе кафедры кого-либо из маститых, известных специалистов. Случайно, неожиданно, но такие возможности появились. В 1952 году в Москве, в редакции «Литературного наследства» я познакомился с Юлианом Григорьевичем Оксманом (1895—1970), тогда профессором Саратовского университета (после 10 лет колымских лагерей выдающийся литературовед, возглавлявший в тридцатых годах Пушкинский Дом, смог в 1947 г. устроиться лишь в Саратове). Местное партийное начальство постоянно притесняло опального профессора, и Юлиан Григорьевич, узнав о приличной атмосфере в Тартуском университете, чуть ли не с радостью готов был переехать в Эстонию. Я несколько раз ходил к Ф. Д. Клементу, рассказывал ему, как важно было бы нам приобрести такого коллегу; ректор отнесся к рассказам с пониманием, вскоре нашел и полную ставку, и двухкомнатную квартиру, но дело вначале застопорилось (как часто бывает, саратовские власти узнав о приглашении Оксмана в Тарту, тут же изменили к нему отношение, заговорили о возможности издавать труды профессора и т. д.), а потом Оксман был приглашен в Москву, в ИМЛИ — и тут уж наша идея оказалась лишней. В письме к Оксману от 16 ноября 1952 г. я с грустью сообщал, что ректор около двух месяцев держал отдельную квартиру, никому ее не отдавая. Увы.

Любопытно, что повторно, уже в 1967 г., когда Оксман за «диссидентство» и «общение с иностранцами» был изгнан из ИМЛИ, из Союза писателей и его имя стало запретным, вычеркивалось цензурой, Лотман пригласил его преподавать в ТГУ (сотрудник кафедры русской литературы П. С. Рейфман уходил в двухлетнюю докторантуру, и на это время освобождалось место доцента, которое можно было превратить в профессорское). Из письма Лотмана к Оксману от 23 ноября 1967 г.: «Мы бы вас не перегрузили — Вам можно было бы дать кое-какие спецкурсы и курс журналистики. Если бы Вы могли приезжать в Тарту два раза в год (учебный), каждый раз на месяц-полтора, это был бы максимум <...>. Я со своей стороны вел предварительные переговоры с ректором и получил согласие». Клемент опять проявил себя не как партийный функционер, дрожащий за место, а как настоящий интеллигент. К сожалению, переезд Оксмана опять не состоялся: благодаря усилиям профессоров Г. В. Краснова и В. В. Пугачева, тогда рабо-

тавших в Горьковском университете, его удалось устроить на полставки в этом вузе. И хотя тучи сгущались и в Горьком (Лотман, наверное, прослышал о гонениях и потому и решил возобновить приглашение в Тарту), Оксман все же предпочел оставаться недалеко от Москвы.

Второй случай с приглашением видного ученого произошел в конце 1950-х гг. Речь идет о переговорах с доцентом Владимиром Давидовичем Резником (литературный псевдоним — Днепров; 1903—1992), ярким критиком и специалистом в области теории романа. Он тогда работал в Борисоглебске, в пединституте, где кафедрой русской литературы заведовал известный литературовед Б. О. Корман. В. Д. Днепров тоже пожелал переехать к нам, я опять пошел к Ф. Д. Клементу, но на этот раз ректор ставку нашел, а квартиру ему никак не удавалось раздобыть, поэтому пока была обещана лишь комната в студенческом общежитии. На это коллега не согласился, так что и здесь хлопоты оказались напрасными.

Впоследствии Лотман будет мечтать о приглашении на постоянное жительство в Тарту М. М. Бахтина, но и здесь ничего не получилось — об этом речь будет ниже.

Таким образом, волею судеб нам не удалось привлечь на кафедру русской литературы выдающихся ученых старших поколений; надо было самим принимать эстафету старшинства...

Молодежный состав кафедры, в который с 1955 г. колоритно вклинивался тоже не по возрасту энергичный В. Т. Адамс, способствовал большому оживлению научной работы: теперь в каждом номере факультетских «Ученых записок» публиковалась какая-либо статья нашего сотрудника; интенсифицировались научные конференции.

Эстонские советские власти истово заставляли руководителей прессы и учебных заведений праздновать все юбилеи деятелей русской культуры, особенно писателей. Еще до нас в ТГУ было пышно отмечено 150-летие со дня рождения А. С. Пушкина (1949), а уже при нас, в 1952 г., столетие со дня смерти Н. В. Гоголя и 150-летие А. Н. Радищева. На общеуниверситетской научной сессии, посвященной последней дате, как уже говорилось, выступил с докладом о Радищеве Лотман — это его первое участие в научном собрании ТГУ. Затем почти ежегодно он выступал с докладами на общеуниверситетских научных сессиях: «К вопросу о формировании литературных воззрений Андрея Кайсарова» (1953), «Проблема авторских оценок и отступлений в “Евгении Онегине”» (1955), «Карамзинизм как историко-литературная проблема» (1956), «Основные этапы развития русской прозы конца XVIII — начала XIX вв.» (1959) и т. д.

Мы старались активнее вовлекать в научную деятельность и студентов. Если только студент имел желание трудиться и возможность пожить неделю или месяц в Москве, в Ленинграде, то ему придумывалась такая тема курсовой или дипломной работы, которая требовала бы работы в архивах. Хорошо и интересно заработал студенчес-

кий научный кружок. В 1952 г. я предложил кружковцам заняться изучением богатого университетского архива, где хранились ценные неопубликованные рукописи. Одним из самых результативных итогов этого начинания явилась публикация студентами С. Г. Исаковым и В. И. Беззубовым письма А. С. Грибоедова к М. Н. Загоскину с добротными комментариями («Уч. зап. ТГУ», вып. 35. 1954).

По линии кружка студенты решили выпускать время от времени машинописный альманах «Дружба» (в трех экземплярах). К сожалению, дело остановилось на первом номере (1952), ибо в альманахе, наряду с научными статьями, публиковались студенческие стихотворения, которые, естественно, были произведениями о личных чувствах и размышлениях, а не переложением политических лозунгов, поэтому альманах сразу же обратил на себя внимание партийной и комсомольской организаций, начались публичные проработки участников, охаивание «безыдейности» и прочих грехов. Пришлось выпуск альманаха прекратить.

Но все-таки трудно было заковать живые инициативы преподавателей и студентов, мы постоянно что-то придумывали неофициальное. В те годы полагалось постоянно проводить на кафедре заседания так называемого философского семинара, где нужно было изучать произведения «классиков марксизма-ленинизма», но мы старались сделать такие занятия интересными и полезными; например, на обсуждение выносились проблемы гегелевской философии (весь 1955/56 учебный год мы обсуждали эстетику Гегеля), а также эстетики *раннего* Маркса. К концу пятидесятых годов включим кибернетическую проблематику — об этом еще будет речь впереди.

В 1956 г. мы без всяких «указаний» сверху провели интереснейший вечер, посвященный 200-летию В. А. Моцарта. Помимо музыкальных «номеров» включили два доклада. Лотман рассказывал о масонских смыслах в либретто моцартовских опер, особенно — в «Волшебной флейте», а я обрисовал творческий путь противоречивого околodeкабристского мыслителя А. Д. Улыбышева, автора всемирно знаменитой трехтомной монографии о Моцарте и печально известной книги, разоблачающей Бетховена за отход от моцартианства.

Большую роль играли и частые домашние «посиделки» у Лотманов и, больше, у Егоровых, где моя теща, Татьяна Алексеевна, устраивала вкусные застолья. Собирались семьями, приглашалась кафедральная молодежь. Обсуждались научные замыслы, университетские дела, политическая жизнь. Наступившая в стране хрущевская оттепель придавала нашим собраниям радужный оттенок, царила атмосфера подъема и перспектив, молодого веселья. На дни рождения друг друга писались шуточные оды, дарились и подарки с шуточным оттенком. Почти каждый вечер заканчивался постановкой и отгадыванием шарад, где особенно блистательно проявлялся артистический

талант Лотмана. Чаще всего постановщиками и исполнителями были мы двое с Лотманом. Два примера его «театральных» выдумок. Ставилась шарада «Мочалов» (тогда в Тарту приезжал друг нашего коллеги Л. Н. Столовича ленинградский поэт и искусствовед Лев Мочалов). Первая часть слова — «моча». Лотман был приемщиком баночек с соответствующим содержимым, сдаваемым на анализ в больничной лаборатории. Я из сумки смущенно доставал такую баночку, а Лотман брал, внимательно рассматривал ее на свет, потом нюхал, потом — совсем уже фантастично — макал палец, чтобы лизнуть «жидкость», и затем великолепно якобы отплевывался. Целая сцена получалась.

Но коронным нашим номером, потом повторяемым в других домах, была шарада «Самсон». Первый слог представлялся так: я изображал вельможу, важно развалившегося в кресле, а Лотман — униженного, бедного просителя. Второй слог мы спали; Лотман блистательно храпел с присвистыванием. А в целом я играл Льва, Лотман-Самсон раздирал мне «пасть», из которой извергался целый фонтан воды (я набирал ее полный рот еще до начала показа шарადы).

Когда в шестидесятых годах Лотман организовал «летние школы» по семиотике, то наша привычка к веселой приподнятости духа органично слилась с соответствующими потенциями московской молодежи.

Продолжая важную традицию петербургской профессуры, мы много внимания уделяли студентам, возились с курсовиками, т. е. с авторами курсовых работ, и дипломниками. Их первые научные работы создавались на занятиях соответствующих спецсеминаров, в библиотечных штудиях, а больше всего — в личном общении с руководителями. Мы щедро приглашали курсовиков и дипломников на домашние вечерние «посиделки», чаепития, делились богатствами домашних библиотек и картотек. Президент Эстонии Л. Мэри после похорон Лотмана, на поминках вспоминал, как его поразило внимание профессора к нему, студенту, занимавшемуся темой «Декабристы в Эстонии»: Лотман пригласил его и показал свою «декабристскую» картотеку; а для нас, как и для наших питерских учителей, это не было исключительным событием, это — обычный поступок старшего товарища.

Используя и некоторые тартуско-дерптские традиции, мы, преподаватели и студенты, после защиты дипломных работ ужинали в ресторане «Волга» и потом всю ночь гуляли по сонному Тарту, устраивая попутно сжигание конспектов на священном капище на горе Домберг и хоровое пение перед окнами не слишком любимых, если не сказать резко, педагогов.

Больше всего доставалось доценту-языковеду С. В. Смирнову. Толпа собиралась в садике перед балконом второго этажа, делилась на четыре группы и горланила четырехголосый канон:

Братец Савва! Братец Савва!
Спишь ли ты? Спишь ли ты?
Слышишь, звон на башне:
Дили-бом! Дили-бом!

Одна группа пела первую строчку, а когда переходила ко второй, то вступала другая группа и начинала с первой строки; потом вступала третья, потом четвертая группа; когда первая группа добиралась до последних слов, то создавался невообразимый хаос от наложения друг на друга разных слов и мелодий. Савватий Васильевич пробуждался и выбегал на балкон с полным ведром воды, стараясь быстро окатить всех нас, но, конечно, мы не менее шустро отскакивали.

Еще мы обязательно ходили к бывшему лотмановскому учительскому институту: это ведь была когда-то усадьба презренного Фаддея Булгарина. Немецкие бурши первой половины XIX века знали о мерзкой биографии этого писателя, доносчика, лакея самодержавия, и обязательно, когда хозяин приезжал в Дерпт, устраивали ему какие-то ночные обструкции. Мы жалели, что не к кому было применить наши свободолюбивые порывы... Впрочем, уже помимо нас, кто-то часто сбрасывал с большого чугунного памятника на могиле Булгарина на тартуском городском кладбище верхнюю «шапку»-плиту. Боюсь, что это тоже наши студенты.

А что вносилось в тартускую жизнь из советских «традиций», это осенняя «картошка». Спасая в колхозах и совхозах урожай, который из-за расхлябанности и нерадивости местных работников грозился погибнуть под снегом, власти во всех регионах страны в сентябре, а иногда и в октябре снимали с занятий студентов и старшеклассников и посылали в деревню на уборку урожая, конечно, под наблюдением преподавателей.

Колхозники при этом бездельничали и смеялись над «помощниками». Очень популярна была частушка:

А я с милым целовалась
От утра и до утра,
А картошку убирали
Из Москвы профессора.

Тартуским профессорам тоже приходилось по очереди, по две или даже четыре недели, убирать со студентами урожай.

Подступы к докторской диссертации

Занимаясь Радищевым и Карамзиным, Лотман постепенно переходил к XIX веку; ведь и Карамзин прожил 26 лет этого века, поэтому изучение этой части его творческого наследия требовало рассматривать и эпоху наполеоновских войн, и начало декабристского движения. Исполдволь Лотман переходил к исследованию общественного движения и литературы этого времени, т. е. первой четверти XIX века. И тем самым наметилась тема его докторской диссертации — «Пути развития русской литературы преддекабристского периода». Для нее Лотман решил ограничиться сплошным изучением материалов, относящихся к первым 15 годам XIX века (все журналы этого времени, вся художественная литература в отдельных изданиях, рукописные источники в десяти архивах страны), но, конечно, он постоянно выходил за рамки 15-летнего интервала.

В течение всех пятидесятых и начала шестидесятых годов Лотман создает и публикует общие работы об изучаемом периоде: «Основные этапы развития русского реализма» («Уч. зап. ТГУ», вып. 98, 1960; статья написана в соавторстве с Б. Ф. Егоровым и З. Г. Минц; Лотману принадлежит раздел о первой половине XIX в.), «Проблема народности и пути развития литературы преддекабристского периода» (сб. «О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы», М.; Л., 1960); «Русская поэзия начала XIX века» (вступительная статья к подготовленному Лотманом изданию: «Поэты начала XIX века». Л., 1961, Малая серия «Библиотеки поэта»), «Пути развития русской прозы 1800-х — 1810-х годов» («Уч. зап. ТГУ», вып. 104, 1961) — и целый ряд работ о конкретных участниках литературного движения начала XIX века: о П. А. Вяземском, В. Г. Анастасевиче, М. А. Дмитриеве-Мамонове и др. Из этого ряда стоит особо

выделить построенные на большом архивном материале две книги: «Стихотворения» А. Ф. Мерзлякова в Большой серии «Библиотеки поэта», целиком подготовленная Лотманом (Л., 1958), и монография самого Лотмана «Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени» (Тарту, 1958), с посвящением: «Светлой памяти Николая Ивановича Мордовченко».

В последней книге Лотман открыл для истории отечественной культуры личность выдающегося человека, мало известного даже специалистам: участник в начале XIX века «Дружеского литературного общества», возглавлявшегося другом Кайсарова, гениальным юношей Андреем Тургеневым, литератор, лингвист, историк, автор антикрепостнической диссертации «О необходимости освобождения рабов в России», профессор русского языка и истории Дерптского университета (1811—1812), избранный коллегами деканом, создатель походной типографии при штабе М. Кутузова во время войны с Наполеоном, автор листовок и прокламаций, в 1813 г. — партизан в летучем отряде своего брата, генерал-майора, наконец — погибший в Германии в бою с отступающими французскими войсками, — таков Кайсаров, жизнь и творчество которого подробно прослежены Лотманом. В связи с книгой о Кайсарове следует отметить такой важный аспект в творчестве Лотмана: он, оказавшись в Тарту, всерьез углубился в культурно-исторические связи России с Прибалтикой, бывшей «вотчиной» остзейских немецких дворян, — ведь многие жители Эстонии участвовали в административной и культурной жизни Петербурга, а ряд русских писателей и общественных деятелей начала XIX в., в том числе и будущих декабристов, был биографически и творчески связан с Эстонией. Начав с открытия новых материалов о замечательном тартуском профессоре А. С. Кайсарове, Лотман потом неоднократно обращался к эстонским темам в истории русской культуры.

Упорядочив и обобщив накопленные материалы, Лотман написал большую докторскую диссертацию, названную выше, представил ее на кафедру русской литературы Ленинградского университета в конце 1960 года и в начале следующего успешно защитил. Оппонентами у него были В. М. Жирмунский, А. В. Предтеченский, Г. П. Макогоненко.

Диссертация явилась новым словом в изучении русской литературы и литературной критики начала XIX в. Обширный круг конкретных авторов и их произведений включен в сложные системы общественно-политического и философского характера, в напряженную идеологическую борьбу начала XIX в. — и это было сознательной установкой. Лотмана, воспитанного на гегелевско-раннемарксистской методологии, особо занимала тогда обусловленность литературы движением общественной мысли. Для преддекабристской, допушкинской поры такой подход имел основания: русская художественная литература только еще выходила на самостоятельную доро-

гу, и ее зависимость от социально-политических и философских воззрений тех или иных группировок оставалась прямой и непосредственной. Но уже тогда возникали, как показал ученый, сложные соотношения идеологии и индивидуального художественного творчества, порождавшие, благодаря выдающимся талантам Карамзина, Жуковского, Крылова, уникальные литературные явления.

Ведущая же мысль диссертанта такова. Огромный комплекс просветительских идей XVIII века серьезно воздействовал на русскую дворянскую культуру преддекабристского периода, создавая предпосылки возникающей революционности. Но движение было непрочно и двоилось, почему и было так противоречиво и сложно движение декабристов: в рамках дворянской культуры зарождались элементы будущего либерализма, а если усиливались демократические черты, то готовился разрыв с дворянской идеологией. Писатели, наиболее тесно связанные демократическими традициями XVIII века (Крылов, Гнедич, Нарезный, Измайлов), объединялись прежде всего по принципу «негативности», по принципу нелюбви: к барам, к дворянству, к крепостническим порядкам, а опору себе искали достаточно традиционно-консервативно, вплоть до монархизма. В позитивном отношении наиболее ценным представляется творчество Крылова, освободившегося от нормативности и схематизма XVIII века и изображавшего реального русского человека.

В диссертации многие ставшие уже общим местом понятия подверглись коренному пересмотру. Особенно ярок пример с хрестоматийными, банальными представлениями о классицизме шишковской «Беседы» и о романтизме арзамасцев. Лотман убедительно показал, что все было не так: поэты «Беседы» в основном базировались на предромантической литературе, а в интересе Шишкова к церковнославянскому языку видна противоположная классицизму тяга к национально-поэтической традиции, к «преданию», а не к разуму. В то же время ведущие поэты «Арзамаса» (оба Пушкина, Вяземский, Батюшков) нередко опирались на авторитет правоверных классицистов Буало и Расина.

Докторская диссертация писалась вне докторантуры, т. е. свободных от учебной работы двух лет: нагрузка Лотмана была чрезвычайно тяжелой, количество лекций в неделю не опускалось ниже 14—16 часов. А созданию диссертации сопутствовало фантастически трудоемкое научное творчество в соседних областях: штудирование большого числа «чужих» новых книг и статей и написание собственных. В 1958 г. вышли в свет книга Лотмана о Кайсарове в 12 печатных листов (т. е. в 192 страницы) и подготовленный им для Большой серии «Библиотеки поэта» том «Стихотворений» А. Ф. Мерзлякова с солидным научным аппаратом (всего в 20 печ. листов) — да еще восемь статей, некоторые из них весьма объемные; в 1959 г. — еще восемь статей, в 1960 г. — опять восемь, в 1961 г. — автореферат докторской дис-

сертации (2 печ. листа), сборный том в Малой серии «Библиотеки поэта» — «Поэты начала XIX века» — с научным аппаратом (всего 21 печ. лист) и еще 12 статей. Дальше количество научной продукции, без снижения качества, продолжало наращиваться.

К учебно-административной университетской работе приплюсовывалась домашняя хозяйственная занятость (ведь надо было обхаживать трех маленьких сыновей, а жена, З.Г. Минц, отнюдь не была освобождена от учебных и научных нагрузок, она «соревновалась» с мужем и по количеству лекций, и по печатной продукции). Для научной работы оставались ночи. И когда такая жизнь продолжалась годами, то организм давал сбой. Из моего письма к Ю. Г. Оксману 17 ноября 1963 г.: «Юр. Мих. неважен, но, чувствуя, что дело плохо, он перестал работать ночами (он ведь писал или читал до 3—4 <часов> утра, а в 7 вставал!!), даже днем иногда отдыхает». Однако такого «санаторного» режима Лотману хватало на несколько дней, потом он опять возвращался к бешеному ритму. Организм, ясно, сжигался досрочно, но иначе жить Лотман не умел.

Лотман стал первым доктором наук (потом и профессором) на кафедре; а несколько кафедральных сотрудников успешно защитили кандидатские диссертации: П. С. Рейфман (1953), З. Г. Минц (1955), С. Г. Исаков (1962). Таким образом, к началу шестидесятых годов вся кафедра оказалась «остепененной», если не считать вновь принятых В. П. Килька (1957) и В. И. Беззубова (1960). В сравнении с другими вузовскими кафедрами того времени это было уникальное явление.

Названные два коллеги, как и С. Г. Исаков, — выпускники отделения русского языка и литературы (соответственно — 1953 и 1955), свои ученики. Для них удалось не сразу, как для Исакова, но все же вскоре по окончании университета найти штатные места — конечно, с помощью Ф. Д. Клементя.

Владимир Петрович Кильк (1921—1997) был зачислен старшим лаборантом, на этом месте он прослужил 12 лет, в 1963—1973 гг. трудился в должности преподавателя кафедры. К сожалению, он не оправдал наших надежд, научной работой не занимался, диссертацию не подготовил, потому и долго его не переводили в преподаватели, впрочем, лаборантом он оказался нерадивым — это была единственная, за многие годы, кадровая промашка.

Валерий Иванович Беззубов (1929—1991), наоборот, с лихвой оправдал наши надежды. В 1968 г. он защитил кандидатскую диссертацию о Л. Андрееве, в 1977—1980 гг. заведовал кафедрой. Тяжелая болезнь (рак) рано лишила его жизни. В лирическом дифирамбе памяти младшего товарища — «Он держался на мысли и на смелости», который Лотман опубликовал в университетской газете «Alma mater» (апрель 1992 г., № 2/7), ярко обрисована личность Беззубова: «Выделялся он среди студентов сразу двумя признаками: талантливостью и нервностью. В нем было несколько стихий. Во-первых, он называл

себя крестьянским сыном. И действительно, это совпадало с его принципиальной жизненной позицией. Но при этом Валерий — один из самых интеллигентных людей, которых я встречал в своей жизни. Его интеллигентность выражалась в художественности его таланта и в необычайной чуткости к другим людям <...>. Я бы сказал, Валерий был человеком с содранной кожей. Не случайно его любимые писатели были писатели разорванной души <...>. Валерий считал для себя нужным быть на том месте, где больно <...>. Я бы сказал так: он был с душою и болью Эстонии».

Лотман затронул важную проблему — эстонский аспект деятельности кафедры. Отделение русского языка и литературы принадлежало эстонскому университету, мы обучали русской культуре не только русских по национальности студентов, но и эстонцев — и на своем отделении, и на других. Поэтому мы считали очень существенным диалог культур, т. е. и свое ознакомление с эстонским языком, бытом, традициями, национальным характером. Мы занимались, каждый в своей области, русско-эстонскими литературными и общественными связями, выше уже говорилось о вкладе Лотмана в эту сферу. И очень было ценным иметь на кафедре двуязычных, двухкультурных коллег, а таковым у нас был лишь В. Адамс (И. Фельдбах мало что делал для наведения мостов между весьма разными культурами; а мы очень старались их наводить, тем более что психологически со стороны большинства эстонцев и не было никакого желания приобщаться). Поэтому было так важно при включении в коллектив кафедры новых членов учитывать этот аспект. Отрадно, что все три студента пятидесятых годов, приглашенных потом на кафедру, были тесно связаны с Эстонией.

С. Г. Исаков вырос в Эстонии, в Нарве, знал эстонский язык и сделал основным объектом своих научных исследований русско-эстонские культурные и литературные связи (а также эстонско-украинские, эстонско-грузинские, эстонско-латышские и т. д. связи).

В. П. Кильк и В. И. Беззубов выросли вообще в эстонских семьях (у Беззубова мать — эстонка), они родом из деревни Эстонка в Абхазии (в конце XIX века безземельные эстонские крестьяне переселялись на Кавказ, где получали неплохие наделы), поэтому могли читать курсы русской литературы на эстонском языке — и для русистов, плохо еще знавших русский язык, и для эстонских филологов. В. И. Беззубов сблизился творческими связями с эстонским театром, театроведами и критиками, с эстонскими писателями, он глубоко вошел в культурную жизнь республики.

Научная продукция кафедры, благодаря интенсивной работе ее членов, росла с каждым годом, во второй половине пятидесятых годов мы уже задыхались от обилия нереализованных статей.

Каждый из нас в год создавал приблизительно 10—12 печатных листов (т. е. около 250 страниц машинописи) — что равнялось двух-

летней норме сотрудника академического научно-исследовательского института, полностью освобожденного от учебных нагрузок. Иногда печатались в массовом ежемесячном журнале «Лооминг» на эстонском языке, в тартуских и таллинских газетах, но это были, естественно, научно-популярные статьи. Чисто же научная продукция лишь изредка просачивалась в столичные, московские и ленинградские, органы печати, в сборники и «ученые записки»; единичны были зарубежные публикации. Тартуские же университетские «ученые записки» выходили крайне редко; как правило, это были факультетские сборники, и на кафедре обычно в них выделялась норма — одна статья объемом не больше полутора листов; в порядке исключения допускались две статьи — а такие факультетские сборники собирались редко, раз в два-три года.

Нужно учесть, что почти все ведущие ученые Тартуского университета, увидевшие в 1940—1941 гг., что такое советская власть, не стали дожидаться конца 2-й мировой войны, когда Советская Армия снова войдет в Эстонию, и эмигрировали на Запад: кто с отступавшими немцами, кто прямо через море в Швецию; остались и вновь были набраны в основном педагоги школьного уровня, совсем не творческого, научного плана; потом, конечно, появилась талантливая молодежь, но ей было очень трудно пробиться, «старики» ревниво держали оборону, не пускали или же сильно притесняли, были трагические случаи самоубийства — это большая и тяжелая тема.

Из-за нетворческого характера многих преподавателей и научная продукция университета в целом была весьма слабой и малой. В 1954 г. сборник трудов историко-филологического факультета являлся 35-м выпуском «Ученых записок ТГУ», а следующий, вышедший в 1956-м, имел номер 43. То есть ежегодно все факультеты университета вместе давали не более четырех томов своих трудов.

Случай и помощь Ф. Д. Клемента спасли нас. В 1957 г. мы узнали, что в сентябре следующего года в Москве состоится IV Международный съезд славистов. Хороший повод! Минувя факультетскую редколлегию, которая распоряжалась объемом печатной продукции и утверждала все издания к отправке в типографию, я пошел к ректору и попросил у него разрешения выделить из университетского фонда особый том для двух кафедр нашего отделения, дополнительно к отпускаемому на факультет: дескать, как бы хорошо преподнести международному конгрессу специальный том Тартуского университета. Ректор разрешил, выделил. Но его нужно было утвердить на факультетской редколлегии, которую возглавлял эстонский фольклорист доцент Э. Лаугасте. Сам не очень творческий, он, видимо, ненавидел нашу кафедру, каждую статью для факультетского сборника он встречал в штыки, долго, нарочно замедленно читал, придирался, возвращал для доработки. Кажется, он отличался националистическими антирусскими настроениями, но, впрочем, прижимал и сво-

их научно продуктивных соплеменников. Можно было представить его изумление и злобу, когда он узнал о выделении нам целого тома!! Он решил отыгаться на строгости утверждения тома. Долго нас мариновал, несколько раз возвращал уже готовый сборник. «Вот эти страницы у вас слишком загрязнены поправками, надо перепечатать». Перепечатали. Опять: «На эту статью подана отписочная, не-серьезная рецензия». Заменяли новой, обстоятельной. Именно тогда я придумал способ писать липовые развернутые рецензии, назвал его «приёмом обратной перспективы»: рецензия опиралась на все-все исправления, имевшиеся в окончательном варианте статьи. Скажем, вклеен абзац с вновь найденным в архиве документом — значит, в рецензии пишется: «Хорошо бы еще здесь учесть ценный документ о том-то, хранящийся там-то». Исправил автор какое-либо предложение — тогда в рецензии цитируется прежний текст и заявляется, что выражение стилистически неудачно, лучше сказать вот так — и приводится новый вариант автора. Получалось, таким образом, не менее десятка — полутора десятков замечаний, рецензия растягивалась на две-три полновесных страницы, а автор в конце рецензии браво приписывал от руки: «Все замечания учтены, статья переделана», Лаугасте ничего не мог с нами поделывать, приходилось утверждать сборник к печати.

Так летом 1958 года появился первый том «Трудов по русской и славянской филологии». «Посвящается IV Международному конгрессу славистов». 14 печатных листов. Статьи Адамса, Лотмана, Егорова, Исакова, Минц (вместе с питерским чехистом О. Малевичем),

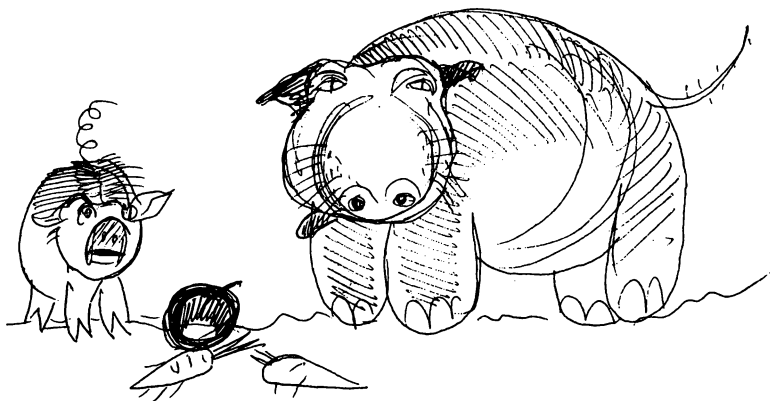


Рис. Ю. М. Лотмана. Из архива В. А. и О. М. Малевичей

А. Амбус. Две лингвистические статьи. Не Бог весть какие открытия предлагались в сборнике, но для нас выпуск тома был этапом, началом многочисленных изданий.

На этом мы не успокоились. Набравшись смелости, попросили у Клемента еще один том: Лотман давно уже закончил монографию об Андрее Кайсарове, она два года лежала без движения в Таллине, в Эстонском издательстве, а ее тоже хорошо бы преподнести конгрессу славистов, ибо профессор Дерптского университета начала XIX в. серьезно занимался славистическими проблемами, задумал грандиозное мероприятие — сравнительный словарь всех славянских языков. И ректор опять разрешил. Второй том мог бы dokonать строптивного Лаугасте, если бы он сопротивлялся, но он, наверное, махнул рукой, увидев беспомощность рогаток, и том Лотмана прошел еще быстрее, чем общий: книга о Кайсарове идет под номером 63 «Ученых записок ТГУ», а «Труды...» — 65. Так начались наши регулярные издания. Может быть, научная ориентация Клемента, да и наш пример, способствовали оживлению научной работы всего университета.

Если в 1958 г. выходили шестидесятые тома «Ученых записок», то сейчас, в преддверье XXI века, счет приближается к тысяче, то есть за 40 лет вышло 900 томов! Наша кафедра русской литературы может гордиться: из этого количества наш вклад в научную копилку университета — около 100 томов, т. е. девятая часть всей продукции университета.

Когда формировалась делегация Эстонии на IV съезд славистов, естественно, состоявшая из сотрудников Тартуского университета, нам удалось с помощью Клемента получить три места из пяти: поехал, кроме Лотмана и меня, В. Адамс. А на оставшиеся два места были назначены академик Аристэ (конечно, никакого отношения к славистике он не имел, был финно-угроведом, но проникал всюду в качестве полиглота) и преподаватель Вилем Эрнитс, легендарный лингвист, тоже полиглот, знающий специалист, он из-за невероятной хаотичности бытового поведения и мышления не написал ни одной научной работы, но выступал на конференциях по частным вопросам дельно и живо.

В начале сентября 1958 г. мы отправились в Москву, захватив с собой несколько десятков экземпляров первого тома «Трудов». 25 экз. ректор выдал нам бесплатно на подарки именитым литературоведам и писателям, еще 25 мы попросили для продажи, что-то еще купили на свои деньги. Продавцы мы оказались аховые: отдали пачки книг киоскерше Московского университета (конгресс проходил в высотном здании), она обещала продавать за умеренные проценты в свою пользу; но к концу конгресса она почему-то исчезла, следов ее мы не нашли, махнули рукой; слава Богу, наша бухгалтерия то ли забыла, то ли простила — но за пропавшие 25 экземпляров с нас деньги не потребовали. Зато раздали мы около сотни экземпляров вели-

колепно: помимо видных отечественных и иностранных коллег-литературоведов послали некоторым либеральным писателям: Эренбургу, Чуковскому, Леонову, Федину (он тогда ходил в либералах!). Получили от них сочувственные, положительные отзывы. Особенно мы благодарны Корнею Чуковскому, и потом всегда поддерживавшему нас хвалебными письмами. С пачкой таких откликов я пошел к ректору, он был очень доволен — и разрешил нам и на следующий год издать кафедральный сборник.

Так оно и двинулось с места. Как ни бушевал Лаугасте, как ни вставлял нам палки в колеса, а — поехало! Второй, третий, четвертый тома «Трудов по русской и славянской филологии». Ежегодно. И каждый том толще предыдущего. И интереснее, глубже. Двадцатые тома (это уже в семидесятых годах) приближались к 30 печатным листам каждый. Начались, правда, и драмы: запрещение некоторых томов, умышленные задержки с печатанием, распоряжение о максимуме на каждый том — десять листов и т. д., — но мы уже заявили о себе, издания стали известны во всем мире. Поехало! Вечное спасибо Клементу!

В Москве мы не столько занимались распространением своих книг, сколько активным участием в работе IV съезда славистов. Налаживались творческие связи с зарубежными литературоведами — ведь при тогдашнем «железном занавесе» почти полностью были запрещены наши поездки за рубеж и введены большие ограничения для приездов в страну иностранных ученых. Тем более что Тарту оказался «запретным городом», в него не пускали иностранцев. Почему такое произошло, понять было трудно: никакой секретной промышленности в городе не существовало. Разве что смущал военный аэродром, который выстроили прямо на окраине Тарту и который почти как на ладони просматривался с городской горы; самый глупый шпион мог получить визуально детальнейшие сведения. Это тот самый аэродром, где в 1980-х годах базировалась советская авиадивизия под командованием генерала Дж. Дудаева; отсюда он отправился в свою Чечню разгонять советские органы власти.

Докладами на съезде славистов мы, неизвестные провинциалы, не были удостоены, но неоднократно участвовали в прениях. Лотман выступил 5 сентября по поводу доклада американца Г. Дьюи «Сентиментализм в исторических произведениях Н. М. Карамзина». Положительно оценив отношение докладчика к «Истории Государства Российского» как к литературному произведению, оппонент решительно не согласился с применением термина «сентиментализм» к творчеству Карамзина в целом, без учета изменений художественного метода писателя. Лотман изложил известное нам по его предшествующим работам представление об этапах эволюции Карамзина. А 6 сентября Лотман участвовал в дискуссии по барокко, излагая свою концепцию, которая неоднократно будет воспроизведена в пе-

чатных работах: в Западной Европе, считал он, барокко с его иррационализмом противостояло культу разума в эпоху Возрождения, а последующий рационализм (и классицизм как художественный метод) в свою очередь противостоял барочным принципам; в России же, не знавшей Возрождения, барокко — протест против рационализма и против официальной рационалистической идеологии Петра I и его соратников; в этом отношении и русская церковная культура использовала барокко для удержания своих позиций; поэтому ни Феофан Прокопович, ни Ломоносов не были сторонниками барокко.

В последнем тезисе проявилась черта, которая иногда будет просвечивать сквозь детальнейшие и сложнейшие разработки трудных объектов: Лотман мог ради целостности концепции пренебречь каким-либо «нежелательным» аспектом — ведь на самом-то деле элементы барокко у Ломоносова были.

Подводя итоги первого десятилетия взрослой, послестуденческой жизни Лотмана, следует вспомнить, что его семья пополнилась в промежутке 1952—1960 гг. тремя сыновьями: З.Г. Минц родила Михаила, Григория, Алексея. Выросшие среди местной детворы, ребята с детства свободно говорили по-эстонски, впоследствии женились на эстонках и создавали свои эстонские семьи, пополняя большую семью Лотманов обилием внуков: у Михаила родилось пятеро детей, у Алексея — четверо. Только Михаил пошел по стопам родителей, стал филологом, лингвистом и литературоведом одновременно; Григорий — художник, Алексей — биолог.

НОВЫЕ ПУТИ. РАЗМЫВАНИЕ И УСЛОЖНЕНИЕ КЛАССОВОСТИ

Творческая душа Лотмана не могла ограничиться количественным накоплением фактов и знаний, она требовала новых методологических и идеологических подходов. Например, уже в докторской диссертации начинали размываться строгие схемы классовой борьбы и классовой обусловленности литературных явлений: индивидуальные свойства писателей не укладывались в четкие социальные рамки, а художественные методы — классицизм, барокко, романтизм — тем более (чем дальше, тем осторожнее Лотман будет использовать термины, обозначающие художественный метод; он будет стараться избегать общих понятий «сентиментализм», «романтизм», «реализм», рассматривая индивидуальные особенности писателей и их эволюцию). И все-таки докторская диссертация в целом относилась к первому периоду научного творчества Лотмана, который можно назвать гегелевско-раннемарксистским. Это не означает, что гегелевский метод будет отброшен, его историзм и диалектика будут использоваться ученым постоянно, но в дальнейшем методология Лотмана усложнится и углубится, он будет стремиться сочетать строгость, обоснованность обилием фактов в добротных гуманитарных методах с методами точных наук. Теория относительности не отменила классической механики, а лишь показала, что в физическом мире есть более сложные явления, которые не укладываются в рамки законов Ньютона, — так и здесь. А докторская диссертация подводила черту под первым периодом и намечала пути ко второму.

Характерно, что уже в конце работы над диссертацией Лотман в ряде трудов переходит к пушкинской эпохе: она и хронологически следует за периодом, освещаемым в диссертации, и представляет собой несравненно более сложное и противоречивое время по сравнению с началом XIX века.

В этом отношении существенна большая статья «К эволюции построения характеров в романе “Евгений Онегин”», включенная Б. В. Томашевским в 3-й том периодически выходившего сборника «Пушкин. Исследования и материалы» (М.; Л., 1960. С. 131—173). Идеи этой статьи вошли потом в книги Лотмана о Пушкине — о них речь впереди.

И показательно, что если путь русской литературы XVIII — первой половины XIX в. в целом рассматривался Лотманом на грани 1950—1960-х гг. еще под знаком социально-политических определений, под знаком «классовой борьбы», то непосредственно пушкинское творчество оказывалось на этом фоне более сложным. Характерный пример — программная статья конца пятидесятых годов (написана в 1957, напечатана в 1960 г.), уже упомянутая выше в ряду подготовительных текстов к докторской диссертации, — «Основные этапы развития русского реализма». Сам реализм определяется в начале статьи как «прогрессивное литературное направление, возникающее в период кризиса феодализма и формирования демократической идеологии», т. е. «на определенном этапе классовой борьбы» (Лотман. О рус. лит. С. 530). Ранний реализм XVIII в., подчеркивает автор, нормативен, метафизичен, антиисторичен, ибо историзм, опора на историю, а не на утопическую теорию, может оправдать тиранию и феодализм. А в начале XIX в. на фоне формирования в Западной Европе буржуазного общества, на фоне «обнаженной классовой борьбы» в сочетании с общественной спецификой (дворянская революционность, переходящая в демократическую, и борьба за отмену крепостного права) создавался русский реализм, сочетающий историзм и диалектику с метафизическим антропологизмом. Элементы реализма Лотман находит у Рыльева, Кюхельбекера, Грибоедова.

А далее автор переходит к Пушкину. Прежнее, идущее от Радищева утверждение зависимости человека от внешних обстоятельств становится в методе Пушкина гибче: «национальные черты литературного образа не конструируются на основе общеполитических предпосылок, а подмечаются в живой действительности <...> национальный характер становится исторически сложившейся реальностью» (там же, с. 534). Народное при этом сливается с национальным, и «художественный образ, окрашенный чертами национального своеобразия, выступал как *нравственная норма*, противопоставленная индивидуализму «света» (Татьяна — Онегин)» (там же, с. 535). И если для Радищева главным фактором, определяющим национальный характер, была материальная внешняя среда, то для Пушкина — «исторически сложившийся *психологический уклад*» (там же). Развивая затем историзм, Пушкин стал выводить характер героя не только из духа народа, но и духа эпохи. Герои часто конденсированно, сгущен-

но персонифицировали ту или другую эпоху, и поэтому бытовое правдоподобие не всегда сохранялось, Пушкин мог прибегать к элементам фантастики («Пиковая дама», «Медный всадник», «Сцены из рыцарских времен»).

Следующий раздел, посвященный Гоголю, Лотман начинает с социально-политических дефиниций (Гоголь изображает не просто дух эпохи, но и социальную среду, Гоголь — стихийный демократ), но далее тоже переходит к более дифференцированным свойствам: антропологическая нормативность писателя, представление о нелепости и призрачности реального мира, реалистическая фантастика.

Дальнейшее размывание жесткой классовости и открытие новых черт в истории русской литературы XIX века происходит в этапной статье Лотмана «Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов» («Уч. зап. ТГУ», вып. 119, 1962). Здесь он убедительно показывает, что наряду с магистральной, хорошо изученной линией, называемой реалистической, идущей от Пушкина и Лермонтова к Гоголю и затем к натуральной школе, в литературе и искусстве тех лет существовала другая тенденция, нашедшая отражение у позднего Пушкина, у Лермонтова, у Гоголя (в живописи — у А. А. Иванова) и условно названная «толстовской»: неприятие цивилизации, современных общественно-политических систем, утопическая вера в патриархальный справедливый общественный строй и в свободного труженика и художественное воспроизведение идеальной, гармонической, патриархальной жизни.

Одновременно в этой и в созданной параллельно статье «Идейная структура «Капитанской дочки»» (1962) Лотман по-новому раскрывает и художественное, и этическое значение творческих исканий позднего Пушкина, наиболее глубоко выраженных в «Капитанской дочке»: социальные интересы и пристрастия разных сословий антагонистичны, но над ними возвышаются проявления человечности, долга, милосердия, которые не укладываются в классовые рамки. Они оказываются самыми ценными для Пушкина тридцатых годов; отсюда происходит выдвижение на первый план «незаконных» индивидуальных милостей и Пугачева, и Екатерины II¹⁹. А вслед за Пушкиным и Лотман на своей шкале ценностей возвышает общечеловеческое, доброе, милосердное над классовыми категориями.

Лотман всегда стремился к научной обоснованности и точности в своих статьях и книгах (грехом его было, впрочем, нередкое упование на гениальную память, поэтому иногда обнаруживались неточ-

¹⁹ Позднее М. Г. Альтшуллер обнаружил, что противопоставление правосудия и милости Пушкин мог заимствовать из романа Вальтера Скотта «Эдинбургская темница», где ситуация сходна с эпизодами «Капитанской дочки». См.: Альтшуллер М. Г. Эпоха Вальтера Скотта в России. СПб., 1996. С. 243—244.

Дело в Штату такое:

1) Сегодня написав на подписку

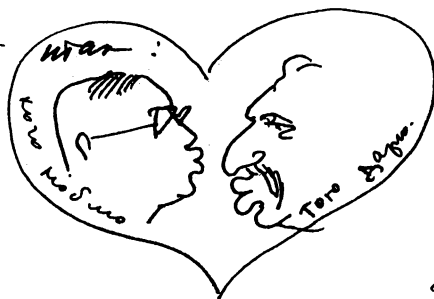
(Егор Егор Егор)

Егор Егор Егор)

караулился. Но из-за этого абзаца
с курсом. (Важная веха в жизни)

2) Сегодня же я виделся Лаврову

вот так:



Он сказал, что решил писать Эпистола

Из письма Ю. М. Лотмана к Б. Ф. Егорову от 2.II.1959г.

ности в стихотворных цитатах; а в первом издании замечательной биографии Пушкина, о которой у нас речь впереди, Лотман местом рождения Пушкина в Москве назвал Молчановку — «лермонтовскую» улицу). Обилие конкретных примеров из произведений изучаемого писателя, обилие архивных источников и сведений из периодики усиливали доказательность анализа. Фундаментальная философская основа метода, гегелевско-марксистская, тоже способствовала исторической достоверности и доказательности. Как раз эта основа в официозных литературоведческих кругах стала размываться значительно раньше, чем у Лотмана, еще в тридцатых годах, но не в виде перехода к общечеловеческим, христианским ценностям, а лишь в сторону общенациональных (общерусских) категорий: Сталин с середины тридцатых годов, не без фашистского влияния, начал выдвигать на первый план вместо классовых признаков — национальные. Иногда, правда, власти спохватывались и заявляли в передовых ста-

тях «Правды» или даже в специальных партийных постановлениях о важности классовых критериев, но потом опять уходили в размытую область.

Появилась (главным образом, в Москве) целая когорта литературоведов разных поколений, действовавшая по принципу «чего изволите» и готовая, когда прикажут, всячески подчеркивать классовый характер творчества писателей, а когда нужно другое — с ясной душой проповедовать русско-патриотические начала, забывая о классовости; иногда кое-кто (А. М. Еголин) забежал вперед и попадал под обстрел партийного руководства: дескать, некоторые забыли о марксизме и провозглашают теорию «единого потока»! Существовали талантливые литературоведы (например, В. В. Ермилов), которые с беспринципной откровенностью выполняли задания партии, когда нужно было «разгромить», показать неслыханную реакционность Достоевского или, наоборот, — возвести на недостижимый пьедестал Чехова. Ю. Г. Оксман назвал такой безосновный метод, базировавшийся на сиюминутных настроениях «верхов», «социологическим импрессионизмом» (в устных беседах и в письмах, конечно, — отнюдь не в печатных работах).

Лотман к концу пятидесятих годов явно перерос прошлое, стал отходить от марксистских схем, но, конечно, не в сторону импрессионизма или теории единого, бесклассового потока в национальной культуре. Он начал искать точные методологии, которые могли бы, не отрицая гегелевско-марксистского историзма, дать новые творческие импульсы и стать прочным фундаментом.

Я слышал оригинальное объяснение лотмановской тяги к точным методам: дескать, это способ смирить, заковать душу, полную бурных страстей. Не думаю, что научная точность может утихомирить страсти; как о «лекарстве» от них стоило бы говорить вообще об интенсивном научном творчестве, почти целиком поглощающем человека, но Лотман был настолько универсален, что его хватало и на творчество, и на страсти.

Одним из существенных толчков к точным методам явилось новое учение Н. Винера, создавшего кибернетику. Мы уже с середины пятидесятих годов смутно слышали о кибернетике и структурализме, но сведения черпали из официальных московских статей, где обе науки трактовались как гнусное исчадие империализма. И вдруг на конце хрущевской оттепели, в 1958 г., в Москве вышла книга Н. Винера «Кибернетика и общество», оказавшая на нас такое же потрясающее воздействие, как на молодого Герцена — учение Гегеля. До этого была лишь одна подобная книга, глубоко влиявшая на умы послевоенной молодежи — «Что такое жизнь с точки зрения физики?» Э. Шредингера (русский перевод — М., 1947), но воздействие «Кибернетики» было несравненно сильнее.

Я первый купил и прочитал книгу Винера, и она буквально перевернула мою душу²⁰. Уже раньше возникали сомнения относительно истинности гегелевско-марксистского понятия «свобода — это осознанная необходимость» и по поводу вообще главенства необходимости, жесткого детерминизма сверху вниз. Винер связал свободу не с необходимостью, а с упорядоченностью и с обратной связью, разрешив тем самым прежние сомнения. Я тотчас же сделал доклад на кафедре, на нашем философском семинаре, излагая содержание и намечая возможности использовать идеи американского ученого в нашей области. На Лотмана наибольшее впечатление произвел принцип обратной связи («Ведь это главный критерий демократичности государства! — воскликнул он. — «Низы» должны знать, что делается наверху, и наоборот») и вообще весь спектр главных проблем теории информации, которые лежат в основе кибернетики.

Но если я тогда углубился именно в кибернетическую проблематику, т. е. в возможности ее применения в литературоведении²¹, то Лотман, взяв в кибернетике, в добавление к учению де Соссюра, важнейшие понятия структуры и системы, вскоре ушел в другую новую сферу, которая захватила его на многие годы, фактически до конца жизни, — в область структурализма и семиотики, хотя он часто будет впоследствии обращаться непосредственно к теории информации, сопрягая ее с этими областями.

²⁰ Интересна аналогичная реакция видного лингвиста И. И. Ревзина, узнавшего о новой науке в 1955 г. из доклада математика А. А. Ляпунова, одного из создателей теории машинного перевода в нашей стране: «Он говорил о Кибернетике (я впервые услышал это слово!) в широком философском аспекте, и вся романтика первых рассказов о фантастических перспективах кибернетики <...> окружила и без того проповедническую фигуру Ляпунова ореолом первооткрывателя. То, что он связал <...> перевод со всем сложнейшим кругом проблем, касающихся человека, — от генетики, медицины до задач управления, — как-то сразу убедило меня. Я сразу решил, что это единственный путь, которым можно идти» (*Ревзин И. И. Воспоминания. — В сб.: «Из работ московского семиотического круга». М., 1997. С. 794*). В самом деле, перспектива глобального объединения гуманитарных, точных, естественных наук и их небывалого развития волновала и вдохновляла.

²¹ Я начал готовить спецкурс «Кибернетика и литературоведение» (23 мая 1963 г. сделал на кафедре в ТГУ доклад о построении, о программе курса), который мне не разрешили читать в ЛГУ, где я тогда уже работал, как не разрешили мне, т. е. «зарезали», книгу на эту же тему, которую я представил в издательство «Просвещение» (Ленинград). В тогдашних условиях такие темы не «проходили». Единственно, что удалось, — это сделать доклад «Кибернетика и литературоведение» на симпозиуме по комплексному изучению искусства, организованном в ленинградском Доме ученых в апреле 1964 г.

СТРУКТУРАЛИЗМ И СЕМИОТИКА

Решающую роль в переходе Лотмана к освоению совершенно новых научных областей сыграло его знакомство в начале шестидесятых годов с московскими лингвистами, тоже переходившими в смежные сферы. Отечественные языковеды, не отягощенные марристскими (якобы марксистскими) схемами, переживали в конце 1950-х — начале 1960-х гг. настоящий информационный и творческий взрыв. Хрущевская оттепель середины пятидесятых годов чуть-чуть приоткрыла «железный занавес», появились первые возможности научных связей с границей, участия в международных конгрессах, получения и обмена научной литературы. Успехи кибернетики, теории информации, семиотики, структурализма, математической лингвистики стали достоянием интересующихся. Оживился интерес и к предшественникам, как часто бывает при интенсивном начале каких-либо новых путей.

Кибернетику основал выдающийся американский математик Норберт Винер (1894—1964). Он еще до второй мировой войны создавал вместе со своим соотечественником, тоже выдающимся математиком, Клодом Шенноном (род. 1916) основы теории информации, первоначально вызванной необходимостью решения практических задач телефонной связи (Шеннон работал в телефонной лаборатории Белла), а потом приобретшей универсальное значение. Во время войны Винер, как оказалось, вослед русскому математику А. Н. Колмогорову (об этом сам сказал в воспоминаниях), занимался решением задач, связанных со стрельбой зениток по самолетам (теория прогнозирования), и вплотную подошел к созданию новой науки управления (обратная связь, переработка информации и т. д.). Свою науку Винер называл, взяв корень из греческого слова κυβερνήτης — кормчий, рулевой,

узнав впоследствии, что известный французский физик А. М. Ампер еще в 1834 г. включил такую науку в свой классификационный список; у Ампера она означала науку о политическом управлении обществом. У Винера же кибернетика стала наукой об информации, о ее передаче, получении, переработке и о соответствующих выводах и действиях. Окончательно принципы новой науки были изложены Винером в книге «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине», вышедшей одновременно в Нью-Йорке и Париже в 1948 г.

Одновременно с кибернетикой и теорией информации бурно развивались в те годы семиотика и структурализм, которые можно рассматривать как тесно сплетенные науки; собственно говоря, структурализм — это часть семиотики. Семиотика, наука о знаках и знаковых системах (от греческого слова *σημείον* — знак, признак), по сути, является универсальной наукой, ибо охватывает все области культуры; только физиологическая жизнь является не семиотической, а первично-природной, все остальное связано со знаками: язык — собрание знаков, отображающих вещи и понятия, цифры — знаки счета и порядка, деньги — знаки ценностей и т. д.

Термин «семиотика» давно уже употреблялся в медицине как наука о признаках болезней, но в современном расширительном смысле он функционирует чуть более столетия²². Фундамент семиотики заложил в конце прошлого века американский философ, основатель прагматизма Чарльз С. Пирс (1839—1914), а относительно подробно разработал эту теорию тоже американский философ Ч. Моррис (1901—1979) в статье «Основания теории знака» (1938). Знак в современной семиотике входит в треугольник «знак — значение — денотат», где денотатом называется обозначаемое знаком явление, а значением — смысл, вкладываемый в знак его получателем. В зависимости же от связей элементов этого треугольника создаются три науки, три раздела семиотики: *семантика*, изучающая взаимоотношения знака и значения (с учетом денотата), *прагматика*, посвященная связям знака с получателем информации, *синтактика*, изучающая структуры самих знаковых систем. Положения теории информации вместе со всей кибернетикой входят во второй раздел, в прагматику, а структурализм можно в свете теории знаков рассматривать как часть семиотики, как определенный аспект синтактики.

Всемирное распространение семиотики, обилие исследований, публикаций, конференций привело к созданию в 1969 г. по инициативе языковедов Э. Бенвениста и Р. Якобсона и этнолога К. Леви-

²² О происхождении термина см. обстоятельные статьи: *Топоров В. Н.* Др.-греч. *se̅m̅* и др. (знаковое пространство, знак, мотивировка обозначения знака; заметки к теме). — Балканские древности. Балканские чтения — I. Материалы по итогам симпозиума. Март 1990 года. М., 1991. С. 3—36; *Ivanov V.* Origin, History and Meaning of the Term «Semiotics». — «Elementa», vol. I, 1993. P. 115—143.

Стросса Международной ассоциации семиотических исследований, а также более 20 специальных журналов по семиотике. Не менее широкое распространение получил и структурализм.

Первоначально как метод возникая вне семиотики, он постепенно создавался внутри некоторых лингвистических учений, доходящих до философского обобщения. Зародыш структуралистских идей можно найти у знаменитых лингвистов XIX в. — немецкого ученого Вильгельма Гумбольта и русско-польского И. А. Бодуэна де Куртене, но все-таки первым структуралистом по праву считается швейцарский языковед Фердинанд де Соссюр (1857—1913), который опирался и на своих великих предшественников, в основном-то развивавших методы сравнительно-исторического языкознания.

Основные положения Соссюра: системность, всеобщая взаимосвязанность в языке; язык — система знаков (здесь Соссюр приближается к семиотическим проблемам; недаром он предлагал создать науку «семиологию»); в языке можно видеть синхронические и диахронические (исторические) акценты, Соссюр предпочитал синхронию; вся лингвистическая совокупность делится на язык («теоретический» свод правил, общенародное достояние) и речь — конкретные тексты, устные или письменно-печатные; язык — форма, а не субстанция, поэтому, например, фонему стоит рассматривать не по ее звуку, а по совокупности различительных (дифференциальных) признаков, отличающих ее от других фонем, — эти положения составили фундамент современного лингвистического структурализма.

А наиболее подробно метод лингвистического структурализма разработали деятели Пражского лингвистического кружка в 1920—1930-х гг. Кружок создали чешский теоретик языкознания Вилем Матезиус (1882—1945) с группой соотечественников и примкнувшие к ним русские эмигранты кн. Николай Сергеевич Трубецкой (1890—1938) и Роман Осипович Якобсон (1896—1982). Пражцы углубили учение де Соссюра, ввели на равных с синхронией диахронию, т. е. подчеркнули развитие языка; создали теоретическую фонологию, расширили лингвистическую функциональность и стали изучать поэтический язык, поэтику.

Структуралистское языкознание продолжало развиваться и в тридцатых годах, и во время второй мировой войны (в США активно трудились так называемые дескриптивисты; в Копенгагене возникла датская школа во главе с Луи Ельмслевом, назвавшим свой метод глоссематикой, соединив «глоссу», по-гречески «язык», с «семой», знаком). Сильным стимулом, подтолкнувшим интенсификацию структуральных исследований в конце войны, стала все более острая нужда в быстром переводе текстов с одного языка на другой, появилась идея машинного перевода (у американского лингвиста В. Вивера в 1946 г.), потом, в связи с изобретением и бурным прогрессом ЭВМ, приобретшая особую актуальность. А для машинно-

го перевода нужны были точные категории и элементы, что как раз давало структуральное языкознание.

Начало хрущевской оттепели в середине 1950-х гг. обусловило и раскрепостило развитие машинного перевода и структурализма в Советском Союзе. Центром была Москва. Ленинская библиотека, главное книгохранилище страны, да и некоторые ведомственные библиотеки, стали получать значительно больше зарубежной научной литературы, вскоре академикам и докторам наук разрешат выписывать научную периодику и книги из стран за «железным занавесом» (валютная квота была скудная, 20—30 долларов в год, да еще и цензура действовала, но все-таки это была хорошая щель!). Возникали первые контакты с зарубежными учеными, начавшими приезжать в Советский Союз, и понемногу власти стали выпускать за границу наших. В 1956 г. впервые приехал рвавшийся на родину невольный изгнанник Роман Якобсон.

Восходящая звезда отечественной филологии, молодой преподаватель МГУ Вячеслав Всеволодович Иванов начал в середине 1950-х гг. активную пропаганду структурализма и машинного перевода в виде статей и докладов. Приглашенный главным редактором журнала «Вопросы языкознания» академиком В. В. Виноградовым в качестве своего заместителя, он стал «пробивать» соответствующие статьи в этом весьма традиционалистском журнале. Вместе с коллегами он долго убеждал В. В. Виноградова в необходимости открыть на страницах журнала научную дискуссию о современном структурализме; об этом есть колоритный рассказ Иванова в его воспоминаниях: «Переменам помогли высокие родственные связи лингвиста С. К. Шаумяна, происходившего из семьи знаменитого большевика (что не помешало ему потом эмигрировать в Америку). На его примере я наблюдал, как у нас осуществляются «революции сверху». Шаумян добивался изменения официального отношения к структурной лингвистике, считавшейся до того буржуазной лженаукой. Он действовал с помощью своих связей в ЦК партии. Виноградов пробовал сопротивляться. Шаумян прибегал к методам, которые можно считать пародией на террористические: зная, что Виноградов работает по ночам и встает поздно, он начал ему систематически звонить часов в восемь утра, если не раньше, осведомляясь, когда же начнется дискуссия о структурализме в «Вопросах языкознания». В конце концов (скорее из-за высоких покровителей Шаумяна, чем из желания оградить от него свой утренний сон) Виноградов сдался. Началась дискуссия о структурализме на страницах нашего журнала» («Звезда», 1995, № 3. С. 166). Она открывалась в 1956 г. статьей С. К. Шаумяна «О сущности структурной лингвистики» (№ 5) и потом продолжалась два года. Хотя нормальные научные статьи иногда перемежались партийно-публицистическими декларациями о структурализме как немарксистском и идеалистическом методе, удалось напечатать ценные работы И. И. Ревзина, А. А. Рефор-

матского и др. Но в конце 1958 г. дискуссия была свернута. Вообще публикация структуралистских исследований была тогда очень затруднена. И. И. и О. Г. Ревзины подготовили «Краткий словарь терминов структурной лингвистики», но смогли опубликовать его не в «Вопросах языкознания», а в журнале «Русский язык в национальной школе» (1966, № 5. С. 81—86).

Вяч. Вс. Иванов совместно с учеником А. Н. Колмогорова, молодым профессором-математиком Владимиром Андреевичем Успенским и известным лингвистом старшего поколения профессором Петром Саввичем Кузнецовым организовал в 1956 г. при филфаке МГУ общемосковский семинар по структурной и математической лингвистике, который, к сожалению, распался через год, так как осенью 1958 г. Иванова уволили из университета за защиту гонимого тогда Б. Л. Пастернака и за связь с «американским шпионом» Р. Якобсоном. Вслед за этим его устранили и из «Вопросов языкознания». В оттепель, увы, постоянно, врываются ледяные ветры. Однако в 1957 г. Вяч. Вс. Иванову удалось вместе с советской делегацией участвовать в Международном лингвистическом конгрессе в Осло, а в 1958 г. вместе с другими московскими структуралистами постоянно посещать заседания IV Международного съезда славистов. Состоялись первые контакты, стали налаживаться творческие связи с зарубежными коллегами.

Московские математики еще раньше лингвистов увлеклись проблемами машинного перевода, создали первые опыты и труды в этой области (А. А. Ляпунов и О. С. Кулагина), они тоже вошли в круг деятелей семинара МГУ и ряда конференций тех лет. Участвовали в тех встречах, дискуссиях, обсуждениях и другие математики и логики Москвы (М. К. Поливанов, Р. Л. Добрушин, А. С. Есенин-Вольпин, А. А. Зиновьев, Ю. А. Шрейдер, А. А. Марков), Ленинграда (Г. С. Цейтин), Киева (Л. А. Калужнин), а также психологи (А. Р. Лурия, И. А. Соколянский). Но, конечно, ведущую роль во всех лингвистических новациях играли сами языковеды. К 1956 г. Виктор Юльевич Розенцвейг (род. 1914) и Исаак Иосифович Ревзин (1923—1974) добились организации при МГПИИЯ (Московском гос. пединституте иностранных языков) Лаборатории машинного перевода и соответствующего учебного отделения. На почасовых основаниях Вяч. Вс. Иванов стал читать курс семиотики — кажется, впервые в Советском Союзе; к преподаванию были привлечены в будущем известные филологи А. К. Жолковский, Ю. К. Щеглов, Ю. С. Мартемьянов. Лекции по математике читал М. К. Поливанов. Еще при МГПИИЯ было создано на общественных началах Объединение по машинному переводу во главе с В. Ю. Розенцвейгом, организовавшее первую в стране конференцию по машинному переводу. В более широком объеме в Ленинграде был создан Комитет по прикладной лингвистике (инициаторы — известный питерский языковед Л. Р. Зиндер и москвичи Вяч. Вс. Иванов и В. А. Ус-

пенский). Объединение по машинному переводу при МГПИИЯ стало выпускать бюллетени, нечто среднее между журналом и периодическими сборниками — «Машинный перевод и прикладная лингвистика» (в 1959—1974 гг. вышло 17 номеров). А в Академии наук возник научный Совет по кибернетике (председатель — академик А. И. Берг), где секцию математической лингвистики возглавил Вяч. Вс. Иванов, несмотря на политический ostracism и изгнание из университета: многие академики хлопотали за него, и в конце концов относительно благополучно устроились и его служебные, зарплатные дела (несколько месяцев он был без работы): удалось добиться его назначения руководителем группы машинного перевода при академическом Институте точной механики и вычислительной техники²³.

Перечисляя первые три крупнейших события в истории «московской» семиотики и структурализма, В. Н. Топоров называет, после приезда в 1956 г. Р. О. Якобсона, постановление «Президиума Академии наук в мае 1960 года о создании в ряде академических институтов секторов структурной лингвистики (тогда же было принято решение об организации отделений структурной и прикладной лингвистики в нескольких университетах), и поэтому именно этот, 1960, год должен рассматриваться как год легализации и признания, в основном, конечно, формального и вынужденного, структурализма, а также как год создания реальных предпосылок для занятий семиотикой в рамках официальных организационных структур»²⁴ (третье событие — симпозиум по семиотике 1962 г., о нем речь впереди).

Как вспоминает Вяч. Вс. Иванов, для этого постановления много сделал руководитель Научного совета по кибернетике академик А. И. Берг, а Иванов вместе с Бергом как председатель секции математической лингвистики даже готовил сам текст постановления²⁵. Чуть ли не первой ласточкой в результате постановления Президиума стало создание сектора структурной типологии славянских языков академического Института славяноведения (теперь это — Отдел типологии славянских и балканских языков и сравнительного языкознания Института славяноведения и балкановедения). Руководство института во главе с И. И. Удальцовым, желая в период хрущевской оттепели показать свою научную прогрессивность, поспешило

²³ Подробнее об этих первых годах драматического становления отечественной структурной и математической лингвистики см. в упомянутых уже воспоминаниях И. И. Ревзина и Вяч. Вс. Иванова, а также в обстоятельном труде В. А. Успенского «Серебряный век структурной, прикладной и математической лингвистики в СССР» и В. Ю. Розенцвейга «Как это начиналось (заметки очевидца)». — «Festschrift für Victor Jul'evič Rozencvejg zum 80. Geburtstag» («Wiener Slawistischer Almanach». Sonderband 33, Wien, 1992. S. 119—162).

²⁴ Топоров В. Н. Вместо воспоминания. — НЛО, 3. С. 73.

²⁵ «Звезда», 1995, № 3. С. 168.

откликнуться на постановление Президиума срочной организацией сектора, как бы забыв временно о послевоенных сталинских анкетных принципах (когда нужны были «хорошая» национальность, членство в партии, отсутствие репрессированных родственников и т. п.) — и принимая новых сотрудников по научно-творческим качествам.

Из воспоминаний Т. М. Николаевой: «...в раннем составе сектора <...> абсолютно органично объединились люди, пришедшие из машинного перевода, математической лингвистики, с одной стороны (И. И. Ревзин, Т. Н. Молошная, Т. М. Николаева, З. М. Волоцкая), с другой же — как бы далекие от этого «индоевропейцы» (сам В. В. Иванов, В. Н. Топоров, А. А. Зализняк, М. Н. Бурлакова (Леконцева)). Органично вписалась в этот круг и «классик» по образованию первый аспирант сектора Т. В. Цивьян»²⁶. Добавим к этому списку еще лингвистов Д. М. Сегала, только что окончившего МГПИИЯ, и пришедших из МГУ в 1961 г. Т. М. Судник и С. М. Шур (Толстую).

Первый год сектор возглавлял В. Н. Топоров. Из воспоминаний И. И. Ревзина: «...именно Вл. Ник. определил семиотическую направленность сектора, столь резко отделившую нас от других групп и явившуюся первопричиной <...> вражды с Дирекцией, длящейся уже более пяти лет. Мне кажется, Вл. Ник-чу было явно не по душе ходить в директорских любимчиках — отчасти этим объясняется сделанный им выбор направления. Этим, а главное, широтой его гуманитарных интересов и глубиной философского подхода к проблеме ценности. Во всяком случае именно Вл. Ник. предложил заниматься изучением пантомимы, и некоторое время Дима (Сегал. — Б. Е.), Таня Николаева и еще кто-то ходил в какую-то захудалую группу (я там однажды был — и этого оказалось достаточно!). Именно Вл. Ник. предложил Тане Цивьян заняться этикетом. По-видимому, интерес Тани Николаевой к неязыковой коммуникации также сформировался под влиянием Вл. Ник-ча» (Ук. соч., с. 826). А через год с небольшим, когда в сектор пришел Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров передал заведование ему. Сектор стал своеобразным интеллектуальным клубом, заменившим прежние встречи на Семинаре, при филфаке МГУ и в МГПИИЯ. По воспоминаниям И. И. Ревзина, частыми гостями в секторе были младшие коллеги мемуариста по МГПИИЯ А. К. Жолковский и Ю. К. Щеглов; младший Успенский, Борис Андреевич, тогда, в 1960 г., только что окончивший филфак МГУ; философ и востоковед А. М. Пятигорский, математик Ю. И. Левин. Все перечисленные лица — будущие участники тартуских «летних школ».

Сектор (потом отдел) на долгие годы стал центром отечественных структурализма и семиотики. Сотрудники активно участвовали

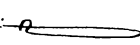
²⁶ Николаева Т. М. Ук. соч. С. XIX.

6. Таловская сессия будет - ух! (конец
Мурашова и Билибина - и Писова Нина
Маймин - убитый паренек с моего курса -
с докладом: "Таловский и Румин").

7. Я закрутился



И столько статей мне уны не помест.

8. Покупка: купить мне 1 кг. сахара
для роббера кофма (даун), а Заде
100² шт. дамских закрывающихся заколок
вот так: , а то они кадыт так:



8 а) Спасибо
что вы
с переводом пишете
или о 5. 9) Вспомните и Лилию
давайте о 5. мит. всеугодно.
но надеюсь не ошибся. Я надеюсь
уже напишете
задание вышест
по 5. мит.
обязательно
пункт.

9) Чем объясняют Яппа абсолютные корреляции?
Мне это интересно.

Без нее в Бару скучно и грустно. Я
хотел уже читать по старым материалам, но так
мне очень нравится. Попробую казаться и написать
оценку сам себя демонстрация. Присоединяюсь к.

Из письма Ю. М. Лотмана к Б. Ф. Егорову от 4.X.1960 г.

1-й рисунок: реализация метафоры «Я закрутился».

2-й рисунок: З. Г. Минц без заколок; просьба купить ей 100² заколок

в один за другим проходивших всесоюзных симпозиумах по близким
для секторян проблемам, в конференции по обработке информации,
машинному переводу и автоматическому чтению текста (январь 1961 г.,

МГУ, организатор — ВИНТИ, Всесоюзный институт научной и технической информации Академии наук СССР); в IV всесоюзном математическом съезде (июль 1961 г., Ленинград), где большое внимание было уделено языковым проблемам, начиная с доклада на пленарном заседании Вяч. Вс. Иванова «Математическая лингвистика»; в совещании, посвященном применению математических методов к изучению языка художественной литературы (сентябрь 1961 г., Горький, инициатор — кафедра русского языка местного университета, возглавлявшаяся Б. Н. Головиным)²⁷. Последнее совещание, особенно интересное в свете перехода к дальнейшим работам Лотмана в области структурального литературоведения, было украшено активнейшим участием А. Н. Колмогорова и его учеников (А. В. Прохоров, Н. Г. Рычкова). Возникали новые контакты с зарубежными коллегами. В 1961 г. Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров смогли побывать в Польше и лично познакомиться с варшавскими культурологами и теоретиками литературы С. Жулковским и М. Майеновой, много сделавшими для развития семиотики и структурализма в Польше. Два гостя, два ведущих сотрудника сектора структурной типологии вместе с И. И. Ревзиным и Д. М. Сегалом внесли свой статейный вклад в сборник института литературоведения Польской Академии наук «Poetics. Poetyka. Поэтика» (т. 2, Варшава, 1966).

А главным деянием сектора в первые годы его существования стала организация грандиозного по тогдашним масштабам, смелости и последствиям Симпозиума по структурному изучению знаковых систем (декабрь 1962 г.). Структурализм к тому времени уже перестал быть для властей жупелом, лженаукой, к нему уже как бы привыкли, но «семиотика» еще оставалась полузапретным термином, поэтому употреблялись разные эвфемизмы вроде указанных «знаковых систем», или же о сути конференции и сборников вообще умалчивалось, организаторы укрывались под крышей «структурной типологии». Но на самом Симпозиуме участники расковывались и употребляли реальные названия. В тезисах, выпущенных к Симпозиуму, добрая треть докладов даже в заглавиях содержала термин «семиотика». На Симпозиуме объектами семиотического изучения выдвинулись естественные и искусственные языки, неязыковые системы коммуникации, мифология, психология, искусство и литература.

Авторы чуть ли не впервые после введения советской цензуры писали (и потом говорили) обо всем достаточно свободно, почти без обиняков. Вот как начинались тезисы доклада Б. А. Успенского «О семиотике искусства»: «Произведения искусства можно рассматривать как текст, состоящий из символов, в которые каждый подстав-

²⁷ Отчет об этих конференциях Д. М. Сегала, М. И. Бурлаковой, И. И. Ревзина см.: «Структурно-типологические исследования». М., 1962. С. 279—283, 285—296.

ляет собственное содержание (в этом отношении искусство аналогично гаданию, религиозной проповеди и так далее). При этом социальная обусловленность при подстановке содержания здесь гораздо меньшая, нежели в языке...»²⁸ Такие прямые антимарксистские высказывания не могли не бросаться в глаза ортодоксам.

Параллельно с Симпозиумом сектор выпустил в свет тоже событийный по успеху у интеллигенции и по реакции начальства сборник «Структурно-типологические исследования» (М., 1962; реально он вышел в свет в самом начале 1963 г.), в котором содержались новаторские структуралистские и семиотические труды. И здесь, как и в тезисах к Симпозиуму, авторы были раскованны, почти свободны. Например, в программной статье А. А. Зализняка, Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова «О возможности структурно-типологического изучения некоторых моделирующих семиотических систем» открыто говорилось о целесообразности описания объекта наблюдателями с разными системами «отсчета» и установления правил соответствий. «Эти правила соответствий и могут рассматриваться как научная точка зрения на семантику в отличие от мистической точки зрения, предполагающей выбор одной-единственной системы отсчета...»²⁹ Даже малограмотному в науке партийному руководителю было ясно, что подразумевается под «мистической точкой зрения», носительницей единственно правильной системы взглядов.

Почти половина сборника была посвящена рецензиям и обзорам. В. Н. Топоров составил громадный список — главным образом, зарубежной, недоступной прежде — литературы, которую необходимо было отрецензировать, и рецензентами выступили почти все сотрудники сектора, а больше всего — 15 из 41 — рецензий написал сам Топоров: это книги и статьи Е. Куриловича, Р. Якобсона, Н. Трубецкого, И. Лекова, Б. Малиновского, К. Леви-Стросса и др. на русском, английском, французском, немецком языках. Из воспоминаний И. И. Ревзина: «Многие из названий я увидел впервые. Получившийся раздел рецензий был действительно сенсационным. Помню, как потом после выхода сборника раздражался В. В. Виноградов. «Это реклама, а не рецензии», — плевался он, а дело было в том, что отдел рецензий в «Вопросах языкознания» на этом фоне сразу стал выглядеть провинциальным» (Ук. соч., с. 826).

Но если бы только недовольство Виноградова и ему подобных «консерваторов»! Главное — Симпозиум и «Структурно-типологические исследования» вызвали цепную реакцию возмущения партийных органов, от Института славяноведения вплоть до ЦК КПСС. Руководство института встревожилось, стало опасно ко-

²⁸ Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М., 1962. С. 125.

²⁹ «Структурно-типологические исследования». М., 1962. С. 140.

ситься на недавно созданный сектор. Его сотрудникам явно грозил цензурный запрет на проведение дальнейших конференций и на публикацию семиотических исследований. И тут возникло историческое «вдруг», которое в России часто оказывается довольно закономерным явлением: в 1963 г. произошло знакомство московских структуралистов и семиотиков с Лотманом, и он предложил коллегам тартуские аудитории и даже тартуские «Ученые записки»; от имени ректора Тартуского университета он пригласил В. Н. Топорова с циклом лекций и заодно дал высокую оценку «Структурно-типологическим исследованиям». Конечно, для институтской дирекции этот отзыв не мог соревноваться с негативными оценками партийных верхов, но когда появились тартуские перспективы, то сотрудники сектора структурной типологии смогли на какое-то время пренебречь московскими запретами и ограничениями.

Когда в Москве возникало новое направление в науке, Лотман еще не знал о нем, с первыми структуралистскими идеями его познакомил З. Г. Минц, следившая за лингвистическими новациями и проштудировавшая в «Вопросах языкознания» дискуссию о структурализме. Не забудем также, что еще на первом курсе университета Лотман изучал концепции Ф. де Соссюра, а теперь он взялся за труды Н. Трубецкого и Р. Якобсона. В сознании Лотмана новые лингвистические идеи соединились с теоретико-информационными открытиями, узванными через переводы книг Н. Винера и У. Р. Эшби о кибернетике (1958 и 1959 гг.), — это становилось основанием для поисков новых, более строгих и точных методов после размывания впитанного с юности гегельянско-марксистского. Лотман, еще раз подчеркнем, не отказался от историзма и вообще от изучения объекта, погружаемого в максимально проштудированный и проясненный фон, но этого оказалось мало, хотелось большей полноты и глубины анализа внутренней сущности объектов — наследия писателя в целом и, особенно, отдельных его произведений. А главное — Лотман желал приблизить свой метод к естественно-научному. Ведь эксперименты в физике, химии, биологии считаются тогда «чистыми», когда повторенные опыты дают те же результаты. Лотману хотелось добиться проверки полученных данных любыми способами, пусть и не повторными опытами, — но чтобы была именно проверка. Вот как он излагал эти мысли в письме к М. В. Юдиной от 22 июня 1969 г.: «Главный пафос нашего направления в науке, как я его понимаю, дать *принципиально проверяемые результаты*. Дело в том, что человечество до сих пор в вопросах наименее для него важных — например, при решении математических задач — отказывается считать истиной то, что не поддается проверке и не может быть объяснено с точки зрения *метода*. В вопросах же самых важных — гуманитарных — мы хотим истины, но не хотим (или не придаем большого внимания) того, *как* она получается. Итак, пожалуй, нам ближе всего Декарт; мы

не говорим: “Дайте нам истину”, а говорим: “Дайте нам методы нахождения истины, пути к ней”».

Вряд ли прав ученый в каком-то странном принижении роли математики в человеческом обществе, но характерна эта «картезианская» тяга к точности и к возможной объективности. Среди семиотиков, в том числе и близких к Лотману и тартуанцам, были такие «Мэфистофели», как А. М. Пятигорский, усложненно и нервно относившийся к проблеме объективности и субъективности в научном методе; уважая онтологичность, «сущностную» основу метода, он постоянно переходил к гносеологическим построениям, стремясь определить место исследователя-наблюдателя; старался разделить историософскую (В. Н. Топоров) и культурологическую (Ю. Лотман) линии в семиотике, а метапозиция феноменолога (видимо, самого Пятигорского?) вообще объявлялась вне семиотики³⁰. На самом деле Лотман не выключал историю из семиотических штудий; лишь на самых первых этапах своих семиотических занятий он занимался «синхронными» анализами, а вскоре снова вернулся к диахронии, к истории.

В программной полемической статье, защищающей и разъясняющей структурализм, — «Литературоведение должно быть наукой» — Лотман подчеркивал важность обоих аспектов: «...когда мы имеем дело со сложными структурами (а искусство принадлежит к ним), синхронное описание которых, ввиду их многофакторности, вообще затруднительно, знание предшествующих состояний является неизбежным условием успешного моделирования. Следовательно, структурализм не противник историзма; более того, необходимость осмысления отдельных художественных структур (произведений) как элементов более сложных единств: «культура», «история» — представляет собой насущную задачу»³¹.

Что же касается метаровня, то Лотман его никак не мог вывести за пределы семиотики: метаровень тоже семиотичен, являясь знаковой системой следующего порядка, второго или третьего, смотря откуда вести отсчет: от естественной жизни или от надстроечных систем человеческого общества. А сложности встраивания наблюдателя мало занимали Лотмана: для него было достаточно утверждения прагматической позиции воспринимающего (раздел семиотики); правда, эта позиция и приоритетное вознесение функциональности над сущностной объективностью (об этом речь ниже) расшатывали онтологизм и возвращали на новом этапе (по сравнению с гегельянским временем) гносеологические основы метода, но все же Лотман всегда будет стремиться к максимальному привлечению объективных

³⁰ См.: Пятигорский А. М. Заметки из 90-х о семиотике 60-х годов. — НЛО, 3. С. 79—80.

³¹ «Вопросы литературы», 1967, № 1. С. 94.

фактов, чтобы усилить историзм и ослабить воздействие субъекта на изучаемый материал.

Превосходство гносеологии над онтологией — характерное свойство большинства, если не всех, семиотиков и структуралистов; в этом их сходство с формалистами и с совсем не похожими по большинству других параметров марксистами. Впрочем, и по общему, гносеологическому параметру марксисты были опасливыми и оговорочными, начиная с главного труда В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» (1909) и кончая сочинениями советских философов: они боялись, как бы не преувеличить роль наблюдателя и не впасть в субъективизм, поэтому готовы были отказаться от диалектического и сложного соотношения субъекта и объекта и предпочитали акцентировать «голую» объективность внешней действительности. Автор этих строк в студенческие годы довел до ярости преподавателя марксизма-ленинизма своей попыткой реально учесть роль наблюдателя при восприятии цвета: мне представлялось, что объективно существуют не цвета, а лишь определенные длины волн, которые можно было точно зафиксировать физическими приборами, а цвет — реакция моих глаз; она может быть другой у дальтоника, у некоторых животных, воспринимающих мир лишь в черно-белом варианте и т. д.; когда мы выходим из комнаты, то нельзя говорить, что там сохранились цвета предметов; преподаватель решительно не соглашался со мной, называл меня идеалистом. Структуралисты не боялись прослыть идеалистами и серьезно занимались ролями читателя и зрителя, «точками зрения» и т. д. Но Лотман как литературовед и историк, постоянно погруженный в море конкретных фактов, имел дело с объективированными явлениями, и если и включал в анализ личность наблюдателя-исследователя, и если и поднимался на один или два метауровня, то лишь для обобщения и систематизации материала, для более стереоскопического его видения; материал оставался все-таки главным. Тем более Лотману всегда был чужд мир абстрактного жонглирования терминами и методами вне литературного, исторического, вообще культурологического конкретного материала — а абстрактный мир, увы, становится характерным для некоторых западных и отечественных теоретиков, близких к структурализму и семиотике.

Работая над «старыми» областями, создавая докторскую диссертацию, Лотман параллельно вошел в лингвистический структурализм и стал серьезно задумываться о применении его методов в литературоведении — как и о своеобразии такого применения. Первым произведением, где заблестели новые идеи, стала довольно странная по месту напечатания статья, точнее, тезисы статьи «Проблема сходства искусства и жизни в свете структурального подхода». Она опубликована в сборнике «Тезисы докладов 1-й научной региональной сессии» (Горький, 1962. С. 92—102), сессии, организованной «Вол-

го-Вятским Советом по координации и планированию научно-исследовательских работ по гуманитарным циклам». Странный Совет, созданный на последней хрущевской волне в области административных преобразований и недолго просуществовавший, санкционировал, однако, издание нескольких сборников по гуманитарным наукам: тот сборник тезисов, где опубликована статья Лотмана, вышел под редакцией горьковских профессоров Г. В. Краснова и В. В. Пугачева, которые и пригласили тартуского коллегу.

Статья почти целиком построена на методе структуральных оппозиций (Лотман опирается на «Основы фонологии» Н. С. Трубецкого и цитирует эту книгу): нахождение в двух явлениях непохожих свойств возможно лишь тогда, когда есть и сходные черты, только в таком случае возможно сравнение. И наоборот, в сходных явлениях важно найти отличающее одно от другого. Предмет в искусстве как будто бы похож на свой прототип в жизни, и можно найти в них общее, но не менее существенны и отличия. И далее Лотман, опираясь на яacobсоновское включение метафоры (сравнение по сходству) и метонимии (сравнение по смежности) в поэтическую функциональность, переходит к анализу эстетического восприятия (обращая внимание на гносеологический, познавательный аспект этого анализа).

В эстетическом восприятии Лотман отмечает три психологических акта: 1) «метафора», узнавание по сходству изображенного с изображаемым; 2) «метонимия» — выделение в изображаемом тех частей и свойств, которые специфичны именно для него, а заодно и элиминирование всего несущественного; 3) противопоставление изображенного своему прототипу с учетом всего неизображенного. И далее следует такой жесткий «структуралистский» вывод: «Общее не изображается, воспроизводится лишь отличное. Но различие есть отношение, а не предмет. Отношение нельзя изобразить — оно осознается при сопоставлении изображаемого и неизображенного» (с. 97 тезисов).

Вывод как будто бы относится к конкретному анализу женских фигурок времен позднего палеолита, но с коррективами, с «элиминированием» первых трех слов, можно считать эту формулу общим лотмановским кредо.

В статье-тезисах еще много схематичного, некоторые термины еще не осознаны как «свои» (например, «модель» понимается как макет, как механическая копия действительности), но в целом статья демонстрирует вхождение Лотмана в мир новой методологии. В исправленном виде статья войдет в первую структуралистскую книгу Лотмана «Лекции по структуральной поэтике» (1964).

Эта статья из-за ее провинциальной и ведомственной незаметности до сих пор осталась почти неизвестной исследователям творчества Лотмана, а она очень существенна для понимания самых первых шагов ученого в новую сферу, даже именно первого шага. А вто-

рым шагом стала ответственная статья Лотмана «О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры» («Вопросы языкознания», 1963, № 3. С. 44—52). Автор хотел включить в статью более широкий спектр проблем, присоединить и искусство (первоначально статья называлась: «Соотношение структур языковой и неязыковых, выраженных средствами языка» — об этом Лотман сообщает в недатированном письме к В. М. Жирмунскому, прося ученого предварительно прочитать статью), но редакция журнала сузила круг вопросов и придумала свое название статьи, против чего Лотман не стал возражать.

Статья в самом деле посвящена разграничению двух структурализмов — уже развившегося лингвистического и нового, создаваемого Лотманом. Датская школа структурализма во главе с Л. Ельмслевом четко отделяла свой объект — план выражения (т. е. чисто грамматические уровни: синтаксис, морфология, фонетика) — от плана содержания, принципиально «чужого», неизучаемого; лингвистика должна изучать только план выражения. Более поздние структуралисты, особенно русские, присоединили к уровням плана выражения стиховедческие уровни, которые в духе датчан тоже можно рассматривать изолированно от содержания: строфика, ритм и метр, звуковая организация стиха. Но наши отечественные лингвисты-структуралисты, начиная с Р. Якобсона, постоянно выходили за рамки плана выражения, «поднимались» в уровни плана содержания (мировоззренческие, идеологические сферы, сюжет и композиция, система образов, лексическая семантика). Лотман впервые четко поставил вопрос о разграничении: лингвист «по-датски» занимается планом выражения, а литературоведа интересуют оба плана, особенно в их связях и соотносительности. Ведь даже чисто формальные грамматические категории рода, вида, наклонения и т. д. могут нести смысловую нагрузку. Хрестоматийный пример: Г. Гейне, передавая романтическую тоску персонажа по далекой подруге — Пальме, придумал для северной Сосны (по-немецки она тоже женского рода) сложное слово «ein Fichtenbaum», сосновое дерево, чтобы получился мужской род; Лермонтов же в переводе отказался от «любовной» тоски (другие русские поэты вводили дуб или кедр) и показал просто человеческое одиночество.

Менее известный пример — с басней И. А. Крылова «Стрекоза и муравей». Ведь в подлиннике Ж. де Лафонтена родовая принадлежность персонажей не играет роли, как и у Лермонтова: муравей по-французски женского рода (*la fourmi*), т. е. выступает не герой Муравей, а героиня — «Муравыха», а ей противостоит Цикада, тоже женщина (*la cigale*). Возможно, более эффективным было бы и здесь «половой» контраст, например распространенный психологический облик хозяйственной женщины и легкомысленного мота мужчины, использовать таким образом, что «прыгуном» сделать Кузнечика,

противостоящего Муравьихе, но Лафонтена, видимо, не интересовал такой контраст. А Крылов этот контраст использовал, но, вопреки принятому мнению, противопоставил хозяйственного Муравья легкомысленной Стрекозе, что приводило некоторых исследователей к коварной мысли о баснописце как женоненавистнике.

Демонстрируя важность для литературоведа обоих структуральных планов, и содержания, и выражения, особенно в их взаимосвязях, Лотман стал работать, параллельно к написанию двух рассмотренных статей, т. е. уже в 1961—1962 гг., над первым основательным трудом по структуральному литературоведению, который появится в 1964 г. и ознаменует рождение новой отрасли гуманитарного структурализма — литературоведческой. Ибо все предшествующие работы в этой сфере были как бы предтечами, подступами к целостной науке.

Работая над новаторской книгой, Лотман, естественно, узнал о творческой активности московских структуралистов и семиотиков, о нашумевшем Симпозиуме в Институте славяноведения и — еще более естественно — пожелал соединить научные усилия. В Москву «на разведку» был послан Игорь Аполлониевич Чернов, тогда второкурсник, подававший большие надежды, а в будущем действительно один из самых видных тартуских семиотиков, в 1990-х годах, уже в свободной Эстонии, несколько лет заведовавший кафедрой семиотики, созданной перед самой кончиной Лотмана.

Из воспоминаний В. Н. Топорова: «Весной 1963 года в Москву приехал и появился в Институте славяноведения первый тартуский посланец Игорь Аполлониевич Чернов, который, узнав о состоявшемся в конце ушедшего года семиотическом симпозиуме, предложил установить между Тарту и Москвой деловые контакты на почве общих интересов и намерений. Из этих разговоров (а я, кажется, был из числа первых, с кем Чернов говорил на эти темы) выяснился неизвестный новый круг интересов Юрия Михайловича, которого до этого мы знали как литературоведа. Вскоре после этого визита в Москву приехал и сам Юрий Михайлович, который встречался с Вячеславом Всеволодовичем Ивановым, Исааком Иосифовичем Ревзиным и Александром Моисеевичем Пятигорским и познакомил их с планом проведения в следующем 1964 году первой тартуской «летней школы». Общий язык был найден сразу, и я хорошо помню, какое глубокое положительное впечатление вынесли мои московские коллеги от этой встречи. В этом первом впечатлении «научное» и «человеческое» как бы сливались воедино и положительно-синтетическое преобладало над нейтрально-аналитическим. Поэтому не случайно, что последовавшее за этим сближение двух частей будущей «тартуско-московской» школы имело в своем основании доверие и, надеюсь, взаимную симпатию уже в самом начале» (НЛО, 3. С. 74).

А вот как рассказывает о знакомстве с Лотманом Вяч. Вс. Иванов:

«Клонился к закату солнечный переделкинский день. К нам на дачу без предупреждения (как было тогда у нас принято — необычность этого я оценил, только пожив за границей) забрел сравнительно молодой и молодцеватый, очень веселый усатый человек со сверхъестественно (даже для нашей тогдашней органически скромной жизни не напоказ) поношенным и даже рваным портфелем <...> Оказалось, что усач — Лотман. Он был по делу у Корнея Ивановича Чуковского <...> а после него зашел ко мне. Я о Лотмане много слышал. Мои друзья по Лаборатории машинного перевода Педагогического института читали и обсуждали рукопись его вскоре прославившейся книги по поэтике. Мы сразу подружились. Я дал Лотману свой только вышедший очерк структуры хеттского языка, он обещал почитать, сказав, что лингвистика его занимает. Я пошел провожать его на станцию, дорога покороче шла тогда полем через покосившиеся овсы. Мне запомнился разговор о наших общих семиотических планах, косые солнечные лучи, колосья, поле, со многим в жизни связавшееся. От Лотмана осталось чувство энергии, жизнеутверждения, веселья. Мне и тогда, и позже в нем виделся прежде всего человек, мне созвучный глубинно»³². Из этого текста видно, что какие-то контакты с москвичами Лотман установил до своего приезда в Москву — и посылал им написанные части будущей книги. Не очень ясно, однако, когда конкретно Лотман познакомился с москвичами. Его письмо к В. Н. Топорову от 12 марта 1963 г. свидетельствует уже о личном знакомстве (приветы «Вашей милой супруге» и вопрос о здоровье дочери) — следовательно, Лотман был в Москве до этой даты, а в письме от 2 апреля сообщается о творческих связях в области структурализма и о возможной в будущем присылке частей своей книги.

Но ясно, что к лету 1963 г. контакты уже были налажены и что Лотман начал подготовку будущей, 1964 года, «летней школы». Она стала, как для москвичей Симпозиум 1962 года, самым заметным общественным «произведением» Лотмана первой половины 1960-х годов.

³² «Звезда», 1995, № 3. С. 173—174.

ЗАВЕДОВАНИЕ КАФЕДРОЙ. 1960-Е ГОДЫ

Став в 1960 г. заведующим кафедрой русской литературы ТГУ, Лотман продолжал расширять научные планы коллектива и взял на себя еще большую ответственность за учебную и научную работу. Он активно помогал коллегам печататься, способствовал скорейшим защитам диссертаций. Например, целая история вышла с защитой кандидатской диссертации С. Г. Исакова «Прибалтика в русской литературе 1820-х — 1860-х годов» (1962). Тогда в Тарту еще не было Ученого совета по защитам диссертаций по русской филологии, и автор передал свою работу на кафедру русской литературы ЛГУ. Мы просили заведующего кафедрой И. П. Еремина, чтобы он договорился с проф. П. Н. Берковым об оппонировании, но профессор был занят, тема его, видно, не очень интересовала, и он стал отказываться. Тогда Лотман написал ему, университетскому учителю и оппоненту по своей диссертации, большое лирическое письмо (от 2 марта 1962 г.), где трогательно объяснял, что Исаков — его первый ученик, хороший ученый и очень порядочный человек, и потому так настоятельно просит учителя прооппонировать диссертацию ученика, т. е. как бы научного «внука» Беркова. Тот в ответ на письмо согласился. Дальше, правда, история почти повторилась: увидев, что кандидатская диссертация — громадная, в 1000 страниц, Берков пришел в ярость и чуть не отказался заново. Снова его уговорил Лотман, как упростил и второго своего бывшего оппонента историка проф. А. В. Предтеченского. Так на защите Исакова опять выступили два профессора, Предтеченский даже предложил дать защищавшемуся степень доктора, но это не прошло.

Позднее, 6 ноября 1968 г., Лотман просит академика В. М. Жирмунского помочь в перезащите кандидатской диссертации молодого преподавателя Петра Александровича Руднева (1925—1996), про-

валенного в Московском пединституте им. В. И. Ленина за «формализм и структурализм» (Руднев защищал диссертацию о стихе А. Блока). Жирмунский выручил: перезащита благополучно состоялась в Тарту; благодаря такому оппоненту и ВАК утвердил кандидатскую степень (вторым оппонентом был, как и в Москве, М. Л. Гаспаров).

В шестидесятых годах удавалось с помощью Ф. Д. Клемента расширять состав кафедры. В 1963 г. Лотман взял под крыло кафедры доцента Татьяну Филаретовну Мурникову (1913—1989), из-за своей глубокой религиозности (она принадлежала к старообрядческой общине) подвергавшуюся в советское время постоянным гонениям и находившуюся под угрозой изгнания из университета, — так как она, прекрасный диалектолог и методист по преподаванию русского языка, до 1965 г. числилась по кафедре русского языка, где ей было очень неуютно; Лотман, переведя ее на свою кафедру, смог сохранить для русского отделения хорошего преподавателя.

В 1966 г. был оставлен на кафедре окончивший отделение И. А. Чернов; в 1967 г. — Елена Владимировна Душечкина, которая потом числилась аспиранткой кафедры и под руководством академика Д. С. Лихачева подготавливала диссертацию по древнерусской литературе; в 1970-х гг. она переехала в Таллин; ныне она — профессор Петербургского университета.

Еще одно приобретение 1967 г. — тоже выпускница отделения Анн Мальц, которой пришлось семь лет проработать лаборанткой кафедры и лишь в 1974 г. стать преподавателем. Но есть разные лаборанты, Анн Мальц принадлежит к высшему разряду, к тем, кто создает лицо кафедры, делает ее домашней, уютной; комнатка Анн много лет — это перешло и в ее преподавательское время — была клубом, сосредоточием молодежи, преподавательской, аспирантской, студенческой, где велись научные и житейские разговоры, готовились конференции, — и все это в клубах дыма и в ароматах хорошо сваренного кофе.

Одной из главных задач кафедры Лотман считал сплочение молодых научных сил страны путем организации творческих, нестандартных конференций, с возможным, если успеть, выпуском печатных тезисов докладов, а потом — изданием трудов. Первым мероприятием явилась организация в мае 1962 г. Блоковской конференции. Инициаторами выступили З. Г. Минц и ее ленинградский университетский учитель Д. Е. Максимов, а Лотман взял на себя административное руководство: переговоры с ректором, с издательской группой, организацию гостиниц, аудиторий и т. д. С ректором нужно было объясняться не только по поводу технических вещей, но и идеологически: Блок был не то что запрещенным писателем, но под некоторым подозрением.

В столицах еще не забыли постановления ЦК партии и доклада А. А. Жданова 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград», о необхо-

Для Вудса очень много и не все из них
применяется. Как о нем полагаем, когда приедем.

Из старых дел - 10 штук:

1) Прибудет Елсбет 1000 и не сабжуна публо:

Какие курсы вы хотите читать и будет ли вы
научиваться на всю жизнь.

2) Курсы Анна Владимировна разреша-
ется "променит себя" и мейнотам, силани

3) Спецкурс Вудз читает я



4) Для V-и е. я еще
н. делаю много и
до какого года много не дам ("Вот меня, Бит
меня"!!!)

Из письма Ю. М. Лотмана к Б. Ф. Егорову (осень 1961 г.).

Изображение себя в виде перегруженного верблюда

димости борьбы с декадентством; а Блок не был выведен полностью из лагеря «декадентов» и символистов. Правда, в хрущевское время уже действовали способные, но беспринципные литературоведы вроде питерского В. Н. Орлова, начавшего издавать и сочинения Блока, и труды о нем, но ценой варварского охаивания всех поэтов, его окружавших (мы, тартуанцы, называли это методом «навешать собак»: чтобы реабилитировать «своего» «сомнительного» автора, нужно было очернить других его современников, сделать их совсем уж реакционными; но мы применяли такой метод с использованием реальных консерваторов вроде К. Леонтьева, а отнюдь не таких, как Андрей Белый и Бальмонт). Ни Д. Е. Максимов, ни З. Г. Минц не желали идти рядом с Орловым (Максимов терпеть его не мог). К счастью, Д. Е. Максимов в ленинградские годы знал Клементя (они как-то провели вместе несколько недель в университетском Доме отдыха и очень сблизились), лично переговорил с ним о важности возрождения научных разработок Серебряного века русской культуры, особенно А. Блока, и Клемент помог: разрешил не только всесоюзную конференцию, но и издание ее материалов. «Блоковский сборник», который вышел в 1964 г., был толстым томом в 575 страниц и содержал ценные доклады, воспоминания о Блоке, библиографию зарубежной Блокианы. Конференция и сборник положили начало еще одной тартуской традиции, они стали регулярными и проводились со все большим размахом, с приглашением московских, ленинградских и зарубежных коллег. Сейчас вышел уже 14-й «Блоковский сборник»!

Была продолжена традиция больших научных конференций, посвященных знаменательным датам: 100-летию со дня рождения А. П. Чехова (1960), 50-летию кончины Л. Н. Толстого (1960), 100-летию со дня смерти Т. Г. Шевченко (1961), 150-летию со дня рождения В. Г. Белинского (1961), 250-летию со дня рождения М. В. Ломоносова (1961), 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова (1964), 200-летию со дня рождения Н. М. Карамзина (1966), 100-летию со дня рождения А. М. Горького (1968), 150-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского (1971). На многих из этих конференций Лотман выступал с докладами: «Л. Толстой и литературное развитие 1820-х — 1830-х годов», «Ломоносов и литературно-общественное развитие XVIII века», «О некоторых структурных особенностях реализма Лермонтова», «Место Карамзина в развитии русской общественной мысли», «К структуре сюжета у Достоевского».

Отметим еще представительную республиканскую научную конференцию, посвященную русско-эстонским литературным связям (декабрь 1963 г.), где Лотман сделал два доклада: «Начальный период интереса к финно-угроведению в русской литературе XVIII века» и «Фоно-грамматическая структура стиха как основа национальной специфики», а также организованный по инициативе Лотмана научный семинар, посвященный 400-летию печатной русской книги (март 1964 г.), где он выступил с докладом «Значение книгопечатания в истории русской культуры».

Что еще инициировал Лотман — издание студенческих научных работ. В 1963 г. под редакцией С. Г. Исакова вышел 1-й выпуск студенческого сборника «Русская филология», затем довольно регулярно продолжавшийся в течение 1960—1970-х гг. (в 1977 г. вышел 5-й выпуск), а параллельно с 1966 г. стали выходить «Материалы... научной студенческой конференции» (в 1966 г. — XXI конференция). Студенческие сборники потом назывались по-разному, но традиция сохранилась до наших дней.

Когда в 1954 году в «Ученых записках» историко-филологического факультета ТГУ появилась публикация письма А. С. Грибоедова, подготовленная студентами С. Г. Исаковым и В. И. Беззубовым, то это было целое событие. С большим трудом в 1957 г. удалось выпустить сборник «Студенческие работы юридического и историко-филологического факультетов» (как вып. 47 «Ученых записок ТГУ»), где от нашей кафедры была опубликована статья моей дипломницы Л. Стамберг «Образы и композиция «Записок охотника» И. С. Тургенева». А через десятилетие студенческие научные работы стали печататься уже десятками. Это было очень важно для повышения научного тонуса и кафедры, и студенческой массы. Регулярные студенческие научные конференции, на которые удавалось приглашать гостей из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, волжских городов, тоже

способствовали большому оживлению научной работы молодежи, новым человеческим и творческим контактам.

Диапазон участников конференций в смысле не только «географии», но и их научного уровня был весьма велик, что прекрасно иллюстрирует письмо Лотмана ко мне от апреля 1962 г.: «Конференция проходит хорошо — гости из Пскова, Горького и Минска. Из Пскова — умный мальчик, ученик Жени Маймина, из Горького — дружина Пугачева, до зубов вооруженная его идеями — о прогрессивности Николая I в 1830-е гг., о слиянии дворянского либерализма и дворянской революционности и др. Из Минска — гуторовщина, такой густой мрак, что с ума сойти. Один доклад — по американской литературе (негры и их положение). Выяснилось, что автор не знает по-английски ни слова. Мудрый деканат поставил доклад на секцию русской литературы!!!» (Письма. С. 139—140). В. В. Пугачев тогда — заведующий кафедрой отечественной истории в Горьковском университете, а И. В. Гуторов возглавлял кафедру русской литературы в Минском университете и скандально прославился публикацией фальшивки — якобы 10-й главы «Евгения Онегина».

Студенты ТГУ привлекались и к участию в занятиях членов кафедры русской литературы новыми областями — структурализмом и

Б. Ф.! Привет

1) Что за книга, как написал из
фамилии Галопотки не знаю — не
Пегаски ли?

2) Получаю 12 экз.

Расчет пошел:

Моя с Захаром вместе — 35р 70 коп.

(1р 19 коп x 30). Сергей + Адамс = 2р 50 +
2р 50 = 5р.

С Кас - 10р.

А дважды с продажей — на



И в том смысле, чтобы в рубль 
протопить на в Горьком, а высчитать (хоть бы
и на //!)

Из письма Ю. М. Лотмана к Б. Ф. Егорову (до 10.IV.1961 г.).
Шутливая мечта о возможности дохода с продаж «Ученых записок»

семиотикой. И. А. Чернов уже со 2-го курса стал сотрудничать наряду со «взрослыми» в кафедральном семинаре, организованном Лотманом в 1962 г., — специально по новым методологическим проблемам. Из его письма к В. Н. Топорову от 2 апреля 1963 г.: «Игорь Чернов хочет демонстрировать на нем модель стихотворения “Девушка пела в церковном хоре...” (Блока). Как бы это Вас заманить в Тарту? Я послал бумаги на приглашение Вас высокому начальству, но “улита едет, коли-то будет”». (Письма. С. 673—674).

И еще одна цитата из письма Лотмана к автору этих строк от 26 апреля 1963 г.: «Как жаль, что Вас вчера не было: у нас был семинар по структурам. Заседание было посвящено 60-летию Колмогорова. Мы отметили и послали ему телеграмму. А математики и не чухнулись. Я делал доклад о проблемах принципиальной возможности порождающих моделей в искусстве.

По-моему, это был самый интересный доклад, который я делал за свою жизнь. Но дело даже не в этом — просто проясняются очень многие перспективы и, как всегда, когда подходишь к действительно большой идее, сразу проясняется многое и в многих, часто неожиданных, сферах. Очень хотелось бы все это вам порассказать. Книжку-то я когда еще напишу. Уже в третий раз дохожу до середины и к этому времени настолько все передумываю, что приходится начинать снова. Сейчас хочу все начать снова и изложить все более строго математически. Вообще трудность в том, что неизвестно, на какого читателя рассчитывать. Для квалифицированного (даже) филолога это не будет понятно из-за крох, упавших со стола математики, которые я подобрал, и генерального незнакомства литературоведов с методами структурной лингвистики. Математики же увидят в ней лишь лепет на математические темы и не поймут, по незнанию литературного материала, как много этим объясняется. Так-то!» (Письма. С. 155).

И еще цитата из письма Лотмана к В. Н. Топорову от 2 апреля 1963 г.: «Наш структурно-семиотический семинар все же, как говорили в XVIII в., экзистирует. Последнее заседание было посвящено проблеме «Произведение искусства — модель действительности» и соотношению проблем модели и знака в этом аспекте.

Следующее заседание будет посвящено теме: «Литературоведческая модель художественного произведения». В этом случае следует, как мне кажется, различать два типа моделей: 1) исследователь моделирует данное литературное произведение для того, чтобы проникнуть в его структуру, и 2) исследователь моделирует произведение для создания нового (например, пародии, восстановления утраченной части текста или даже создания еще одной повести Белкина). В первом случае создание модели, как мне кажется, принципиально возможно всегда. Гораздо сложнее второй случай. И если в определенном типе (фольклор, средневековая литература, пародия) мы можем

создавать алгоритмы для новых художественных произведений (например, в пределах восстановления утраченного сюжета или части текста), то для современных произведений искусства, полагаю, это в принципе невозможно. Дело в том, что, если в фольклоре правила художественной структуры даны заранее (как в шахматной игре) и эстетический эффект реализуется в «игре по правилам», то в современном искусстве сами эти правила и представляют основную информацию, передаваемую читателю. Художественный эффект строится примерно так: зритель предполагает, что построение осуществляется по известным ему правилам X, Y или Z, и просто пытается их приложить. Если это ему удастся, — то перед нами произведение низкого художественного качества, в котором все ясно заранее (или так называемая «беллетристика»). В большом художественном произведении происходит разрушение, дискредитация привычных автору правил структурного построения и навязывание ему новых правил, впервые осуществленных именно в данном произведении. Это монолог, построенный так, что человек, не понимающий в начале его языка, в конце овладевает этим языком. Таким образом, если фольклорное, средневековое мышление (или мышление пародиста и беллетриста) строится на осуществлении правил и главная информация укладывается в вопрос: «какой вариант мы разыгрываем», то высокое искусство нового времени строится на разрушении правил и отвечает на вопрос: «каковы правила этой новой игры?» Таковы тезисы моего сообщения на ближайшем семинаре» (Письма. С. 673—674).

Таким образом, и в творческом сознании Лотмана, и в возникшем знакомстве и общении с московскими коллегами, и в живой атмосфере структурно-семиотического семинара при кафедре как бы естественно созрела мысль об организации «летней школы».

1-я «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА» ПО СЕМИОТИКЕ

Тогда еще не было идеи продолжать этот вид научной деятельности: школа именовалась не «первой», а просто «летней школой». Предложенная Лотманом москвичам при самых первых контактах, она воплотилась в жизнь через год, в 1964 г. — опять же с помощью Ф. Д. Клемента (из письма Лотмана В. Н. Топорову в конце 1963 г.: «А. М. Пятигорский передаст Вам, что мы с ним договорились с нашим ректором об организации в Тарту (под Тарту в загородном месте, в лесу у озера) 10-дневного симпозиума семиотиков, на который можно было бы созвать человек 20 (более, думаю, не надо) для серьезного разговора “между собой”» (Письма. С. 675—676; реально на «летние школы» собиралось значительно больше народу, до 60—70 человек). Фольклорная формула «сказано — сделано» в тогдашних тартуских условиях могла осуществляться только благодаря ректору. Он выделил для работы прекрасный комплекс — спортивную базу университета Кяэрику в 40 км от Тарту, что соответствовало замыслу Лотмана устроиться подальше от нежелательных соглядатаев (по этому замыслу составлялся точный список участников, каждому выдавался пригласительный билет, служивший документом для поселения на базе и пропуском в помещение, где проходили заседания, а в каждом билете сообщалось, что допускаться в аудитории будут лишь их обладатели, но, конечно, такие предосторожности не стали непреодолимой преградой для соответствующих органов: ведь спортивная база была не за забором с охраной, да и у аудиторий не стояли проверявшие личность входящих, и какие-то незнакомцы в штатском, впрочем в очень ограниченном количестве — два-три человека, время от времени появлялись на заседаниях).

И «гостиничное» обслуживание, и трехразовое питание, и комплекс аудиторий — все было за счет университета (начиная с 3-й школы за питание уже нужно было платить). «Гостиничное» взято в кавычки, так как проживание осуществлялось в студенческом общежитии с узкими «купе» на двух человек; некоторые комнаты были побольше, с 4—6 кроватями. Царил молодежный демократический дух: «удобства» — в конце коридора, умывальник — на улице, самообслуживание в столовой, простая пища. А вокруг — красоты южной Эстонии, так называемой эстонской Швейцарии: холмы, леса, озера. В большом чистом озере у базы мы постоянно купались, несмотря на прохладу. Удаленность от «шума городского» создавала атмосферу, говоря термином формалистов, «остраненности», ощущение необычности места и времени. Хорошо сказал об этом В. Н. Топоров: «Иной была сама атмосфера, в которой не было места суете, мелочности, духу розни, «публичности» и «фельетонности». Иным было пространство — удивительная природа юго-восточной <части> соседней страны: холмы, леса, озера, горизонты, прячущиеся в голубой, почти синей иногда дымке, — благословение природы, смягчавшей сознание незаконности нашего присутствия и нашей вины. Иным был и быт: его было мало, он был скромнен, но разумен и достоин и потому — приятен: благодаря заботам наших предупредительных и деликатных хозяев издержки «бытового» нас почти не коснулись. Иным было, наконец, и наше состояние — как бы изъятые из *мира сего* с его злобой дня, чувство раскрепощенности, ощущение близости пространства свободы и предстоящей встречи с ним, эйфория духа» (НЛО, 3. С. 70).

И еще одна цитата, из воспоминаний Г. А. Лесскиса:

«Мы приехали в Тарту ранним утром. Нас встретили заботливо и предупредительно и повезли куда-то на автобусе через холмистые поля, пересеченные темными лесами, мимо загадочных озер и чистеньких городков Эльва, Отепя, где к нам присоединились Успенские. Школа располагалась в летнем студенческом лагере, выстроенном, как говорили, к приезду финского президента Кекконена. Главные здания стояли на холме, внизу было небольшое озеро, на озере вышка, финская баня, бараки для жилья. А кругом северные леса, куда влево и вправо убегала дорога, по которой мы приехали; местами виднелись обомшелые валуны, на которых недоставало только надписей для полного сходства с русскими сказками.

Все имело девственный вид, несмотря на лагерь, — звери были непуганые, леса незахламленные. Через дорогу временами перебегали поросята с кабанихой, а однажды мы с Владимиром Николаевичем Топоровым видели, как бежала в гору вдоль дороги красно-рыжая лиса, и долго мы провожали ее глазами, пока она не скрылась за поворотом. Во второй приезд (1966 г.) мы совсем рядом с лекционным корпусом напали на такое грибное местечко, что за каких-ни-

будь полчаса наполнили рубашку Димы Сегала крепкими маслятами. А вечером я оделся поваром и наварил на всю компанию (человек 30!) грибов. Это грибное пиршество было повторено к приезду Р. О. Якобсона... Но эти сказочно-чудесные места напоминали заколдованное царство: в округе в радиусе нескольких километров не было ни жилья, ни людей» (НЛО, 3. С. 48).

Вот в такой обстановке состоялась первая «летняя школа». Лотману удалось выпустить к ее началу брошюру: «Программа и тезисы докладов в летней школе по вторичным моделирующим системам 19—29 августа 1964 г.». С небольшими изменениями эта программа и была осуществлена. Обращаю внимание читателей на несколько затуманенное название: что такое вторичные моделирующие системы? Это было сделано по цензурным соображениям. Полтора века назад М. Е. Салтыков-Щедрин острил: «Как бы это потемнее выразиться?» Здесь именно тот случай. Чтобы не дразнить гусей, чтобы не пугать и не раздражать высокое начальство «семиотикой», был придуман такой эвфемизм, его изобрел В. А. Успенский: если считать естественный язык первичной знаковой системой, моделирующей жизнь, то «надстройки», «метаязыки», модели языка, семиотика как совокупность всех этих знаковых систем — будут вторичными. Внутри же, как и в московском Симпозиуме, авторы уже свободно оперировали семиотикой и структурализмом.

А почему Лотман с самого зарождения употреблял понятие «летняя школа», а не «конференция» или «симпозиум»? Он предположил, что, по аналогии с некоторыми летними съездами математиков и физиков, важно выработать более свободный жанр, чем обычная конференция: задается тема дня, по которой с сообщениями выступает несколько заранее намеченных ученых, а попутно без формализма включаются заинтересованные участники; следуют вопросы-ответы, полемические реплики, более подробные выступления, дискуссия — и все при этом учатся, осваивают новые области и новые методы; споры продолжаются и вне аудитории. Вот как характеризовал сам Лотман жанр «летней школы» в небольшой статье «Зимние заметки о летних школах»: «Принцип Летней школы не равен принципу конференции или симпозиума. Он состоит в том, что ученые собираются и определенный период *живут* вместе. Вся Летняя школа — цепь разговоров. Центры их — залы заседаний, где задаются темы, определяются точки зрения и лагеря. А затем обсуждения продолжаются в самых разных местах и формах. Это создавало непосредственную и исключительно плодотворную обстановку. Участники школ не считали себя носителями законченных знаний, а понятие школы предполагало открытость и постоянное взаимное обогащение» (НЛО, 3. С. 40—41).

Содержание занятий «летней школы» напоминало московский Симпозиум, но с некоторым уклоном в план содержания разных ви-

дов искусства и литературы: сказывался «литературоведческий» интерес Лотмана, предложившего и темы для обсуждений, более всего занимавшие ученого; потому и москвичи представили много докладов и сообщений, связанных с планом содержания искусства (живопись — иконопись, музыка, синкретическое первобытное искусство) и разных видов литературы³³. Темы, поставленные Лотманом, были грандиозным планом создания коллективного теоретического труда по семиотике вообще и по ее приложениям к различным областям культуры. Вот как эти темы-заглавия были обозначены в «Программе...» (в скобках указываем дни, когда начиналось обсуждение докладов и сообщений по каждой из тем):

«(20 августа 1964 г.). 1. Общие научные вопросы семиотики. Семиотика и теория науки. Различия структурально-лингвистических и структурально-литературоведческих научных методов. Моделирование в литературоведении, социологии, истории и теории культуры. Виды литературоведческих моделей. Границы действенного применения статистико-математических моделей.

(21 августа). 2. Моделирующие системы. Типология мышления и пути его изучения. Проблема содержания знаковых систем. Миф, религия, фольклор.

(22 августа). 2 а. Модели фольклорных текстов.

(23 августа). 3. Взаимодействие моделирующих систем и поведения. Роль идеологии в поведении человека. Разграничение бытового и «знакового» поведения (культового, обрядового, этически отмеченного). Ритуал. Язык как внелингвистическая проблема (язык как поведение, язык как обряд, язык как стиль). Игровое поведение. Игра и ее отношение к бытовому поведению, обучению и искусству. Проблема обучения. «Художественное поведение».

(24 августа). 4. Стиль как знаковая проблема. Проблема перекодировки и перевода.

(26 августа). 5. Искусство и семиотика. Природа языка в искусстве. Соотношение выражения и содержания. Языки несловесных искусств. Критерии художественности и критерии нехудожественности. Значение изучения низкопробной литературы.

(27 августа). 6. Специфика поэзии. Поэзия и не-поэзия. Повтор, отождествление, параллелизм как семиотические проблемы».

Если бы такая программа была осуществлена во всех аспектах, то это было бы событие величайшего культурного и научного значения. На самом-то деле это была программа-максимум. По каждой теме

³³ Б. А. Успенский в статье, очень важной для понимания «летних школ» и вообще отечественной семиотики, — «К проблеме генезиса тартуско-московской семиотической школы» (Семиотика. 20. С. 18—29) — хорошо показал соединение ленинградской (ведь старшие тартуанцы — ленинградцы по научному воспитанию) литературоведческой и московской лингвистической традиций.

нашлось по 3, 4, 5 докладов и сообщений, освещающих интересные, новые, перспективные проблемы, но все же относительно частные. Самыми «глобальными», обобщающими стали три доклада Лотмана, прочитанные соответственно 20, 23, 26 августа (таковым же мог стать и заявленный в «Программе...» вступительный доклад Вяч. Вс. Иванова «Общие проблемы изучения экстралингвистических знаковых систем», но он не читался в «летней школе»): «О принципиальной возможности построения порождающих моделей в литературоведении», «Игра как семиотическая проблема и ее отношение к природе искусства», «Проблема знака в искусстве». Первый и последний доклады отражали разделы первой структуралистской книги Лотмана, оконченной незадолго до «летней школы», а доклад (тезисы) о игре, лишь частично реализованный в последующих трудах ученого (см., например, включение игровых аспектов в статью «Тезисы к проблеме “Искусство в ряду моделирующих систем”» — Семиотика. 3. 1967), так и остался интереснейшей заявкой, которую можно было бы развернуть в большую статью или даже в книгу (Лотман ввел понятие игрового поведения, промежуточного между первично практическим и знаковым, и потому игра оказывалась как бы связанной и с естественной жизнью, и с семиотикой).

Лотман не только научно, но и человечески оказался центральной фигурой школы. Прекрасно сказал об этом В. Н. Топоров:

«Добрый гением этих мест, этого иного пространства в его персонифицированном и духовном воплощении был Юрий Михайлович Лотман, и то, что в этом месте и в этой роли оказался именно он, предопределило особую атмосферу «летних школ». В чем был тот секрет, который позволил Юрию Михайловичу играть более важную роль, чем гостеприимный хозяин, организатор обширного и напряженного круга наших занятий, *spiritus movens* научных дискуссий? Я бы сказал — в обаянии, исходившем от его личности, и тонком равновесии в ней человеческого и специально профессионального, от того, *что* и *как* он говорил и делал, от самого внешнего облика и той внутренней сути, которая за этим обликом легко угадывалась. Юрий Михайлович, за двумя-тремя исключениями, был старше нас, но его первенство имело и иные основания, нежели возраст и положение хозяина и руководителя «школы»: он превосходил нас чувством долга, ответственности, чувством меры, выдержанностью, манерой вести себя, внимательностью к собеседнику, несколько старомодной и тем более обаятельной вежливостью. Образ умудренного опытом жизни отца среди детей, не всегда послушных, снисходительного к ним и как бы скрывающего свое отцовство, утвердился в моем сознании в первую же неделю нашего личного знакомства. За всем этим чувствовалась та степень самодостаточности, та уравновешенность и естественность, которые нередко свойственны людям, укорененным в «хорошей» традиции — хорошая семья, богатая культурная родос-

ловная. Общаться с Юрием Михайловичем было легко и приятно тем более, что он всегда и во всех случаях вел себя удивительно деликатно и предупредительно, кое-кто склонен был видеть в этом «культурном» наследии исключительно «природное» — прирожденные свойства и иногда попадал в неловкое положение. В определенных ситуациях Юрий Михайлович умел быть жестким (хочется добавить — но жесткость эта была мягкой), открыто и определенно заявлял инакость своей позиции и добивался от «несогласных» если не оптимального, то, пожалуй, наиболее целесообразного в данный момент решения спорного случая. И с этим решением было тем легче согласиться, что Юрий Михайлович никогда не вносил в таких случаях даже отдаленного намека на соперничество, на победу одного и поражение другого. Вера в возможность разумного решения любого вопроса тоже казалась в нем несколько старомодной и заставляла вспомнить французский XVIII век. Инициативу на этом пути Юрий Михайлович мужественно брал на себя. Будучи всегда готовым прийти на помощь, предусматривая возможные осложнения и неудобства, при всем обилии дел и обязанностей, он умел быть предельно ненавязчивым и не вызывать чувства стеснения у своих коллег, иногда действительно годившихся ему в дети» (НЛО, 3. С. 70—71).

В Кяэрику съехались очень разные люди, по возрасту, психологическому складу, мировоззрению, но всех объединила атмосфера научной солидарности, творческой дружбы, доброжелательства и терпимости. Не было обидных уколов, зависти (по крайней мере — внешне!), раздражения от несогласия. И здесь в самом деле была велика роль Лотмана как нравственного критерия. Любопытно, что ретроспективно была попытка ограничить дух свободы, счастья, взаимности ссылками на то, что из-за советского фона участники «сами были уж очень несвободны и очень развращены своей несвободой, привычкой к ней» и что некоторые участники (перечислены трое) впоследствии оказались политически и нравственно «падшими»: эти странные истолкования взяты из мемуарной статьи Г. А. Лесскиса «О летней школе и семиотиках» (НЛО, 3. С. 50). Пожалуй, в подобном этическом саморазоблачении и покаянии сказывается действительно влияние советского «менталитета», но справедливо ли такое обобщение и перенос на всех участников летних съездов? Могу горячо и уверенно заверить читателей, что подавляющее большинство участников «летних школ» уже и прибыло туда нравственно свободными, а если кто-то еще и не достиг душевного очищения, то обстановка школ способствовала человеческому возвышению. И те трое, которые потом оказались в нравственной низине, наверное, школами тоже воспитывались совсем не в духе Павлика Морозова или служебного хищничества, а в противоположном направлении. Может быть, школы оттянули, отсрочили их дурные поступки...

Невозможно, конечно, разные личные впечатления и обобщения унифицировать, отказать авторам в своеобразии позиции. Например, молодой участник «летних школ», лингвист, проф. Б. М. Гаспаров, впоследствии эмигрировавший в США, воспринимал «летние школы» как целостное явление, сплоченный коллектив единомышленников, заключивших себя, ради отделения от официозных коллег в русских столицах и в Эстонии в эзотерическое «подполье», в «башню из слоновой кости»³⁴.

А Лотман, вместе с рядом других семиотиков, наоборот, видел прежде всего сложное разнообразие характеров и воззрений участников, споры и даже несогласия, а «башню» не любил, хотя и понимал необходимость отграничиваться от нежелательных соглядатаев, радовался присутствию молодежи и возможности широко распространять новые идеи, печатно и устно.

Атмосфера раскованности и душевного подъема способствовала еще нестандартному поведению большинства участников. Не было регламента, не было жестких жанровых ограничений. В ходу были экспромтом сочиненные эпиграммы, остроумцы во главе с Лотманом блистали шутками и каламбурами. В. А. Успенский в своем вступительном слове, объясняя выдумку «вторичные моделирующие системы» и термин «семиотика», нарисовал на доске семь разболтанных человеческих фигурок, как оказалось — пьяниц: Успенский знал, что по-эстонски *jootik* значит «пьяница», и потому каламбурно интерпретировал семиотику, мешая русский с эстонским, как «семь выпивох». Иногда рисковали шутить и на политические темы. Востоковед С. Д. Серебряный вспоминает: «...в докладе (В. Н. Топорова. — Б. Е.) о ведийском пантеоне шла речь о том, что на более ранних этапах верховным божеством был Варуна, а затем его вытеснил и заменил в этой роли Индра. В качестве резюме была предложена фраза: «Инд-

³⁴ См.: *Гаспаров Б. М.* Тартуская школа 1960-х годов как семиотический феномен. — «Wiener Slawistischer Almanach», 1989, Bd.23. S. 7—21; статья с некоторыми сокращениями перепечатана в тартуской газете «Alma mater», 1991, № 3 (5). В этой же газете появился затем ряд полемических или уточняющих статей: *Лотман Ю. М.* Зимние заметки о летних школах. — 1992, № 1 (6); *Неклюдов С. Ю.* Размышления выпускника Летней школы. — Там же; *Чернов И. А.* Тартуская школа: извне и изнутри. — 1992, № 2 (7); *Егоров Б. Ф.* Полдюжины поправок к научной статье Б. М. Гаспарова. — Там же; *Амелин Г. Г.* «Окалечившиеся мыслью». — Там же, № 3 (8); *Левин Ю. И.* «За здоровье Ее Величества!» — Там же. Заключала этот ряд статья невольного инициатора дискуссии: *Гаспаров Б. М.* Почему я перестал быть структуралистом? — Там же, № 3 (8).

Чуть позднее НЛО под рубрикой «Из истории московско-тартуской семиотической школы» опубликовало в продолжение той дискуссии (и вне ее) статьи Д. М. Сегала, Ю. М. Лотмана, Ю. И. Левина (эти две — перепечатка из «Alma mater»), М. Л. Гаспарова, Г. А. Лесскиса, С. Д. Серебряного, Т. В. Цивьян, В. Н. Топорова, А. М. Пятигорского, Г. Г. Амелина и И. А. Пильщикова (1993, № 3), Б. Ф. Егорова и Л. Н. Столовича (1994, № 8).

Принес Вашим бамам. У нас
 все в порядке. Искренне и с любовью
 Ю. М. Лотман

М. М.

Берсед! Ради бога,
 форсируй деньги! С. С.!
 В любом случае — иници!



Из письма Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц к Б. Ф. Егорову от 1.II.1961 г.
 Просят скорее оформить высылку гонорара из «Библиотеки поэта»
 (за книгу стихотворений Н. М. Карамзина)

ра — это Варуна сегодня!» — вызвавшая живейшую реакцию у большинства присутствовавших» (НЛО, 3. С. 54). У всех тогда на слуху еще звучал лозунг «Сталин — это Ленин сегодня!». Веселая обстановка школы вспоминалась всеми участниками, специальный пассаж этой теме посвятил в своих воспоминаниях москвич Ю. Левин: «Наконец, надо упомянуть о специфической праздничной атмосфере, царившей на школах. Я бы сказал «карнавальная», если бы не перегруженность этого слова «амбивалентно-низовыми» коннотациями. Этот дух царил не только на банкетах (с неизменным тостом «За здоровье ее Величества Королевы Английской Елизаветы II!»), или во время плаванья по Эмайыги и Чудскому озеру, или на вечерних посиделках, когда Р. О. Яacobсон и П. Г. Богатырев у камина вспоминали МЛК (Московский лингвистический кружок. — Б. Е.) и Хлебникова или Лена Падучева пела песни Галича, — но и в повседневности заседаний или трапез за длинным монастырским столом, в вечных кулуарных спорах (например, «западника» Лесскиса со «славнофилом» Пятигорским), в ежедневных прогулках по пустынному

шоссе (особенно с участием Р. О. Якобсона, когда пустыньность эта нарушалась стоящими машинами с читающими в них газеты кагэбешниками)...» (НЛО, 3. С. 45).

Следует добавить еще обилие шуточных стихотворений, ходивших по рукам, и шуточных элементов в докладах. Лотман делал доклады только серьезные, свое остроумие он выносил за пределы научных изложений, а я, например, не мог удержаться и в своем докладе «Гадание на картах и типология сюжетов» осторожно включил несколько шуточных подтекстов (они не всеми были замечены, и статья потом вполне серьезно была переведена на английский и итальянский языки; ее русский текст опубликован в Семиотике 2). И мне, и, я знаю, другим коллегам очень хотелось сочинить внешне наукообразный доклад на какую-нибудь весьма «философскую» и «абстрактную» тему, начинить его заушной терминологией и прочитать на одном из дней школы с ожиданием — поймут ли пародию, разоблачат или съедят как серьезный продукт? Но не хватило терпения и времени на сочинение такого доклада. Откровенная, уже не скрытая пародия на семиотически-структуралистский доклад («Еще раз к оппозиции Фомы и Еремы...») была сочинена позже, во время «пятой» школы в феврале 1974 г., коллективом молодых участников, куда входили С. Даниэль, Н. Брагинская, О. Седакова, А. Левинсон, Н. Прянишников (текст пародии опубликован: «Вышгород», 1998, № 3. С. 144—146). А еще позже, в 1982 г., перед празднованием 60-летия Лотмана, группа молодых ленинградских литераторов и московских гостей во главе с М. Безродным, Р. Григорьевым и И. Немировским сочинила веселую пародию на лотмановский метод: «К реконструкции одного несуществовавшего замысла (О методике работы с несуществующими источниками)» — и зачитали эту пародию на вечере в Тарту в честь юбиляра: Лотман очень смеялся. Текст пародии опубликовала Е. Григорьева: «Вышгород», 1998, № 3. С. 95—97.

ПЕРВАЯ СТРУКТУРАЛИСТСКАЯ КНИГА

Параллельно с подготовкой «летней школы» Лотман усиленно трудился над своей структуралистской книгой (из его письма к В. Н. Топорову от 12 марта 1963 г.: «Сейчас я коренным образом перерабатываю книгу по структуральной поэтике, которую пишу уже два года» — Письма. С. 672; в конце 1963 г. Лотман посылает уже законченную книгу на отзыв В. Н. Топорову и И. И. Ревзину — см. там же, с. 675). Весной 1964 г. труд был закончен; в выходных данных книги указано: «Сдано в набор 12/VI 1964 г. Подписано к печати 15/VIII 1964 г.». Т. е. перед самой «летней школой». Но типографии тогда работали медленно, на «летней школе» Лотман мог показать коллегам лишь корректуру, а сброшюрованная книга вышла в свет в конце сентября. Тираж был всего 500 экземпляров.

Эта книга названа автором многоступенчато: «Лекции по структуральной поэтике. Вып. I. (Введение, теория стиха)» (увы, дальнейших выпусков не последовало, последующие книги Лотмана как бы вобрали в себя проблематику других выпусков). И в самом деле вышедший труд явился введением в структуральное литературоведение. Лотман широко использовал достижения лингвистического структурализма и лингвистической семиотики (Н. Трубецкой, Р. Jakobson, Э. Бенвенист, Н. Жинкин), смежные труды философов (Ч. Моррис, А. Шафф, Г. Клаус), этнографов (К. Леви-Стросс) и первые теоретические исследования москвичей (например, статью А. А. Зиновьева и И. И. Ревзина «Логическая модель как средство научного исследования». — «Вопросы философии», 1960, № 1, а также труды Вяч. Вс. Иванова и А. М. Пятигорского), фундаментальные стиховедческие труды Б. Томашевского, Ю. Тынянова, В. Жирмунского, Б. Эйхенбаума, А. Колмогорова, Б. Унбегауна, М. Янакиева, И. Грабака — и много

других источников. Но в целом книга Лотмана — первая, новаторская, обобщающая работа в области литературоведческого структурализма; она расширяет и углубляет идеи, высказанные автором в двух предшествующих книге статьях — о них мы уже говорили.

Основной пафос работы — всеобщая *взаимосвязанность*: жизни и искусства, стихов и прозы, отдельных уровней плана выражения между собой, плана выражения и плана содержания, отдельных элементов и их совокупности, но при этом и всеобщая *противопоставленность*: в самой взаимосвязанности явления противостоят друг другу, сходство лишь усиливает непохожесть, а непохожести близких элементов выделяют инвариантную основу, возвышающуюся над элементами и диалектически связывающую свою инвариантность с вариантами: Лотман широко использует гегелевскую диалектику, усиленную диалектическими идеями Леви-Стросса. Он потом заявит в статье «Литературоведение должно быть наукой»: «Методологической основой структурализма является диалектика»³⁵. Опять же при всем стремлении к точным объективным методам в концепции Лотмана большую роль играет субъект наблюдателя — исследователя, воспринимающего произведение и связывающего-противопоставляющего элементы и уровни. Господствует, как у марксистов и большинства структуралистов, — об этом уже говорилось, — гносеологический, а не онтологический метод.

На этом основании подчеркивается не материальность, а функциональность знака (это уже совсем не марксизм, а «чистый» структурализм!): знак не может быть изолированным, он связан с денотатом (обозначаемым) и только в соотношении с ним имеет смысл; знак, образ, мотив, звук оказываются не сущностью, не субстанцией, а «пучком функций», определяемым наблюдателем (С. 44 книги). Отсюда — открытие «минус-приема», нарушения ожидания: когда в рифмующиеся строки неожиданно включается белый стих или когда, в области содержания, писатель не хочет употреблять привычный романтический штамп (С. 51, 176).

А знак в искусстве, по Лотману, может быть расширен до текста произведения в целом. Ведь в искусстве денотат, обозначаемое, содержание передается всем произведением, поэтому текст произведения можно рассматривать как знак, а части текста будут тогда элементами знака. И опять возникает проблема отношений с окружающим фоном: в искусстве, благодаря сложной многозначности, сложной «много-денотатности» мира художника, «знак или его смысло-различающий элемент может одновременно проектироваться на несколько (или на множество) фонов, становясь в каждом случае носителем различной семантики» (С. 44). Но Лотман не отказывается от представления о произведении искусства как моделирующем дей-

³⁵ «Вопросы литературы», 1967, № 1. С. 93.

ствительность, что, вместе с важным принципом о взаимосвязи плана содержания и плана выражения, позволяет автору отделять структурализм от формализма. Модель отображает содержание объекта, но не тождественным повторением, а воссозданием существенного; модель — не тождество, а аналог.

В книге несколько раз говорится о важности рассмотрения не только самого текста, языковой структуры произведения (если речь идет о словесности, о литературе), но и внетекстовых связей: «Реальная плоть художественного произведения состоит из текста (системы внутритекстовых отношений) в его отношении к внетекстовой реальности — действительности, литературным нормам, традиции, представлениям. Восприятие текста, оторванного от его внетекстового «фона», невозможно» (С. 165). На этом основании Лотман строит матричную таблицу художественных методов, в зависимости от преобладания тех или иных связей и от господствующего сопоставления текста произведения с традиционными стереотипами, «штампами»: по сходству или по отталкиванию.

	Структура с преобладанием внутритекстовых связей (читательски воспринимается как художественно сложная)	Структура с преобладанием внетекстовых связей (читательски воспринимается как художественно простая)
Эстетика тождества	Средневековое искусство Фольклор	Классицизм
Эстетика противопоставления	Барокко. Романтизм	Реализм

В эту схему в «клетку» к барокко и романтизму можно бы еще добавить и модернизм XX века.

В книге Лотмана много неожиданных парадоксов. Увеличение сходства искусства и жизни, оказывается, лишь усиливает их различие. Стих возник не из прозы, как обычно считалось, а наоборот, — первые художественные произведения были стихотворные, а проза в более позднее время появилась как отказ от стихового ритма. Но главный парадокс в книге — новое истолкование теории информации. Если по обычным представлениям (Шеннона и Винера) часть информации постепенно теряется в каналах передачи, то в искусстве — наоборот, благодаря внетекстовым связям, она наращивается! «“Гамлет” содержит для нас большую информацию, чем для современников Шекспира: он соотносится со всем последующим культурным и историческим опытом человечества» (С. 188).

И особенно поразительно открытие Лотмана относительно плодотворности — иногда — шума в художественной информации, в отличие от его обычно мешающей, негативной роли: «Так, например,

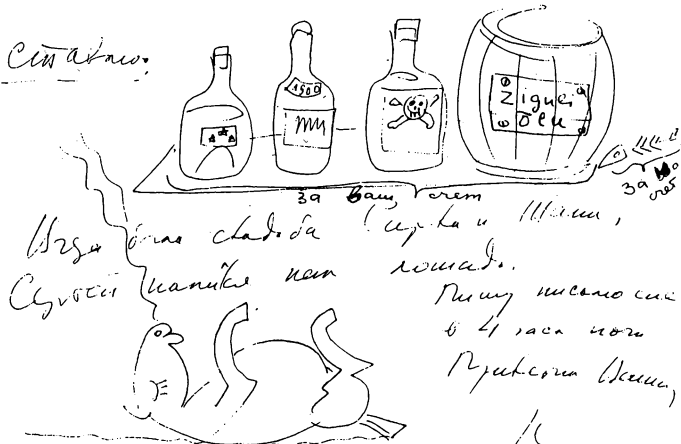
отбитые руки Венеры Милосской для автора — шум, гасящий информацию, для нас — источник новой информации» (С. 191).

В книге многое лишь кратко заявлено, целый ряд важных разделов поэтики — композиция и сюжет, лексика и семантика — освещены схематично, к проблемам тропов автор лишь подходил, все это нуждалось в доработке и в новой разработке. Лотман и займется в дальнейшем расширением и углублением данных разделов. Но все же «Лекции...» стали первым структурально-литературоведческим трудом, было положено начало дальнейшим плодотворным исследованиям.

Характерно, что книга вышла под серийной шапкой: «Труды по знаковым системам. 1». С помощью Клемента при кафедре была открыта новая серия. Все следующие тома (их всего вышло под руководством Лотмана 25) были оформлены более основательно и празднично: в цветных суперобложках (каждый том в новом цвете), с обо-

О, купид и персидский галопщик, персид-
кой. Это будет последний ирисек и
нашей пьесы. Никогда. Нам
ней прекратят. Приходите на пар-
тию с Танюшей (и Солей?), а?

Стакан.



Салтант, тонко. А Юх. и Таня
были очень свежие, но пить им абсолютно негде.
М.В. купил в наш предбанник.

Из письма Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц к Б. Ф. Егорову от 24.I.1963 г.

Зазывают отметить новоселье (получили новую квартиру):

Ю. М. ставит бутылки и еще бочку зигулевского пива.

2-й рисунок — реализация сравнения: «Сергей напился, как лошадь»

значением не только по-русски, но и по-гречески: Σημεϊωτική. Аверху сохранялась общая шапка «Ученых записок ТГУ» с номером выпуска (лотмановская книга была под № 160, 25-й том, вышедший в 1992 г., шел под № 936).

Пользуясь благорасположением ректора, кафедра с 1964 г. стала издавать и третью серию — «Блоковские сборники», не говоря уже о студенческих сериях научных работ.

Получая, по распоряжению Ф. Д. Клемента, 25—30 бесплатных экземпляров каждого тома, да еще столько же покупая в складчину, мы рассылали их отечественным и зарубежным коллегам, а также продолжали дарить видным писателям: К. И. Чуковскому, И. Г. Эренбургу, К. Г. Паустовскому, В. А. Каверину, К. А. Федину (который тогда еще не стал официальным функционером). Из последней группы, как уже отмечено выше, наиболее тесное знакомство у нас завязалось с К. И. Чуковским, который был, как известно, не только писателем, но и литературоведом; для 2-го «Блоковского сборника» (1972) он дал интересную публикацию «А. Блок в “Чукоккале”». Все получавшие наши издания весьма положительно отзывались об их содержимом.

Для нас и для Ф. Д. Клемента, которому мы показывали все печатные и письменные отклики, были весьма ценными отзывы зарубежных коллег. Глава французских славистов проф. Андре Мазон в ежегодных обзорах наиболее заметных трудов, обзорах, публиковавшихся в журнале «Revue des études slaves», регулярно отмечал и хвалил тартуские издания; известные польские русисты Виктория и Рене Сливовские поместили в журнале «Slavia orientalis» (1965, № 2) специальную рецензию на «Труды по русской и славянской филологии».

Ф. Д. Клемент, близко к сердцу принимавший известность университета, уже перешедшую за границы страны, баловал нашу кафедру новыми разрешениями на выпуск обильной научной литературы.

Лотман, я и, особенно, З. Г. Минц познакомились, благодаря успеху наших изданий, с литераторами и издателями старших поколений (Н. А. Павлович, С. М. Алянский, Е. Г. Полонская, Н. И. Гаген-Торн, М. А. Сергеев, Р. Райт, Е. М. Тагер, М. С. Альтман), с близкими к А. Блоку (В. П. Веригина, Н. Н. Волохова) и В. В. Маяковскому (Е. В. Семенова) деятелями русской культуры, с вдовами М. А. Булгакова и С. М. Третьякова, давшими для публикации ценные архивные материалы. Преподаватели, аспиранты, студенты работали и над интересными архивными материалами XIX — начала XX в., и их публикации тоже оживляли наши научные издания, превращали «учебные записки» почти в журнал или альманах, предназначенный для значительно большего числа читателей, чем круг узких специалистов по соответствующей тематике.

СЛЕДУЮЩИЕ «ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ»

Успех «летней школы» 1964 г. подтолкнул тартуанцев и москвичей на продолжение научных собраний. Решили сделать школы регулярными, с интервалами в два года. Таким образом, 2-я «летняя школа» состоялась в августе 1966 г., 3-я, несколько необычно, в мае 1968 г.³⁶, а 4-я — снова в августе, в 1970 г.

Состав участников в основном сохранялся, новые лица были единичны. Украшением 2-й школы явилось присутствие Р. О. Якобсона. Добиться разрешения на приезд в полузакрытую для иностранцев Эстонию и полузакрытый Тарту оказалось непросто.хлопоты в Москве были безрезультатными, потом, будучи на ленинградском психолого-лингвистическом симпозиуме, Якобсон от местных властей получил разрешение, но при условии, что в поездке его будет сопровождать кто-либо из советских людей. Тогда часто возникали анекдотические парадоксы: «советским» сопровождающим оказался Вяч. Вс. Иванов, участник, как и Якобсон, ленинградского симпозиума, собиравшийся ехать на тартускую «летнюю школу»; о том, как непросто было добраться до Тарту, как новые препоны возникли в Таллине и как, наконец, американские гости (Якобсон и его жена К. Поморска) смогли приехать в Кяэрику, Иванов подробно рассказывал в своих воспоминаниях («Звезда», 1995, № 3. С. 173).

Якобсон сделал на «летней школе» доклад о тобольских стихах А. Н. Радищева, вскоре опубликованный в виде статьи в сборнике к

³⁶ Перенос произошел из-за назначенного на август 6-го Международного съезда славистов в Праге, участниками которого были многие московские лингвисты; они стали там зрителями трагедии — вторжения наших войск в Чехословакию.

70-летию П. Н. Беркова («XVIII век». 7. М.; Л., 1966)³⁷, и активнейше участвовал в обсуждении докладов коллег. Столько лет вынужденный находиться вне родной атмосферы, долгих научных споров и живого человеческого общения, Роман Осипович чувствовал себя празднично возбужденным, у него все более настойчиво возникало желание вернуться на родину (увы, два года спустя оккупация Чехословакии нашими войсками окончательно разрушила эти замыслы).

Кульминацией той «летней школы» стал вечер воспоминаний Якобсона и П. Г. Богатырева о предреволюционном Московском лингвистическом кружке. Небольшой зал, набитый слушателями. Большой камин, в котором пылали громадные поленья, величиной с железнодорожные шпалы, и страстный рассказ Якобсона о своей студенческой молодости. Его лицо покраснелось, кто-то спросил — не жарко ли ему у камина, может быть, отодвинуться, на что Якобсон тут же отпарировал: «Нет, мне жарко от воспоминаний».

«Летние школы» по семиотике надоумили тартуских и московских востоковедов устроить в Кяэрику свою буддологическую «школу». Ее удалось организовать в апреле 1967 г., и в ней участвовали многие семиотики. Из воспоминаний С. Д. Серебряного: «...для меня Тарту и Кяэрику — это отнюдь не только семиотика. На буддологической «школе» в апреле 1967 года о семиотике можно было вообще не вспоминать. Мы слушали доклады о буддийской философии, о проблемах истории буддизма; даже были «занятия» с чтением конкретных буддийских текстов на санскрите, пали и (для тех, кто понимал) на тибетском. Особенно запомнился мне эстонский текстолог Э. Мазинг, который сделал доклад о философии Нагарджуны — на немецком языке. В той школе принимали участие и В. Н. Топоров, и Т. Я. Елизаренкова, и Л. Мялль, и А. М. Пятигорский, и Б. Л. Огибенин (живущий ныне во Франции), и А. В. Герасимов (ныне гражданин Израиля), и Г. Г. Суперфин (позже, после тюрьмы и ссылки, уехавший в Германию), и покойная Октябрина Федоровна Волкова, преподававшая мне (как и многим другим) санскрит» (НЛО, 3. С. 55).

Молва о свободной и творческой атмосфере тартуских «летних школ» в самых разных истолкованиях, от восторгов до ненависти, расходилась по стране и за границе широкими кругами. Партийные органы, пусть и поздновато, но востребовались, ректору Клементу было приказано прекратить вольницу, четвертая школа 1970 года оказалась последней. Лотман прилагал много усилий, чтобы восстановить уже широко ставший известным жанр научных собраний, но в 1972 г. пятую школу не разрешили. Оставалась бледная надежда на

³⁷ Доклад, посвященный стихотворению едущего в ссылку Радищева, многие ассоциировался с недавним, полгода назад, на весь мир прозвучавшим советским приговором к тюремному заключению писателей А. Синявского и Ю. Даниэля.

1973 г. — и она развевалась. Лишь в феврале 1974 г. удалось добиться разрешения на организацию конференции. Нелепо было называть ее «зимней летней школой», хотя такая шутка и ходила в Тарту и Москве, как и вторая шутка: «летняя школа по латиноамериканскому варианту» (имелось в виду лето в Южном полушарии, приходившееся на декабрь—февраль). Сборник докладов и тезисов, выпущенный к конференции, назывался лукаво: «Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам I(5)». Уже не «летняя школа», а всесоюзный симпозиум, обозначенный римской цифрой I, но «вторичные моделирующие системы» и цифра 5 как бы обозначали связь этой конференции с предшествующими «летними школами».

Увы, на этом симпозиуме заканчивалась цепочка замечательных научных собраний, продолжавшихся целое десятилетие. Прекращение «летних школ» совпало с почти массовым отъездом участников в эмиграцию. Семидесятые годы — это период брежневского застоя и безвременья, в который, однако, совсем не застойно бушевали политические репрессии — расширились попытки обуздать инакомыслие в моноидеологической стране. Поэтому усилился отъезд за ру-

"Техот и совершенности". Де лапиде и де осенит,
"Вас пиле Грегуре."

Шеперо о себе: 31 лет. Кресло не было
на месте. Тамиларетан, 31-2-го в нем сидел,
Зара сидела, Миша, Греша и няня сидели
тоже (я имела, как и тогда, с этого момента
Миша гуляла насаде абулущи и ттешини)
Третьего "сб." был у кресла. Но долго не ждал
друг друга, не было нечего ит
ааааа. Шеперо - индем. В итоге сбавил
на дни не сар, чем предшествовало.

но я-то дождался — у меня галстук белый,
среднее (радиусом в Питере не повторю!),
и я уже тогда видел скарлатина дама сидела
на диване — неслыханная, с 11-12
гос. вст. до 10 час утра, но замечательная.
Правда, написал маленькую рецензию для
"Воплей" ("Если уродливое Рейсера, то шакки,
то я, как мы и договорились, в конце декабря
написал рец. на Бриссман и лишь только на
от Милых, чтобы ему для показа Брисс-
ману и дальнейшего направления в Вопли).

Из письма Ю. М. Лотмана к Б. Ф. Егорову от 6.I.1960 г.

Реализация метафоры: изображение «сердцебиения»

беж. При «железном занавесе» все-таки были щели, по которым вытекали скудные ручейки эмигрантов, главным образом — интеллигенции: эмиграция евреев в Израиль (на самом деле многие лишь оформляли документы на «древнюю родину», а поселялись в Европе или Америке), женитьба или замужество с иностранцами.

Из московских семиотиков уехали А. М. Пятигорский (в Англию), Д. М. Сегал (в Израиль), Б. Л. Огибенин (во Францию), А. Я. Сыркин (в Израиль), А. К. Жолковский и Ю. К. Щеглов (в США), из тартуанцев — Б. М. Гаспаров (в США). Расставания были тяжелыми, ведь тогда казалось, что при закрытой границе для уехавших и при «невыездных» статусах большинства здесь оставшихся прощание приобретало похоронный оттенок — навсегда! Тем более что эмигрантский отъезд означал цензурное вычеркивание человека из отечественной научной памяти: из библиотечных каталогов изымались карточки с книгами и статьями уехавших, их имена запрещалось приводить в печатных трудах, в библиографиях, не говоря уже о невозможности печататься на родине. Целые истории разыгрывались в издательствах, когда перед выходом книги или сборника автор или участник становился эмигрантом: труд мог пойти под цензурный нож — или же нужно было срочно придумать замену другим реальным лицом или псевдонимом.

В Тарту чуть не «погорел» уже отпечатанный полным тиражом и переплетенный том «Ученых записок», где на обороте титула в списке членов редколлегии присутствовало имя Б. М. Гаспарова, только что уехавшего. Чтобы спасти том, мы срочно упросили московского одноклассника М. Л. Гаспарова дать свое имя, коллега согласился — и несколько часов члены кафедры от руки исправляли тысячу раз инициалы «Б. М.» на «М. Л.». Были и худшие варианты, с перепечаткой страниц или с вырыванием статьи.

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПЕРИОДА «ЛЕТНИХ ШКОЛ»

Время «летних школ» (включим в их ряд и «зимнюю»), десятилетие 1964—1974 гг. оказалось удивительно плодотворным для Лотмана, несмотря на все беды вокруг: ограничения, запреты, усиливающееся внимание КГБ, эмиграция коллег и товарищей. Человек науки, как и любой человек, не имеет возможности выбирать время, в котором он живет; очень часто он не может выбирать и место (страну, город, учреждение). Но творческая личность приучается трудиться в любых условиях. Многие наши ученые, от почтенного о. Павла Флоренского до юного тогда Дмитрия Лихачева, даже в заключении, в страшных условиях Соловков находили возможность создавать научные работы.

Вне ГУЛАГа заниматься наукой было несравненно легче. Тем более что Лотман находился в дружеской атмосфере кафедры и «летних школ». Даже количественно заметен творческий взлет с середины шестидесятых годов. Первая ступенька взлета приходится на 1958 г., когда мы получили возможность издавать кафедральные «ученые записки»: тогда вместо прежних двух-трех-четырёх научных работ в год Лотман стал публиковать их около десятка. А теперь, начиная с 1965 г., ученый ежегодно печатал их 15—20.

В период «летних школ» Лотман продолжал заниматься и темами «досемиотического» этапа своей деятельности. В «Советской исторической энциклопедии» он публикует статью «Масонство» (т. 9, 1966), в Большой серии «Библиотеки поэта» — книги: «Полное собрание стихотворений» Н. М. Карамзина (1966) и — совместно с М. Г. Альтшуллером — «Поэты 1790—1810-х годов» (1971), большую ядовито-фельетонную рецензию на заслуживающую того книгу Г. Шторма «Потаенный Радищев» (вряд ли в тех «пуританских» условиях такую

рецензию взяли бы столичные журналы; она была опубликована в «Ученых записках Горьковского университета», вып. 78, 1966), статьи о русско-западноевропейских связях: «Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века» (послесловие к изданию «Трактатов» Руссо в серии «Литературные памятники», 1969) и «Восприятие лирики Пушкина в Германии» (совместно с Ю. Д. Левиным написанная рецензия на книгу Х. Рааба о лирике Пушкина в Германии, 1964 — «Русская литература», 1966, № 2). И, конечно, много работ о Пушкине, об этом у нас будет речь впереди.

Но все же подавляющее большинство трудов Лотмана той поры посвящено новым темам и проблемам. Прежде всего, это общетеоретические статьи по семиотике и культурологии.

Уже в первой структуралистской книге 1964 г. Лотман большое место уделил текстам и их функциям, в последующих статьях он подробно остановился на определениях и на бытовании этих понятий, в том числе и на проблемах функционирования функций. Первое рабочее определение он дал в докладе «К проблеме типологии текстов», прочитанном 18 августа 1966 г. на 2-й «летней школе» в Кяэрику: «Под текстом понимается любое отдельное сообщение, отчлененность которого (от «не-текста» или «другого текста») интуитивно ощущается с достаточной определенностью»³⁸.

Характерно, что текст здесь синонимичен сообщению, и тем самым он может быть включен в теорию сигналов, теорию знаков, разрабатывавшуюся Ч. Моррисом, что и делал несколько раньше А. М. Пятигорский в статье «Некоторые общие замечания относительно рассмотрения текста как разновидности сигнала», где так трактуется понятие текста:

«Во-первых, текстом будет считаться только такое сообщение, которое пространственно (т. е. оптически, акустически или каким-либо иным образом) зафиксировано.

Во-вторых, текстом будет считаться только такое сообщение, пространственная фиксация которого была не случайным явлением, а необходимым средством сознательной передачи этого сообщения его автором или другими лицами.

В-третьих, предполагается, что текст понятен, т. е. не нуждается в дешифровке, не содержит мешающих его пониманию лингвистических трудностей и т. д.»³⁹.

В последующей совместной работе Лотмана и Пятигорского «Текст и функция» (III летняя школа по вторичным моделирующим системам. Тезисы. Тарту, 1968) нет нового определения текста, а дается отсылка к предшествующей статье: «Понятие текста определя-

³⁸ Тезисы докладов во Второй летней школе по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1966. С. 83.

³⁹ Структурно-типологические исследования. М., 1962. С. 145.

ется нами в соответствии со статьей А. М. Пятигорского» (Лотман. I. С. 133). То есть текст определялся, в духе теории информации, как аналог сигнала-сообщения, сознательно отправленного, да еще понятного, не нуждающегося в дешифровке. Конечно, это очень сужало понятие текста: вне его оказывались социально-культурные явления, не рассматриваемые людьми как сознательное сообщение (скажем, город, битва, железная дорога), и тем более в него не входили природные образования, «прочитываемые» человеком как произведения (Бога, искусства и т. п.). Позднее Лотман расширит понятие текста и включит в него и отмеченные объекты, но пока он вместе с Пятигорским оперирует с узким пониманием (хотя ниже мы увидим в их статье, что авторы текстом считают и лекарство — уж оно-то никак не подпадает под три признака Пятигорского; однако это включение — единственный случай, а не правило). Но главное в совместной статье не эта «узость» а, наоборот, включение текста и его функций во всеобщую культурную сферу, и сама культура определяется как аналог этих понятий: «Если принимать во внимание такие три категории, как *текст*, *функция текста* и *культура*, то возможны по крайней мере два общих подхода. При первом культура рассматривается как совокупность текстов <...> При втором подходе культура рассматривается как производное от функции или функций» (Лотман. I. С. 133).

Тяга Лотмана к функциональности, превознесение функций над содержанием, заметное уже по его ранним структуралистским работам, в том числе по книге 1964 г., здесь дошла чуть ли не до отрыва функции от ее источника, от текста. Авторы и не скрывают этой операции: «Возможность отделения функции от текста подводит нас к выводу о том, что описание культуры как некоторого набора текстов не всегда обеспечивает необходимую полноту» (Лотман. I. С. 140).

Далее приводятся примеры: при определенных условиях научный текст, скажем астрономический календарь, может нести религиозную функцию; лекарство может иметь научно-медицинскую, религиозную, магическую — то есть три разных функции. И еще один пример, имеющий, видимо, скрытый подтекст, намек на современную советскую идеологию: «История науки знает много случаев, когда научные идеи <...> становились тормозом науки, поскольку начинали обслуживать ненаучную функцию, превращаясь для части коллектива в религию» (там же).

Конечно, строго говоря, здесь рассмотрено не отделение функций от текста, а наличие нескольких функций при одном тексте, однако такая нестрогость характерна для желания возвысить функцию и сделать ее главным содержанием культуры.

Что еще показательно для этой и сопутствующих статей Лотмана — тяга к «перевертышам», к взаимозаменяемостям, к конфликтным противостояниям и переходам. Например, много говорится о

наличии в культуре двух противоположных тенденций: о семиотизации и десемиотизации, о двойственности взаимоотношений текста с не-текстом, когда вместо обычного превосходства текстов над не-текстами и выражения культурных ценностей только в текстах может происходить инверсия, «вторичное перевернутое соотношение»: тексты объявляются ложными, а истина вытекает из бывших не-текстов.

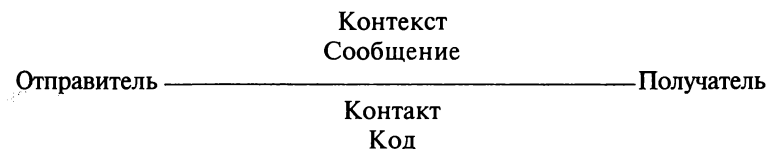
В других статьях будет идти речь об обратимости плана содержания и плана выражения, субъекта и объекта, правого и левого, действительности и ее воплощения в искусстве, театра и живописи. «Обратимостями» насыщены лотмановские статьи: «В первом случае (в романе Лермонтова. — Б. Е.) интерпретация — знак, а действительность — содержание; во втором (при романтическом релятивизме. — Б. Е.) действительность — знак, а интерпретация — сущность, содержание» («О проблеме значений во вторичных моделирующих системах». — Семиотика. 2. 1965. С. 23); «В художественном смысле такая полная победа (над устаревающим методом. — Б. Е.) будет полным поражением» («О некоторых принципиальных трудностях в структурном описании текста». — Семиотика. 4. 1969. С. 481); «В первом случае (в культурах как суммах текстов. — Б. Е.) правильно то, что существует, во втором (в культурах как суммах норм. — Б. Е.) — существует то, что правильно» («Проблема «обучения культуре» как ее типологическая характеристика». — Семиотика. 5. 1971. С. 167), и т. д.

Такой интерес к «перевертышам» будет сопутствовать Лотману всю его творческую жизнь. Мне кажется, что подобный интерес вообще присущ человеку, особенно в детстве, но у творческих личностей он оказывается более фундаментальным и потому пронизывает всю деятельность.

Перевертыванию, как видно, почти всегда сопутствует напряженность, конфликтность, борьба. Когда ранние труды Лотмана были насыщены социальными конфликтами («борьба с борьбой борюется»), то это можно было отнести за счет полувынужденной дани «марксистским», советским обычаям. Но эти темы и проблемы войдут заметной частью и в зрелые исследования Лотмана. Очевидно, как и «перевертыши», конфликтность — необходимая часть творческого сознания ученого, а может быть, и часть бессознательной натуры. Мне ярко запомнился один эпизод из домашней жизни Лотмана. Он, отец, играя со своими малыми детьми, предложил им из нескольких коробок кубиков и строительных брусков возвести большую замысловатую пирамиду. А потом неожиданно воскликнул: «Давайте ее разрушим!» Ребята восприняли этот клич с восторгом, в несколько секунд пирамида была превращена в руины (опасная вещь — содействовать разрушительным инстинктам; малые лотмановские детки в одну зиму разобрали на части — голыми ручонками! — велосипед, оставленный на их веранде П. С. Рейфманом). И я подумал тогда, что, наверное, у Лотмана глубоко в душе сидит этот червь раз-

рушения. В научных работах он, слава Богу, умерялся диалектическими оговорками о важности сохранять в культуре разрушаемые остатки, о снятии напряженной борьбы на метауровне и т. п. А в жизненном поведении — культурным воспитанием.

Вернемся, однако, к предпочтительному вниманию к тексту. Трактовка текста как сообщения вела Лотмана к якобсоновской схеме, раскрытой в известной статье «Лингвистика и поэтика» (1960). Не все тогда по горячим следам могли прочесть эту статью: она вышла в американском сборнике, изданном Массачусетским технологическим институтом, но статья оказалась всем доступна в реферативном изложении В. Н. Топорова («Структурно-типологические исследования», 1962). Схема такова:



Тартуанцы впервые ознакомились с нею именно по рецензии-реферату В. Н. Топорова.

Лотмана особо привлекала проблема кодирования. Уже в ранней статье «О проблеме значений во вторичных моделирующих системах» (Семиотика. 2. 1965), статье, развернувшей содержание доклада на 1-й «летней школе» 26 августа 1964 г., Лотман главной темой сделал код и перекодировку, к которой иногда подключалась и дешифровка содержания (это колеблет третий пункт в определении текста Пятигорским: там дешифровка исключалась, текст должен быть понятен).

В якобсоновской схеме «сообщение» — это текст, цепочка знаков. «Получатель» с помощью «кода» истолковывает текст и создает его «значение» (этот элемент не включен Якобсоном в схему, очевидно, автор считал его принадлежащим к следующему этапу деятельности получателя, этапу, не отраженному в схеме, а Лотмана как раз эта ступень интересует прежде всего). В указанной статье Лотман подробно классифицирует художественные системы по преобладанию внутренних перекодировок (когда не нужны внетекстовые связи) или внешних, когда внетекстовые связи разнообразны и когда знак составляет «пучок взаимозэквивалентных элементов разных систем» (Семиотика. 2. С. 25), — как примеры последнего анализируются произведения и метод Лермонтова: «Носителем значения становится не какой-либо стилистический пласт, а пересечение многих контрастных стилей (точек зрения), дающее некое «объективное» (надстилевое) значение. Блестящим примером такого построения является стиль «Героя нашего времени». Лермонтов постоянно пользуется приемом перекодировки, показывая, как наблюдаемое с

одной точки зрения выглядит с другой. Действительность раскрывается как взаимоналожение аспектов. Так, характер Печорина дан нам глазами автора, Максима Максимыча, самого Печорина и других героев. Суждения каждого из них <...> ограничены. Но каждое суждение содержит и ту часть истины, которая выявляется от их пересечения» (С. 31).

Новаторские работы Лотмана стали очень быстро известны и в стране, и за рубежом. Уже через год после опубликования его статьи «О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры» она вышла в свет на французском языке в международном журнале «Linguistics» (1964, № 6), а начиная с 1967 г. в Западной Европе и Америке (в Японии — с 1978 г.) постоянно публиковались переводы и перепечатки трудов Лотмана. С 1972 г. количество переводов на другие языки будет ежегодно превышать количество русскоязычных публикаций. В 1969 г. по инициативе Р. О. Якобсона Лотман был включен в оргкомитет Международной ассоциации семиотических исследований (к сожалению, ему как «невыездному» ни разу не удалось присутствовать на заседаниях комитета, организуемых в Западной Европе, общение было только письменным).

Научная молодежь и внутри страны, и за рубежом, как правило, с воодушевлением встречала труды Лотмана, хотя были и противники. Среди ученых старшего поколения многие не принимали новых методов; среди таких встречались и коллеги, весьма положительно оценивавшие «традиционные» статьи и книги Лотмана, например Ю. Г. Оксман. Но литературоведы, подобные Оксману, просто уклонялись от дискуссии, видимо считая себя некомпетентными в сферах семиотики и структурализма. А ревнители официального «марксистского» благочестия агрессивно и с ходу отрицали новые методы (дескать, это «идеализм», «формализм», преклонение перед буржуазными авторитетами и т. п.). Но и у серьезных мыслителей старшего поколения возникали критические суждения. В главе «Бахтин и Лотман» я подробно остановлюсь на методологических взаимоотношениях этих ученых, а сейчас лишь отмечу, что Бахтин воспринял семиотику как изучающую статические, а не динамические структуры, а код — как «умерщвленный контекст», как «готовое» (т. е. не творческое) средство передачи готовой же информации.

С другой стороны, А. Ф. Лосев, законно считавший себя одним из первых отечественных исследователей категорий «структура», «знак», «пространство и время», был недоволен, что тартуанцы нигде не ссылаются на его труды 1920-х гг. — он откровенно писал об этом Л. Н. Столовичу 30 марта 1968 г.⁴⁰ В самом деле, незнание трудов выдающегося философа — неприятная деталь в истории тартуско-московской семиотической школы. Хотя методологии Лосева и

⁴⁰ Столович Л. Н. А. Ф. Лосев о семиотике в Тарту. — НЛО, 8. С. 99—100.

тартуанцев существенно различались, но все же забывать предшественников — досадная промашка; она объясняется многолетними гонениями на Лосева со стороны официальных советских философов, приведшими к почти полному запрету его «идеалистических» книг и потому к незнанию его идей в кругах гуманитарной научной молодежи 1940—1950-х гг. Позднее, как справедливо указывает Л. Н. Столович, имя Лосева вставало из небытия, и уже в книге Вяч. Вс. Иванова «Очерки по истории семиотики в СССР» (М., 1976) имеются ссылки на ранние работы философа.

Что же касается бахтинской критики, то она опиралась, очевидно, на самые ранние работы Лотмана: на его первую структуралистскую книгу и на статьи из первых выпусков «Семиотик», из тезисов «летних школ». В тех трудах, например в статьях «О проблеме значений во вторичных моделирующих системах» (Семиотика. 2. 1965) и «К проблеме типологии структур» (Семиотика. 3. 1967), в самом деле рассматривалось чрезвычайно много «кодов» и «перекодировок» и господствовали статические срезы структур. Даже основополагающее определение культуры, данное в последней из упомянутых статей, может быть истолковано как статическое: «Совокупность ненаследственной информации, которую накаплиют, хранят и передают разнообразные коллективы человеческого общества» (С. 30). Аналогично и чуть более позднее определение из статьи «О семиотическом механизме культуры», созданной Лотманом в соавторстве с Б. А. Успенским: «Культура — ненаследственная память коллектива, выражающаяся в определенной системе запретов и предписаний» (Семиотика. 5. 1971. С. 147).

Однако М. М. Бахтин, наверное, получал (или прочитывал?) не все тартуские издания. Если бы он штудировал 4-й том «Семиотики» (1969), то увидел бы, что статьи Лотмана «О метаязыке типологических описаний культуры» и «О некоторых принципиальных трудностях в структурном описании текста» как будто бы нарочно посвящены динамичности структур и наращиванию новой информации, как будто бы Лотман заранее знал критические замечания Бахтина, которые будут зафиксированы в его заметках 1971—1972 гг. и в статье 1974 г.

В статье «О метаязыке...» Лотман делит культурные тексты (а тексты теперь трактуются в расширительном смысле, включая все культурные образования, сама культура в целом интерпретируется как текст) на две категории. Одна — *неподвижная*, статическая, включающая пространственную структуру, аксиологическую систему (т. е. систему оценок, систему ценностей) некоторых персонажей в жизни и литературе (например, окружающих героя волшебной сказки). Другая — *подвижная*; в нее входят прежде всего лица действующие, активные, творческие, передвигающиеся по культурному пространству; они создают сюжет, ибо отвечают на вопросы: «Что и как слу-

чилось?» и «Что он сделал?». «Одиссей, Орфей, Дон-Кихот, Жиль-Блаз, Растиньак, Чичиков, Пьер Безухов — герои, имеющие *путь*, осуществляющие движение внутри того универсального пространства, которое представляет собой их мир» (С. 464). «Поэтому для слушателя, находящегося внутри данной картины мира, сюжетная подгруппа всегда более информативна» (С. 465). Позже Лотман определит сюжет как совокупность событий, а событие — как пересечение героем границы. И если при неподвижной картине мира нельзя проникнуть за границу «своего» пространства, то сюжет с подвижным героем переходит такую границу. «Схема сюжета возникает как борьба с конструкцией мира» (С. 471). И опять происходит наращивание информации.

А во второй статье — «О некоторых принципиальных трудностях...» — Лотман находит другой аспект, позволяющий подчеркивать динамичность и жизни, и ее анализа. Ученый соглашается, вместе с цитируемым Р. Якобсоном, что в качестве научного приема статический срез исследуемой структуры вполне допустим, но если только анализ проводится двумя или более способами (например, изучается метр и ритм данного стихотворения), то *отношение* между статическими моделями будет динамическим. Динамика создается отношением.

В совместной с Б. А. Успенским статье «О семиотическом механизме культуры» Лотман вообще путь культуры в историческое время рассматривает как динамический: «...человечество пережило длительный *доисторический* период, в котором временная протяженность вообще не играла роли, ибо не было развития, и только в определенный момент произошел тот взрыв, который породил динамическую структуру и положил начало истории человечества» (Семиотика. 5. С. 162). Здесь впервые возникает понятие взрыва, которое впоследствии будет привлекать большое внимание Лотмана, вплоть до его предсмертной книги «Культура и взрыв».

В статье «О семиотическом механизме культуры» соавторы подчеркивают лавинообразный, динамический характер развития человеческой культуры и противопоставляют ему статичность не-семиотических систем, которые существуют, главным образом, в сфере физиологии — в той области, которая объединяет человека с животным миром. В культуре всегда присутствует выбор, альтернатива, потому и создается динамика, а в не-семиотических системах альтернативы нет, потому и нет движения.

Важно, однако, что не-семиотическая область рассматривается тоже как структура. Любопытно, что Лотман, видимо, желал эту область, противопоставляя ее культуре, деструктурировать. Например, в книге «Структура художественного текста» (М., 1970) он так говорит о физиологии: «...чувственное наслаждение можно было бы определить как получение информации из несистемного материала (в

отличие от интеллектуального — получения информации из системности» (С. 76). Вряд ли он прав в подобных (они, впрочем, очень редки) пассажах. Ведь источники чувственных наслаждений — еда, цветы, тепло и т. п. — имеют свою собственную структуру, не говоря уже о сексуальных партнерах.

Что касается кода, то вряд ли можно согласиться с бахтинской уничижительной характеристикой этой категории как «умерщвленного контекста». Лотмановский «код» совсем не мертвый, он живой, подвижный, меняющийся, он в духе лотмановских «перевертышей» может меняться местами с «сообщением», в зависимости от точки зрения описывающего — на с. 289—290 упомянутой книги приводится такой пример перевертывания при разных истолкованиях заданного маршрута на карте и реального пути корабля. А «контекст», кстати сказать, настолько обширный фон, царящий над схемой информации, что его никак не включить в *обменную* «игру» с «сообщением», в то время как «код», свод интерпретационных правил, может и быть сообщением, и подставить иное сообщение на свое место.

Заметим, что у Лотмана было очень много — в течение всей его жизни — соавторов. Это объясняется и открытостью его характера, коммуникабельностью, терпимостью к точке зрения коллеги (есть ведь по этой части совершенно нетерпимые!) и, что не менее важно, опасеньем своей неполной компетентности в исследуемых сферах. По-

Зара, рассматривающая аттестат своего сына...

Картина известного русского мариниста

Ай-вай-зовского.



Рис. Ю. М. Лотмана. 1969 — год окончания Мишей школы.

Из архива В. А. и О. М. Малевичей

этому для статей в области семиотики и лингвистики он привлекал Б. А. Успенского, в области русской литературы XX века — З. Г. Минц и т. д. Таким образом обеспечивалась объективная надежность, достоверность продуцируемых выводов.

Еще заметим, что, начав свой структурно-семиотический этап творческой деятельности с *текстов* и с теоретических идей о том, что такое текст, Лотман постепенно переходит к *культуре* как главному объекту занятий. Тому способствовало довольно быстро возникшее у ученого представление о культуре как собрании текстов и даже как о едином большом тексте (правда, в статье «Проблема «обучения культуре» как ее типологическая характеристика», опубликованной в 5-й Семиотике, Лотман разделяет культуры, где обучают с помощью собрания текстов, и культуры, где обучают правилам создания текстов; но ведь свод правил — тоже текст, только на метауровне).

Вершиной, кульминацией лотмановских занятий именно текстом, т. е. теорией текстов, можно считать книгу «Структура художественного текста». Здесь развиваются прежние понятия и определения (в тексте выделяются главные признаки: выраженность, отграниченность, структурность; отмечаются внетекстовые связи, иерархичность текста, роль воспринимающего текст) и подробно анализируются новые аспекты, из которых особенно важны главы о парадигматической и синтагматической «осях» и о композиции. В этих главах подробнее и на более высоком семиотическом уровне, по сравнению с первой книгой 1964 г., рассмотрены структурные проблемы.

В «парадигматической» главе, наряду с прежними в основе, имея в виду книгу 1964 г., разделами о поэзии и прозе, о звуковом, ритмическом, метрическом, морфологическом, лексико-семантическом уровнях, мелодике и семантике стиха, содержатся и новые, из которых особенно важно отметить раздел «Энергия стиха». В статье «О некоторых принципиальных трудностях...», уже упоминавшейся выше, Лотман впервые наметил эту проблему: важность учитывать напряженность, возникающую в художественных текстах при конфликтном столкновении «далековатых» (термин Ломоносова) элементов и понятий: чем дальше друг от друга в обычном употреблении расположены такие элементы, тем ярче, эффективнее их соединение. В новой книге эти проблемы развиваются более подробно. Они перетекают и в другие главы, например в «Композицию...». Здесь рассматриваются два типа сюжетов: мифологический (текст моделирует весь мировой универсум) и фабульный (взял лишь эпизод), а так как современное искусство постоянно стремится использовать оба типа, то текст строится на структурном напряжении между ними.

Глава «Композиция...» расширяет и углубляет прежние структуральные идеи Лотмана и вводит новые. Именно здесь Лотман подробно рассматривает сюжет как совокупность событий; а событие формулирует пространственно-структурно: «Событием в тексте явля-

ется перемещение персонажа через границу семантического поля» (С. 282). В свою очередь Лотман определяет персонажа (с опорой на В. Я. Проппа, наметившего в волшебной сказке основные функции — герой, помощник, вредитель) как «пересечение структурных функций» (С. 290).

Особенности персонажа, черты его характера, постоянные и изменчивые, рассматриваются автором не изолированно, а в функциональных связях с соответствующими чертами других персонажей, в бинарных (двойных) оппозициях. Так, в «Каменном госте» Пушкина выделяются оппозиционные пары: в сцене 1 Дон Гуан — Лепорелло, в сцене 2 Дон Карлос — Лаура, Дон Гуан — Лаура, Дон Гуан — Дон Карлос и т. д. (С. 306). Любопытно, что при этих расщеплениях Лотман тогда не учитывал тернарные, тройные системы, скажем, Дон Гуан — Лаура — Дон Карлос или Дон Гуан — Дона Анна — Командор. Ему тогда казалось, что любые триады можно разделить на парные связи. Я однажды пытался оспаривать его категоричность, приводя в качестве примера нерасщепляемости любовный треугольник, *ménage à trois*, но Лотман тут же разделил его на три пары: муж — жена (семейная группа), муж — любовник (мужчины), жена — любовник (любящие), и тогда не входящие в эти пары лица создают им тоже бинарные оппозиции: семья — гость, мужчины — женщина, любящие — нелюбимый. Конечно, триаду легче рассматривать как единый комплекс, чем конструировать шесть оппозиций. Но все зависит от метода и целей: теоретик электронно-вычислительных машин скажет, что число 9 очень удобно в двоичной системе представить как четырехзначное число 1001. Некоторая сложная механистичность, искусственность деления не смущала Лотмана. Позднее, как увидим, он совсем иначе отнесется к триадам.

В рассматриваемой книге Лотман постоянно обращается к кинематографическим понятиям: рамка, кадр, точка зрения, план, монтаж. Созревал интерес исследователя к теории кино, и скоро он выльется в серию работ по этой теме.

Из сказанного ясно, что Лотмана интересовали не столько проблемы текста в целом, сколько структуры его частей. Теория текста как такового не стала главной областью научных занятий Лотмана, как и других отечественных семиотиков (в отличие, скажем, от коллег из Польши, Чехословакии, Югославии). Даже в ценном сборнике польских (и русских) филологов «*Semiotyka i struktura teksta*» (1973), подготовленном к VII Международному съезду славистов, Лотман участвует как автор двух культурологических статей.

Культурология стала главным объектом научных интересов Лотмана, наряду с литературоведческими областями, недаром и в тартуских семиотических сборниках основной корпус лотмановских статей — культурологический. Как бы подводя итог первому десятилетию (т. е. шестидесятым годам) занятий новыми сферами, Лотман выпускает

под эгидой Тартуского университета свои «Статьи по типологии культуры» в двух книгах (вып. 1, 1970 и вып. 2, 1973), содержащие и уже напечатанные ранее работы, и новые.

Продолжая по-прежнему понимать культуру как совокупность ненаследственной информации и способов ее хранения и переработки, Лотман вводит новые принципы ее классификации, опираясь на семиотические понятия и создавая, в духе тогдашнего метода, бинарные оппозиции. Взяв два раздела семиотики — семантику и синтактику — и отодвинув пока прагматику (она, впрочем, постоянно присутствует негласно, так как Лотман все время будет иметь в виду восприятие культурных текстов), ученый выделяет два типа культуры: созданной на основе знаков, *замещающих* другие знаки (семантический принцип), и созданной с помощью *соединения* знаков (синтактический принцип). И тогда возникают четыре варианта:

1. Код культуры представляет собой лишь семантическую организацию.

2. Код культуры представляет собой лишь синтактическую организацию.

3. Код культуры представляет собой установку на отрицание обоих видов организации, т. е. отрицание знаковости.

4. Код культуры представляет собой синтез обоих видов организации⁴¹.

И далее Лотман подробно разворачивает на исторических примерах бытование каждого из этих четырех типов. Первый — это средневековая культура, насыщенная символами и знаковостью; второй можно связать с преобразованиями Петра I: относительное уменьшение знаковости, практицизм, каждый человек принадлежит как часть некоему целому, вырастает роль времени, в искусстве господствуют барокко, музыкальные и архитектурные ритмы; третий связывается с Просвещением, которое отрицает многие ценности предшествующих культур; четвертый — синтезирование типов в новой европейской культуре.

В других главах двухтомника Лотман проводит еще ряд классификационных разграничений, используя и прежние свои труды, разграничений, построенных на бинарных оппозициях культур: парадигматические — синтагматические, пространственные — временные, ориентированные на концы — на начала (в хронологическом смысле), закрытые — открытые, ориентированные на систему «Я—Он» и на автокоммуникацию, на свое и на чужое.

А в конце 1-го тома «Статей по типологии культуры» автор снова возвращается к самым общим понятиям: говорит, что типологию

⁴¹ Лотман Ю. Статьи по типологии культуры. Вып. 1. Тарту, 1970. С. 14. Ниже в этой главе ссылки на данные два выпуска даются сокращенно и в тексте, с указанием тома и страницы (1, 14).

культур можно создавать, лишь выработав метаязык для их описания, и затем следуют рассуждения о главных принципах создания метаязыка. Характерно, однако, что «метаязыковая» типология постоянно разбавляется конкретными примерами, представляющими не меньший — если не больший — интерес.

Сопоставления в сходстве и отличии «Жития Федора Васильевича Ушакова» Радищева и «Пролога» («Дневника Левицкого») Чернышевского, «Илиады» Гомера и русских былин демонстрируют достоинства новой методологии анализа и раскрывают на основании «далековатых» сближений интересные факты историко-литературного характера.

Вообще, обе рассматриваемые книги насыщены конкретным анализом под эгидой типологических определений. А этот анализ свидетельствует о дальнейшем расширении исследуемых областей. Уже раньше в трудах ученого играли немалую роль история, религиозная жизнь (применительно к древности и средневековью), социально-политическая и философская проблематика. Эти аспекты продолжают интересовать Лотмана и теперь, но к ним прибавляются еще и быт, бытовое поведение человека прошлого. Причем и указанные области, и весь спектр видов искусства и литературы рассматриваются в сложной взаимосвязи, в историческом и типологическом освещении.

Например, в главе «Театр и театральность в строе культуры начала XIX в.» (2, 42—73) соединены: цепь исторических событий, история театра, театральность поведения многих государственных и общественных деятелей, вплоть до якобы «нетеатрального» Александра I, социально-политические аспекты бытового поведения русского дворянина, культ античности. Создается объемная и живая картина русской жизни, русской культуры той эпохи. Аналогична по многоаспектности следующая глава книги — «Сцена и живопись как кодирующие устройства культурного поведения человека начала XIX столетия» (2, 74—89).

Многоаспектность анализа тесно связана со ставшим фундаментальным научным принципом Лотмана — с «креолизацией» языков, с использованием разных «точек зрения», разных способов описания исследуемого материала. «Культура обладает свойством оборачиваться к коллективу тем лицом, которое в данный момент общественно наиболее значимо. Она создает тексты, одновременно дешифруемые многими кодами» (1, 105).

И при этом подчеркивается та гибкость культуры, которая создает зазоры, «люфты» для свободного варьирования и, что не менее важно, — какие-то разрушительные тенденции, необходимые «для функционирования живой структуры, и это подтверждается тем, что каждый тип культуры наряду с механизмом самоорганизации имеет и механизм самодезорганизации. Взаимное напряжение этих меха-

низмов при условии известного динамического равновесия обеспечивает нормальную работу культуры. Преобладание одного ведет к окостенению, другого — к разложению системы» (1, 105).

Поток оригинальных семиотических трудов Лотмана вызвал в целом положительные отклики научной общественности, если не считать отмеченных выше критических замечаний М. М. Бахтина и А. Ф. Лосева. Но некоторые конкретные анализы провоцировали споры. Наиболее, пожалуй, заметный творческий конфликт произошел по поводу лотмановской статьи «Об оппозиции «честь» — «слава» в светских текстах Киевского периода» (Семиотика. 3. 1967. С. 100—112). Автор здесь, действительно, утверждает оппозицию понятий, которые для человека нового времени относительно синонимичны, а для эпохи Киевской Руси, считает Лотман, обозначали совсем разные явления: слава — атрибут знаковый и принадлежит князю, а честь — более вещественный, связанный с материальной наградой (или завоеванием), получаемой дружинниками; отсюда формула в «Слове о полку Игореве» — «ища себе чести, а князю — славы»; в XVIII же веке понятия объединились, честь даже приобрела более высокую ценность и освободилась от материальной сути; это — лишнее доказательство тому, что «Слово» не могло быть создано в XVIII веке.

Изложенную концепцию оспорил московский историк А. А. Зимин, известный своим несогласием с датировкой «Слова» XII веком (но и не XVIII! Зимин стоит за XV век). В «Семиотике. 5» Лотман поместил критическую статью оппонента (С. 464—468) и вслед за ней — свой ответ (С. 469—474). Возражения Зимина, опиравшегося на многие древнерусские тексты, сводятся к отрицанию оппозиции, он считает оба понятия тождественными. Лотман в ответе привел новые факты, привлек материалы о картине мира у средневековых рыцарей Западной Европы и остался при своем мнении. Несмотря на весомость некоторых текстов, которые Зимин цитировал, все-таки оппонент ничего не смог противопоставить дважды повторенной в «Слове» формуле о чести для себя и о славе для князя.

Характеризуя семиотические труды Лотмана периода «летних школ», нельзя не отметить его подчеркнутого внимания к предшественникам.

Разумеется, в книгах и статьях ученого много ссылок на их работы. В «Ученых записках» кафедры постоянно публиковались рукописные тексты филологов и культурологов предшествующих поколений: труды о. П. А. Флоренского (Семиотика. 3 и 5), Б. И. Ярхо (Семиотика. 4), Б. М. Эйхенбаума, А. М. Селищева, Б. Л. Пастернака-критика, Б. В. Томашевского (Семиотика. 5), О. М. Фрейденберг, С. И. Бернштейна (Семиотика. 6), Я. Мукаржовского (Семиотика. 7).

Многие тома «Семиотики» посвящены выдающимся предшественникам: 4-й — памяти Ю. Н. Тынянова, 5-й — памяти В. Я. Проппа.

па, 6-й — 75-летию М. М. Бахтина, 7-й — памяти П. Г. Богатырева, 8-й — 70-летию Д. С. Лихачева и т. д.

Почти все книги Лотмана тех лет тоже посвящены незабвенным университетским учителям: книга об Андрее Кайсарове (1958), как уже отмечалось, — памяти Н. И. Мордовченко, «Роман в стихах Пушкина “Евгений Онегин”» (1975) — памяти Б. В. Томашевского, «Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий» (1980) — памяти Г. А. Гуковского. В своих культурологических трудах Лотман любил повторять формулу «Культура — это память», и он воплощал этот принцип в своей практической работе.

Если двухтомник «Статьи по типологии культуры» явился концентратом основных семиотических идей ученого периода «летних школ», то вершиной структуралистского литературоведения следует назвать книгу Лотмана, выпущенную ленинградским отделением издательства «Просвещение» массовым тиражом: «Анализ поэтического текста. Структура стиха» (1972). Первая часть книги представляет собой переработанный и дополненный вариант двух первых структуралистских книг тартуского филолога, а вторая часть посвящена анализу двенадцати конкретных произведений русских поэтов от Батюшкова до Заболоцкого. В отдельных анализах не всюду сосредоточен полный комплект всех уровней плана содержания и плана выражения, однако в целом в этой части фигурируют все уровни: идеология, сюжет и композиция, система персонажей со включением авторского «я», лексика, синтаксис, морфология, фонетика, строфика, ритм и метр, звуковая организация стиха.

Рассмотрим основные принципы лотмановского структурального анализа на примере раздела о стихотворении А. Блока «Анне Ахматовой» (С. 223—234). Начинается он с оговорки, что далее сознательно опускаются внетекстовые связи: биографический комментарий относительно знакомства поэтов и комментарий литературоведческий — об отношении Блока к акмеистам. Однако Лотману не удастся избежать намеков на важность для Блока тех лет (стихотворение относится к 1913 г.) «испанской» (Кармен) и «итальянской» тем. А сам анализ начинается с обращения к персонажам: традиционная лирическая схема «я-ты» у Блока деформирована, замена абстрактного «ты» на более конкретное «Вы» как бы сливает лирическое и бытовое; а вместо «я» носителем текста оказывается «обобщенное и безликое третье лицо». Две первые строфы с неопределенно-личным текстом («Вам скажут») построены параллельно, но противоположны по содержанию: «Красота страшна» — и «Красота проста» (героиня как будто соглашается с обоими утверждениями).

Эти строфы создают условные картины: первая — страшная красота, испанская шаль, красный розан в волосах — представляет Испанию, Кармен, вторая — простота, пестрая шаль, неумелое укрывание ею ребенка — напоминает Мадонну, «женщину-девочку, со-

единяющую чистоту, бесстрастность и материнство», т. е. «Италию и живопись прерафаэлитов». А третья и четвертая строфы — противопоставление позиции героини двум репликам от имени безликих «их». «Спор с «ними» совершается не как отбрасывание их мыслей, а как раскрытие большей сложности героини, ее способности сочетать в себе различные сущности»: «Я не так страшна, чтоб...», «Не так проста я, чтоб...».

Изображение сложного мира «противоречит женственности и юности» героини первых строф. Лотман считает, что автор стихотворения, описывая внутренний монолог героини, как бы дает себе право знать, что может сказать персонаж, и тем самым включать и свою точку зрения на мир, на его противоречивость и сложность.

Далее следует фонологический анализ стихотворения, демонстрирующий ту же сложность и своеобразный параллелизм к содержанию: доминантная «а» в первой строфе сменяется более пестрой картиной ударных гласных во второй (соотносясь с семантической темой пестроты); третья строфа «не окрашена» ни цветом, ни вокальными доминантами; в четвертой, по принципу кольцевой композиции, возвращается доминанта «а», но в стройный ряд этих гласных вклинивается чужая «ы» («жизнь»), сложно соединяя предшествующие «ы» в словах «Вы» с понятием жизни: «жизнь» по смыслу противостоит героине (страшна не я, а жизнь), а фонетически соединяется.

Согласные тоже рассматриваются в сложных сходствах и отличиях: противопоставляются области «красный» (глухость, концентрация согласных в группы) и «пестрый» (звонкость, разреженность согласных гласными). Выделяются две триады: красота — страшна — красный и красота — проста — пестрый — и конфигурации их согласных соединяются со смысловыми структурами.

В заключение подводятся итоги анализа:

«Образы Кармен и Мадонны в лирике Блока — разновидности женского начала и неизменно противостоят лирическому «Я» как страстное земное или возвышенное небесное, но всегда внешнее начало. Образ поэта в лирике отнесен к внутреннему миру «Я» и поэтому признак «мужской»/»женский» для него нерелевантен (как для лермонтовской сосны и пальмы). Образ усложнен и приближен к лирическому «Я» Блока.

В отмеченной нами цепочке происходит ослабление специфически женского (очень ярко подчеркнутого в первых звеньях) и одновременно перемещение героини из внешнего для «Я» мира во внутренний.

Но кольцевая композиция приводит к тому, что опровержение первых звеньев не есть их уничтожение. Обаяние женственности и отделенность героини от автора сохраняются, образуя лишь структурное напряжение с синтетическим образом последней строфы.

Специфика построения текста позволяет Блоку донести до читателя мысль значительно более сложную, чем сумма значений отдельных слов» (С. 233—234).

В других разделах акцентируются другие звенья художественных структур; например, при анализе стихотворений К. Батюшкова, Ф. Тютчева, М. Цветаевой уделяется внимание ритмической организации, В. Маяковского — рифме, А. Пушкина — тропам, Н. Заболоцкого — пространственной структуре с противопоставлением «верх — низ» (вскользь эта тема затрагивается и в разделе об А. Блоке: «Красный розан» в первой строке как бы победно-вызывающе заколот в волосах, а во второй униженно лежит на полу).

В разделе о стихотворении Н. Заболоцкого «Прохожий» пунктирно намечен анализ приема, близкого к открытому Лотманом и часто им освещаемому: минус-приему. Речь идет об умолчании, об «утаивании» события или места, которые, однако, всплывают в сознании вдумчивого читателя на основании фона, группы намеков, рассыпанных по произведению. В «Прохожем» так зашифровано Переделкино, подмосковный поселок, известный своим Домом творчества и дачами писателей: Заболоцкий лишь намекает, что герой сошел с позднего поезда, отправившегося «на станцию Нара», и что путь прохожего лежит мимо кладбища, окруженного соснами и заметного крайней могилой летчика, «монумент» которой увенчан пропеллером. (Лотман не мог в условиях 1972 года сказать еще об одном умолчании-намеке: стихотворение Заболоцкого подписано 1948 годом, а в 1946 г., после восьми лет лагерей и ссылок, измученный поэт смог вернуться в Москву — и лирическое повествование о прохожем в простом, «солдатском» одеянии, шагающем к писательскому поселку в «душевной тревоге» «сквозь тысячи бед» и «горе», автобиографично.)

Самым замечательным анализом такого приема «умолчания-намека» можно назвать более позднюю статью Лотмана, посвященную стихотворению Б. Пастернака «Дрозды». Статья опубликована в Вене, в сборнике, выпущенном к 60-летию выдающегося чешского русиста профессора Мирослава Дрозды («Wiener Slawistischer Almanach». Bd. 14, 1984. S. 13—16), человека трагической судьбы, изгнанного в 1968 г., при советской оккупации, из Пражского Карлова университета; Дрозду связывала с тартуанцами тесная дружба, поэтому Лотман мог допустить шутливый каламбур, взяв для анализа стихотворение Пастернака «Дрозды». Но анализ вполне серьезный. Наряду с другими аспектами, Лотман разрабатывает и тему умолчания. Здесь тоже речь идет о Переделкине, образ которого точно вырисовывается из стихотворных строк. А восторженное описание пения дроздов сопровождается строкой «У них на кочках свой поселок» и тем самым намекает на другой, «человеческий» поселок, который

в противопоставительном дроздам свете трактуется как провинциально-ничтожный:

На захолустном полустанке
Обеденная тишина.
Безжизненно поют овсянки
В кустарнике у полотна...

Получается, что писательский, как бы советско-писательский, мир связывается с обедом, тишиной, безжизненным пением...

Каждый небольшой анализ Лотмана представляет научное открытие. К сожалению, ученому не удалось создать более крупных структуралистских монографий, посвященных более крупным произведениям. Все его статьи этого плана — лишь подступ к каким-то значительным книгам, которые, увы, не были написаны. Но методология и методика нового анализа очень помогла Лотману в его дальнейшей творческой работе.

ЗАВЕДОВАНИЕ КАФЕДРОЙ. 1970-Е ГОДЫ

По-прежнему Лотман буквально надрывался на учебной работе. В неделю он прочитывал 12—14 часов лекций, не говоря уже о практических занятиях, о руководстве курсовыми и дипломными работами, а также и все более активно возникающими кандидатскими диссертациями. Разыскания Л. Н. Киселевой сохранили нам списки лекционных курсов Лотмана: «В начале работы в Тартуском университете Ю. М. Лотману приходилось вести самые разнообразные курсы: история русской литературы разных периодов, история русской журналистики и критики, методика преподавания литературы в школе, введение в литературоведение, теория литературы. В 1960-е — начале 1970-х гг. он постоянно вел: общий курс истории русской литературы до середины XIX в. (древнерусская литература, литература XVIII века, литература начала XIX века), теорию литературы, анализ художественного текста. Кроме того, Ю. М. Лотман ежегодно руководил семинарами и читал спецкурсы. Как явствует из его личного дела, до 1962 г. он прочитал спецкурсы: Творчество Радищева; Типология творчества Пушкина; «Евгении Онегин»; Творчество Пушкина 1830-х гг.; Декабристская литература; Методика и методология литературоведческого анализа. С 1968 г. мы можем привести полный перечень его спецкурсов, прочитанных студентам отделения русской филологии: 1968/69 — 1969/70 учебные годы: Творчество Гоголя; 1970/71 уч.г.: Творчество Карамзина; 1971/72 уч.г.: Культура и быт александровской эпохи; 1972/73 уч.г.: Структура сюжета; 1973/74 — 1974/75 уч.г.: Декабристы и русская литература и культура; 1973/74 уч.г., для IV курса: Творчество Пушкина; 1975/76 уч.г.: «Евгений Онегин». Роман в стихах; 1976/77 уч.г.: Проблема творческой личности и самосознания (Пушкин); 1977/78 уч.г.: Быт и культура в России пушкинской эпохи (об-

лик каждодневной жизни); 1978/79 уч.г.: Модели русской культуры; 1979/80 уч.г.: Творчество Карамзина, для III курса: Анализ текста (Творчество Лермонтова)»⁴².

С той же интенсивностью, что и раньше, Лотман организовывал научную и учебную жизнь кафедры. После ухода Ф. Д. Клемента (1971) стало значительно труднее пополнять преподавательские кадры, но все-таки в семидесятых годах удалось добиться ставок для А. Э. Мальц и Л. Н. Киселевой (1974), П. Х. Торопа (1976), И. В. Душечкиной (1977), И. А. Аврамец (1979).

Важнейшим достижением, повысившим научный статус кафедры, стало утверждение ВАКом в 1968 г. ученого совета факультета, на котором могли защищаться литературоведческие диссертации. Теперь членам кафедры не нужно было обращаться в столичные ученые советы, можно было защищаться у себя. Характерно, что четыре первых выходявших на защиту были именно члены кафедры: В. И. Беззубов (1968, кандидатская диссертация о Л. Андрееве), П. А. Руднев (1969, кандидатская диссертация об А. Блоке), З. Г. Минц (1972, докторская диссертация об А. Блоке), П. С. Рейфман (1972, докторская диссертация о периодике 1860-х гг.). Дальнейшие защиты аспирантов и преподавателей умножали количество остепененных ученых из окружения Лотмана: Р. А. Папаян (1973, кандидатская диссертация о русской и армянской лирике; руководитель — Лотман), Е. В. Душечкина (1973, кандидатская диссертация о киевских летописях, руководитель — Д. С. Лихачев), Х. Д. Леэметс (1974, кандидатская диссертация о метафоре в русской прозе 1830-х гг., руководитель — Лотман), С. Г. Исаков (1974, докторская диссертация «Русская литература в Эстонии в XIX веке»), И. А. Чернов (1975, кандидатская диссертация о русском барокко; руководитель — Лотман), А. Ф. Белоусов (1980, кандидатская диссертация о фольклоре русских старообрядцев в Прибалтике; руководитель — Лотман).

Так как кафедра уже добилась разрешения, ставшего хорошей традицией, издавать ежегодно (иногда — через год) по тому обычных «ученых записок» («Труды по русской и славянской филологии») и по тому «Трудов по знаковым системам» («Семиотика»), то теперь уже трудно было запретить издания, приобретшие всемирную славу, да еще на основании последней приносившие Эстонии валюту: хотя многие зарубежные университеты получали наши издания в порядке обмена научной продукции, но немало томов и покупалось. Единственное, что сделало начальство, — ссылаясь на какие-то московские инструкции, запретило немислимо для прежней практики разросшиеся объемы томов: 6-й том «Семиотики» (1973) имел 43 учетно-издательских листа (мы сэкономили бумагу, печатая многие статьи мелким

⁴² Киселева Л. Академическая деятельность Ю. М. Лотмана в Тартуском университете. — «Slavica Tergestina». 4. Trieste, 1996. P. 10.

шрифтом, петитом: «бумажных» листов было в томе 35); 7-й том (1975) был сужен до 29 листов («бумажных» — 19), а далее стало возможным издавать тома объемом не более 10 листов. Та же картина и в «Трудах по русской и славянской филологии». Но все-таки издания выходили! Правда, появились цензурные трудности — о них речь впереди.

По-прежнему регулярно проводились студенческие научные конференции и заседания кафедры (иногда — в жанре философского семинара) с научными докладами сотрудников. На таких заседаниях в течение семидесятых годов Лотман сделал 18 докладов:

«Методика и современная наука» (совместно с Т. Ф. Мурниковой) — декабрь 1971 г.

«Театр и проблемы культуры XIX века» — 10 января 1972 г.

«Современные проблемы теории литературы в свете постановления ЦК КПСС о задачах литературной критики» — май 1973 г. (иногда приходилось прикрываться партийными постановлениями, чтобы нормально говорить о своих новых идеях: конечно же, постановление ЦК не имело никакого отношения к структурно-семиотическим аспектам теории литературы).

«Марксистско-ленинская методология и проблемы фрейдизма» — 30 мая 1973 г.

«Вопрос о структурной необходимости индивидуальности в системе культуры» — 9 января 1974 г.

«Прагматика текста» — 28 марта 1974 г.

«Разные типы сознания» — 30 мая 1974 г.

«Пути и методы изучения народной культуры XVIII века» — 5 марта 1975 г.

«“Старое” и “новое” в русской культуре XVIII века» — 27 ноября 1975 г.

«О прагматике текста» — 8 апреля 1976 г.

«Проблемы семиотики устной речи» (совместно с Б. М. Гаспаровым) — 10 сентября 1976 г.

«“Русский Пелам” и “Повесть о капитане Копейкине”» — 2 ноября 1976 г.

«Дискретные и недискретные языки в механизме культуры» — 8 января 1977 г.

«Теоретические основы советского кино» — декабрь 1977 г.

«Ж. Ж. Руссо и этнология» — 2 декабря 1978 г.

«Некоторые проблемы современной поэтики текста» — 16 марта 1979 г.

«Путешествие Улисса в аду» — 9 июня 1979 г.

«К реконструкции одного неосуществленного замысла Пушкина» — 14 октября 1980 г.

Продолжалась и традиция проводить кафедральные заседания, посвященные знаменательным датам. Эти заседания обычно превращались в одно- или двухдневные конференции. Отмечались 150-ле-

тие Ф. М. Достоевского (20—21 ноября 1971 г.), 150-летие Н. А. Некрасова (11—12 декабря 1971 г.), 100-летие А. А. Блока (30 ноября 1980 г.). На первой и последней из перечисленных конференций Лотман выступал с докладами «Достоевский и русская легенда» и «Слово у символистов».

Продолжались также факультетские и кафедральные конференции, первоначальные заседания которых относятся еще к предшествующим десятилетиям, к пятидесятым—шестидесятым годам: годовые (отчетные) научные заседания кафедры, Блоковские конференции, семиотические семинары, философские семинары.

Особая тема — участие Лотмана в научных собраниях за пределами Тарту. К сожалению, он не вел дневников и реестров, сейчас очень трудно восстановить полный список его докладов и выступлений. Замечательным подспорьем явились дневники сокурсницы и приятельницы Лотмана Ф. С. Сонкиной, ставшей с 1950-х гг. москвичкой и отмечавшей в дневнике, начиная с 1968 г., почти все приезды Лотмана в Москву и почти все его публичные выступления (к сожалению, не все записи точно датированы и не всюду обозначены темы). Ф. С. Сонкина отмечала также, если знала, выступления Лотмана в других городах. По моей просьбе она составила летопись, которую я здесь и привожу, благодаря автору записей и судьбу за сохранение таких ценных для биографии ученого данных:

«Доклады Ю. М. Лотмана в Москве

1968

Между 25 и 27 января. Доклад на сессии, посвященной юбилею С. Эйзенштейна.

1971

23 февраля. Доклад в Институте истории АН СССР для источниковедов о связях источниковедения с семиотикой.

24 февраля. Сообщение для небольшой аудитории лингвистов в Институте иностранных языков им. М. Тореза.

24 марта. Обсуждение с режиссером театра на Таганке Ю. Любимовым его сценария о Пушкине. Наметил для сценария сцену, комментирующую пушкинские стихи «В надежде славы и добра...».

Между 1 и 3 июня. Доклад в Институте истории искусств.

1973

25 апреля. На Випперовских чтениях в Гос. музее изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина доклад о культуре XVIII в.

27 апреля. В Библиотеке им. Ленина для книговедов Всесоюзной книжной палаты сообщение «Книга в системе культуры XVIII века».

24 октября. Лекция в Доме ученых на тему «Семиотика и культура».



З. Г. Минц. 1972 г.

1974

12 апреля. В Литературном музее на Петровке доклад «Некоторые проблемы творчества Пушкина 30-х годов» (исторические взгляды, жизнь и смерть, искусство, семейная жизнь и др.).

19 апреля. Там же второй доклад для сотрудников музея о подлинности и правильности содержания документов.

21 октября. Доклад в ВИНТИ для лингвистов (та же тема, что для кибернетиков Ленинградского института авиаприборов перед этим. Хотел проверить идеи на другой аудитории).

1975

18 февраля. На сессии, посвященной Д. А. Ровинскому в ГМИИ им. Пушкина, доклад «“Трумп” Крылова и проблемы лубочной литературы».

3 или 7 апреля. Участие в семинаре заведующих кафедрами МГУ (делал сообщение).

10 апреля. Лекция в МГПИ им. Ленина для слушателей ФПК о культурологии и семиотике.

29 августа. Доклад в Научном совете по кибернетике у акад. А. И. Берга в АН СССР.

1976

27 января. Доклад во Всесоюзном институте научной и технической информации (ВИНИТИ).

25 или 26 марта. Доклад на Ревзинских чтениях в Институте славяноведения.

Март. Доклад в ГМИИ им. Пушкина.

Март. Доклад в Литературном музее, на Петровке о русском средневековье («отталкивание от идей Бахтина», по словам самого Ю. М.).

13 мая. Участие в дискуссии («круглый стол»), устроенной совместно редакциями журналов «Вопросы литературы» и «Вопросы философии». Тема «Литературоведение и НТР».

1977

24—28 октября. Доклад на семиотической сессии в Институте славяноведения АН СССР.

1978

25 января. Доклад в Доме ученых.

23 января. На Випперовских чтениях в ГМИИ им. Пушкина доклад «Театральность поведения в XVIII — начале XIX веков».

27 января. На Ревзинских чтениях в Институте славяноведения доклад о заграничном путешествии Карамзина (по «Письмам русского путешественника»).

Между 24 и 30 июля. Доклад в Пушкинском (мемориальном) музее о быте в пушкинскую эпоху и отражении его в литературе.



Вяч. Вс. Иванов, С. Г. Исаков, Ю. М. Лотман, В. С. Баевский на защите докторской диссертации В. С. Баевского в ТГУ. 1974 г. Архив Вяч. Вс. Иванова

1979

12 января. На Виноградовских чтениях в МГУ доклад «Речевая структура «Евгения Онегина»».

Между 1 и 16 октября. Доклад в редакции журнала «Театр» «Семиотика театра».

В те же дни. В Литературном музее доклад «Биография и культура» (на материале творчества Пушкина).

1980

19 ноября. Доклад в Совете по культуре АН СССР».

В добавление к этому списку процитирую еще приложение, составленное из данных дневников Ф. С. Сонкиной:

«Август 1970 года. Работал в Москве со студентами семинара по быту в запасниках Исторического музея. Смотрели моды и утварь начала XIX века.

Август 1971 года. Работал в Москве со студентами своего семинара. Посетили Суздаль и Владимир, Троице-Сергиеву Лавру, дворец-музей «Кусково». Работали в архивах Москвы. Вместе с проф. П. А. Зайончковским были в Бородине.

2 июня 1973 года. До этого был в Пскове с докладом на Пушкинских торжествах.

22 ноября 1979 г. Выступал с докладом на научной сессии в Смоленске.

Между 31 октября и 5 ноября. Участвовал в семиотическом симпозиуме в Телави, Грузия, где были москвичи, в основном математики. 15 декабря по ТВ Москвы показали его первую передачу о Пушкине».

К сожалению, я не вел реестров лотмановских выступлений в Ленинграде, могу лишь отрывочно сообщить:

Март 1969 г. Чтение спецкурса по творчеству А. С. Пушкина для слушателей факультета повышения квалификации ЛГПИ им. А. И. Герцена.

Октябрь 1973 г. То же.

18 ноября 1975 г. Доклад на кафедре кибернетики Ленинградского института авиаприборов «Искусственный интеллект и динамические семиотические системы».

19 ноября 1975 г. Доклад в Музее-квартире Пушкина «Биография Пушкина как факт творчества».

28 апреля 1977 г. Доклад в группе по изучению русской литературы XVIII в. ИРЛИ «Карамзин и Французская революция».

12—14 ноября 1979 г. Спецкурс для слушателей ФПК ЛГПИ им. А. И. Герцена «“Текст” и “читатель” в русской культуре начала XIX в.».

30 мая 1980 г. Доклад «Структура авторского повествования в “Евгении Онегине”» (Музей-квартира Пушкина).

На самом деле выступлений в Ленинграде было почти столько же, сколько и в Москве.

Такое обилие тем, проблем, новых решений и новых методов вызвало к докладам и лекциям Лотмана громадный интерес. Молодежь, как правило, теснилась в аудиториях и залах, доброжелательно внимали коллеги, но были, разумеется, и зоилы, ненавидевшие новаторство и завидовавшие чужому успеху. Часто к такой ненависти-зависти примешивались политические поддоны, слишком уж неортодоксальными были лотмановские идеи. Соответствующие инстанции подозрительно относились не только к нему, но и ко всей тартуской кафедре.

Политическое лицо ведущих преподавателей кафедры было невозможно утаить, если бы даже они были замкнутыми и осторожными людьми, но они, наоборот, отличались открытостью и откровенностью. Резко отрицательное отношение к оккупации Чехословакии в 1968 г. и к политическим процессам над инакомыслящими писателями внутри страны, в Москве и Ленинграде (в 1964 г. — над И. Бродским, в 1966 г. — над А. Синявским и Ю. Даниэлем) трудно было скрыть. Это настораживало соответствующие органы, началась слежка (З. Г. Минц была задержана и допрошена в Москве, прямо на Ленинградском вокзале, после уличной встречи с кем-то из «диссидентов»).

Таллинское и московское начальство, видимо, не без влияния кагэбешных историй, наконец, раскусило вольный дух нашей кафедры; с конца шестидесятых годов начались бесконечные проверки:

приезжали, одна за другой, комиссии из всех министерств, под чьей эгидой находился Тартуский университет. Из письма Лотмана к Ф. С. Сонкиной от 28 апреля 1972 г.: «У нас все в порядке. Все полугодие комиссии следуют друг за другом, одна авторитетнее другой. Итог их, кажется, вполне удовлетворительный, если не считать, что я получил серьезный сердечный приступ, из которого, правда, уже выбрался вполне благополучно» (Письма. С. 368).

Из письма Лотмана к Б. А. Успенскому (май 1975 г.): «Только что окончилась Блоковская конференция, которая прошла насыщенно и интересно, но не без того-сего, а сейчас сразу же начинается большая проверка нашей кафедры, которая, видимо, задумана как генеральный разгром. Так что моя надежда соскучиться снова оказалась несостоятельной» (Письма. С. 561).

Политическая напряженность в стране и малоприветное внимание начальства к кафедре, естественно, сковывали души и поступки, но молодость брала свое, уходили с головой в научную и учебную работу, старались встречаться вечерами и по-прежнему шутить, каламбурить, устраивать демонстрацию живых шарад и тех же каламбуров, которые часто теперь приобретали политический оттенок. Из воспоминаний Л. И. Вольперт:

«В праздничные дни неизменно ставили шарады, причем орфографию соблюдать было не обязательно, ценилась остроумная идея. Часто она была политической. Например, желая поставить «режим Салазара», Юра укладывал Зару на диван, брал большой нож и «отрезал» от нее куски — «режем сало Зары». Или ставили в двух частях «Ангола»: Анн Малыц сначала исполняла воображаемый стриптиз, имитируя его изящными движениями, а потом кто-то надевал черную перчатку и показывал ее сквозь сетку теннисной ракетки» («Вышгород», 1998, №. 3. С. 170).

Кульминацией репрессивного отношения «органов» к кафедре и конкретно к семье Лотманов явился кагэбешный обыск в январе 1970 года. Ему предшествовало следующее событие. Поэтесса Наталья Горбаневская, одна из тех смельчаков, которые вышли на Красную площадь протестовать против советской оккупации Чехословакии в 1968 г., часто приезжала в Тарту к Лотманам, а однажды даже оставила большой пакет самиздатских рукописей. Конечно, все это происходило под наблюдением органов и теперь наступал удобный момент обличить неугодных профессоров в антисоветской деятельности. И начался в квартире Лотманов многочасовой обыск. Из воспоминаний Л. И. Вольперт:

«Так вот, в этот день мне потребовалась какая-то лотмановская книга (они тогда жили на ул. Кастанни). Позвонила в дверь около 11 часов утра, открыл сам Юра, и я с изумлением увидела, что квартира полна незнакомых мужчин. «Обыск!» — пронеслось в голове. Мы уже были «начитаны», теоретически знали, как следует себя ве-

сти, когда тебя в этом случае задержат в квартире до конца обыска. «У меня урок французского с Гришей», — попробовала я проверить обстановку. «Убирайся немедленно!» — прошипел Юра. Я смекнула, что времена изменились: ему разрешили открыть дверь, мне позволили «слинять». Я помчалась на кафедру предупредить Анн Мальц (на тот случай, если там есть что-то запрещенное), а потом стремглав — домой (уничтожать «свое»). На душе было скверно, все время мучила тревога: а вдруг — *нашли*, что будет с ними, что в первую очередь следует предпринимать нам. Часам к двум я не выдержала: «Я сбегая?» Павел кивнул. Все повторилось снова, опять открыл Юра, в двери была видна та же картина, только его глаза стали совершенно синими, а голос абсолютно злым: «Исчезни!» Пришлось снова ретироваться. Мы с Павлом промаялись часов до шести вечера, места себе не находили. Потом поняли — ждать невозможно. Павел сказал: «Пошли!» Едва мы завернули за угол, как увидели спешащих в наш дом Юру и Зару, веселых, смеющихся, счастливых: «Ничего не нашли! Подробности потом: сначала поесть!» Почти бегом — откуда только силы взялись — помчались к дому. Я в спешке извлекла из холодильника салат, но Юра его решительно отверг: «Горяченького!» Мгновенно что-то поджарили, выпили водки и... начались рассказы!

Оказалось, обыск шел сразу на двух квартирах (еще на ул. Хейдемани, на квартире недавно умершей «тети Мани», заменившей Заре после смерти родителей мать); нигде ничего не нашли. Во время обыска у Юры была кульминация, один смертельно напряженный момент, как в хорошо построенном детективе, когда температура действия доведена до кипения. Запрещенная литература в дома была! Она хранилась в углублении на верху высоченной печки главной комнаты (Юра гордился своей изобретательностью в выборе «тайника», мы только позже узнали, что это банально распространенное место для сокрытия чего-либо). Просматривать издания *они* начали с нижних полок (так удобнее), поначалу проверяя каждую книгу очень тщательно. Постепенно поднимались все выше. Можно себе представить, с какими чувствами наблюдал Юра за этим неуклонным подъемом. С минуты на минуту их взору должна была открыться «панорама» печки. Этот момент надвигался неумолимо, как рок. И вот, когда оставалось совсем немного, видимо, потеряв надежду, измочаленные (с утра «работали»), они напоследок «схалтурили» и самую последнюю полку просматривать не стали. Бывает же такое везение! На этом фоне всякие мелкие неприятности выглядели несущественными. Какие-то книги, которые показались подозрительными, они все же забрали, как бы «случайно» уронили машинку, унесли ее под предлогом «починки» (явно — для проверки шрифта). Конец получился эффектным: «главный» (следователь прокуратуры) вдруг извлек из письменного стола подозрительный тряпичный узелок, развязал,

а в нем куча боевых орденов и медалей Отечественной войны. «Откуда это у вас?» — неприязненно спросил он. «А это я украл», — ответил Юра. Всплывали все новые и новые подробности, а мы от души хохотали над первым в нашей жизни «шмоном», хотя все могло обернуться и весьма плачевно.

После обыска под окнами квартиры на ул. Кастанни постоянно дежурила машина МВД. Мы гадали: то ли — для подслушивания, то ли — для слежки, то ли — чтобы мы все не теряли страха божьего. Когда вечерами мы вчетвером отправлялись гулять, она сопровождала нас торжественным эскортом. Хотя большого удовольствия нам это не доставляло, мы старались держаться бодро, нарочито громко болтали и хохотали и всячески демонстрировали свою независимость. Но наше домашнее поведение все же изменилось: «крамольные» диалоги в обеих квартирах велись исключительно «на бумаге» (листки тут же сжигались), телефон в нашем доме накрывался подушкой, дырки печной отдушины моей комнаты были внимательно изучены, бдительность удвоена. То есть по крайней мере одной цели они достигли: некоторый страх божий им удалось на нас нагнать. Но крамольную литературу мы продолжали раздобывать с прежним упрямством» («Вышгород», 1998, № 3. С. 180—182).

Любопытно, что обыску предшествовал смешной эпизод, который Л. Н. Столович назвал «пророческой шуткой». Приведем этот отрывок из его воспоминаний. Леонид Наумович рассказывает, как он отправился к Лотману с напоминанием о задержке ответа на рукопись коллеги: «Он жил тогда на Кастанни. Там я застал Бориса Андреевича Успенского и Александра Моисеевича Пятигорского. Мы вышли вместе из дому, идем по улице Кастанни, я спрашиваю: «Юрий Михайлович, Вы прочли тезисы Крюковского?» — «Знаете, я не могу их найти». Тогда Борис Андреевич мудро говорит: «Я посмотрю у себя. Юрий Михайлович, когда посылает мне письма, обычно вкладывает туда все, что у него лежит под рукой». А Юрий Михайлович несколько виновато говорит: «Такой беспорядок, такой беспорядок, ничего нельзя найти. Попросить, что ли, обыск произвести». И все засмеялись, и Пятигорский, и Успенский, и я тоже. Вот, действительно, без обыска ничего у себя не найти. К сожалению, обыск последовал через некоторое время. Вот такая грустная шутка.

Юрий Михайлович не участвовал в диссидентском движении, но был человеком необычайно добрым, отзывчивым, целое лето в Валгеметса, в его семье, вместе с его ребятами, жил сын Натальи Горбаневской. И Наталья Горбаневская бывала в Тарту. Юрий Михайлович видел, что трудно людям, сочувствовал им и помогал. Это, конечно, не всем нравилось. Собственно, Горбаневская была поводом для проведения этого обыска. Обстановка все сгущалась, сгущалась, но в этой ситуации проявлялась его отважность, я бы даже сказал, солдатская отважность. Он не шел ни на какие компромиссы!

Например, где-то, кажется в Бельгии, проводился сионистский конгресс. Секретарь парткома вызвал Юрия Михайловича, академика Бронштейна, меня, Блюма и требовал, чтобы мы написали коллективное письмо против сионистского конгресса. Сказать вот так: «Нет, писать не будем!» — это опасно. Юрий Михайлович не хотел какими-то политическими действиями ставить под угрозу научную деятельность. Письмо писалось, но такое, которое послать было невозможно! Начальство сердилось, очень сердилось, но тем не менее сделать ничего не могло.

Приходилось в этой обстановке поступать довольно неожиданно. Можно много, конечно, рассказывать, это действительно достойно того, чтобы люди это представляли сейчас, потому что нынешнее поколение, наверное, очень плохо знает, что такое 60-е годы, особенно в связи с тем, как они иногда освещаются ныне в литературе, газетах и т. п.

В заключение я хотел бы вспомнить стихи, которые я посвятил Юрию Михайловичу в день его 60-летия. Это было в 1982 году. В какой степени осознавалось то, что такое Юрий Михайлович, при всех тех бытовых деталях, которые нас всех окружали? Это стихотворение называлось «Тартуская школа». Эпиграфом к нему служили слова известного филолога Ефима Григорьевича Эткинда, который как-то заметил, отвечая на вопрос: «Что такое Тартуская школа?» — «Это — структурализм с человеческим лицом». Эпиграф из Эткинда и предшествует нижеследующему тексту. Дело в том, что пражская весна 68-го года, которая закончилась советскими танками на улицах Праги, шла под девизом: «Социализм с человеческим лицом», т. е. была такая — возможно — иллюзия, что можно придать социализму человеческий характер, т. е. сделать его тем, чем он не был в Советском Союзе. Это стремление закончилось жестоким подавлением, протестом против которого и был выход Горбаневской и ее очень немногочисленных друзей на Красную площадь. Некоторые марксисты тоже были структуралистами. Например, французский философ Альтюссер. И этот структуралист, между прочим, философ очень высокого класса, оправдывал вторжение советских танков: дескать, надо сохранять существующую структуру. Так что структурализм сам по себе явление довольно сложное, поэтому Эткинд и говорил, что «тартуская школа» — это структурализм с человеческим лицом.

Лицом к лицу лица не увидеть.
Профессор из Сорбонны лучше видит,
Хотя, конечно, в самом общем виде,
То, в Тарту до чего рукой подать.

Дом на Бурденко и звонок у двери.
Легенда приглашает Вас рукой,

Другой мешая в печке кочергой,
И лапу Вам дает на счастье Джерри.

Здесь, в Тарту, убеждаетесь вы сами:
Структурализм стал мужем и отцом,
С добрейшим человеческим лицом,
С эйнштейново-старшинскими усами.

Весною, летом, осенью, зимой,
Презрев все ущемленья и уколы,
И с внучкою своей очередной
Идет спокойно тартуская школа.

И счастлив ты, что в Тарту ты живешь,
Бог дал или не дал тебе таланта,
Когда вдруг встретишь Лотмана, поймешь
Того, кто видел в Кенигсберге Канта».

(«Вышгород», 1998, № 3. С. 160—162).

Конечно, после неудачного обыска было трудно придаться к политическому лицу кафедры. Еще труднее было придаться к качеству лекций и к выдающейся научной деятельности сотрудников кафедры; в конце проверок строгие «разгромные» намерения членов комиссий как-то бледнели, усыхали, и выводы оказывались относительно приличными; находили, однако, изъяны в документации (в самом деле, ни Лотман, ни лаборанты тогда не отличались аккуратностью в наведении бюрократического порядка в смысле протоколирования мероприятий, систематизации поступающих на кафедру бумаг и проч.), а главное — придирались к тематике спецкурсов и студенческих сочинений, т. е. курсовых и дипломных работ: в них почти не встречались темы и имена апробированных советских писателей и группировок и, наоборот, слишком часто фигурировали имена «декадентов» и сомнительных в политическом отношении лиц. Сотрудники кафедры во главе с Лотманом иногда совершали поступки на грани дерзкого политического вызова. После советской оккупации Чехословакии в 1968 г. был уволен не пожелавший сотрудничать с новой властью замечательный филолог, заведующий кафедрой русской литературы Карлова университета в Праге профессор Мирослав Дрозда. И Лотман в статье «Стихотворения раннего Пастернака и некоторые вопросы структурного изучения текста» (Семиотика. 4. 1969) дает специальную ссылку: «На особую роль принципа соположения семантических единиц в поэтике русского футуризма указал в ряде работ проф. М. Дрозда» (С. 232). А З. Г. Минц, выпуская в том же 1969 г. 2-й том своей 4-томной монографии «Лирика Александра Блока» (издательство ТГУ), посвятила его «Моим чешским друзьям»

(написав-напечатав эту строку на чешском языке под эстонским названием книги на втором титульном листе). Конечно, такие дерзости доходили до соответствующих органов.

Капля камень точит. Все больше и больше кафедру прижимали и кадровыми делами (как уже сказано, очень трудно стало без Клемента добывать новые ставки для преподавателей и сохранять старые), и цензурными наскоками на «Ученые записки» (редкий номер обходился без запрещения каких-то имен или даже целых статей, а в 1984 г. запреты достигнут кульминации: под нож был отправлен весь тираж 645 выпуска «Ученых записок ТГУ» — кафедральный сборник «Проблемы типологии русской литературы»).

Новый ректор А. Кооп, человек явно неглупый, да еще и поднаторевший на партийной работе, понимал, что научная деятельность кафедры, приобретшая уже всемирную известность, — не рядовое явление, что она приносит славу и университету, и, когда он видел безопасность акций, даже помогал кафедре, но его злило отсутствие политического лакейства во всех деяниях кафедры, частое фрондерство, усиливающееся внимание КГБ, поэтому он все больше и больше раздражался, отчитывал Лотмана, грубил. И Лотман не выдержал. Вот отрывок из его письма ко мне от 26 января 1977 г.: «Дела наши такие: две недели тому назад я подал заявление с просьбой освободить меня от заведования кафедрой — стало совсем невозможно с нашим новым начальством (устал переносить откровенное хамство; стиль теперь не тот, что при Федоре Дмитриевиче). Думаю, что удаление меня у них все равно было обдумано и решено, а мне чем меньше с ними контактов, тем лучше» (Письма. С. 267).

Так печально закончилось 17-летнее официальное заведование Лотмана, хотя неофициально он, конечно, возглавлял кафедру до самой своей кончины. Еще один казус. В 1980 г. какая-то очередная проверочная комиссия пришла к выводу, что на кафедре слишком много «семейственности».

Наибольшее внимание привлекли две семейные пары: Лотман и З. Г. Минц, П. С. Рейфман и Л. И. Вольперт. Особенно первая пара: ведь получалось много лет, что Лотман «заведовал» на кафедре и своей женой! Слава Богу, от заведования Лотман освободился. В результате было рекомендовано университету ликвидировать семейственность, т. е. перевести одного из супругов в этих двух парах на какую-то другую территорию. В том же 1980 г. на отделении эстонской филологии была создана отдельная кафедра зарубежной литературы, куда были переданы и курсы по теории литературы. Туда и перевели Лотмана и Л. И. Вольперт. «Юридически» они вполне вписывались в круг кафедральных тем: Лотман, конечно, годился по своим теоретическим интересам, а Лариса Ильинична вела именно курсы зарубежных литератур. Но присоединение к той кафедре было чисто формальным, оба преподавателя имели полную нагрузку на отде-

лении русской филологии и по-прежнему не чувствовали себя отрезанными от кафедры русской литературы. Но по отношению к потенциальным недоброжелателям был отличный повод подчеркивать свою непричастность...

Таким образом, и уход Лотмана с заведования кафедрой, и перемещение на отделение эстонской филологии были чисто формальными, по сути, Лотман оставался на своей кафедре и был ее главою. Но нужно было подумать о формальном же заведующем. В тяжелых условиях гонений на кафедру никому не хотелось быть мальчиком для битья. С большим трудом удалось уговорить Валерия Ивановича Беззубова, и он мужественно взял на себя нелегкую задачу.

А притеснения не уменьшались, и проверочные комиссии продолжали донимать членов кафедры. Из письма Лотмана ко мне (ноябрь 1979 г.):

«У нас «горячо». Работает московская министерская комиссия, которая приехала под лозунгом изучения состояния русского языка, а на деле занялась раскапыванием идеологических грехов нашей кафедры.

Положение очень острое, чем кончится, пока неизвестно» (Письма. С. 285).

А вот следующее письмо от 3 декабря 1979 г.: «Сначала все было очень и очень неприятно, недоброжелательство и предвзятость даже не скрывались, но в конце пошли на обоюдный компромисс, и мир в семье, кажется, восстановлен. Но, как поется в «Пиковой даме», «какою ценой! О карты, о карты, о карты...». Вытрепались мы все ужасно. На нашего друга дома Валерия смотреть страшно — он вынес на себе всю тяжесть ссор и мира, а Зара просто свалилась с каким-то странным приступом. Но теперь уже все снова живы и относительно здоровы» (Письма. С. 285).

Сотрудники кафедры платили дорогой ценой за начальственные уколы и прижимы: сердечные приступы Лотмана и З.Г. Минц были не единственными, с тяжелым инфарктом во время работы последней комиссии свалился П. С. Рейфман. А душевно чуткий В. И. Беззубов в первые же месяцы заведования так расшатал нервную систему, что заработал тяжелое, непрерывное стрессовое состояние. Через три года, в 1980-м, ему пришлось оставить заведование. Опять начались уговоры, теперь уже Сергея Геннадиевича Исакова. Он к тому времени уже стал доктором наук, профессором, и ему грех было отказываться, согласился.

Труды о Пушкине

Отечественное пушкиноведение — одно из самых заметных фундаментальных, творческих направлений в нашей филологической науке.

Имена С. А. Венгерова, Ю. Н. Тынянова, П. Е. Щеголева, Б. Л. Модзалевского, М. А. и Т. Г. Цявловских, Ю. Г. Оксмана, С. М. Бонди, Б. В. Томашевского, Г. А. Гуковского и многих других пушкинистов известны не только литературоведам. В 1966 г. сотрудниками Института русской литературы (Пушкинского Дома) был издан солидный труд «Пушкин. Итоги и проблемы изучения», где указаны сотни имен исследователей творчества Пушкина. Лотман входил не в пустое помещение, а в густо населенную квартиру, где, казалось бы, новичкам уже не оставалось серьезного, весомого места, а можно было бы пробавляться какими-нибудь мелочами по уголкам заполненного предшественниками пространства. Но молодой ученый не побоялся втиснуться в центральные области пушкиноведения и сказал здесь немало нового, попутно занимаясь, впрочем, и интересными «уголками». Вся его зрелая жизнь окажется связанной с Пушкиным.

К творчеству Пушкина Лотман обратился рано, еще в конце 1950-х годов, еще исследуя Радищева и Карамзина. Первым вкладом в пушкиноведение стала статья Лотмана «К эволюции построения характеров в романе “Евгений Онегин”», опубликованная в 1960 г. (мы о ней уже говорили). Это та самая статья, с которой хотел поспорить Б. В. Томашевский, принимая ее в редактируемый им сборник «Пушкин. Исследования и материалы» (т. 3), — увы, не успел, сборник вышел после кончины выдающегося пушкиниста и был ему посвящен.

Лотман в духе тогдашней своей методологии подробно и исторично рассматривает движение пушкинских художественных принципов в построении характеров романа, от преддекабристских иде-

ологических влияний на поэта до представлений Пушкина после михайловской ссылки, когда он изображал «сына века», т. е. героя, воспитанного духом времени, в противостоянии более крупномасштабному образу (поздняя Татьяна), построенному на «нравственно-психологических» чертах, вытекающих из народной жизни (Лотман пока не говорит ни о бахтинском «большом времени», ни, прямо, о вечных нравственных фундаментах).

До Лотмана методологию социально-политической обусловленности художественных образов (среда определяет сущность человека) подробно разрабатывал Г. А. Гуковский в университетских лекциях и в книге, которую он не увидел в печати, она вышла посмертно: «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (М., 1957). Гуковский довольно жестко трактует социальную обусловленность Евгения Онегина, хотя и делает ряд оговорок, и не менее жестко истолковывает в подобном духе образ Татьяны Лариной, но расширяет «социальность» до влияния русской деревни, народной поэзии, няни. Лотман уже тогда начинал понимать узость подобных трактовок, но он еще не окончательно отказался от схемы «среда — человек», да и не смел противостоять любимому учителю. Поэтому его критика звучит весьма деликатно. Он начинал с комплиментов Гуковскому, который «очень тонко проанализировал...»; «Как тонко было отмечено...» — и лишь затем переходил к корректировке: «Анализ материала приводит к несколько иным выводам: в основе образа в первой главе романа лежит не социальная характеристика среды, а интеллектуально-политическая <...> оценка героя»; «Представление об общественной среде как об определяющем характер человека факторе в эти годы Пушкину еще чужд. В основе конфликта лежит не социальное, а психологическое противопоставление образов»⁴³. В статьях о Гоголе (см. следующую главу) Лотман продолжит спор с Гуковским.

А заглядывая в конце рассматриваемой статьи вперед, то есть в творчество Пушкина тридцатых годов, Лотман отмечает переход к противоположению представителей или двух разных эпох (Германн — Графиня в «Пиковой даме»), или двух разных социальных кругов (Гринев — Пугачев в «Капитанской дочке»), опять же не без намека на «размывание» границ.

Как эта ранняя работа об «Евгении Онегине», так и упоминавшиеся две статьи 1962 г., где уже начнется «размывание» четких социально-политических градаций, — статьи о «толстовском направлении» и о «Капитанской дочке», — содержат свежие идеи, но методологически они относятся еще к досемиотическому периоду творчества Лотмана. Новый этап начинается со статьи «Художественная структура «Евгения Онегина»» («Уч. зап. ТГУ», вып. 184, 1966).

⁴³ Пушкин. Исследования и материалы. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 140, 150.

Здесь как бы осуществляются на практике теоретические положения литературоведческого структурализма, выработанные Лотманом в середине шестидесятых годов. Рассматривается «рассеянная» множественность «художественных точек зрения», открытая Пушкиным и широко им использованная в романе в противовес «точкам зрения» в произведениях классицизма и романтизма, которые строго фокусируются в одном-единственном центре; «рассеянная» множественность создает иллюзию реальной действительности, с ее некоторой хаотичностью, сломами, разрушением прежних структур и созданием новых. Лотман не может забыть и излюбленного «перевертыша»: Татьяна познает характер Онегина сквозь призму известных ей западноевропейских романов, и ее «романтическая» модель мира строится как «перевернутая система»: вместо «искусство — воспроизведение жизни» действует принцип «жизнь — воспроизведение искусства».

Исследователь широко пользуется и бинарными оппозициями, например демонстрируя эволюцию идейно-художественных принципов Пушкина в процессе работы над романом, когда менялось представление о сущности литературного характера. Лотман систематизирует и структурирует идеи 1960 г. «К эволюции построения характеров...», создает четкую схему — выделяет пять этапов построения комплекса основных черт Онегина, которые особенно наглядно заметны благодаря наличию в романе противоположных героев и качеств:

«I	Ум Образование	} ↔ {	Невежество Поверхностность
II	Ум Скепсис Трезвость	} ↔ {	Энтузиазм Наивность Романтизм
III	Ум Усталость души	} ↔ {	Наивность Способность к чистому чувству
IV	Ум Эгоизм	} ↔ {	Наивность Народность
V	Стремление к счастью	} ↔ {	Выполнение долга Ум» (С. 29—30).

Лотман, рассчитывая на сообразительность читателя, не поясняет схемы, да и в самом деле легко понять, что Онегину на каждом этапе противостоят разные «оппозиционеры»:

I. «Околодекабристские» идеалы — Онегин.

II. Онегин — Ленский.

III, IV. Онегин — Татьяна (до 7-й главы включительно).

V. Онегин — Татьяна (в 8-й главе).

Во всех этих характеристиках господствуют *отношения, функциональность* персонажей, которые динамичны по своей сути, а к ним

еще прибавляется динамичность этапов, динамичность смены оппозиций. Лотман подчеркивает, что он выделяет только главные противостояния, на самом деле их значительно больше, и эта неисчерпанность, потенциальная возможность создавать новые соответствия и противостояния переходит в общую открытость романа и его принципиальную незавершенность на сюжетном уровне.

Дальнейшее развитие лотмановские идеи в связи с творчеством автора «Евгения Онегина» получили в трех его основных книгах о Пушкине: «Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста» (1975), «Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Пособие для учителя» (1980; 2-е изд. — 1983), «Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Пособие для учащихся» (1981; 2-й завод — 1982; 2-е изд. — 1983). Первая книга, выпущенная Тартуским университетом, напечатана всего в 500 экземплярах, зато две следующих, изданных ленинградским «Просвещением», вышли в свет в небывалых количествах: биография — тиражом в миллион экземпляров, комментарий — 550 тысяч.

Первая из указанных трех книг представляет собой расширенный, дополненный вариант рассмотренной статьи «Художественная структура «Евгения Онегина»». Здесь еще более подробно прослежены оппозиции персонажей: «Главы строятся по системе парных противопоставлений:

Онегин — петербургское общество

Онегин — автор

Онегин — Ленский

Онегин — помещики

Онегин — Татьяна (в III—IV главах)

Онегин — Татьяна (в сне Татьяны)

Онегин — Зарецкий

кабинет Онегина — Татьяна

Онегин — Татьяна (в Петербурге). <...> Татьяна имеет парадигму противопоставлений, не уступающую Онегину:

Татьяна — Ольга

Татьяна — семья Лариных

Татьяна — подруги

Татьяна — няня

Татьяна — Онегин (в III—IV главах)

Татьяна — Онегин (в сне Татьяны)

Татьяна — кабинет Онегина

Татьяна — автор

Татьяна — московское общество

Татьяна — «архивны юноши»

Татьяна — Вяземский

Татьяна — петербургский свет

Татьяна — Нина Воронская

Татьяна — Онегин (в Петербурге).

Любопытно, что муж Татьяны нигде не выступает в качестве сопоставленного с ней характера — он лишь персонифицированное сюжетное обстоятельство.

Такое построение (Н. И. Мордовченко назвал его «профильным») сводит каждый характер к набору дифференциальных признаков. В романе поразительно мало прямых характеристик и описаний героев (в основном, они сосредоточены вокруг второстепенных персонажей: Зарецкий описан подробней, чем Онегин, а Ольга — чем Татьяна; портрет Ольги дан с большой степенью детализации, портрет Онегина не дан совсем) (С. 77—78).

Подсказанная Н. И. Мордовченко «профильность», т. е. обращенность персонажа то к одному, то к другому «оппоненту», развитая Лотманом в набор дифференциальных признаков структуралистского метода, т. е. таких признаков, каждый из которых имеет противостоящий ему противоположный признак, но в то же время само противостояние объединяет оба элемента на более высоком (мета-) уровне; например, пара «Онегин — Ленский» объединяется понятием «друзья — дворянские молодые люди».

Расширены, по сравнению со статьей, разделы о «точках зрения», об интонации, очень подробно говорится о принципиальных, нарочитых *противоречиях* на всех уровнях, от бытовых деталей (например, в 3-й главе говорится, что письмо Татьяны хранится у автора романа, а в 8-й — у Онегина) до самых существенных структурных признаков: роман и целостен и фрагментарен одновременно, он и кончен, и не кончен; упрощения в нем достигаются с помощью усложнений, типическое соотносится со случайным. Лотман стремится при этом постоянно показывать динамику, развитие сюжета, персонажей, художественных принципов, поэтому так много говорится о движении, о пульсации, о «мерцании» различных элементов — как будто перед нами не застывшее в истории произведение, а живое существо: так оно и есть, настоящее искусство никогда не мертвеет, настоящее искусство становится самой жизнью и влияет на жизнь общества. Характерно, что структуралистский анализ не «убивает» искусство, не разлагает его, как труп, а, наоборот, способствует пониманию искусства как живой жизни и как *художественного* начала.

Чрезвычайно важна для понимания пушкинского романа вторая книга — комментарий к «Евгению Онегину». Ведь каждое поколение живет в мире определенных временных, национальных, социальных, региональных культур, воспринимая и создавая духовные ценности, правила поведения, предметы быта, и далеко не все из них прочно закрепляются на века, тем более что менявшийся культурный контекст может совершенно по-иному их трактовать и использовать, не говоря уже о том, что люди определенной эпохи склонны свою духовную и материальную культуру приписывать и минувшим поколениям. Поэтому так много анахронизмов в художественных произведе-

ниях о прошлом, даже недавнем прошлом. (Личный пример: я получил письмо от товарища детства, которому подростком пришлось работать на железной дороге во время фашистской оккупации Курской области в 1942 г.; он в хорошем фильме А. Германа «Проверка на дорогах» обнаружил свыше десятка грубых ошибок при изображении поезда периода оккупации — а ведь Герман явно стремился к исторической правде даже в деталях.)

С другой стороны, приевшаяся, стандартная обыденность целого ряда предметов духовной и материальной культуры, как правило, не закрепляется современниками в письменных и печатных текстах и может поэтому навсегда исчезнуть из исторической памяти. Историки Древней Руси, например, нигде не смогли обнаружить ответа на вопрос: солили ли наши предки огурцы?

На этом фоне кажется, что реалистическое произведение по самой сути своей полно реалий духовного и материального свойства. Да, полно, но, во-первых, многие реалии оказываются забытыми или неверно понимаемыми в новом историческом контексте, а во-вторых, писатель-реалист необычайно много бытового выносит «за скобки», надеясь на прекрасную ориентировку современного ему читателя, или ограничивается намеками, опять же понятными лишь некоторым современникам. Следующие же поколения оказываются в трудном положении. Именно реалистическое произведение при переносе в другую историческую или национальную среду больше всего теряет. Так, например, отсутствие в западноевропейских культурах (и, соответственно, в административной структуре) понятие «чина» в том специфическом значении, которое оно получило в России после Петра I и особенно в николаевскую эпоху, затрудняет иностранному читателю понимание природы гоголевского творчества, фантастики «Носа» и т. п. Или другой пример: читатель, никогда не бывший в Крыму или в Молдавии, адекватно, без затруднений воспримет «Бахчисарайский фонтан» или «Цыган», но тот, кто никогда не был в Петербурге, не поймет по-настоящему ни «Медного всадника», ни «Белых ночей» Достоевского, ни «Преступления и наказания».

Поэтому именно реалистические произведения требуют специального комментария — не только словарного, но и объясняющего черты той жизни, которая лежит за текстом. Такой комментарий не может быть прикреплен к какой-либо строчке, а предполагает создание целостных очерков. До сих пор был известен лишь один опыт в этом роде: издательство «Academia» в 1934 г. выпустило отдельным 3-м томом замечательный комментарий Г. Шпета к «Посмертным запискам Пиквикского клуба». Однако в дальнейшем этот опыт был предан забвению, а построчный комментарий сделался, по сути, единственным вариантом подобных изданий. Так, в частности, построена книга Н. Л. Бродского ««Евгений Онегин». Роман А. С. Пушкина. Пособие для учителей средней школы», сыгравшая положительную роль

и выдержавшая пять изданий (1932—1964), но в настоящее время устаревшая по многим показателям.

Решение Лотмана предварить построчный и словарный комментарий общими картинами жизни онегинской поры опирается, таким образом, на добротный исторический прецедент, но между двумя книгами имеются некоторые различия, вызванные как несхожестью «Евгения Онегина» и «Пиквикского клуба», так и разницей установок. Комментарий Шпета в основном историко-бытовой, комментарий Лотмана, хотя и содержит сведения о быте эпохи, главной целью имеет создание широкой историко-культурной перспективы.

Около 100 страниц книги занимает «Очерк дворянского быта онегинской поры». В этом разделе на обширном и, как правило, свежем, прежде не привлекавшемся для этой цели материале освещены вопросы дворянского хозяйства, образования, службы, воспитания девушек, плана и интерьера помещичьего дома, быта в столице и провинции, развлечений, почтовой службы и т. д. Однако весь этот материал тесно связывается с духовным миром, нравственными, идейными представлениями. Так, например, в книге подробно рассматриваются нормы и правила русской дуэли. Автор убедительно показывает, что без понимания ряда специфических и довольно тонких аспектов этого вопроса весь эпизод с дуэлью остается непонятным или, что еще хуже, понимаемым превратно.

А изложение правил дуэли включается автором в более общие рассуждения о нормах поведения человека онегинской среды, о сложности понятия чести. Без знания всего этого читатель не поймет хода и смысла дуэли (современный читатель часто склонен рассматривать дуэль как простое убийство, в чем он неожиданно сближается с правительственной точкой зрения от Петра I до Николая Павловича). В равной мере автор знакомит нас с бытовым обликом бала и одновременно раскрывает сущность бала как особого культурного ритуала, организовывавшего дворянскую жизнь той эпохи. Цель этого общего раздела книги — ввести читателя в мир пушкинских героев, раскрыть этот мир изнутри. (Заметим, что рассмотренный раздел лег в основу фундаментальной книги Лотмана, завершенной им незадолго до кончины: «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)» — и выпущенной в 1994 г. издательством «Искусство-СПб».)

Второй из двух основных разделов комментаторской книги — непосредственно построчные и словарные примечания — занимает значительно больше места, он в три раза больше первого. Как отмечает Лотман, пушкинский роман вводит в повествование огромное число реалий, что показывает важность их роли и, следовательно, невозможность осмыслить текст без их понимания. Поэтому реальный комментарий представлен здесь в значительно большем объеме, чем это делалось до сих пор.

С другой стороны, «Евгений Онегин» — произведение, отличающееся сложной структурой текста: намеки, реминисценции, явные и скрытые цитаты, все оттенки смысла от лирики и пафоса до иронии и сарказма составляют самую ткань пушкинского романа в стихах. Постоянная «игра» автора с читателем, имитация непринужденной «болтовни» (выражение Пушкина), а на самом деле тончайшая и сложнейшая авторская работа ставит внимательного читателя, не желающего скользить по поверхности текста, перед необходимостью серьезно задуматься над строками романа. Сама легкость и кажущаяся «понятность» пушкинских строк, тот факт, что мы их помним с детства, может оказаться источником заблуждения.

Лотман поэтому значительно подробнее, чем кто-либо раньше, вскрывает сложное переплетение ассоциаций и намеков, пронизывающих роман, полемических цитат и реминисценций, иронических отсылок, всего того, что включает содержание и форму «Евгения Онегина» в большой контекст мировой культуры.

Наконец, обратимся к третьей пушкинской книге Лотмана, к биографии. Автор на весьма тесной площади (12 печатных листов) смог показать очень много. В книгу введено, без злоупотребления, без перебора, немалое количество фактов из жизни гения и из жизни его эпохи; попутно же, по ходу повествования, даются краткие характеристики лицам из окружения Пушкина (родители, организаторы Лицея, старшие товарищи: Николай Тургенев, Чаадаев и т. д. — десятки имен!), описываются города и здания, литературные и житейские моды, хозяйственные операции и психологические извивы... Все это было бы интересно и само по себе, ибо свидетельствует о великолепной эрудиции автора, знающего значительно больше, чем он излагает на бумаге (а это всегда заметно), но одной эрудицией в наш век трудно удивить. Главная ценность лотмановской био-

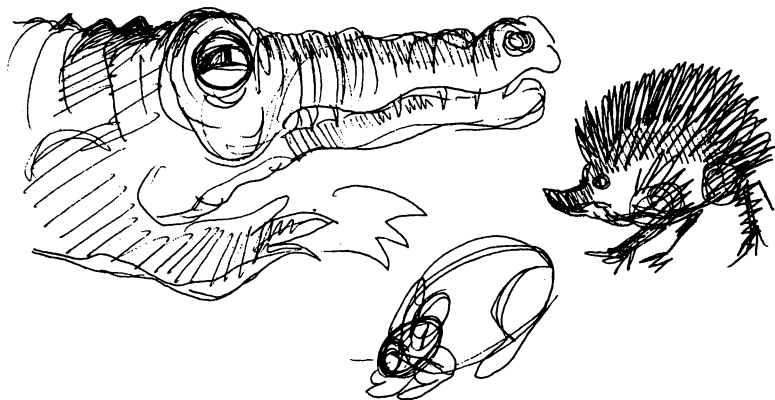


Рис. Ю. М. Лотмана. Заяц — Зара, Еж — Юрмих. Август—сентябрь 1973 (?) г.

графии Пушкина, как и комментария к «Евгению Онегину», — осмысление фактов, приведение их в систему.

Прежде всего, книга пронизана историзмом. Лотман любит, следуя доброй традиции XVIII века, употреблять для особенно ответственных и ценных понятий заглавные буквы: Культура, История, Дом, Свобода, Власть и т. п. В подражание этой манере можно было бы говорить о господстве Историзма в книге: пушкинская биография включена в большую Историю, русскую и европейскую, которая, в свою очередь, обусловила развитие определенных философских, нравственных, художественных принципов, повлияла на события, судьбы, характеры... Любопытно, что введение к книге посвящено не изложению метода, с которым исследователь приступает к работе (замечания методологического свойства разбросаны в разных главах), не спору с предшественниками и не рассказу о предках Пушкина, а историческому очерку России и Европы первой четверти XIX века, сжато изложению основных черт эпохи, особенно Отечественной войны 1812 г. и декабризма. Историзмом пропитан и весь текст книги: он чувствуется в описаниях лиц, событий, романтического метода, реалистических новшествах...

Историчное понимание метода дает возможность объяснить особенности пушкинского поведения, как и особенности некоторых загадочных сфер его жизни и творчества. Например, Лотман весьма остроумно разрешает старый спор литературоведов о предмете «тайной» и «неразделенной» любви поэта, упоминаемом в стихах и письмах периода южной ссылки: в книге убедительно доказана жизненная и литературная мистификация, проводившаяся Пушкиным согласно романтическим канонам: поэт должен был страдать и томиться от несчастной любви, и он должен был и в творчестве, и в жизни намекать на существование недоступной красавицы...

Но когда в Историю включается выдающаяся личность, то далеко не всегда между ними возникает гармония; вспомним поразительную строку Пушкина: «Что в мой жестокий век восславил я свободу». Одна из прекрасно разработанных в книге тем — Дом в жизни и творчестве Пушкина: отсутствие настоящего чувства дома в раннем детстве, замена его в лицейском братстве, мощные усилия зрелого человека создать свой собственный Дом. Так как этот Дом Пушкин организовал уже в позднюю пору жизни, то он, проникнутый историзмом, сознательно допускал и связь Дома с Историей. Однако «жестокий век» не остановился на той роли, которую ему в своих идеалах уготовил Пушкин, — быть лишь на пороге Дома, он нагло вломился внутрь, разрушил Дом и взял жизнь Поэта, пытавшегося в одиночку защитить свой Дом (несколько лет назад, защищая — тоже в одиночку — личное и государственное достоинство, героически погиб в схватке с фанатичной толпой Грибоедов).

Нельзя при этом не вспомнить другую главенствующую идею Лотмана, проведенную сквозь всю книгу: мысль о сознательном «жизнестроительстве» Пушкина: «Жить в постоянном напряжении страстей было для Пушкина не уступкой темпераменту, а сознательной и программной жизненной установкой» (1-е изд., 1981. С. 43); Пушкин создал «не только совершенно неповторимое искусство жизни» (С. 55); в письме к брату Льву Пушкин говорит о «сознательном строительстве своего характера» (С. 88); «Пушкин всегда строил свою личную жизнь...» (С. 117).

Эта идея уже была предметом обсуждения, о ней писали все рецензенты, были сочувствующие (А. Ю. Арьев, М. Н. Золотоносов, Ю. Н. Чумаков), были возражающие (Н. Я. Эйдельман, Я. А. Гордин), были принимающие концепцию с оговорками (В. Э. Вацуро, Т. Г. Браже, Е. Г. Леонтьева)⁴⁴.

Автор этих строк принадлежит к противникам названной идеи. Если бы Лотман ограничился *романтическим* периодом жизни и творчества Пушкина, то не было бы споров: смена различных масок поведения, романтизация жизни, наивно-жестокое, нравственные «уроки», которые преподносит поэт в письме к брату Льву в 1822 г., — все это вполне укладывается в сознательное жизнестроительство, хотя и здесь возможны выпадения.

Что же касается других периодов, да и вообще сути пушкинского характера и поведения, то здесь Ю. М. чрезмерно категоричен. Правда, он делает соответствующие оговорки: «Неправильно представлять себе «строительство личности» как сухо рациональный процесс: как и в искусстве, здесь задуманный план соседствует с интуитивными находками и мгновенными озарениями, подсказывающими решение. Вместе это образует ту смесь сознательного и бессознательного, которая характерна для всякого творчества» (С. 86). Но все же автор книги и здесь не отвергает «задуманного плана», «строительства», «творчества» жизни. Между тем биография каждого человека, в том числе и гения, складывается из такой тьмы случайностей, что они далеко не всегда оставляют место для «творчества» жизни, тут очень часто вступает в силу социально-природное ядро личности как решающий регулятор поведения, вне сознательного или бессознательного замысла. Тем более не стоило бы отвергать пушкинский темперамент и отдавать его страсти в услужение выработанной программе.

Особенно трудно согласиться с концепцией «жизнестроительства» применительно к последним месяцам жизни Пушкина. Прежде всего вызывает возражение итоговая оценка. После прекрасных страниц, где показаны вторжение Истории в Дом Поэта, трагическая

⁴⁴ Подробные сведения о рецензиях на пушкинские книги Лотмана см.: Егоров Б. Ф. О Ю. М. Лотмане-пушкинисте. — «Русская литература», 1994. № 1. С. 227—233.

борьба его и смерть, вдруг утверждается, что в этих страшных днях «нельзя не обнаружить обдуманную стратегию пушкинского поведения и твердую волю в исполнении задуманного»; более того, подчеркивается, что «Пушкин умирал не побежденным, а победителем» (С. 245). Совершенно невозможно воспринимать трагическую судьбу затравленного человека, Дом которого разрушили, запятнали грязью, от которого отвернулись даже близкие друзья, как «обдуманную стратегию» и тем более как победу. История всегда сильнее отдельного человека, тем более история периода «жесточкого века». В этих условиях, словно в бандитском мире, более уживчивыми, то есть выживающими, оказываются люди, полностью устранившиеся от общества или, по крайней мере, не обрастающие бытом, семьей, тем более — Домом. Пушкин, «наперекор стихиям», решил нарушить это правило и сделал себя крайне уязвимым, ибо Дом больше всего делает человека беспомощным перед Историей. Это страшная трагедия, и лишь исторический катарсис, в котором участвуют и гениальная личность поэта, и его гениальные творения, и замечательные труды о нем, очищает и возвышает наши души и дает возможность согласиться с гением XX века, А. Блоком, что, несмотря на трагедию, Пушкин — «веселое имя».

Оговоримся: книга Лотмана отнюдь не облегчает страшную Историю, она до предела насыщена изображением трудностей, драм, контрастов, черной подлости. Прочитав лишь один вставной сюжет: К. Собаньская, «из образованной и знатной семьи, получившая блестящее воспитание, воспетая Мицкевичем, безумно в нее влюбленным, и Пушкиным <...> состояла любовницей и *политическим агентом* начальника Южных военных поселений генерала И. О. Витта. Витт, личность, грязная во всех отношениях, лелеял далеко идущие честолюбивые замыслы. Зная о существовании тайного общества <...> он взвешивал, кого будет выгоднее продать: декабристов правительству или, в случае их победы (что он не исключал), правительство — декабристам. Он по собственной инициативе шпионил за А. Н. и Н. Н. Раевскими, М. Орловым, В. Л. Давыдовым и в решительную минуту всех их продал» (С. 103—104). Но все противоречия и драмы как бы вынесены за пределы пушкинской души, особенно применительно к периоду 1830-х гг. Между тем драмами были насыщены и жизненное состояние Пушкина, и трудные пути его творчества. Поэт в конце жизни находился в сложных поисках новых идей и форм, о чем говорят и стихотворения 1836 г., и более ранняя загадочная повесть «Дубровский», и черновики задуманных произведений. Лотман остроумно заметил по поводу 1830 года: «Пушкин ушел настолько далеко вперед от своего времени, что современникам стало казаться, что он от них отстал» (С. 172). Это усиливало внутренний драматизм поэта. Подобное непонимание «нового» Пушкина, увы, продолжалось и после кончины поэта. Даже великий Белинский десятилетие

спустя все еще прохладно относился к позднему Пушкину, и нужно было новаторство Ап. Григорьева, чтобы в 1850-х гг. по достоинству оценить «Капитанскую дочку».

Свое несогласие с идеей сознательного «жизнестроительства» поэта я высказал в рецензии на пушкинские книги Лотмана, написанной в 1986 г. (конечно же, в целом весьма положительной), предназначенной для журнала «Русская литература». Но предварительно я послал ее Лотману, и он быстро ответил мне замечательным письмом от 20—21 октября 1966 г.:

«Спасибо за рецензию. Рецензия интересная, темпераментная и острая. Очень прошу в ней ничего не менять. Пишу это затем, чтобы Вы не восприняли мои дальнейшие рассуждения как желание откорректировать оценки. Я гораздо большее значение, чем мнению читателей, придаю нашей с Вами договоренности *pro domo sua*. Итак, пишу лично для Вас.

Я не могу с Вами согласиться в оценке «жизнестроительства» (я, кажется, этого слова не употреблял?) Пушкина. И поскольку Вам и мне этот аспект книги кажется важным, необходимо объясниться. Конечно, плохо, если по поводу книги следует объясняться, — значит, в ней сказано неясно. Эту вину готов взять на себя. Но и Вы, мне кажется, поняли и отвергли не мою мысль, а свое (не полностью адекватное) ее понимание. Прежде всего, Вы отождествляете представление о сознательности жизненной установки с рационалистическим планом, методически претворяемым в жизнь. А речь идет совсем о другом — о сознательно-волевом импульсе, который может быть столь же иррационален, как и любая психологическая установка.

Один из смыслов замысла моей книги в том, чтобы написать биографию не как сумму внешних фактов (что и когда случилось), а как внутреннее психологическое единство, обусловленное единством личности, в том числе ее воли, интеллекта, самосознания. Я хотел показать, что, как мифологический царь Адрас к чему ни прикасался, все обращал в золото, Пушкин все, к чему ни касался, превращал в творчество, в искусство (в этом и трагедия — Адрас умер от голода, пища становилась золотом). Пушкин — я убежден и старался это показать как в этой биографии, так и в других работах — видит в жизни черты искусства (ср. у Баратынского:

И жизни даровать, о лира,
Твое согласие захотел... —

и тут же: «поэтического мира огромный очерк я узрел» — представление о поэзии жизни не выдумка, а реальное мироощущение и Пушкина, и Баратынского). А любое художественное создание — борьба замысла и исполнения, логического и внелогического. Не станете же Вы отрицать, что в создании художественного произведения принимает участие замысел от крайне осознанных формул до

спонтанных импульсов? Внешние обстоятельства вторгаются и оказывают «возмущающее» (иногда стимулирующее внутренне подготовленную самим же замыслом эволюцию его) воздействие. Так, Микель Анджело, получив от сеньории кусок мрамора, видит, что, вопреки его замыслу, фигуру можно будет сделать лишь сидячей. Жизнь — тот твердый, гранитный материал, который хочет остаться бесформенным куском, сопротивляется ваятелю, грозит убить его, обрушившись на него. А Пушкин — скульптор, торжествующий над материалом и подчиняющий его себе. Посмотрите сами: ему как бы всю жизнь «везет»: ссылки, преследования, безденежье, запреты... и как приходится говорить студентам? «Пушкин был сослан на юг. Это оказалось исключительно кстати, чтобы спонтанно созревавший в нем романтизм получил оформление». Пушкин сослан в Михайловское (он в отчаянии, оборваны все планы и связи, Вяземский совершенно серьезно пишет, что русская деревня зимой — та же крепость и что Пушкин сопыется). А мы говорим (и верно): «Пребывание в Михайловском было счастливым обстоятельством для оформления пушкинского историзма и народности, здесь ему открылся фольклор».

Представьте себя на его месте в Болдинскую осень: перед свадьбой он попал в мышеловку карантин, не знает, жива ли невеста, так как в Москве эпидемия, не знает, будет ли свадьба вообще (денег нет и ссоры с будущей тещей), сам на переднем краю холеры. А все как будто ему опять повезло.

Стремление не поддаваться обстоятельствам было одним из постоянных пушкинских импульсов. Вот он лежит с разорванными кишками и раздробленным тазом. Боль, видимо, невероятная, но на слова Даля: «Не стыдись боли своей, стоная, тебе будет легче», — отвечает поразительно: «Смешно же, чтобы этот вздор меня пересилил, не хочу...» И это когда он почти не может говорить от боли. Аренд говорил, что он был в тридцати сражениях и никогда не видел ничего подобного.

Вы поняли дело так, словно борьба и торжество в борьбе с обстоятельствами снимает трагичность, и пишете, что биография Пушкина трагична. Кто же с этим (с трагичностью биографии) спорит? Но бывают трагедии силы и трагедии слабости.

Щеголев со товарищи много вреда наделали: следуя в русле либеральных штампов начала века, они создали миф «поэт и царь» и представили Пушкина замученным интеллигентом. Эти идеи прочно въелись, и все (кроме Абрамович с ее прекрасной книгой) идут по этому легкому пути. И не случайно конец моей книги вызвал наибольшие возражения. Вы это приводите как доказательство правоты оппонентов, а, на мой взгляд, лучше всех Пушкина понял не исследователь, а поэт — Булат Окуджава. В его стихотворении «Александру Сергеевичу хорошо, ему прекрасно...» больше понимания личности

Пушкина, чем во многих академических трудах, и я полностью разделяю пафос его последних строк:

Ему было за что умирать
У Черной речки...

У моей позиции есть и вненаучный пафос: много лет я слышу жалобы разных лиц на обстоятельства. Сколько молодых писателей давали понять, что если бы не цензурные трудности, не издательские препоны, то они показали бы себя. А убери эти трудности — и выясняется, что и сказать-то нечего. Я всегда считал ссылку на обстоятельства недостойной. Обстоятельства могут сломать и уничтожить большого человека, но они не могут стать *определяющей логикой* его жизни. Все равно важнейшим остается *внутренняя* трагедия, а не пассивный переход от одного «обстоятельства» к другому. Юный Шуберт заражается сифилисом (случайно!) и погибает. Но не сифилис, а «Неоконченная симфония» — трагический ответ души на «обстоятельства» — становится фактом его внутренней биографии. Я же хотел сделать именно опыт того, что никогда, смею думать, не делалось применительно к Пушкину, — показать *внутреннюю* логику его пути. А «романтическое жизнестроительство» здесь совершенно побочный термин, который лишь затемняет сущность дела. Видимо, замысел мне не очень удался.

Но думаю, что именно это и имел в виду Блок, говоря о «легком имени Пушкин» и противопоставляя его угрюмым мучителям и мученикам.

Пушкин мне видится победителем, счастливецом, а не мучеником.

Ну, хватит, теперь о другом.

Перечтите, что он пишет о Грибоедове: «Приехав в Грузию, женился на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна». Ведь это его программа для себя, его идеальный план. А Вы говорите, что плана не было. И царь, и все обстоятельства вынуждали его *не драться*, а он вышел — один, как Давид на Голиафа, — и *победил!*

Увлеченные Щеголевым, этого (его, пушкинского торжества в момент дуэли — наперекор всему и всем!) не поняли ни Цветаева, ни Ахматова, которая, прости мне Господи мои прегрешения! — Пушкина вообще не понимала, а понял Пастернак, который писал, что, по мнению пушкинистов, Пушкин должен был жениться на Щеголеве и жить до 90 лет. А он избрал жениться «на той, которую любил», и смерть «посреди смелого, неравного боя» (это уже не Пастернак, а я от себя). Это у Пастернака не о Пушкине, но очень хорошо освещает его (Пушкина) последнюю трагедию:

Дай мне подняться над смертью позорной,
С ночи одень меня в тальник и лед,
Утром спусти с мочажины озерной,
Целься, все кончено! Бей меня влет!

(“Рослый стрелок, осторожный охотник...”») (Письма. С. 346—349).

Я не стал ни исправлять, ни расширять рецензию, отдал ее в «Русскую литературу». Редакция отправила ее на апробацию члену редколлегии журнала Г. М. Фридлендеру, он счел ее недостаточно марксистской, предложил себя в качестве соавтора и даже начал от руки исправлять и дополнять мой машинописный текст. Я решительно отказался от соавторства и забрал рецензию. Как говорится, «... да несчастье помогло». После кончины Лотмана директор Пушкинского Дома и главный редактор «Русской литературы» Н. Н. Скатов предложил мне предоставить журналу какие-либо материалы о покойном, и я предложил свою когда-то «зарезанную» рецензию и письмо Лотмана о ней. Г. М. Фридлендер, видимо, не решился в посткоммунистической России возражать против моего мировоззрения, редколлегия одобрила представленные тексты, и они появились в № 1 «Русской литературы» за 1994 г.

Письмо-возражение Лотмана не переубедило меня. Мне кажется, что Лотман говорит здесь не столько о «жизнестроительстве», сколько о мужестве Пушкина, храбрости и стойкости. Кто же будет с этим спорить? А вот когда Лотман, не желая обвинения в «рационализме», пишет о «сознательно-волевом импульсе, который может быть столь же иррационален, как и любая психологическая установка», то такую формулировку я не могу понять, «сознательный иррационализм» выглядит оксюмороном.

А тяга Пушкина к мужественным ситуациям, к риску («Есть упование в бою...»), хорошо прослеженная в книге Лотмана, скорее противостоит сознательному «жизнестроительству», чем сопутствует: «...в личном поведении Пушкин <...> испытал неудержимую потребность игры с судьбой, вторжения в сферу закономерного, дерзости. Философия «примирения с действительностью», казалось, должна в личном поведении порождать самоотречение перед лицом объективных законов, смирение и покорность. У Пушкина же она приводила к противоположному — конвульсивным взрывам мятежного непокорства. Пушкин был смелым человеком» (С. 151). Воистину так!

Лотмана всегда интересовало «жизнестроительство». Недаром его со студенческих лет притягивали жизнь и творчество Радищева и Карамзина. В принципиальных жизненных установках Радищева, вплоть до его самоубийства, в сознательной и трудной борьбе Карамзина за свою независимость ученый видел образцы для подражания; его трактовка Пушкина в значительной степени навеяна примерами

Радищева и Карамзина, да и собственный жизненный путь он стремился строить по высоким нравственным идеалам. А пристальное внимание к попыткам Пушкина создать свой Дом особенно автобиографично. И немало потаенно личного в оговорках относительно «конвульсивных взрывов» страстей.

Споры мои, как и ряда более ранних рецензентов книги, с лотмановской концепцией сознательного «жизнестроительства» не должны отвратить читателя от этой проблемы: во-первых, могут быть и противоположные мнения; во-вторых, даже при несогласии нетривиальную идею воспринимаешь на фоне уже известного, и тем самым открывается объемная, стереоскопическая картина, проясняющая новые аспекты.

О выдающихся достоинствах книги Лотмана уже много написано. Отметим еще удивительную деликатность автора при анализе темы, труднейшей при учете главного адресата книги (школьники): женщины в жизни Пушкина. Особенно удались Лотману страницы, посвященные А. П. Керн (С. 129—131) и Н. Н. Гончаровой-Пушкиной (С. 192, 197—203).

Вообще в книге содержится буквально россыпь метких характеристик и наблюдений, тоже уже отмеченных рецензентами. Подчеркнем еще проведенную сквозь книгу мысль о трех периодах в выборе Пушкиным друзей: от Лицея до Одессы включительно господствуют старшие по возрасту, в Михайловском усиливается тяга к сверстникам, в 30-е гг. появляются младшие товарищи. И еще подчеркнем удивительную особенность книги, указанную сразу двумя рецензентами: А. Ю. Арьевым («В мире книг», 1983, № 1) и Ю. Н. Чумаковым («Русский язык и литература в киргизской школе», 1983, № 5); построение книги напомнило им структуру «Евгения Онегина» (девять глав с определенной динамикой развития; Ю. Н. Чумаков отметил еще и ряд внутренних схождений, например принципы соотношения автора и героя).

Эти ценные наблюдения еще ведут нас и к утверждению своего рода научной художественности книги Лотмана: персонажи и очерки событий образны, живы, язык автора чист, прозрачен, афористичен; книга просто насыщена афоризмами: «Пушкин в их кругу выделяется как ищущий среди нашедших» (С. 35); «Поступок отнимает свободу выбора» (С. 131); «История проходит через Дом человека» (С. 177); «...ему нравилось течь как большая река, одновременно многими рукавами <...> Его на все хватало, и всего ему еще не хватало» (С. 199).

Ясность и доходчивость стиля пушкинских книг Лотмана опровергают довольно широко распространенный миф о недоступности, непонятности его языка для широких слоев читателей. Конечно, у него есть статьи и книги, особенно из области семиотики и структурализма, обращенные к узкому кругу специалистов; в них и термины иногда специфические, и идеи часто излагаются весьма сложные.

Но и семиотическая и структуралистская сферы не отделены от обычного гуманитария непроходимым рвом. Лотман, кстати сказать, всегда стремился расширять круг интересующихся новыми аспектами гуманитарных наук и вникающих в них; не забудем, что ему принадлежит несколько учебных пособий для студентов и преподавателей по литературоведческому структурализму, из которых особенно известна рассмотренная выше книга «Анализ поэтического текста. Структура стиха».

И во время работы над главными пушкинскими книгами, и впоследствии Лотман не оставлял и относительно частных проблем. Всей его творческой жизни сопутствовали статьи о Пушкине: о западноевропейских темах в наследии поэта («Смесь обезьяны с тигром», 1976 — о Вольтере; «Три заметки к пушкинским текстам», 1977 — о С. Ричардсоне, Л. Стерне, о Ж. де Сталь; «К проблеме “Данте и Пушкин”», 1980; пять заметок к проблеме «Пушкин и французская культура», 1983 и 1988), о структуральном соотношении стихов и прозы в одном произведении («К структуре диалогического текста в поэмах Пушкина (Проблема авторских примечаний к тексту)», 1970), о работах коллег («О дуэли Пушкина без «тайн» и «загадок». Исследование, а не расследование», — положительная рецензия на книгу С. Л. Абрамович «Пушкин в 1836 году (Предыстория последней дуэли)», Л., 1984; «К проблеме нового академического издания Пушкина», 1987).

Пушкинские штудии расширялись до крупных культурологических и философских обобщений: «“Пиковая дама” и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века» (1975), «Образы природных стихий в русской литературе» (1983).

В перечисленных и нескольких неназванных статьях Лотман использовал свои энциклопедические познания, «классический» историко-культурный метод и достижения семиотики и структурализма. В одних работах преобладал какой-либо один метод, в других, например в статье «К структуре диалогического текста...», оба метода сливались.

Комплексное использование не только «классического» и семиотико-структуралистского подходов, но и статистического, включающего и ритмический анализ, и стилистико-лингвистического методов демонстрирует созданная совместно с сыном, М. Ю. Лотманом⁴⁵, статья «Вокруг десятой главы “Евгения Онегина”» («Пушкин.

⁴⁵ Михаил Лотман, ученик не только отца, но и известного теоретика стиха П. А. Руднева, сделал стиховедение одной из главных областей своих научных занятий; Ю. М. Лотман, который, наоборот, лишь попутно занимался стиховедческими проблемами, стал с конца 1970-х гг. все чаще привлекать сына к совместным (или даже персональным) исследованиям в данной области. В задуманном для академической серии «Литературные памятники» фундаментальном издании «Евгения Онегина», оснащенном обстоятельнейшим научным аппаратом, Лотман предназначал сыну статью о стихе пушкинского романа.

Исследования и материалы». Т. 12. Л., 1986). Она многоаспектно разоблачает фальшивку, на которую клюнул почтенный московский литературовед Л. И. Тимофеев, опубликовавший в альманахе «Прометей» (Т. 13, М., 1983) совместно с Вяч. Черкасским якобы начало последней главы пушкинского романа. Комплексный метод разоблачения является хорошим образцом для будущих подобных исследований⁴⁶.

Из методологически «смешанных» статей следует особо выделить работы, построенные на раскрытии «минус-приемов» и «умолчаний». Может быть, наиболее характерная из них — «Идейная структура поэмы Пушкина “Анджело”» («Пушкинский сборник», Псков, 1973). Значительная ее часть посвящена анализу тех мест из Шекспировой комедии «Мера за меру», которые Пушкин принципиально опустил, не перевел, точнее — не пересказал. Это — слишком прямые ассоциации с событиями 1825 г.: назначение Герцогом, покидающим трон, не старшего по возрасту наследника Эскала, а младшего Анджело (у россиян могла возникнуть в памяти прямая параллель с заменой старшего великого князя Константина Павловича младшим Николаем) и обсуждение юридического казуса: можно ли судить за намерения, а не за деяния (опять же параллель с обвинением декабристов, планировавших цареубийство).

Но Лотман этим не ограничивается: он подключает к анализу исторически зафиксированные слухи о подмене якобы умершего Александра I другим лицом и об оставшемся жить царе. И этого мало, исследователь использует мировой миф о смерти или уходе бога или вождя, о воцарении на его место его антипода — и о возвращении (воскрешении) настоящего властителя, приносящего возмездие и законность. В свете появления в Сибири — как раз в тридцатых годах, во время выхода в свет поэмы «Анджело» (напечатана в 1834 г.) — таинственного старца Федора Кузьмича, ассоциировавшегося в народной молве с Александром I, пушкинский пересказ Шекспировой комедии и лотмановская мифологическая реконструкция выглядят особенно впечатляюще.

А попутно Лотман строит «структуралистские» схождения и антитезы: Пушкин, видя минусы западного буржуазно-демократического общества, утопически возлагал надежды на возможность появления добродетельного, человеческого монарха — и здесь он (как чуть

⁴⁶ Обстоятельнейший разоблачительный анализ не помешал одному доктору физико-математических наук выступить с полемикой по поводу «некорректности» у Лотманов и предложить свой метод, анекдотический по уклончивости выводов: то ли «талантливая» фальшивка, то ли искажение реального пушкинского текста; см. *Артамонов М. Д.* Еще раз о X главе «Евгения Онегина» (Опыт математического анализа). — «Московский пушкинист». Вып. II. М., 1996. С. 292—304; см. также обзор всей этой истории: *Альтшуллер М.* Биография Онегина в руках пушкинистов. — «Новый журнал» (Нью-Йорк). 1998, кн. 211. С. 187—190.

позднее Гоголь) сближался с идеалами народной массы; близок к ним и Шекспир. Но если у английского драматурга сквозь всю комедию, начиная с заглавия, проходит мысль о важности закона, возмездия каждому по его делам, и к этому близка и народная ментальность, ждущая от пришедшего справедливого властителя суда и расправы над злодеями, то вся поэма Пушкина построена на апологии *милости*: Лотман проводит прямую параллель с главной идеей своей статьи о «Капитанской дочке»: «... идея милости в первую очередь была направлена против деспотизма тирана и бездушия закона. Но у нее был и другой смысл — она отражала стремление Пушкина смягчить жестокость социальных конфликтов. Стихийная революционность народного эсхатологизма ему была неприемлема (ср. упомянутую выше нашу работу о «Капитанской дочке»). «Милость к падшим» — в первую очередь милость к угнетенным и их поверженным защитникам (то, что здесь Пушкин имел в виду декабристов, давно уже отмечалось). Но это и милость торжествующего или восставшего народа по отношению к побежденным. Это — вообще милость к побежденным. Пушкинская идея милосердия противоречит народной мысли о возмездии, на которой держатся все эсхатологические легенды о разрушении старого мира и его обновлении. Здесь Шекспир, озаглавивший комедию словами «мера за меру», сливался с народным мифологизмом, а Пушкин с ним расходился» (Лотман. II. С. 443).

В подобных рассуждениях несколько расплывчато, но все-таки достаточно заметно, стали возникать не чистые бинарные оппозиции, а более сложные триады. Конечно, пары явно существуют: Пушкин — Шекспир, Пушкин — народ, Шекспир — народ, но, например, в последней цитате оппозиции, бесспорно, объединяются в триаду Пушкин — народ — Шекспир. Лотман к концу семидесятых годов все более прозрачно начинал понимать важность учета триадических структур, которые нежелательно дробить на оппозиционные пары (разве что при конкретных частях анализа), а так и рассматривать в виде треугольников.

Из пушкинских трудов наиболее характерны в этом отношении статья «Образы природных стихий...» («Уч. зап. ТГУ». Вып. 620, 1983), упомянутая выше, и «Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи» (сб. «Пушкин и русская литература», Рига, 1986). В последней статье уже прямо говорится о триадах: «Если обобщить трехчленную формулу Пушкина, то мы получим: восстание стихии — статуи приходят в движение — народ (люди) как жертва бедствия» (Лотман. II. С. 446). И далее, после сопоставления с «Медным всадником», эти идеи получают еще более обобщенную характеристику:

«Мысли Пушкина об историческом процессе отлились в 1830-е годы в трехчленную парадигму, первую, вторую и третью позиции которой занимали сложные и многоаспектные символические образы, конкретное содержание которых раскрывалось лишь в их взаим-

ном отношении при реализации парадигмы в том или ином тексте. Первым членом парадигмы могло быть все, что в сознании поэта в тот или иной момент могло ассоциироваться со стихийным катастрофическим взрывом. Вторая позиция отличается от первой признаками «сделанности», принадлежности к миру цивилизации. От первого члена парадигмы она отличается как сознательное от бессознательного. Третья позиция, в отличие от первой, выделяет признак личного (в антитезе безличному) и, в отличие от второй, содержит противопоставление живого — неживому, человека — статуе. Остальные признаки могут разными способами перераспределяться внутри трехчленной структуры в зависимости от конкретной исторической и сюжетной ее интерпретации» (Лотман. II. С. 447).

На основании этой триады Лотман привлекает и другие произведения позднего Пушкина, не только «Медный всадник», — стихотворения, «Капитанскую дочку», «Сцены из рыцарских времен», «Каменный гость», «Дубровский», — и создается грандиозный набор триадических парадигм, лишь частично использованных Пушкиным:

«Таким образом, существенно, чтобы сохранился треугольник, представленный бунтом стихий, статуей и человеком. Далее возможны различные интерпретации при проекции этих образов в разные понятийные сферы. Возможна чисто мифологическая проекция: вода (= огонь) — обработанный металл или камень — человек. Второй член, например, может получать истолкования: культура, ratio, власть, город, законы истории. Тогда первый компонент будет трансформироваться в понятия «природа», «бессознательная стихия». Но это же может быть противопоставление «дикой вольности» и «мертвой неволи». Столь же сложными будут отношения первого и второго компонентов парадигмы к третьему. Здесь может актуализироваться то, что Гоголь называл «бедным богатством» простого человека, право на жизнь и счастье которого противостоит и буйству разбушевавшихся стихий, и «скуке», «холоду и граниту», «железной воле» и бесчеловечному разуму. Но сквозь него может просвечивать и эгоизм, превращающий Лизу из «Пиковой дамы» в конечном итоге в заводную куклу, повторяющую чужой путь. Однако ни одна из этих возможностей никогда у Пушкина не выступает как единственная. Парадигма дана во всех своих потенциально возможных проявлениях. И именно несовместимость этих проявлений друг с другом придает образам глубину незаконченности, возможность отвечать не только на вопросы современников Пушкина, но и на будущие вопросы потомков» (Лотман. II. С. 450).

Отрывок-замысел стихотворения о картине К. Брюллова вставляется, таким образом, в круг характернейших для Пушкина тем и философско-культурологических триад, а подчеркнутая принципиальная незавершенность произведений в свете принципиального же художественного метода Пушкина как бы поднимает ранг отрывка: сама его незаконченность тоже оказывается типично пушкинской.

Замечательна «восстановительная» статья Лотмана «Пушкин и «Повесть о капитане Копейкине» (К истории замысла и композиции «Мертвых душ»)» («Уч. зап. ТГУ», вып. 467, 1979). Детальнейше изучив все художественные воплощения и намеки в творчестве Пушкина относительно сложного образа (или пары образов) «джентльмен-разбойник», подключив сюда и западноевропейскую литературу, и реалии русской жизни, Лотман доходит до фантастического предположения, что Онегин, проведя (что довольно странно для столичного денди, знавшего по тогдашним нормам лишь «прямой» путь на Кавказ или в Одессу) много месяцев на Волге, мог замышляться Пушкиным как связанным с кругом разбойников! Если это предположение конструируется лишь на основе весьма косвенных фактов — ведь ни одной прямой «улики» нет! — то путь от пушкинских замыслов и реализации темы «джентльмен-разбойник» к гоголевской «Повести о капитане Копейкине» прямой и несомненный. А в конце статьи Лотман опять, как и в других случаях, возводит тему до широких, даже мифологических обобщений:

«Аналогия между Германном (Наполеон + убийца, разновидность разбойника) и Раскольниковым (та же комбинация признаков, дающая в итоге образ человека, вступившего в борьбу с миром богатства и стремящегося этот мир подчинить) уже обращала на себя внимание. Менее бросается в глаза связь этих образов с Чичиковым. Достоевский, однако, создавая Раскольникова, бесспорно (может быть подсознательно), имел в виду героя «Мертвых душ».

Антитеза «денди — разбойник» оказывается весьма существенной для Достоевского. Иногда она выступает обнаженно (например, в паре: Ставрогин — Федька; вообще, именно потому, что Ставрогин рисуется как «русский джентльмен», образ его подключается к традиции персонажей двойного существования, являющихся то в светском кругу, то в трущобах, среди подонков), иногда в сложно трансформированном виде.

Такое распределение образов включено в более широкую традицию: отношение «джентльмен — разбойник» — одно из организующих для Бальзака (Растиньяк — Вотрен), Гюго, Диккенса. В конечном счете оно восходит к мифологической фигуре оборотня, ведущего днем и ночью два противоположных образа жизни, или мифологических двойников-близнецов. Имея тенденцию то распадаться на два различных и враждебных друг другу персонажа, то сливаться в единый противоречивый образ, этот архетип обладает огромной потенциальной смысловой емкостью, позволяющей в разных культурных контекстах наполнять его различным содержанием, при одновременном сохранении некоторой смысловой константы» (Лотман. III. С. 48).

Самой эффектной из «восстановительных» статей Лотмана можно считать «Опыт реконструкции пушкинского сюжета об Иисусе» («Временник Пушкинской комиссии. 1979». Л., 1982). У Пушкина

в ряду замыслов, в колонке заглавий имеется всего одно слово: «Иисус». И Лотман на основании христианских воззрений позднего Пушкина, на основании детального анализа имеющихся отрывков его произведений на темы из древнеримской жизни реконструирует возможные сюжеты совсем ненаписанного текста: страдания героя, добровольное принятие смерти, тема «герой и власть». Исследователь справедливо предполагает, что замысел отставлен из-за уверенности писателя в непроходимости произведения сквозь строгую духовную цензуру.

Заключительным этапом пушкинских штудий Лотмана была глава «Пушкин», включенная в академическую девятитомную «Историю всемирной литературы» (т. 6, М., 1989). Это как бы итоговый обобщающий конспект всех предшествующих пушкинских трудов ученого. В этой статье наиболее интересен, конечно, не весь конспект, а выделения, подчеркивания наиболее значимых для позднего Лотмана моментов: социально-политического кризиса 1823 г., когда в центре размышлений Пушкина оказывались «трагедия безнародного романтического бунта» и «слепота и покорность» «мирных народов»⁴⁷; выхода Пушкина из замкнутого круга «среда обуславливает человека»: «Зависимость от внешней среды — это лишь обязательный низший уровень человеческой личности, борьба со средой за духовную свободу и отказ принимать ее бесчеловечность за норму — удел высокой личности <...>. В «Пире во время чумы» и Председатель, и Священник — оба в трагическом положении: они оба враги и жертвы чумы и оба выше автоматического следования обстоятельствам. Председатель борется с чумой погружением в безудержную свободу, а Священник — призывом к нравственной ответственности. Но свобода и ответственность — две нераздельные стороны единого, и «Пир во время чумы» — единственная из пьес цикла, где борьба враждующих героев заканчивается не гибелью одного из них, а нравственным их примирением»⁴⁸.

Большое место в итоговой статье занимают замечательные открытия Лотмана касательно триады «стихия — кумиры (власть) — люди (народ)» и темы милосердия. А некоторые положения заново раскрыты в статье в своей глубине и перспективности: впервые образ Татьяны так прямо поднят над эпохой и включен в «большое время»: «...героиня как бы воплощает в себе вечные или, по крайней мере, долговременные ценности: моральные устои, национальные и религиозные традиции, героическое самопожертвование и вечную способность любви и верности»⁴⁹ — и впервые обстоятельно освещена тема смерти в творчестве Пушкина, от анализа двойственной роли

⁴⁷ Цит. по кн.: Лотман Ю. М. Пушкин СПб., 1995. С. 194.

⁴⁸ Там же. С. 202.

⁴⁹ Там же. С. 196.

кладбища (тема святыни, родового пристанища предков — и скопища мертвых статуй) до всеобщего противопоставления:

«Жизнь в сознании Пушкина, имеет своими признаками разнообразие, полноту, движение, веселье; смерть — однообразие, ущербность, неподвижность, скуку. Жизнь стремится расшириться, заполняя все новые и новые пространства, смерть — схватить и унести к себе, замкнуть, спрятать <...>».

Жизнь в лирике Пушкина всегда причастность, смерть — выделенность. Причастность чувству другого человека, дружбе, любви, включенность в толпу, поэзию, пейзаж, природу, историю, культуру. Смерть — уход в одиночество, вниз, «в холодные подземные жилища» <...>.

Борьба жизни и смерти отражается в образах движения, застывания, в конфликте текучего и неподвижного. Одновременно возникают противоположные образы: мертвого движения («топот бледного коня») и устойчивости жизни («нет, весь я не умру»). Образы эти могут варьироваться в сложных переплетениях смыслов. Так, могила («отеческие гробы», «гробовой вход»), включенная в непрерывность жизненного, исторического круговорота, воспринимается как образ жизни; творческая мысль подвижна и жизненна — «слова, слова, слова» («Из Пиндемонти») государственной бюрократии мертвы. Пушкина привлекают трагические конфликты проникновения смерти в пространство жизни и героические попытки силой любви, творчества, страсти отвоевать у смерти ее жертву («Заклинание», «Как счастлив я, когда могу покинуть...»). Это вызывает интерес к пограничной сфере, где любовь и смерть переплетаются. Далее для Пушкина отождествление любви и свободы приводит к включению свободы — неволи и всего подчиненного этому образу семантического поля в смысловое пространство жизни — смерти.

Тема жизни и смерти вызывает вне их лежащую, но неразрывно с ними связанную тему бессмертия. Жизнь противостоит бессмертию как включенное во время — вневременному, смерть — как небытие бытию. Смерть — отсутствие существования, бессмертие — вечное бытие. Бессмертие, заключающее в себе внутренний конфликт, имеет противоречивые признаки яркости, гениальности личного существования, расцвета личности и связанной с этим «науки первой» — «читать самого себя» и растворения личного бытия в «равнодушной природе», в бессмертии народной исторической жизни, искусстве и памяти поколений». И затем следует итоговый вывод данных рассуждений, да и всей статьи: «... основной пафос поэзии Пушкина — устремленность к жизни»⁵⁰.

Идеи этой статьи-главы переходят в другие работы позднего Лотмана, как и произведения Пушкина постоянно соотносятся с творчеством других писателей.

⁵⁰ Там же. С. 209—210.

ДРУГИЕ РАБОТЫ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Лотман хорошо сказал о Пушкине, что его на все хватало и всего ему еще не хватало. То же самое он мог сказать и о себе. Хотя Пушкин был в последние два десятилетия творческой жизни ученого его стержневым, главным объектом исследований, но его всегда тянуло вширь, он был любознательно жаден и к другим темам — и к писателям, хронологически близким к Пушкину, и даже к весьма далеко от него отстоящим. Так он постоянно интересовался Лермонтовым, Достоевским, Толстым, Тютчевым, Блоком. И, конечно, — Гоголем. После Пушкина, Карамзина и Радищева Гоголь привлекал самое пристальное внимание ученого.

Думается, что главным притягательным фактором такого внимания было обилие «перевертышей»: фантазмагорические переходы из быта в сказку и наоборот, зыбкие границы добра и зла, истины и лжи и проч., и проч. — то, что в самом деле характерно для творчества Гоголя, — неумолимо притягивало Лотмана. И поразительно, что ученый нашел свои собственные пути анализа гоголевского наследия; ссылок на предшественников в этих новаторских работах мало, хотя Лотман и опирался на замечательные труды Андрея Белого, В. В. Гиппиуса, Г. А. Гуковского. Но не только опирался. Доминантная идея Гуковского о сущности русского классического реализма: человек обусловлен средой и его характер формируется под влиянием среды, — справедливо подвергается со стороны Лотмана серьезным корректировкам, особенно когда речь идет о Гоголе.

Как уже говорилось, в относительно ранних работах относительно молодой Лотман еще не очень «смел» посягать на идею выдающегося учителя. Так было в пушкинских статьях ученого, так и в гоголевских. В программной статье «Художественное пространство в про-

зе Гоголя» (1968; тогда, в первоначальном варианте, статья называлась более длинно: «Проблема художественного пространства...»; следующие публикации представили «усеченное» заглавие) Лотман начинает с почти полного принятия: «Просветительская идея зависимости человека от среды, значение которой для Гоголя (и для классической русской литературы в целом) с таким блеском было показано Г. А. Гуковским...» Но далее, впрочем, говорится, что идея Гуковского характеризует лишь частный случай более общей зависимости персонажа от пространственных семиотических категорий (Лотман. О рус. лит. С. 645).

Несколькими страницами ниже автор идет дальше. Опять подчеркивается «глубокая мысль исследователя» относительно темы «среда обуславливает человека», но она не единственная у писателя: «Однако, наряду с этим, Гоголя интересовала и мгновенная трансформация, резкое, беспереходное изменение человека» (Лотман. О рус. лит. С. 648). Еще ниже автор решительно оспаривает догматизм формулы «среда — человек», правда деликатно перекладывая вину с трудов Гуковского на их трактовку позднейшими интерпретаторами: «Глубокое наблюдение Г. А. Гуковского о связи среды и характера в реалистическом искусстве часто неправильно абсолютизируется, в результате чего одна из исторически конкретных художественных форм объявляется вневременным абсолютом. Причем нормой оказывается даже не Пушкин и не Гоголь, а то, что роднит этих писателей с очерком натуральной школы. В результате происходит непомерное сужение представлений о художественном мышлении русской литературы XIX в.» (Лотман. О рус. лит. С. 656).

И лишь в более поздней статье «Сюжетное пространство русского романа XIX столетия» (1987) Лотман прямо говорит без обиняков: «Вопреки мнению Г. А. Гуковского, концепция безусловного господства среды над волей и поведением личности (и, следовательно, ее моральной безответственности) не присуща реализму XIX в. как таковому. Она рождается лишь в отдельные моменты обостренной полемики и находит свое наиболее адекватное художественное выражение в бессюжетном очерке» (Лотман. О рус. лит. С. 717). А Лотмана как раз больше всего интересовало, как Гоголь, недовольный низменностью и безответственностью «обусловленного» героя («дрянь и тряпка стал всяк человек»), пытается найти способы освобождения личности от пут среды; отсюда обилие взрывов, мгновенных преобразований, «перевертышей» в творчестве писателя, и именно этими аспектами занимается ученый.

Кульминацией такого истолкования Гоголя, тоже своеобразным «взрывом» идей и приемов анализа служит последняя статья Лотмана — «О «реализме» Гоголя». Она создавалась за несколько недель до кончины ученого, в августе—сентябре 1993 г.; Лотман тяжело болел, он уже не мог сам писать, статья продиктована ученицам и уже по-

смертно подготовлена к печати Л. Н. Киселевой и Т. Д. Кузовкиной (первая публикация — в новой серии: «Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение». II. Тарту, 1996).

Статья концентрированно содержит — наверное, нарочито, в отталкивании от благолепного объяснения и личности Гоголя, и его сюжетов и образов — мир взрывов и «перевертышей». Уже само начало статьи парадоксально, в отличие от привычных традиционных вступлений ошарашивает читателя: «Гоголь был лгун». И чуть ниже, в конце первого абзаца: «Есть своеобразный курьез в том, что писатель, ставший знаменем правдивого изображения жизни в русской литературе, и в творчестве, и в быту любил врать» (Лотман. О рус. лит. С. 695). И далее подробно объясняется почти эйнштейновский мир Гоголя, сплошная относительность явлений и истолкований, когда реальность оказывается лишь одной из многих возможностей для писателя, а в целом мир для него — «неисчерпаемый запас возможностей жизни» (Там же. С. 696). Гоголь осмеливался, по Лотману, возвышать себя до Всевышнего, писатель-творец так же создавал мир своих произведений, как и Творец Вселенной.

И вот тут-то и получает объяснение и оправдание тема «вранья»: «Реалистическая тенденция молчаливо подразумевала, что в жизни есть одна-единственная истина и что все, что нельзя назвать истинной, следует именовать ложью. У Гоголя же привычка ко лжи была равнозначна художественному творчеству. Он был, пожалуй, единственным из так называемых реалистов, для которых «истина» перестала быть доминирующим критерием» (Там же. С. 698).

Далее Лотман еще усиливает принцип «относительности», ведь якобы все фундаментальные этические категории подвержены у Гоголя зыбкости и «перевертышиям» (эта статья просто насыщена словами «перевернуть» и «перевернутый»): «Гоголь не дал критерия для того, чтобы отличить ложь от правды <...>. Честность — много-слыйный обман» (Там же. С. 705).

Лотман стремится отделить гоголевский мир «перевертышей» от обычного обмана: «Традиционный лжец — деструктор: он разрушает реальность и поэтому относится к тому же типу литературных персонажей, что и воры, бандиты, бунтари. Противостоящий ему гоголевский образ лжеца носит не деструктивный, а конструктивный характер: он не разрушает уже существующего мира, а создает новый актом своей лжи. Эта ложь — акт творения, поэтому она никогда не реализуется как осуществление заранее запланированного обмана, а всегда представляет собой творческую импровизацию» (Там же. С. 708). Но все-таки зыбкая относительность доминирует в статье ученого: ведь неважно, старый или новый мир конструирует писатель, важно, что он не дает критериев отделения лжи от правды. На самом-то деле дает: Гоголь всегда опирался на христианские заветы, и они проникали не только в публицистику, но и в художественные

тексты. Несколько лет назад, в 1987 г., в статье «Сюжетное пространство русского романа XIX столетия» Лотман сам произносил антирелятивистские тирады применительно к Гоголю, отмечая, что для последнего «была важна вера в прекрасные возможности национальной природы русской души и силу христианской проповеди, которые могут сотворить чудо воскресения и с самыми очерстевшими душами» (Лотман, О рус. лит. С. 723). Думается, что спешная диктовка (Лотману, видимо, так хотелось успеть закончить статью!) создала некоторый односторонний, «релятивистский» уклон в его суждениях; если бы статья создавалась в спокойной обстановке, наверное, ученый включил бы соответствующие противовесы к «относительности». Но между тем сам факт обильного разлива «перевертышей» свидетельствует о неуклонном интересе к ним Лотмана.

Оспаривание ученым всеобщности принципа «среда обуславливает человека» не означает, что он отказался от историзма, от анализа фона и окружения изучаемых объектов, но часто фон и окружение оказываются не причиной, а скорее примерами массовости, распространенности явления. Нагляднейший образец такого метода — статья «О Хлестакове» (1975), где на примере трех реальных врунов первой трети XIX века, врунов, доведших свои обманы до грандиозных размеров (в аферы были вовлечены Николай I и III отделение): братья Дмитрий и Ипполит Завалишины и Роман Медокс — была продемонстрирована российская всамделишная хлестаковщина, доведенная до подлогов, человеческих жертв и каторги. Так что, показывает Лотман, Гоголь не использовал истории лиц, которые можно было бы условно назвать прототипами Хлестакова, а просто русская жизнь той поры, основанная на «двоемирии», на двуличии, лжи, на страхе, способствовала выявлению и житейскому размаху наиболее «талантливых» Хлестаковых.

На примере Гоголя Лотман широко развернул свое представление о художественном пространстве. Первая статья ученого, где пространственные категории включены в нравственные и ценностные описания мира земного и мира небесного (а также, применительно к аду, — мира подземного), вышла в 1965 г. (Семиотика. 2): «О понятии географического пространства в русских средневековых текстах». Еще эта статья важна — хотя и намеченным вскользь, пунктирно, — введенным представлением о перемещении героя в пространстве, о его пути, который, преодолевая пограничные зоны, переносится в другую область, и поэтому пересечение границ становится сюжетобразующим фактором.

Дальнейшее развитие эти идеи получили в статье С. Ю. Неклюдова «К вопросу о связи пространственно-временных отношений с сюжетной структурой в русской былине» («Тезисы докладов во второй летней школе по вторичным моделирующим системам. 16—26 августа 1966». Тарту, 1966. С. 41—45). Здесь уже строго заявлено: «...сюжет



Тарту. Апрель 1978 г.

былины может быть представлен как траектория пространственных перемещений героя» (С. 42). Отметим, что С. Ю. Неклюдов и в заглавии, и в тексте статьи рассматривает не только пространственные, но и временные категории — и сами по себе, и в соотношении с пространственными.

Лотман же, как видно из материалов главы «Бахтин и Лотман», главное внимание в последних статьях уделял пространству, отводя времени побочное место, фактически рассматривая время как вторичную и как бы вытекающую из пространства категорию. В бесспорно программной статье о художественном пространстве Гоголя Лотман прямо говорит о большом значении для него идей С. Ю. Неклюдова, но нигде не развивает временные аспекты, а даже склонен их иногда прямо игнорировать: говоря об отличии героя «степи» от героя «пути», ученый рассматривает первого как имеющего особое движение в пространстве, движение, которое «не имеет и временного признака» (Лотман. О рус. лит. С. 627). А чуть ниже еще один поворот: «...в бытовом пространстве самое движение представляется разновидностью непод-

вижности: оно разбивается на ряд статических поз со скачкообразными — вне художественного времени — переходами от одной к другой» (Там же. С. 632). И в последних строках статьи следует теоретический вывод: «Язык пространственных отношений <...> принадлежит к первичным и основным. Даже временное моделирование часто представляет собой вторичную надстройку над пространственным языком» (Там же. С. 658). Лишь в конце жизни Лотман станет более основательно интересоваться художественным временем, и в поздних работах время если и не займет равного с пространством места, но не будет и игнорироваться.

Зато в программной статье о Гоголе Лотман подробно и разносторонне рассмотрел пространственные аспекты. Здесь и особая топология фантастического пространства и соотнесенность его с обыденным, и «закручивание» плоскости в вогнутую чашу, когда зрители, находившиеся в центре этого странного мира, могли видеть и Карпатские горы, и Крым, и даже Черное море, оказавшееся как бы на вертикальной стенке. Любопытно, что в 1968 г. Лотман еще не расширяет фантастический мир Гоголя до грандиозных размеров, он еще говорит о двух мирах, которые сложно переплетаются в рассказах и повестях писателя. Однако — о какой обыденности может идти речь в «Носе»? Или в «Заколдованном месте»? Лотману хочется «деда» из этого рассказа включить в двоемирие, когда будут заметны переходы из обыденного пространства в сказочный. Но фактически здесь сплошная фантастика; если «дед» в пределах одного хутора, т. е. в окружности в несколько сотен метров, никак не может одновременно лицеизреть голубятню и гумно, то, значит, он обитает в фантазмагорическом пространстве. Как справедливо отмечает Лотман, «сказочный мир как бы *притворяется* обыденным, надевает его маску» (Лотман. О рус. лит. С. 628).

Разлив фантазмагорических образов и сюжетов, обилие притворства и лжи в творчестве писателя будет показано в поздней, итоговой статье ученого «О “реализме” Гоголя». Лотман обычно не создавал целостных трудов о всем наследии того или другого писателя (исключение — книги о Карамзине и Пушкине), ограничиваясь лишь наиболее значительными для литературоведа аспектами. Гоголь, как видно, был важен «притворством», фантастикой, перевертышами; Лермонтов — стремлением художника и мыслителя преодолеть разорванность мира своеобразным тяготением к целостности: и крупномасштабно, определяя политическую географию России, и более суженно, в рамках стихотворения «Выхожу один я на дорогу...», синтезируя самые различные категории (статья «“Фаталист” и проблема Востока и Запада в творчестве Лермонтова», 1985); Тургенев — спецификой своих сюжетов («Проза Тургенева и сюжетное пространство русского романа XIX столетия», 1986; «О сюжетном пространстве русского романа XIX столетия», 1987); Блок — его связями с городс-

ким фольклором, с «цыганщиной» («“Человек природы” в русской литературе XIX века и “цыганская тема” у Блока», 1964, статья в соавторстве с З. Г. Минц; «Блок и народная культура города», 1981); М. Булгаков — философско-пространственным истолкованием Дома, квартиры, бездомности («Дом в “Мастере и Маргарите”», 1983) и т. д.

Некоторые комплекты трудов Лотмана — прежде всего собрание его статей о творчестве Тютчева (из коих две главных: «Поэтический мир Тютчева», 1990; «Заметки по поэтике Тютчева», 1982), — приближаются к целостным трудам о писателе (поэте), являясь аналогом книгам или брошюрам. Кроме того, тютчевский цикл трудов, относясь к позднему периоду деятельности ученого, характеризует новые методологические поиски Лотмана. В статье «Поэтический мир...» он впервые стержнем и центром всего анализа творчества Тютчева сделал проблемы бытия, т. е. онтологические проблемы, а при этом подробно рассмотрел обе ипостаси бытия — пространство и время. Именно в этой статье 1990 г., после многих отдельных частных замечаний в предшествующих работах, Лотман на равных с пространством анализировал художественное время. Крайне удачно, что это осуществилось именно на примере творчества Тютчева; а может быть, именно потому, что ученый приступил к анализу поэзии Тютчева, для которого категория времени была чрезвычайно значимой, он не мог уже, как прежде, говорить о своем предпочтении пространства — и предложил равенство двух категорий бытия. Точно так же творчество Тютчева очень хорошо стимулирует общеполитический онтологический анализ — ведь до статьи 1990 г. Лотман нигде так широко и сосредоточенно не занимался бытийными проблемами творчества. Его статья о Тютчеве характеризовала новый этап в методологическом пути ученого: впервые подробно анализировались онтологические проблемы, впервые художественное время заняло равное место рядом с пространством.

Разнообразие книг и статей Лотмана о русской литературе — по жанрам и по содержанию — почти никогда не было автономным, независимым от семиотико-структуралистских штудий и культурологии. Особенно — от последней. На примере статьи «О Хлестакове» уже говорилось о показе широкой картины хлестаковщины в России. Еще более характерная статья — «Тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века» (1975), где анализ произведений русской литературы, проводимый под углом зрения заглавия (разумеется, больше всего речь идет о пушкинской «Пиковой даме»), связан с ролью карт в русской жизни, с описанием сущности азартных карточных игр, где главное место занимает Случайность, и с введением карточной игры до культурной модели жизни...

Но, пожалуй, самый блистательный пример культурологической сопряженности литературоведческого труда представляет статья «Об «Оде, выбранной из Иова» Ломоносова» (1983). В противовес невнят-

ным толкованиям предшествующих комментаторов, Лотман неожиданно вставил ломоносовскую оду в контекст общеевропейской жизни, от XI до XVII веков, когда стал расти страх перед дьяволом, начались процессы над колдунами и ведьмами (в XVI—XVII вв. «эпидемия» страха и истерии достигла в Западной Европе кульминации)⁵¹. А в начале XVIII в. отголоски «эпидемии» достигли и России (процессы против еретиков и старообрядцев, не считая еще и саможжение раскольников). И Ломоносов, вослед западноевропейским рационалистам, как показывает Лотман, создает в стихах мир разумного Бога-творца, мир, в котором нет места темным дьявольским силам. И жутковатые образы Бегемота и Левиафана, в европейской традиции уже ставшие воплощением Сатаны (кстати — открытие ученого! — в славянской и греческой Библии эти образы отсутствуют, заменены «зверем» и «змием»; Ломоносов специально взял западноевропейские тексты Библии, восходящие к латинской Вульгате), в «Оде» лишены каких бы то ни было мистических ореолов, а просто представлены как диковинные животные, оригинальные божьи создания. Так «Ода» Ломоносова получила разностороннее культурологическое истолкование и нашла точки соприкосновения с, казалось бы, далекими по проблематике сатирами вроде «Гимна бороде»: и ода, и сатира были направлены против опасностей религиозного фанатизма.

В последние годы жизни Лотман создал несколько статей о русской литературе обобщенного характера, они как бы подытоживали представление ученого о внутренних тенденциях развития словесного творчества и о внешних его связях. Применительно к XVIII веку соответствующие разделы о литературе вошли в большую работу ученого, опубликованную уже посмертно: «Очерки по истории русской культуры XVIII — начала XIX века». Она вошла в еще более крупный IV том цикла книг «Из истории русской культуры» (1996), издаваемых московским издательством «Школа «Языки русской культуры»». А главные обобщающие статьи о русской литературе XIX века, впервые появившиеся еще при жизни ученого в научных сборниках, вошли затем в следующий, V том серии (1996), посвященный культуре именно XIX века. О них мы еще будем говорить.

⁵¹ Продолжением этих исследований явилась интересная статья Лотмана «Охота за ведьмами. Семиотика страха», создававшаяся незадолго до кончины ученого и опубликованная М. Ю. Лотманом в новой «Семиотике» (т. 26, 1998). Любопытно, что в цикле лекций «Культура и интеллигенция» для Эстонского телевидения (1989) Лотман разводит давнюю свою антиномичную пару «стыд—страх» таким образом: стыд — нравственный регулятор интеллигента, а страх — чело- века массового, рабского сознания. В «Охоте за ведьмами...» речь идет именно о массовом страхе.

ТРУДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

Лотмана всегда интересовали проблемы восприятия произведений искусства, всегда интересовала семиотическая прагматика. Этот аспект часто возникал в его работах применительно и к литературным текстам, особенно тогда, когда воспринимающий по своему национальному или социокультурному уровню существенно отличался от круга лиц, на которых автор мог рассчитывать воздействовать эстетически с помощью созданного произведения. Ученого интересовала вариативность восприятия и истолкования, возникновение своеобразной игры между автором (текстом) и зрителем—слушателем—читателем. Возникали варианты и при, казалось бы, достаточно строго зафиксированных текстах — словесных, изобразительных, музыкальных.

Новая вариативность и усложненность создавалась при рассмотрении взаимосвязи искусства с жизнью. Лотман рано обратил внимание на двойное влияние — жизни на искусство и искусства на жизнь, — которое особенно становилось заметным в бурные, конфликтные исторические эпохи. Второй том лотмановских «Статей по типологии культуры» (Тарту, 1973) содержал три статьи, и из них только первая — о типологии сюжетов — была литературоведческой, а последующие две сливают культурологию с искусствознанием: «Театр и театральность в строе культуры начала XIX века» и «Сцена и живопись как кодирующие устройства культурного поведения человека начала XIX столетия». Ученый взял как раз один из самых стремительно развивающихся периодов в русской истории, отражавший такое же развитие западноевропейских событий от Французской революции до наполеоновских войн включительно (Наполеон был большой театрал и создавал ритуал своего нового императорского

двора не по образцам дворов французских королей, а по классицистским традициям из античной жизни).

Во второй из названных статей Лотман включает в содержательную пару «театр—жизнь» еще третий компонент, «живопись», который и в виде декораций, и в виде общежанрового воздействия на сцену (когда в театр входит дискретность, разрушающая обычную непрерывность, и когда усиливается статуарность поз актеров) тоже влияет на культурную жизнь эпохи. В более общем теоретическом виде этот «треугольник» рассмотрен Лотманом в статье «Театральный язык и живопись (К проблеме иконической риторики)» (1979).

Замечательным вариантом исследования темы «Театр и живопись» явилась оригинальная статья Лотмана о лубке — «Художественная природа русских народных картинок» (1976). Если в предыдущей названной статье автор рассматривал, главным образом, влияние живописи на театр (специфический обратный случай: демонстрация серии декораций в виде зрелища — исключение из правила), то здесь речь идет о противоположной тенденции. Лотман опирается на серьезную литературу вопроса, где рассматривается театральность лубка; иногда на картинке сам сюжет рисовался как бы происходящим на сцене: с барьером рампы, с площадками огня вдоль нижней кромки изображаемого и, иногда, даже с головами зрителей.

Опять же, Лотмана издавна привлекала двойная отраженность в культуре, прежде всего — в искусстве, т. е. когда создается отражение отражения, изображение изображения. Позднее, к концу жизни ученого, этот интерес выльется в создание специального тома «Семиотики» (22, 1988) под общим названием «Зеркало»; том открывался редакционной статьей без подписи (написана, известно было, самим Лотманом) «К семиотике зеркала и зазеркальности».

А в статье о лубке Лотман чуть ли не впервые подробно остановился на двойном отражении: художник изобразил на картинке не живую жизнь, а ее интерпретацию в театральной постановке, поэтому создалось изображение изображения, знак стал двойным (знак знака). Но даже и вне непосредственного театрального обрамления лубочные рисунки приобретают динамический характер, ибо предполагают словесно-раешный комментарий к изображаемому: иногда этот словесный текст впечатан на самой картинке, иногда подразумевался прибауточный талант показывающего рисунки (кстати, если показ происходил в рыночно-балаганных, а не домашних условиях, то тем более он сближал лубок с театром: плата за вход, скамьи для зрителей, рассказ ведущего о событиях и т. д.).

Некоторая отделенность, как бы подразумеваемая, зрителей, находившихся в балагане, от демонстрируемой картины полностью стирается в домашнем быту. Лотман подчеркивает, что многие лубочные картинки специально предназначались для ошупывания, держания в руках, вращения и даже перевертывания: на обороте ри-

совались назидательные соответствия; скажем, на лицевой стороне листа — щеголь и щеголиха, а сзади — два черепа. Лубок предполагал активизацию зрителей и слушателей, их включение в жизнь произведения.

В статье «Блок и народная культура города» (1981) Лотман хорошо показал отличие «фольклорных» зрителей и слушателей от выполняющей сходные функции «культурной» аудитории: народ в балагане, кинематографе активно вторгался в сюжет криками, свистом, топотом, народ стирал условные границы и тоже становился участником действия. Рассматривание и ощупывание лубочных картинок тоже расшатывало пассивность аудитории, здесь тоже стирались границы и аудитория вовлекалась в жизнь произведения.

В статье о Блоке Лотман еще интересно отличил куклу от статуи: «Скульптура рассчитана на созерцание: она монолог, который должен быть услышан, но не требует ответа, она — сообщение, которое адресат должен получить. Игрушка, кукла не ставится на постамент — ее надо вертеть в руках, трогать, сажать или ставить, с ней надо разговаривать и за нее отвечать. Короче, на статую надо смотреть, с куклой следует играть. Игра не подразумевает зрителей и монологического отправителя — она знает участников, активно вовлеченных в общее действие. Играющий — соавтор текста. А самый текст не есть нечто изначально данное, которое следует получить: текст «разыгрывается», т. е. возникает в процессе игры»⁵². Точно так же лубочную картинку следует отличать от картины художника, висящей на стене: ту следует созерцать, не касаясь (как нервно взвинчиваются сотрудники музеев, когда видят потенциальную опасность — зритель слишком приблизился к картине или статуе!), а лубок не только можно, но и нужно трогать.

Несколько ранее статьи о Блоке Лотман написал специальную статью «Куклы в системе культуры» (1978), где конспективно изложил свои представления о сложных и разнообразных аспектах существования кукол, в том числе и — в противовес симпатичным «фольклорным» и «детским» способам, рассмотренным в статье о Блоке, — о чертах, вводящих мир кукол в механическую цивилизацию, омертвляющих живой облик. А далее Лотман опять рассматривает полюболюбившуюся ему тему «удвоения» — это роль куклы в кукольном театре, ибо там кукла изображает не столько «живого» персонажа, сколько актера, играющего роль данного персонажа.

На теме удвоения построены и еще две искусствоведческие статьи Лотмана, как и статья о куклах, несколько неожиданные по жанру для незнакомых с поразительным универсализмом ученого: «Натюрморт в перспективе семиотики» (1986) и «Портрет» (1997). Казалось бы, о каком удвоении может идти речь при рассмотрении натюрмор-

⁵² Блоковский сб. IV. Тарту, 1981. С. 11.

та, если в основу этого жанра положены «чистые» предметы, вещи? А материализованная вещь становится как бы незнаковой, перво-зданно-природной... Но Лотман, рассматривая мир культуры, мир знаков, и первозданную вещь включает в нее; таким образом, получается, что внесемиотичность вещи в мире семиотики тоже становится своеобразным знаком — знаком отсутствия знака. Удвоение, по Лотману, возможно и на нулях, и на минусах, важно, что выключение в семиотической сфере тоже знаково. Впрочем, он рассматривает в статье и «буквальные» удвоения, когда в натюрморт включаются не только «вещи», но и рисунки и когда таким образом создается прямое отражение отражения. А далее ученый классифицирует, сближает и отдаляет другие понятия, собранные им вокруг натюрморта: эмблему, аллереорию, слово, аналитическую и синтетическую тенденцию в натюрморте XX века (разложение целого на части в кубическом рисунке, подобно слову у футуристов, и синтез в натюрморте у Сезанна, подобно фразе на языке, где мы знаем грамматические связи, но не знаем смысла слов).

И эти уже неожиданные для всех градации и сравнения кончают-ся совсем уже необычно, свидетельствуя, что автор статьи — не только искусствовед, но и филолог: «...вещь в сюжетной картине ведет себя как вещь в театре, вещь в натюрморте — как вещь в кино. В первом случае — с ней играют, во втором — она играет. В первом случае она не имеет самостоятельного значения, а получает его от смысла сценического действия, она — местоимение. Во втором она — имя собственное, наделена собственным значением и как бы включена в интимный мир зрителя. Натюрморт обычно приводят как наименее «литературный» вид живописи. Можно было бы сказать, что это наиболее «лингвистический» ее вид. Не случайно интерес к натюрморту, как правило, совпадает с периодами, когда вопрос изучения искусством своего собственного языка становится осознанной проблемой»⁵³.

В «Портрете» Лотман тоже вводит филологию (более узко — художественную литературу) в живопись и тоже создает оригинальные синтезирующие конструкции: «Необходимость именно в портретной технике совершать как бы перескок из живописи в поэзию или из поэзии в музыку вытекает из самой природы художественной полифонии портрета. Не случайно портрет — наиболее «метафорический» жанр живописи»⁵⁴. Потом ученый как бы возвращается к самым ранним своим структуралистским положениям и методам анализа: единое в разнообразном, несходное в сходном, разнообразие в единообразии, но далее такое «двойничество» переходит в новые для исследователя области, столь ему полюбившиеся: удвоение портретов сходно-контрастными фигурами, диалектическая сложность в соотношении в эпоху

⁵³ Цит. по кн.: Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 499—500.

⁵⁴ Там же. С. 504.

Возрождения иконы и портрета, не меньшая сложность при внесении в портрет психологических особенностей и т. д. — Лотман схематично прослеживает развитие портрета до XX века. Заканчивается статья параллелями с театром и кинематографом.

Недаром Лотман так часто в искусствоведческих статьях обращается к кино. Кстати, и не только в искусствоведческих — в литературоведческих тоже. В теоретико-литературоведческую книгу «Структура художественного текста» (1970) входили «киношные» понятия монтажа, сюжета, плана, точек зрения, а в главу «Композиция словесного художественного произведения» был включен специальный раздел «Кинематографическое понятие «план» и литературный текст». Лотман с юных лет любил кино, обожал Чарли Чаплина, а когда стал заниматься видами искусства как теоретик и историк, он не мог обойти и кинематограф. Этот интерес совпал и с началом семиотических штудий ученого — и таким образом появилась на свет уникальная книга «Семиотика кино и проблемы киноэстетики», которая ни при какой тогдашней московской или ленинградской (не говоря уже о нашей провинции!) погоде не могла бы быть подцензурно напечатана; но в Эстонии погода чуть-чуть отличалась, и книга смогла появиться в Таллине в 1973 году.

Кино, пожалуй, самое синтетическое из всех видов искусства. Оно основано прежде всего на показе движения, оно не статично (а может лишь показывать, по заданию, застывший мир), а на эту основную динамику потом налагались последовательно театр, превращение черно-белого изображения в цветное, звуки и даже иллюзия объемности, трехмерности. А при этом кино хорошо отображает семиотическую сущность нашей культуры: оно обильно теперь представляет оба вида знаков — иконические, т. е. изобразительные, и условные, характеризующие человеческий язык (в современном кино слова могут передаваться двояко — и, по старинке, в виде надписей, и в звуковом варианте; любопытен синтез в некоторых фильмах с переводом на другой язык: звуковая стихия фильма-подлинника не затронута, актеры говорят на своем языке, а перевод, конечно сокращенный, дается титрами внизу соответствующих кадров). Системы знаков, их соотношение между собой, их восприятие зрителем — все это дает богатый материал для теоретика-семиотика.

Кино очень ценно и для структуралиста: специфика сюжетно-композиционного построения фильма, особенности монтажа, смена «планов» изображения и точек зрения оператора позволяют почти всегда четко «сегментировать» текст кинофильма, т. е. разрезать целостный поток во времени на отдельные «сегменты», «кадры», превращающиеся в данной структуралистской системе в первоэлементы, составляющие сложные конфигурации во взаимодействии друг с другом.

Все эти аспекты (и многие другие) рассмотрены в книге Лотмана. Кино являлось хорошим объектом для семиотико-структурали-

стских штудий. Опираясь на ценные работы предшественников таких исследований, особенно — на новаторские труды С. Эйзенштейна, Лотман вносит и свой вклад, главным образом — в сюжетологию. Например, в главе «Сюжет в кино» автор выделяет четыре ступени, четыре уровня синтагматических связей первоэлементов. Первый, самый низший, — уровень монтажа отдельных кадров. Второй — появление значения, это кинематографическая фраза (типа лингвистического предложения или значимого слова, заменяющего предложение). Третий — соединение фраз в сверхфразовое единство, типа лингвистического абзаца. Четвертый — уровень сюжета. Эта градация, естественно, может быть использована при структуралистских исследованиях и чисто словесных текстов вне кино. Выходят по значению за рамки киноведения и главы «Борьба со временем» и «Борьба с пространством».

Книга Лотмана имела большой успех, трехтысячный ее тираж был немедленно раскуплен, книга тут же стала переводиться на основные западноевропейские языки. А двадцать лет спустя, в 1994 г., в том же Таллине вышла в свет новая книга: *Юрий Лотман, Юрий Цивьян. Диалог с экраном*. Это не второе издание первой книги, а совсем новый труд, лишь опирающийся на первый. Ни в предисловии, ни в заключении нигде не говорится о степени участия каждого из авторов в создании новой книги, но так как в девяностых годах Лотман уже тяжело болел, а книга вышла вообще после его кончины, то читателю нетрудно предположить, что все же основная работа велась соавтором. Книга получилась полезная, она является как бы кратким популярным киноруководством, учит основным понятиям и терминам киноискусства и дает краткую историю его развития.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И АРТНИКА

Уже после выхода в свет книги о кино в 1973 г. Лотман написал статью «Место киноискусства в механизме культуры» (опубликована: Семиотика. 8. 1977). Ее смысл заключается в возвышении кино до уровня культурного метаязыка, т. е. языка второго уровня, языка, описывающего язык. Речь идет и о прямых фактах метаискусства — когда в кино показывается кино, и об эпохах, когда какой-либо вид искусства становится главенствующим, вторгается во все области культуры и тем самым становится как бы языком ее описания. Киноискусство, считает Лотман, в последних десятилетия занимает такое ведущее положение и вполне может быть рассмотрено как метаязык современной культуры (добавим от себя, что с восьмидесятых годов идет мощное вытеснение кинематографа телевидением, как будто бы родным братом, но на самом деле весьма специфическим — и выходящим далеко за рамки искусства; Лотман стоял лишь в самом начале этой новой стадии, констатировал ее появление⁵⁵, но не успел серьезно осмыслить ее новаторство).

Различные аспекты метаязыков стали интересовать Лотмана уже на ранних стадиях его семиотико-структуралистских штудий, а в семидесятых годах они заняли ведущее место. Программная статья, написанная вместе с Б. А. Успенским, — «Миф-имя-культура» (Семиотика. 6. 1973) — начинается с анализа двух видов метаописаний: *метаязык*, когда создается логический язык «дескриптивного» типа,

⁵⁵ «А в настоящее время прибавилась еще оппозиция: кино/телевидение». — Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 165. Книга писалась в конце 1980-х гг. для ее английского издания: Lotman Yuri M. Universe of the Mind: a Semiotic Theory of Culture. London; New York. 1990.

и *метатекст*, способствующий изоморфизму между его языком и языком описывающим, это область мифологических текстов и метатекстов. Лотман и сам не только декларировал дефиниции, но и широко пользовался метаязыками.

Проблема культурного (особенно в области художественного творчества) метаязыка все больше стала занимать Лотмана в семидесятых годах, и он живо подключился к группам ученых, объединившихся на метаязыковых интересах вокруг кафедры кибернетики и вычислительной техники Ленинградского института авиаприборов. История «открытия» этой кафедры такова.

24 февраля 1971 г. я читал в ленинградском Доме ученых на Дворцовой набережной публичную лекцию «Кибернетика и литературоведение», где излагал основные положения своей книги под тем же названием (предполагал ее издать под эгидой академической комиссии по комплексному изучению художественного творчества, созданной тогда проф. Б. С. Мейлахом, но он, опасаясь идеологических нападков со стороны партийных ортодоксов, предложил мне столько «марксистских» вставок и оговорок, что я отказался поганить текст и забрал книгу — так она и лежит у меня до сих пор, позднейшая попытка выпустить ее в более популярном варианте в издательстве «Просвещение» также закончилась безрезультатно). Во время лекции я заметил в первом ряду присутствовавших незнакомого молодого человека, внимательно слушавшего и делавшего какие-то пометы в блокноте, а по окончании лекции именно он больше всех задавал толковых и интересных вопросов.

Познакомились, естественно. Коллега оказался профессором Михаилом Борисовичем Игнатьевым, уже тогда заведующим кафедрой кибернетики и вычислительной техники — эту кафедру он возглавляет до сих пор, хотя институт получил теперь название Университета (полное и точное название: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения; а кафедра теперь именуется — вычислительных систем).

Михаил Борисович тут же предложил мне сделать доклад у них на кафедре — и 5 марта 1971 г. я впервые пришел на кафедру института, вовсе мне не чужого, а почти альма-матер — в 1947 г. я ушел с 5-го курса этого института, увлекшись на всю жизнь филологической наукой.

Завязалась научная дружба с талантливым коллективом молодых энтузиастов. Оказалось, что М. Б. Игнатьева и его товарищей по кафедре обуревало не простое любопытство по отношению к экзотическому использованию кибернетических идей в литературоведении, но тревожные раздумья о будущих перспективах своей науки. Непрерывное увеличение объема и скорости переработки информации современных вычислительных машин заставляло специалистов думать об усложнении «пищи», предлагаемой машинам, а также и об услож-

нении задач. М. Б. Игнатъев давно интуитивно понял, что гуманитарные сферы, особенно — художественное творчество, могут дать новый и богатый материал для кибернетической техники. На ловца и зверь бежит — наше знакомство оказалось взаимно полезным.

М. Б. Игнатъева интересовала и одна более узкая практическая область, важная для научных исследований кафедры. Сотрудники получили тогда интереснейшее задание: разработать конструкции роботов для освоения Луны. Потрясшие мир посадки на Луну американских космонавтов с помощью кораблей «Аполлон», советские и американские управляемые луноходы будоражили умы уже не фантастов, а деятелей науки и техники, в институтах и военных конструкторских бюро начинали планировать будущие лунные поселки, которые первоначально, думалось, будут создаваться с помощью бригад роботов. А когда речь зашла о *коллективе* роботов, где необходимо было создать принципы и способы общения, серию команд и ответов и даже целую сюжетную систему взаимного поведения группы роботов с учетом «лидеров» и «рядовых» и т. д. и т. п., — то кибернетикам было впору обратиться к литературоведам за помощью в освоении и общих законов сюжетосложения, и структурно-семиотических способов построения сюжетной «речи», а это требовало выделения набора соизмеримых первоэлементов «речи» и способов сегментации, т. е. разрезания общего речевого потока на отдельные сегменты. Поэтому так удачно и своевременно произошло знакомство кибернетиков и литературоведов.

Игнатъев обладал немалыми средствами для оплаты заказываемых работ. Его кафедра, находившаяся в контакте со многими военными организациями, заинтересованными в различных исследованиях с применением вычислительной техники, постоянно получала так называемые хоздоговоры: соответствующие бюджетные организации заказывали кафедре на год или даже на несколько лет определенный круг работ, кафедра выделяла группу сотрудников (часто под хоздоговор можно было приглашать и внештатных участников), часть хоздоговорных денег шла, естественно, на зарплату, а другая, более значительная часть переходила в пользу вуза, могла использоваться кафедрой на командировки, приобретение оборудования и материалов, связанных с данной тематикой. И когда речь шла о больших миллионных суммах, то заведующему кафедрой нетрудно было из тех громадных денег выделять несколько десятков тысяч рублей на своеобразный субхоздоговор, т. е. когда уже сама кафедра заказывала другой организации соответствующий комплект заданий.

Я тогда заведовал кафедрой русской литературы Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, и, получив просьбу-задание Игнатъева разрабатывать сюжетно-структуралистские принципы, нужные для будущих лунных роботов, оформив официальный хоздоговор, смог подобрать при кафедре замечательный коллектив из

преподавателей-почасовиков и аспирантов, который с энтузиазмом взялся за труд. Хоздоговор наш официально назывался «Алгоритмизация внешнего поведения сложных систем типа робот-манипулятор на основе структурных методов». Естественно, я рассказал Игнатьеву о деятельности Лотмана, познакомил их при первом же приезде Лотмана в Ленинград, кафедра Игнатьева предложила и тартуской кафедре хоздоговорные отношения, и Лотман и при своей кафедре организовал группу молодых сотрудников. Тартуская группа занялась более теоретическими проблемами по сравнению с ленинградской: в центре внимания группы стали общие проблемы культурологии и проблемы языков описания разных культурологических сфер, т. е. проблемы *метаязыков*.

Официальное название тартуского хоздоговора вначале было приблизительно таким же, как и наше: «Робот и семиотическое моделирование сложных форм поведения», а в 1975 г. (последний год хоздоговоров) название приблизилось к реальным разработкам: «Робот и семиотическое моделирование (семиотика поведения и типология культуры)».

Приведу оглавление двух годовых отчетов Лотмана и его группы, являющихся как бы конспектом проделанной работы:

1974

Введение.

1. Проблема индивидуального поведения машины.
2. Проблема разумного поведения машины.
3. Проблема изучения культуры как целого и искусственный интеллект.

4. Два аспекта изучения культуры и технический прогресс.

Раздел I. Культура и проблемы поведения систем большой сложности. Динамическое моделирование сложного поведения.

Поведение как язык (поведение как семиотическая система).

Раздел II. Метамеханизмы культуры как саморегулирующее устройство.

Динамическая модель семиотической системы.

Структура и функция метамеханизмов культуры.

Тенденция к росту разнообразия.

Тенденция к росту единообразия.

Кинематограф и проблемы метаязыковых механизмов культуры.

Кинематограф и мифологический язык.

1975

Гл. I. Проблемы искусственного интеллекта и семиотическая типология культур.

Введение.

Определение интеллекта.

Множественность интеллектуальных систем.

Структура творческого интеллекта.

Выбор оптимальных языков и проблема перевода.

Понятие «ИЛ» — интеллектуальная личность.

Метамеханизмы культуры и проблемы искусственного интеллекта.

ЭВМ и метаязыковые образования современной культуры. Сращивание коллективного и искусственного интеллектов.

Структура блока ассоциативного перевода и механизмы ассоциативного сознания.

Несколько замечаний относительно структуры предложенной модели.

Гл. II. Проблемы типологии культуры и изоморфизм интеллектуальных архетипов.

Семиотические компоненты культуры и проблемы коллективной психологии.

О редукции и разворачивании знаковых систем (К проблеме «Фрейдизм и семиотическая культурология»).

Краткие выводы.

Гл. III. Модели и программы поведения в свете типологии культур.

Модели поведения и типология культуры.

К семиотической типологии русской культуры XVIII века.

Поведение как семиотическая категория. Программирование бытового поведения в русской культуре XVIII столетия.

Литературные тексты как программа бытового поведения человека декабристской эпохи.

Краткие выводы.

Как видно, целый ряд глав и разделов (например, «Динамическая модель семиотической системы», «О редукции и разворачивании знаковых систем...», разделы о бытовом поведении XVIII — начала XIX в.) или одновременно публиковался в научных изданиях Тартуского университета, или готовился к публикации. Некоторые же, например о механизмах ассоциативного сознания, не нашли полного печатного осуществления. Многие в этих трудах лишь заявлялось и намечалось.

Лотману принадлежит честь придумать первое название для нашей «околокибернетической» науки, собственно говоря, еще до реального ее появления.

На заре семиотических исследований Лотман получил из официальной газеты «Советская Эстония» просьбу откликнуться на письмо некоего помощника машиниста дизель-поезда И. Семенникова: этот читатель газеты (неважно, мифический или реальный) заинтересовался, что это за наука такая — семиотика; Лотман тут же откликнулся популярной статьей «Люди и знаки» («Советская Эстония», 1969, № 27; статья недавно перепечатана: «Вышгород», Тал-

линн, 1998, № 3. С. 133—138). Заканчивается статья интересным вопросом-прогнозом: «Не возникнет ли когда-либо «артистика» — наука, изучающая законы художественных конструкций для «прививки» некоторых их свойств системам по передаче и хранению информации?»

А два года спустя, когда мы уже приступили к хозяйственным работам, мы коллективно назвали такую науку «артоникой», ближе к «бионике»: бионика — наука, исследующая те системы живых существ, которые достигли совершенства в процессе многовековой эволюции и которые можно использовать в механике, в технике; а наша наука, названная по корню «искусство» (латинское «арс», «артис»), обращает внимание на какие-либо структурно-системные построения в художественных сферах, от литературы до живописи и музыки, которые можно было бы использовать в кибернетике и теории информации.

К сожалению, через три с половиной года после начала, в 1976 г., наши хозяйственные исследования были прекращены по приказанию чиновника. Проректор по науке Института авиаприборов В. В. Хрушев, проверявший как-то отчеты кафедр о хозяйственных договорах, натолкнулся на материалы кафедры кибернетики и был крайне изумлен, увидев, что кафедра заказывает каким-то гуманитариям непонятные темы. Он своей начальственной волей тут же запретил Игнатьеву тратить государственные деньги на какую-то там гуманитарную, не принял никаких оправдательных разъяснений. Однако, несмотря на запрет официальных контактов, все участники продолжали трудиться в новых областях.

Своеобразным обобщающим итогом того этапа явилась наша коллективная статья: *Б. Ф. Егоров, М. Б. Игнатьев, Ю. М. Лотман. Искусственный интеллект как метамеханизм культуры*. Она в свое время не была опубликована, пролежала свыше 20 лет в моем архиве и лишь недавно была оттуда извлечена и опубликована («Russian Studies», СПб., 1995, № 4. С. 277—287). Основные идеи «метаязыкового» характера принадлежат Лотману (многие из них рассыпаны по страницам упомянутых отчетов по хозяйственным работам); Игнатьеву — техногенные и технологические проблемы, третьему соавтору — исторические экскурсы и природный уклон.

Искусственный интеллект рассматривается в статье не столько как искусственно сконструированный механизм (хотя и такие аспекты имеют место в современной цивилизации), сколько как органично, естественно развивающееся явление: от естественного индивидуального интеллекта — к созданию сверхиндивидуальных интеллектуальных систем, т. е. человеческой культуры, а нарастание в этой культуре еще более сложных образований приводит к созданию метасистем, которые и возможно трактовать как искусственный интеллект. И таким образом создается сложное диалектическое равнове-



В. С. Баевский, Кязь Лотман (жена Алексея) с ребенком, З. Г. Минц,
Г. М. Лотман, Ю. М. Лотман. Октябрь 1980 г.

сие, где важна именно соотнесенность и урегулированность частей: «Динамичность и устойчивость культуры как целого подразумевает параллельно с увеличением мощности метасистемы увеличение разнообразия подсистем и их относительной самостоятельности. «Победа» подсистем над метасистемой является источником распада культуры как единой личности (культурная «шизофрения»). «Победа» метасистемы над разнообразием и относительной неупорядоченностью — индивидуальностью — частных подсистем означает окостенение системы, смерть» (С. 281).

Авторы подчеркивали еще драматизм культурного, технического прогресса: «Появление письменности (а тем более — книгопечатания) явилось колоссальным общественным прогрессом, так как оно преодолеvalo эфемерность научных открытий и художественных произведений, давало возможность в любое время любому грамотно-

му человеку воспроизвести забытый текст. Но одновременно чтение в одиночку лишило людей радости и эффективности общения с учителем или сочинителем. Телевизоры, магнитофоны, проигрыватели (опять же при громадной прогрессивности и массовости их) усилили эту тенденцию к уединению. (Ср. подобную двойственность программированного обучения.) Некоторой компенсацией служит всеобщая телефонная связь, имеющая тенденцию превращаться в видеотелефонную. Однако это лишь паллиатив, не способный полностью восстановить прямые, непосредственные человеческие связи.

С другой стороны, нарастание культурной семиотичности, наращивание над первичным слоем жизни вторичных, третичных и т. д. уровней метакультуры еще больше вытесняет из быта внесемиотические формы коммуникации, в том числе и общение человека с человеком и природной средой.

Обе тенденции вызывают в человеке эмоции, которые можно назвать «комплексом блудного сына»: острое, яркое переживание возвратов к общественным контактам, к природе и т. п.» (С. 284—285).

Значит, с одной стороны, человек стремится все больше расширить область «искусственного интеллекта» и вообще всю семиотическую сферу, а с другой — все чаще обращается к внезаковым коммуникациям с природой, и здесь парадоксально двойственную роль играет искусство: оно и увеличивает метаязыковые уровни, т. е. тем самым и «искусственный интеллект», и в то же время соприкосновением с первичными внезаковыми структурами ведет человека в природную, естественную область. Так что «искусственный интеллект» никогда не поглотит всю культуру, он как бы представляет собой «дугу», охватывающую очень многие области, и, конечно, никогда не поглотит «природу»; эта «дуга» расширяется и упрочивается в человеческом обществе, но не сможет превратиться в полный круг, в охватывание всей человеческой деятельности.

Эти идеи, которые в разных центральных и побочных вариантах разрабатывались в дальнейшем и Лотманом, и его соавторами, тогда, в середине семидесятых годов, были впервые так концентрированно изложены в статье-конспекте. Жаль, что текст не был опубликован, время было не очень подходящим для таких теоретических обобщений вне оглядки на «марксистские» установки.

ЛОТМАН В 1980-Х И НАЧАЛЕ 1990-Х ГОДОВ

Отстранение Лотмана от заведования кафедрой русской литературы (1977) и перевод его на кафедру теории литературы, принадлежавшую к отделению эстонской филологии (1980), оказалось чисто формальным, бюрократическим деянием, фактически ученый преподавал по-прежнему на отделении русской филологии и неформально руководил родной кафедрой.

В восьмидесятых годах, по сообщению Л. Н. Киселевой, лишь частично уменьшилась учебная нагрузка профессора: с середины десятилетия количество часов в неделю сократилось до 6—8 часов, и лишь в девяностых годах уже больной Лотман читал четыре, а под конец — два часа в неделю. Приводим, по данным Л. Н. Киселевой, список спецкурсов, прочитанных Лотманом по линии кафедры русской литературы:

1980/81 уч. год. Русская философская лирика (Творчество Баратынского. Творчество Тютчева).

1981/82. Литературная жизнь XVIII — начала XIX в. (реальное функционирование литературы).

1982/83. Теория прозы.

1983/84. «Письма русского путешественника».

1984/85. Творчество Гоголя.

1985/86. Русская литература в контексте мировой культуры (XVIII — 1-я половина XIX в.). Проблема «Россия и Запад».

1986/87. Поэмы Пушкина.

1987/88. Введение в семиотику культуры.

1988/89, 1-й семестр. Эпоха декабристов (1814—1826).

1989/90, 2-й семестр. Творчество Пушкина 1830-х гг.

1991/92, 1-й семестр. Взрывные процессы в культуре.

2-й семестр. Незавершенные замыслы Пушкина.

1992/93. «Евгений Онегин».

Последнюю лекцию в своей жизни Лотман прочитал именно по этому спецкурсу — 12 мая 1993 года⁵⁶.

Изумительно, что, несмотря на все притеснения, удавалось и у нового ректора А. Коопа постоянно добывать новые ставки — и не только преподавательские, но и как бы академические, для научных работников. О расширении штата кафедры в 1970-х гг. уже говорилось, а здесь процитирую соответствующий абзац из документально насыщенной статьи Л. Киселевой «Кафедра принадлежит истории культуры»: «В 1980—90-е гг. пришли на кафедру М. Б. Плюханова (1980—1994), О. Г. Костанди (1980—1988), Ю. К. Пярли (1983—1997), Л. Л. Пильд, Р. Г. Лейбов, Е. А. Погосян (с 1988), А. А. Данилевский (с 1990), М. Ю. Лотман (1991—1992), П. Г. Торопыгин (1993—1995). С 1980 г. работает в различных административных подразделениях Г. М. Пономарева (с 1993 — ст. научный сотрудник кафедры), с 1990 г. — Т. Д. Кузовкина (с 1997 — научный сотрудник кафедры). Большую роль сыграли в истории кафедры П. А. Руднев (1968—1972), Е. В. Петровская (1980—1981), А. М. Штейнгольд (1983—1985), работавшие временно, а также А. Ф. Белоусов (1970—1977), работавший по договору» («Вышгород», 1998, № 3. С. 13).

Была ключом научная жизнь кафедры (Лотман любил графически изображать приемы «реализации метафор» — в данном случае рисовал громадный ключ от двери, коим некто бил по голове самого художника...). Извлекаем из большого списка тартуских конференций и семинаров, которые организовывала кафедра русской литературы или, по крайней мере, в которых принимала участие, именно те, где выступал Лотман (список — в том же номере журнала «Вышгород»). Точные даты и названия докладов и выступлений не всегда удавалось установить, но некоторые названия найдены по сохранившимся программам и тезисам конференций.

13—15 марта 1981 г. Участие в семиотическом семинаре «Функциональный параллелизм между асимметрией функций больших полушарий (мозга) и семиотической асимметрией культуры как механизма коллективного сознания».

2 марта 1982 г. Доклад «Проблемы симметрии и диалог» на семиотическом семинаре.

13 декабря 1982 г. Доклад «Семиотические аспекты массового сознания» на семиотическом семинаре.

15 декабря 1982 г. Доклад «К предыстории современных семиотических идей» на конференции «Филологические науки в Тартуском университете».

⁵⁶ Киселева Л. Академическая деятельность Ю. М. Лотмана в Тартуском университете. — «Slavica Tergestina». 4. Trieste, 1996. P. 10—11.

11—13 февраля 1983 г. Вступительное слово на семинаре по семиотике и типологии петербургской культуры.

Февраль 1983 г. Доклад на чтениях, посвященных 200-летию со дня рождения В. А. Жуковского.

21—23 декабря 1983 г. Доклад на семинаре «Функциональная асимметрия интеллектуальных систем», посвященном памяти Л. Я. Балонова (1917—1983).

9 апреля 1984 г. Доклад «Об авторстве полученного Пушкиным пасквиля» на заседании кафедры.

1 декабря 1984 г. Доклад «Книга как объект культуры» на заседании кафедры.

16—17 февраля 1985 г. Доклад «К проблеме символа» на конференции «1905 год и русский символизм».

24—26 июня 1986 г. Доклад на летней школе по вторичным моделирующим системам в Кяэрику.

28—30 ноября 1986 г. Доклад «Ломоносов и некоторые вопросы своеобразия русской культуры XVIII века» на конференции «М. В. Ломоносов и русская культура», посвященной 275-летию со дня его рождения.

Март 1987 г. Доклад на семинаре «Язык кино».

1 апреля 1987 г. Участие в вечере, посвященном 100-летию со дня рождения Б. В. Правдина.

13—15 ноября 1987 г. Доклад на Пушкинских чтениях.

15—17 декабря 1989 г. Доклад «В перспективе Французской революции» на конференции «Великая Французская революция и пути русского освободительного движения».

22—24 марта 1991 г. Доклад на конференции «А. А. Блок и русский постсимволизм».

24—25 января 1992 г. Доклад «Основы культуры имперского периода» на конференции «Классицизм как тенденция культурного развития».

10—13 июня 1993 г. Лекция на международном семинаре «“Свое” и “чужое” в литературе и культуре». (Это — последнее выступление Лотмана на научном собрании).

В добавление к тартускому списку привожу окончание московского списка, составленного по моей просьбе Ф. С. Сонкиной:

20 января 1981 г. Доклад в Институте славяноведения АН СССР «Реконструкция замысла Пушкина о Христе».

21 января 1982 г. Доклад в Институте славяноведения на сессии, посвященной 20-летию первого семиотического симпозиума, «Об асимметрии полушарий мозга».

27 ноября 1982 г. Доклад в Доме ученых на чтениях в честь 75-летия Д. С. Лихачева.

1 и 6 февраля 1983 г. Выступления на научной сессии в Гос. музее изобразительных искусств им. Пушкина, посвященной художественному пространству (а фактически — П. Флоренскому).

21 мая 1984 г. В ГМИИ им. Пушкина на Випперовских чтениях доклад «Натюрморт и малый мир».

3 декабря 1984 г. В Институте истории искусств доклад «Преемственность культур как семиотическая категория».

До 16 декабря 1984 г. Доклад в ГМИИ им. Пушкина о русском романе на сессии, посвященной 150-летию написания «Пиковой дамы» Пушкина — «Мир “Пиковой дамы”».

Между 3 и 6 июня 1985 г. Закрытый симпозиум с японцами.

7 июня 1985 г. Доклад в Институте славяноведения, на сессии, посвященной памяти И. И. Ревзина.

5 февраля 1987 г. Доклад в ИМЛИ о Пушкине.

Из ленинградских выступлений Лотмана могу отметить лишь его доклад о своих работах и методах в Доме писателей (12 апреля 1992 г.), собравший полный зал слушателей в еще не сгоревшем тогда Шереметьевском дворце на Шпалерной улице (все желающие не поместились в зале; радиофицированные холлы вокруг зала позволили всем слышать Лотмана). Это был последний приезд ученого в Питер.

Кафедра старалась добиваться реализации своей обильной научной продукции. Это было трудно — и становилось труднее с каждым годом — не только из-за ограниченности средств Тартуского университета и недоброжелательства некоторых коллег из других отделений и кафедр, но и из-за все растущего к концу брежневского периода идеологического прессинга со стороны Москвы. Такое давление оказывалось и вообще на все вузы страны, но выделялись и наиболее «опасные», среди них Тартуский университет занимал первое место. Вот как описывает тогдашнюю ситуацию С. Г. Исаков, автор вводной статьи «Об изданиях кафедры русской литературы» к библиографическому справочнику 1991 года:

«С середины 1970-х гг. тогдашним Государственным комитетом по печати был предпринят ряд мер, ограничивавших издательскую деятельность отдельных вузов и, в частности, издание «Ученых записок». Большинству университетов, как и других высших учебных заведений, еще раньше был запрещен выпуск в свет монографий, объем «Ученых записок» был сокращен до 10 а.л., а размер отдельных статей — до 1 а.л.; вслед за тем в них были запрещены публикации новых материалов на основе архивных источников и т. д. Ужесточились и чисто формальные требования; порою носившие бессмысленный, даже абсурдный характер: была запрещена продолжающаяся нумерация серийных изданий, каждый том «Ученых записок» должен был получать особое название и представлять собой как бы отдельный тематический сборник и пр. Все это больно ударило по тартуским изданиям. Перестают выходить монографии. Резко сокращается объем отдельных выпусков «Ученых записок»; с т. XXXI (1979) в «Трудах по русской и славянской филологии» исчезает раздел публикаций. Вскоре, с 1982 г., по требованию свыше исчезает

нумерация томов этой серии, что внесло большую путаницу в библиографирование серийных изданий, которые становится все труднее находить в библиотечных каталогах.

В этих условиях искали обходные пути. Монографии издавались под видом учебных пособий, прежде всего спецкурсов для студентов. Читатели «лекций для заочников» З. Г. Минц «Лирика Александра Блока» (вып. 1—4, 1965—1975) или спецкурса С. Г. Исакова «Русский язык и литература в учебных заведениях Эстонии XVIII—XIX столетий» (вып. 1—2, 1973—1974) без труда увидят, что это не учебные пособия, а монографии. Публикации же новых материалов маскируются под научные статьи или же включаются в их состав. Так, ценнейшая публикация писем З. Гиппиус и Д. Мережковского к А. Блоку включена в статью З. Минц под названием «А. Блок в полемике с Мережковскими» (см. «Блоковский сборник» IV)!

В 1970-е и особенно в первой половине 1980-х гг. резко усиливаются и цензурные трудности. Почти ни один том «Трудов по русской и славянской филологии. Литературоведение» и «Блоковского сборника» не обходится без цензурных изъятий, выпуск в свет отдельных томов надолго задерживается. Кульминационным пунктом этих цензурных преследований явилось уничтожение всего тиража одного из выпусков «Трудов по русской и славянской филологии. Литературоведение» в 1984 г. (Проблемы типологии русской литературы. — Уч. зап. Тартуского ун-та; вып. 645) на основе указания из Москвы, в свою очередь вызванного неким доносом («закулисных» подробностей этой истории редколлегия серии и ответственный редактор тома не знают до сих пор). Заново отпечатанный том под этим названием, значительно отличающийся от первоначального (из него изъяты статьи П. Торопа и Ю. Лотмана, остальные статьи подвергнуты жесткой цензурной правке), вышел в свет лишь в 1985 г.⁵⁷

И все-таки она вертится! Все-таки, несмотря ни на какие цензурные преграды, труды кафедры относительно регулярно выходили. Как уже сказал С. Г. Исаков, в начале восьмидесятых годов были отменены порядковые номера «Трудов по русской и славянской филологии» — глупейшее распоряжение московских чиновников, очень затруднившее библиографические ссылки и разыскания: каждый очередной том теперь нужно было называть по-своему; еще, слава Богу, не была отменена общая нумерация «Ученых записок Тартуского университета» и сохранилось, хотя бы и без цифр, общее название кафедральной серии: «Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение», но заглавия томов придумывались «с потолка»: «Проблемы литературной типологии и исторической преемственности» (1982; это последний том кафедральных «Трудов», кото-

⁵⁷ «Труды по русской литературе и семиотике кафедры русской литературы Тартуского университета. 1958—1990. Указатели содержания». Тарту 1991. С. 9—10.

рый еще имел порядковый номер XXXII), «Единство и изменчивость историко-литературного процесса» (1983), «Типология литературных взаимодействий» (1984) и т. д. Главное — придумать такое заглавие, которое могло бы быть максимально широким, включать в себя все публикуемые темы.

Кафедральные сборники удавалось выпускать ежегодно; в компенсацию пропущенного (зарезанного) тома 1984 г. вышло два в 1987 г.; правда, оказался еще пропущенным 1989 год, но зато в 1990 г., наряду с кафедральным томом «Пути развития русской литературы», был еще напечатан том под заглавием «Литературный процесс: внутренние законы и внешние воздействия» и с подзаголовком (после обычного «Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение») «*Studia russica Helsingiensia et Tartuensia II*». Дело в том, что возникшая в восьмидесятых годах научная дружба с кафедрой русской филологии Хельсинского университета, совместные, раз в два года, семинары (первый такой семинар состоялся в Хельсинки в 1987 г.) и взаимные приглашения преподавателей — все это реализовалось в виде регулярного издания совместных ученых записок, по очереди: первый том новой серии вышел в Хельсинки в 1989 г. под редакцией Л. Бюклинг и П. Песонена под названием «Проблемы истории русской литературы начала XX века» (и включил материалы первого семинара 1987 г.), второй том, как сказано, в Тарту в 1990 г. — он содержал материалы второго семинара, состоявшегося в Тарту в 1989 г. И затем каждые два года попеременно устраиваются семинары в Хельсинки и в Тарту и попеременно издаются сборники «*Studia russica Helsingiensia et Tartuensia*»; недавно (1998) в Тарту вышел том VI.

Научные контакты и союзы тартуской кафедры с зарубежными коллегами, благодаря международной известности Лотмана, в восьмидесятых — начале девяностых годов вообще были очень интенсивными. В 1991 г. укрепилось сотрудничество с Институтом славянских и балтийских языков Стокгольмского университета: в Стокгольме состоялся семинар, в котором приняла участие группа, тартуанцев во главе с Лотманом (участники — М. Ю. Лотман и Л. Н. Киселева), а в 1992 г. был организован семинар в Тарту. На основе этих семинаров и на средства Стокгольмского университета в 1994 г. вышел сборник статей «Классицизм и модернизм» (Тарту, 1994).

В 1990 г. был заключен научный союз тартуской кафедры с кафедрой русской филологии английского университета Киил (Keele); в 1992 г. там, в Великобритании, состоялась международная научная конференция, посвященная 70-летию Лотмана (сам он, к сожалению, по нездоровью не смог приехать), которая реализовала затем четыре тома докладов.

С конца восьмидесятых годов наладились научные контакты с факультетом сравнительной филологии итальянского университета Бергамо, которые позднее тоже вылились в организацию научных

конференций, взаимных спецкурсов и лекций — и издание соответствующих «ученых записок» при участии университета в Триесте (сборники «*Slavica Tergestina*»). В подавляющем большинстве указанных изданий печатались новые статьи Лотмана. О взаимосвязях тартуской кафедры с зарубежными коллегами появились хорошие очерки этих коллег (П. Песонена, Н. Каухчишвили, Дж. Эндрю, В. Полухиной) в номере «Вышгорода», посвященном памяти Лотмана (1998, № 3).

Удивительно, что не была запрещена нумерация «Семиотик». «Труды по знаковым системам», в отличие от «Трудов по русскому и славянской филологии», продолжали выходить со своими порядковыми номерами. После некоторой задержки конца 1970-х гг. с 1981 г. началось интенсивное издание «Семиотик» (в этом году вышли тома 12—14) и затем до конца десятилетия вышло еще 9 томов, потом, в связи с политическими преобразованиями, с созданием свободной Эстонии возникла некоторая задержка, но в 1992 г. появились тома 24 и 25. Кончина Лотмана повлияла на временную приостановку издания, но в недавнее время (1998) кафедра семиотики возобновила выпуск добротных томов серии — вышел в свет объемистый том 26. Следует учесть, что в 1992 г. тартуская кафедра была поделена: в основе осталась прежняя кафедра русской литературы, а из нее выделилась кафедра семиотики, которую теперь уже официально возглавил Лотман (после его кончины кафедрой заведовал И. А. Чернов, с 1998 г. — П. Х. Тороп).

А кафедра русской литературы, которую с 1992 г. возглавляет Л. Н. Киселева, тоже возобновила (с 1994 г.) издание «Трудов по русской и славянской филологии, Литературоведение», которые получили теперь подзаголовок «Новая серия» — и нумерация поэтому стала новой, с единицы (сейчас готовится к печати том III).

Еще удалось сохранить сплошную нумерацию «Блоковским сборникам». Благодаря научному энтузиазму З. Г. Минц и активной помощи Лотмана и других членов кафедры с большими идеологическими и организационными трудностями удавалось проводить Блоковские конференции, быстро приобретшие, как и другие мероприятия кафедры, всемирную известность, и с еще большими трудностями издавать «Блоковские сборники»: в 1963—1979 гг. вышло всего три тома. Но зато в восьмидесятых годах З. Г. Минц смогла организовать выпуск следующих семи томов, 10-й том «Блоковского сборника» (1990) оказался последним, который успела подготовить до своей кончины З. Г. Минц. Но издание не прекратилось, кафедра русской литературы и сейчас продолжает выпускать «Блоковские сборники» (в 1998 г. вышел 14-й том, посвященный 70-летию З. Г. Минц).

Таким образом, и кафедральные труды, и персонально лотмановские создавались и печатались со все большей интенсивностью. Много статей Лотмана публиковалось и за пределами Эстонии: в Москве, Ленинграде, в Западной Европе. И книг. Книги Лотмана

1980-х гг. — главным образом ленинградские: «Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Пособие для учителя» («Просвещение», 1980; изд. 2-е — 1983), «Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Пособие для учащихся» («Просвещение», 1981; изд. 2-е — 1983).

В конце десятилетия вышли московские книги: «Сотворение Карамзина» («Книга», 1987) и «В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь» («Просвещение», 1988). В это же время ученый получил почетный заказ от английского издательства I.B. Tauris & Co. Ltd. на книгу о семиотике, и она вышла в 1990 г. в переводе Анн Шукман и с предисловием У. Эко: *Yuri M. Lotman. Universe of the Mind: a Semiotic Theory of Culture*. London; New York. Несколько лет спустя, уже посмертно, книга вышла в первозданном виде: *Ю. М. Лотман. Внутри мыслящих миров. Человек-текст-семиосфера-история* (М., «Языки русской культуры», 1996, при участии Тартуского университета). И самая последняя книга, которую Лотман, уже будучи тяжело больным, диктовал своим ученицам и которую успел увидеть, — это «Культура и взрыв» (М., «Гнозис», 1992). Об этих двух книгах у нас пойдет речь в следующей главе. И еще Лотман успел увидеть выпущенный учениками, создавшими таллинское издательство «Александра» (супруги И. З. и В. И. Белобровцевы), трехтомник «Избранные статьи» (1992—1993)...

Важно еще отметить, что Лотман в последние годы жизни подготавливал еще несколько ценных книг, появившихся уже после его кончины: «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начала XIX века)» (СПб., «Искусство — СПб», 1994), «Очерки по истории русской культуры XVIII — начала XIX века» (книга вошла вместе с другими статьями автора в серийный IV том «Из истории русской культуры» — М., «Языки русской культуры», 1996), «Великосветские обеды» (в соавторстве с Е. А. Погосян — СПб., «Пушкинский фонд», 1996). О книге в соавторстве с Ю. Цивьяном «Диалог с экраном» (Таллин, 1994) мы уже говорили в главе «Труды об искусстве».

Всемирная популярность Лотмана способствовала избранию его в престижные редколлегии научных изданий, в члены-корреспонденты Британской Королевской академии, в члены Норвежской академии наук. Но нет пророка в своем отечестве. Даже партийные инстанции и руководство Академии наук Эстонии поняли, что стыдно не давать Лотману академические титулы. Было даже найдено специальное место по новой рубрике «Семиотика культуры». Увы! «В глазах мировой гуманитарной науки явился позорным факт отклонения кандидатуры Лотмана в 1987 году в эстонскую АН. Это не было делом рук партийных инстанций или руководства академии — там считали избрание самого прославленного в мировом масштабе ученого Эстонии делом решенным. Лотмана провалило отделение обще-

ственных наук академии, так и не сумевшее понять, что такое семиотика культуры и наука ли это вообще, а русское литературоведение в Эстонии вообще считалось делом ненужным. Предложенный ими эстонец-языковед не был утвержден общим собранием академии, и многие академики изъявили протест, международно известный химик Виктор Пальм отказался принимать поздравления в связи со своим избранием, но дело было сделано, и «поправка» три года спустя уже никого не порадовала»⁵⁸.

Под «поправкой» М. Салупере имела в виду избрание Лотмана в 1990 г. Пусть хотя бы так. В «большой», т. е. в общесоюзной, московской Академии наук и в следующем году Лотмана не избрали: главным контраргументом было утверждение недругов, что Лотман теперь «иностранец», живет в другой стране, за пределами России. Конечно, Лотман с юмором и иронией относился ко всем этим событиям, настоящему ученому не нужны внешние регалии и титулы.

Невероятная для одного человека интенсивность научной работы (при полной учебной нагрузке!) все более расшатывала организм ученого. Очень стало сдавать сердце, особенно мучила аритмия. Слабый организм плохо сопротивлялся инфекциям: грипп, тяжелая желтуха.

Полученная на 1989 год премиальная годовая стипендия имени Александра фон Гумбольдта должна была внести отрядный перерыв: если не вообще в непомерный труд, то хотя бы в учебную работу. Тем более Лотмана радовала возможность вылечить в Германии З. Г. Минц: ее все сильнее мучил артроз, болезнь бедренного сустава, все труднее ей было ходить. В феврале 1989 г. супруги Лотманы приехали в Мюнхен, и начались их интенсивные занятия в библиотеках, Лотман еще готовился читать лекции в германских университетах и начал их. И вдруг в мае уже не в трудах ученого, а в его судьбе произошел «переворотыш»: не жена, а он сам попал в больницу — с инсультом. Но оказалось, после медицинских обследований, еще хуже: у него обнаружили рак почки, который на родине почему-то никем не был замечен. Лотману вырезали больную почку, утешительно обещая по крайней мере пять лет жизни (почти так и получилось, с годовым сокращением) и несколько месяцев лечили от мозгового удара.

Большую помощь оказали немецкие коллеги, друзья, бывшие ученики, обосновавшиеся в Германии. И, конечно, большую роль сыграла З. Г. Минц, которая не только помогала восстанавливать речь, читала вслух научную литературу и периодику (зрение Лотмана тоже сильно пострадало от инсульта), но и регулярно, как следопыт, подробно расспрашивала и записывала данные о внутреннем психологическом состоянии больного. Лотман и сам как истинный

⁵⁸ Салупере М. Недаром он так любил Пушкина. — «Вышгород», 1998, № 3. С.111.

ученый постоянно занимался самоконтролем и самоанализом, это был редчайший случай, когда исследователь асимметрии полушарий головного мозга на своем собственном болезненном состоянии мог изучать дисбаланс и различия в работе мозга; крайне любопытно, что заметный уклон ученого в сторону пространства при некотором отеснении времени на второй план — в болезненной психике выразился тоже в перебарывании и отвержении времени пространством. В письме ко мне от 3 сентября 1989 г. (оно написано под его диктовку З. Г. Минц) Лотман впервые подробно описал свое больничное состояние: «...упражнения в чтении я прохожу с милой учительницей-немкой, по-немецки, и таким образом тренирую левое полушарие, в то время как основные затруднения, видимо, в правом: затруднения с собственными именами (вообще трудности очень выборочные и дают интересный материал для самонаблюдений); особенно любопытны были самые первые дни, когда полушария, видимо, работали на разных режимах. Например, понимая, что это — особенность моего мышления и даже связывая это с особенностями функционирования полушарий, я все же прожил определенное время в сфере мышления, в которой время было заменено пространством. В практическом быту я прекрасно понимал, что такое время, но одновременно жил в мире, в котором я сам и все люди, которые когда-либо пересекались с моей жизнью (люди, о которых я только читал или слышал, в этот мир не попадали), существовали одновременно и *вне времени*, как бы высвечиваемые в разных частях одного пространства. Например, отец был одновременно во всех возрастах и существовал сейчас. То же — и о все других людях. Я мог, постаравшись, отыскать и увидеть события, которые я, казалось, абсолютно забыл. В этом мире ничто не исчезало, а только уходило в область неясного зрения и вновь выходило из нее» (Письма. С. 355). Зара Григорьевна приписала от себя к этому месту: «Это было очень интересно, но и страшно. Это *не было* бредом: Юра, действительно, все это держал под контролем сознания и объяснял. Но и тот мир для него был *сенсорно* осязаемой реальностью (он его видел)» (Там же. С. 356).

В декабре 1989 г. Лотманы вернулись в Тарту. Наступило трудное и длительное восстановление организма ученого (увы, окончательно, до уровня нормального функционирования не вернулось ни зрение, ни кинематика правой руки, писал он с трудом). А Лотман продолжал беспокоиться и о судьбе жены: ведь в Германии о ее лечении пришлось забыть! И Лотман договорился с дружественным университетом Бергамо, как и с рядом других итальянских университетов, о циклах своих лекций, а на заработанные средства мечтал осуществить операцию жены. Осенью 1990 года Лотманы отправились в Италию. В добротной клинике Бергамо была успешно проведена операция З. Г. Минц; больной бедренный сустав был заменен металлическим; казалось бы, все шло по плану и гладко. Но какой-то сгу-

сток крови, тромб, образовавшийся в месте операции, прошел до мозга и мгновенно лишил жизни Зару Григорьевну. Это произошло 25 октября на глазах Лотмана (ему разрешили жить в палате с выздоравливающей), и невозможно никакими словами передать его состояние тех минут, часов, дней.

Разве что стоит приоткрыть его душу, процитировав отрывок из письма к Ф. С. Сонкиной от 21 ноября 1990 г.: «Поплачь и помолись обо мне: Зара скончалась через 5 дней после вполне благополучной операции. Причину выяснить не удалось — тромб. Мы привезли тело из Италии и схоронили в Тарту.

Тяжело.

А я всегда был убежден, что я первый...» (Письма. С. 408).

С помощью друзей гроб с телом покойной удалось привезти в Тарту. За несколько месяцев до неожиданной кончины З. Г. Минц крестилась (она сочла, что заниматься серьезно Серебряным веком русской культуры может только по-настоящему верующий христианин), поэтому похороны совершались по православному обряду, на могиле был водружен красивый большой крест. Лотман с каменным лицом, весь закованный в броню, не проронил ни слезинки. Но он не был отрешенным от жизни: в конце похоронного ритуала на кладбище он подошел ко мне и попросил позаботиться о сестрах, уставших за день, проводить их до ночлега. Он думал о ближних, не только покойных.

Смерть З. Г. Минц сильно подкосила и здоровье, и нравственное состояние Лотмана, но он тем сильнее употреблял главный наркотик ученого — научную работу. Слабые люди спиваются от тяжелых душевных нагрузок, сильные выдерживают, не сдаются. Знаменитый наш биолог А. А. Любищев, получив известие о гибели сына на фронте, погрузился в тот день в научную работу.

Лотман тоже продолжал трудиться. В последние годы жизни он был полон новых идей — об этом пойдет речь в заключительной главе, — он создал в начале девяностых годов замечательные статьи и книги. Ученый радовался освобождению Эстонии, хотя и грустил по поводу пограничных препон — когда родной Питер оказался за границей и нужны были паспортные визовые предоперации, чтобы эту границу пересечь. Радовался, что кончилась эпоха его «невыездного» состояния. Теперь приглашения за рубеж достаточно просто реализовывались — позволяло бы здоровье! За последние годы Лотману удалось побывать на конференциях и на чтении лекций в Германии, Франции, Финляндии, Швеции, Норвегии, Италии — и даже в Венесуэле, в Каракасе!

А здоровье все более ухудшалось: продолжало болеть сердце; в урологической области появились снова раковые метастазы; обследование мозга с помощью томографа показало, что мозг ученого весь заполнен микровзрывами сосудов, т. е. микроинсультами. Врачи

удивлялись, как может с такой головой человек жить. А он не только жил, он еще и работал, он творил, он продолжал диктовать, даже находясь на больничной койке, статьи и книги. Но всему есть предел. 28 октября 1993 г. Лотман скончался.

Похороны его 3 ноября стали общеэстонским событием. Беспрепятственно выдали визы группам москвичей и петербуржцев, едущих в Тарту. На похороны приехал вместе с тремя министрами президент республики Леннарт Мэри (он прервал свой визит в Германию). Похороны были организованы за счет правительства. И сама процедура по минутам, как правительственный или дипломатический протокол, была расписана в специальной «Информации о похоронах Юрия Михайловича Лотмана», раздававшейся, подобно листовкам, присутствовавшим. Вот ее текст:

«10.30. — Гроб вносят в Главное здание Университета.

11.15. — Двери актового зала открыты для прощания. Звучит музыка.

12.00. — Первый почетный караул.

12.02. — «Gaudeamus» в исполнении университетского мужского хора.

12.03. — Ректор университета открывает прощальную церемонию.

12.05. — Поет мужской хор. Сменяются почетные караулы. Звучит музыка.

12.55. — Почетный караул кафедры русской литературы и кафедры семиотики (у изголовья гроба).

13.00. — Зав. кафедрой семиотики проф. И. А. Чернов объявляет, что с Ю. М. Лотманом прощаются студенты (входят со свечами).

13.05. — Студенты уходят. Проф. И. Чернов просит всех проститься с Ю. М. Лотманом. Все выходят из первой двери актового зала и ожидают выноса гроба перед Главным зданием, расположившись таким образом, чтобы гроб можно было пронести к зданию языков. Пришедших с венками просят вынести венки и встать с ними между Главным зданием и зданием языков.

13.30. — Гроб выносят из Главного здания к воротам здания языков и затем в машину.

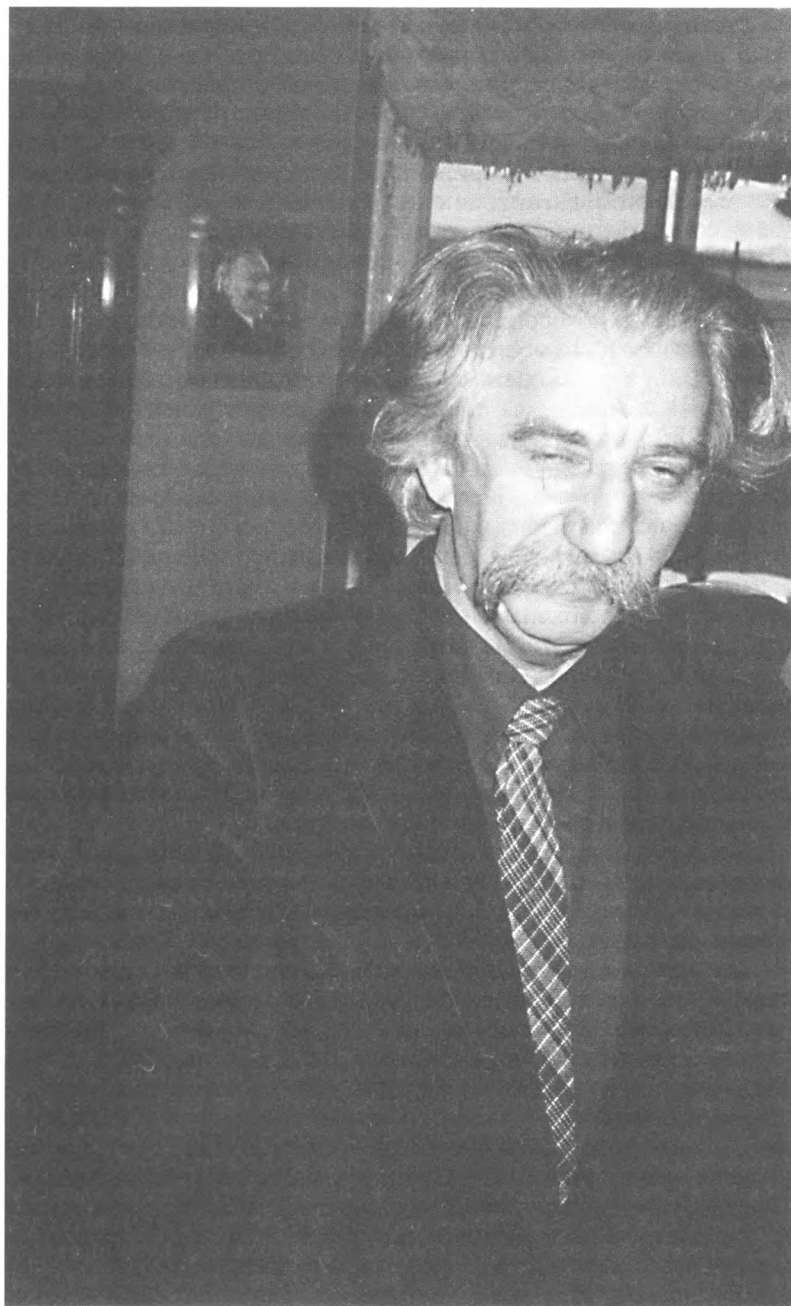
13.45. — Автобусы отъезжают от Главного здания Университета на кладбище.

14.00. — Почетный караул студентов со свечами выстроен перед входом.

14.15. — Начинается похоронный церемониал. Играет скрипка. Гроб опускают в землю. Проф. И. А. Чернов просит каждого бросить три горсти земли. Гроб предают земле. На могилу возлагают венки и цветы. Студенты зажигают свечи.

15.00. — Автобусы отъезжают от кладбища.

По желанию Ю. М. Лотмана ни в актовом зале, ни на кладбище речей не будет.



Ю. М. Лотман в устало-добродушном настроении. Начало 1990-х гг.

Прощальное слово можно будет сказать за поминальным столом».

Вечером за поминальным столом президент Леннарт Мэри сказал замечательную речь, которую приводим целиком (в переводе с эстонского):

«Дорогие гости!

Мне сейчас довольно трудно определить, на каком языке следовало бы говорить. Но когда я стоял у могилы Юрия Лотмана, объятый печалью, в которой мы все пребываем сегодня, я думал и о том, что похороны происходят и в те дни, когда рождаются дети. В мире всегда существует равновесие.

Сегодня мы похоронили Юрия Лотмана, и я не знаю, кто из появившихся сегодня на свет может через годы стать новым Юрием Лотманом. Мне только хотелось бы надеяться, что в этой Эстонской Республике, которую мы строим, самоосуществление для будущих Юриев Лотманов станет легче, чем оно оказалось для него.

Нет нужды сегодня давать оценки тому, за что эстонская наука, культура, весь мир и Эстония так благодарны Юрию Лотману.

Мне просто хотелось рассказать вам три небольших эпизода. Первый — очень личный. Это был тот момент, когда я понял, что за человек приехал в Тарту. Я очень хорошо помню, как однажды осенним днем возле тогдашнего кафе «Сяде» (не знаю, есть ли сейчас такое кафе) кто-то тронул меня за плечо: «Послушайте, молодой человек, если мне память не изменяет, вы пишете дипломную работу о декабристах». Я ответил: «Да. А в чем дело?» И этот совсем еще молодой человек с усами вынул из своего кармана пачку маленьких карточек и сказал: «Видите ли, я записал их в Пушкинском Доме в Ленинграде, они касаются того самого времени, мне они больше не понадобятся, а вам обязательно пригодятся».

Меня поразил этот дружеский тон — преподаватель отдает студенту часть своей работы, причем очень важную часть! Так вошел в мою жизнь Тимотеус фон Бок, которому в конце концов и была посвящена моя работа.

Эта простота и есть одна из очень многих причин того, отчего сегодня нам так невыносимо трудно. Мне запомнилось и то, как Союз писателей Эстонии принимал Юрия Лотмана в свои ряды (чего не сделала наша Академия наук). И с этим у меня связана трогательная история. Когда все формальности заканчивались, новоиспеченному члену полагалось выступить. Юрий Лотман встал и обратился к правлению Союза писателей на эстонском языке, тем самым поставив нашего уважаемого Пауля Куусберга в трудное положение (Пауль Куусберг никогда не говорил на русском — уже только потому, что он его не знал, а во-вторых, в Союзе эстонских писателей не хотел на нем говорить), но он встал из-за стола и ответил ему по-русски. Вот пример того, как культура поднимается над политическими пристрастиями.

Весть о кончине Юрия Лотмана настигла меня в Мюнхене. Немецкая печать в этот день много материалов посвятила Дням эстонской культуры. Эстонский симфонический оркестр стал для Германии настоящим открытием. Но еще больше места уделили немецкие газеты смерти Юрия Лотмана. Для немцев он был человеком, который принадлежал миру, и человеком, который представлял Тартуский университет. В связи с этим многие газеты уделили внимание и Тартускому университету, где было в достатке тишины и покоя, чтобы Юрий Лотман сумел создать здесь свою школу, самой значимой ценностью которой оказалось свободное мышление. Свободомыслие — опаснейший враг марксистской диктатуры.

Мне кажется, что когда-нибудь, в будущем, мы могли бы поговорить о роли Лотмана в сохранении эстонской духовности, в восстановлении независимости Эстонии»⁵⁹.

Лотмана хоронил весь университет, весь город, вся Эстония — и фактически весь гуманитарный мир. Жизнь человека кончилась, но продолжается жизнь его идей, его трудов. Издаются собрания его сочинений, устраиваются конференции, издаются сборники их материалов, продолжается публикация сохранившихся рукописей и писем; сотрудники научной библиотеки Тартуского университета занимаются обработкой большого архива ученого... Жизнь его наследия будет еще долго продолжаться.

⁵⁹ «Таллинн», 1996, № 2. С. 86—87.

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Тематика и проблематика поздних научных исследований Лотмана чрезвычайно разнообразна, и она с каждым годом разнообразилась все сильнее и сильнее, расширяясь, подобно раструбу воронки. Ученый знал и чувствовал, что ему отмерены судьбой уже не слишком большие отрезки времени, и поэтому он спешил, спешил реализовать идеи, постоянно возникавшие в его творческом сознании. Труды последних лет относятся к самым различным областям гуманитарной науки: литературоведческие штудии, от биографических аспектов до текстологических и методологических, от микромонографий до обобщающих работ; искусствоведение (живопись, скульптура, архитектура, театр, кино); исторические, от Французской революции до многих веков русской истории, но все же главные стержни и главные проблемы лотмановских трудов — семиотико-культурологические, опять же — в очень широком диапазоне: от конкретных культурологических исследований о XVIII—XIX веках до обобщенных теоретических.

Центральное место в этом ряду занимают две итоговые книги, уже названные в предыдущей главе: «Universe of the Mind...» (1990; русский подлинник «Внутри мыслящих миров...», 1996) и «Культура и взрыв» (1992). А центральная часть первой книги называется «Семиосфера», и она является теоретической вершиной всех построений ученого его последних лет. Впервые термин был введен Лотманом в статье «Семиосфера» (Семиотика. 17. 1984), а здесь, в книге, он более подробно объяснен и соотнесен с другими аспектами культурологии. Вообще, в двух последних книгах Лотман использует много предшествующих статей восьмидесятых (и даже семидесятых) годов, но относительно целостный характер книг и частые переработки ранних статей снимают необходимость каждый раз ссылаться на первоисточники.

По аналогии с известным понятием «биосфера», введенным и развитым гениальным В. И. Вернадским (почему-то Лотман не использовал более поздний термин «ноосфера»), ученый называет семиосферой всю основную область человеческой культуры. В самом деле, ведь культура противостоит первозданной природе как система знаковых текстов, вне семиотики в культуре присутствует только небольшой круг физиологических областей, который тоже при постоянном соприкосновении со знаками может семиотизироваться. Так что понятие «семиосфера» вполне законно, оно оказывается синонимом культурной сферы, культурного поля человеческого общества.

И понятия, вырабатывавшиеся Лотманом и его коллегами-семиотиками применительно к более частным областям культуры (тексты, языки, роды и виды искусства, жанры и т. д.), могут быть вполне применимы ко всей семиосфере. Лотман называет бинарность (т. е. существование множества, по крайней мере, двух действующих систем языков); асимметрию (т. е. неравномерность, неоднородность частей, сложные взаимоотношения центра и периферии и т. д.); возможность, с другой стороны, точнее, — на другой ступени — унифицировать разнообразие системы, описать его единым метаязыком; границу, диалектически колеблемую между преградой, отделением «своего» от «чужого», и открытостью, ведением диалога между различными частями семиозиса.

Литературоведческое «происхождение» Лотмана-теоретика почти всегда и почти всюду проявляется в постоянном обращении к художественным текстам, особенно к словесным и живописным, и включении в общекультурологические штудии литературоведческих категорий. Например, в большую часть книги, называемую в целом «Семиосфера», Лотман вводит главу «Семиосфера и проблема сюжета», где последний как бы пульсирует, колеблется между общекультурологическим и общесемиотическим представлением о синтагматике, о цепи событий и поступков и уже чисто литературоведческим понятием о художественном сюжете.

Понятие сюжета вводит в рассмотрение категорию времени, ибо любая цепочка событий хронологична, а временной аспект приводит к разделению всех сюжетов на циклические (архаические по происхождению, мифологические) и более поздние линейные. Хотя у позднего Лотмана чаще, чем раньше, возникают экскурсы в хронологические сферы, но это не значит, что он перешел к кантианскому комплексу «пространство—время» или к бахтинскому хронотопу, все-таки пространство для ученого оказывается ведущим, доминирующим.

Любопытно, что третья часть книги, озаглавленная «Память культуры. История и семиотика», долженствующая, казалось бы, снова вернуться к хронологии, на самом деле больше имеет отношение к семиотике, а не к истории, история рассматривается, главным образом, в теоретико-семиотическом ключе (языки науки и естественные, проблемы перевода, топология символов и т. д.). Вернемся, од-

нако, к циклическим и линейным сюжетам, которые тоже имеют тенденцию «перетекать» в пространственные структуры.

Циклическое время из-за повторяемости, из-за стирания границ (начала и конца) довольно легко трансформируется в топологическое пространство, где все варианты изоморфны, похожи друг на друга. А линейное время, по Лотману, не столько противостоит циклическому, сколько оказывается его «периферией» с изображением не закономерной повторяемости, а случайных событий; впрочем, далее ученый утверждает как бы равнозначность противоборствующих типов сюжета и рассматривает в художественных произведениях диалогические конфликты двух типов. Однако после главы о сюжете в книге следует глава «Символические пространства», восстанавливающая лотмановский приоритет пространства. Здесь даны замечательные истолкования «топосов» в русских средневековых текстах, в «Божественной комедии» Данте (с его нетривиальными пространственными представлениями, которые, по П. Флоренскому, близки неевклидовым геометриям XIX—XX вв.), в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова, в сложной символике Петербурга.

Кстати сказать, символу в книге уделено значительное место. В части первой, предшествующей «Семиосфере» (часть эта называется «Текст как смыслопорождающее устройство»), две изрядные главы посвящены символу. Символ, считает автор, с одной стороны, конденсирует различные семиотические принципы, соотносясь с обычным знаком, а с другой — он всегда имеет, наряду со знаковой условностью, какой-либо «иконический», изобразительный элемент, тем самым частично выходя за пределы знаковой реальности.

И недаром первая глава о символе называется «Символ — “ген сюжета”»: символ, считает автор, часто выступает как сгущенная программа творческого процесса, который может потом разворачиваться в ту или иную сторону. И недаром польский культуролог Богуслав Жилко предлагал соотнести лотмановское понимание символа с жанровыми разработками (Приложение 1: «Бахтин и Лотман»).

Широкое применение диалогизма связано со старыми симпатиями Лотмана к анализу конфликтов, столкновений противоположных начал, их борьбе («борьба с борьбой борьбуется»). Это особенно ярко демонстрируется главами первой части, посвященными риторике. Лотман явно сдвигает традиционное представление о риторике как науке о правилах ораторского искусства, о соответствующих стилистических приемах. Ученый не сближает, а разделяет стилистику и риторику, считая стилистику наукой о приемах в рамках одной грамматико-семиотической системы, а риторику — наукой о *столкновении* знаков, относящихся к разным системам, разным регистрам, поэтому романтическая ирония, стилистические контрасты «Евгения Онегина», приемы рококо и авангардизма относятся к области риторики.

Конечно, такая терминологическая самодеятельность может вызывать сомнение и споры, но она сама по себе не очень опасна, ибо

исключительна в трудах ученого, более опасной методологически может быть стоящая за такой самодеятельностью довольно характерная для позднего Лотмана манера индуктивного расширения, если так можно выразиться, т. е. возведения частных черт и свойств до общих категорий. В данном случае частный риторический прием — столкновение разных стилей — возводится в ранг целой науки. Есть в книге и другой случай подобного расширения тоже в первой части. Лотман рассматривает разные виды передачи информации, разделяя автокоммуникацию, т. е. передачу от «Я» к «Я», и передачу от «Я» к «Другому», т. е. «Я» — «Он». И почему-то Лотман считает, что при коммуникации «Я» — «Он» информация передается при сохранении ее первоначального объема, а в случае «Я» — «Я» происходит возрастание информации, ее творческое расширение. Вряд ли стоит с этим соглашаться: возможна и такая расстановка позиций, но возможно и творческое возрастание информации и в первом случае и, наоборот, константное сохранение первоначального объема — во втором. Но Лотману кажется, что именно «Я» — «Я» и «Я» — «Он» противоположны в принципе. На с. 60 книги ученый ссылается на теорему известного математика Г. Кантора: если какой-то отрезок содержит в себе бесконечное множество точек, то и любая часть отрезка тоже содержит такое же количество точек, и поэтому часть равна целому. Получается, что теоретико-множественный парадокс имеет отношение к гуманитарной методологии Лотмана: структура части возводится ученым до аналогичной структуры целого! Думается, что большая свобода и раскованность мышления позднего Лотмана оказалась способной на создание подобных семиотических парадоксов.

В книге «Внутри мыслящих миров...» Лотман неоднократно ссылается на идеи И. Пригожина⁶⁰; в книге «Культура и взрыв» они становятся главенствующими, хотя — парадоксально! — в этой книге автор не упоминает Пригожина, видимо, считая, что он и так неоднократно цитировался и упоминался исследователем раньше. Лотмановский «взрыв», конечно, является аналогом пригожинской «бифуркации». Интерес ученого к взрывным процессам был давним; кажется, впервые о взрыве он заговорил еще в 1971 г., в Семиотике 5, в полемике с А. А. Зиминим (см. с. 474), поэтому знакомство с идея-

⁶⁰ Здесь, как и в некоторых статьях конца восьмидесятых годов, Лотман ссылается на вышедшую в русском переводе книгу: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986. Авторы, опираясь на свои исследования в биологических и химических сферах, расширили выводы до общекультурологических: в неравновесных системах динамические процессы лишаются равномерности и предсказуемости, возникают точки бифуркации (раздвоения), когда продолжение процесса однозначно не предсказуемо, происходит выбор из нескольких возможных путей, когда вносится элемент случайности. Лотман корректирует эту динамику, имея в виду исторические процессы, участием творческих личностей, которые могут вносить сознательность в выбор и уменьшать тем самым случайность.

ми замечательного биолога лишь укрепило уверенность Лотмана и стимулировало расширение его проблематики.

Давний интерес ученого к «перевертышам», к удвоениям, к зеркальным отражениям оказался очень близким к «взрывным» областям, соединился с ними, наполнил книгу. В ней есть даже целая глава, и большая, — «Перевернутый образ». Лотман понимал, что исследователь-гуманитарий несравненно более сильно, чем представители точных и естественных наук, «вмешивают» свой субъект в объективное исследование. На страницах 214—216 книги «Культура и взрыв» автор хорошо показал коренное отличие В. М. Жирмунского, изображающего движение литературы как постепенное и равновесное, от Г. А. Гуковского, любителя «взрывов» и понятия «вдруг». Сам Лотман скорее тяготеет ко второму типу, но он, слишком обильно видевший и в истории, и в жизни те взрывы, которые затапливают целые народы и страны в крови войн и репрессий, сознательно умерял свои пристрастия и откровенно заявлял о чрезвычайной важности равновесных противостояний взрывным событиям. Характерна также мысль ученого, что эпоха взрывов способствует увлечению традиционализмом и гармонией: «Когда предметом искусства делается патриархальное общество или какая-либо иная форма идеализации неизменности, то, вопреки распространенным представлениям, стимулом к созданию такого искусства является не неподвижно-стабильное общество, а общество, переживающее катастрофические процессы. Платон проповедовал неизменное искусство в период, когда античный мир неудержимо скатывался к катастрофе» (С. 235).

А рядом со включением гармонических противовесов катастрофам и взрывам у Лотмана находилась важная мысль о космической глобальности информации⁶¹, которая в свете кибернетических идей создает порядок, структуру жизни и ответственную свободу выбора в противовес хаосу и деструкции (недаром анархически-деструктивные «свободы» постструктуралистов вызывали все большее раздражение позднего Лотмана).

И тут совершенно по-новому зазвучала теория бинарных и тернарных структур, занявшая в книге «Культура и взрыв» большое место. Как уже говорилось, от жесткой бинарности первых структуралистских трудов Лотман постепенно приходил к допущению тернарных устройств. В последней книге на «чистой» тернарности создана глава «Дурак и сумасшедший». Как и раньше, интересуясь нестандартными сдвигами сознания и поведения, Лотман в этой главе рассмат-

⁶¹ См. Лотман Ю. Несколько слов по поводу рецензии Я. М. Мейера «Литература как информация». — «Russian Literature», 1975, IX. С. 111—118. См. также новейшую статью: Лотман М. Структура и свобода. (Из заметок о философских основаниях Тартуской семиотической школы). — «Slavica Tergestina». 4. Trieste. 1996. С. 81—100.



З. Г. Минц, Ю. М. Лотман, М. Ю. Лотман,
его дети Мария, Александра, Ребекка. 1981 г.

ривает два крайних варианта таких сдвигов, но при этом прибавляет к двум названным типам третий — умного, и таким образом создавалась сложная тернарная структура, где каждый элемент и соотносится, и противостоит двум другим.

Но главное не в этом. Главное — продолжая и развивая идеи, высказанные в прежних статьях (написанных совместно с Б. А. Успенским), относительно двоичности русской православной картины мира и тернарной (со включением чистилища) западнохристианской, Лотман пришел к мысли, что бинарная система исконно построена на взрывах, так как альтернативные выборы в момент бифуркации чаще всего приводят к победе одного начала и уничтожению противоположного. Потому русская история, считает Лотман, построена на взрывах; «Русская культура осознает себя в категориях взрыва» (с. 269). А при тернарных структурах взрыв разрушает лишь часть системы, сама она в целом сохраняется, поэтому тернарные системы оказываются в исторической перспективе более жизнеспособными.

Характерно, что одновременно с книгой «Культура и взрыв» Лотман пишет статью «О русской литературе классического периода. Вводные замечания» (она опубликована в последней при жизни ученого «Семиотике» — в т. 25, 1992), целиком посвященную бинарным и тернарным структурам применительно к русской литературе, и Лотман здесь считает тернарную модель мира показательной для таких вершин, как Пушкин, Толстой, Чехов.

Книга «Культура и взрыв», диктовавшаяся больным ученым, — нет худа без добра! — приобрела невольно устно-лекционный харак-

тер. В ней много от жанра эссе, свободного разговора с читателем. Гениальная память, неслыханное богатство сведений, коими обладал ученый, реализовались в многоцветные россыпи исторических и философских экскурсов: «перевертыши» — переодевания на Западе и в России, бытовые и психологические очерки оригинальных женщин конца XVIII — начала XIX в. (А. А. Орлова-Чесменская, С. Д. Пономарева, З. А. Волконская, А. Ф. Закревская), неожиданно частые рассуждения о снах (сон как «текст в тексте» — с. 118—119, сон у собаки — с. 203, наконец, целая глава «Сон — семиотическое окно» со смелой формулой «сон — отец семиотических процессов» — с. 224) и т. д.

Устная речь гуманитария уже по своей более субъективной сущности (по сравнению с негуманитариями) тяготеет к художественной уникальности речи. Для Лотмана это было особенно характерно. Он любил и в сугубо научный текст вклинивать образные пассажи — см., например, неожиданное сравнение мифа с капустой: «Повествование мифологического типа строится не по принципу цепочки, как это типично для литературного текста, а свивается, как кочан капусты, где каждый лист повторяет с известными вариациями все остальные, и бесконечное повторение одного и того же глубинного сюжетного ядра свивается в открытое для наращивания целое» (Семиотика. 13. 1981. С. 38; статья «Литература и мифология», совместно с З. Г. Минц). Тем более просвечивает художественность изложения сквозь позднюю эссеистику ученого. Книга «Культура и взрыв» в этом отношении очень показательна.

Устный характер стиля имеет и обратную сторону: он коварно опасен из-за невозможности все и вся проверить на точность, и это коварство изредка, но все же проявляло себя. На с. 106 Лотман процитировал из III главы «Евгения Онегина» характеристику Татьяны:

И выражалася с трудом
На языке своем родном.

Но на следующей странице та же цитата, в сокращенном виде, приведена ошибочно:

И изъяснялася с трудом
На языке своем родном.

Эта же ошибка повторена на с. 231. Произошла контаминация: из продолжения той строфы —

Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски, —

Лотман взял «изъяснялася» и перенес это слово на место «выражалася».

Увы, в последние годы жизни гениальная память Лотмана стала давать иногда сбои, а редакторы не всегда все проверяли. В упоминавшейся статье «О «реализме» Гоголя», тоже, как и книга «Культу-

ра и взрыв», создававшейся в постели и при диктовке, есть такой пассаж в связи с изощренными планами талантливых жуликов: «Отражением этого же хода мыслей является известный сюжет Ильфа и Петрова, в котором Великий Комбинатор смог предусмотреть все, кроме того, что, пока он будет осуществлять свои гениальные расчеты, у него украдут все четыре колеса от машины. Слишком тонкий расчет оказывается неприменимым к простой и примитивной действительности. <...> Заканчивающая роман Ильфа и Петрова идеализированная картина прибытия колонны новых блистательных легковых машин явилась почти откровенно приклеенным вполне лояльным символом...» и т. д. (Лотман. О рус. лит. С. 704).

Здесь много путаницы: детективный сюжет из итальянского фильма о воровстве колес машины у гангстеров, ограбивших банк, Лотман перенес в роман Ильфа и Петрова «Золотой теленок», где нет ничего подобного, а мимолетное появление колонны легковых автомобилей, почти не имеющее влияния на сюжет романа, относится не к концу его, а к началу.

Конечно, подобные единичные промахи большого ученого (вспомним еще рождение Пушкина на «лермонтовской» Молчановке в Москве) тонут в необозримом море точных фактов, щедро рассыпаемых автором на страницах своих работ. И все же досадно, что есть и такие промахи.

Вернемся к идеям книги «Культура и взрыв». Предпоследняя глава книги хотя и названа лермонтовской цитатой «Конец! как звучно это слово...», но фактически она посвящена теме смерти. Эта тема для позднего Лотмана становится главенствующей. Она оформляется в виде специальной статьи «Смерть как проблема сюжета», эта тема — одна из центральных в статье «Две “Осени” <Пушкина и Баратынского>», да и вообще центральная почти во всех неоконченных статьях и отрывках последних двух лет. Отсылаю читателя к содержательной статье Т. Д. Кузовкиной (см. Приложение 2), где подробно рассматриваются эти рукописные материалы.

Эти материалы чуть-чуть приоткрывают потаенные, часто табуированные раздумья и переживания Лотмана на «мистические» темы. Ведь в письме ко мне от 3 сентября 1989 г., где он кое-что раскрыл из своего болезненного состояния после инсульта, он честно сказал о странных «табу»: «...меня останавливало интересное чувство запрещенности. Не умом (значит, это не какое-то внешнее влияние), а чем-то неформулируемым я часто чувствовал запрет» (Письма. С. 355). Т. е. запрет на рассказ о своих странных душевных глубинах.

Замечу, однако, что частично раскрытые постоянные раздумья о смерти расширили и ранее не чуждые ученому проблемы «нуля», «пустоты» (эта проблема особенно часто появляется в поздних работах Лотмана). К этому кругу можно было бы присоединить ранний структуралистский пафос ученого относительно превосходства функциональности и отношений над «материей»; проявление позднего ин-

тереса Лотмана к бесплотным, нематериальным монадам Лейбница тоже относится к данному кругу проблем. Отсюда закономерен и путь Лотмана к Богу. Ведь все или почти все рассуждения ученого о смерти в общефилософском, семиотическом, историко-литературном и даже физиологическом смысле соотносятся с мыслями о Боге. Лотман, в отличие от многих своих ближних, не стал верующим, не стал христианином; семейное и общественное воспитание, а потом постоянная опора на Просвещение и просветителей позволили сохранить атеизм ученого. Но исследователь русской, да и мировой культуры XVIII — XX веков не мог не соприкасаться постоянно с идеей Бога. К этому вели и проблематика научных трудов, и биографическое соприкосновение с грандиозной темой смерти и бессмертия: кончина жены, неуклонное физическое ослабление своего организма и мужественное ожидание своей кончины.

В работах последних лет представления ученого о творческих началах Вселенной, о многочисленных и многоаспектных обращениях изучаемых объектов культуры, истории, литературы к роли Творца выливаются в собственные убеждения: если Вселенная сотворена, если происходит ее усложнение и развитие, если сонмы мыслителей и писателей опираются на божественные начала, то необходимо признать общекультурное значение Бога. Но Лотман с его творческой жилкой не желал признавать Бога как всезнающего хозяина Вселенной, развертывающего жизнь во времени и пространстве по заранее известному ему плану. Лотману был куда более симпатичен образ Бога — ученого и художника. Эта идея «...может быть проиллюстрирована образом творца-экспериментатора, поставившего великий эксперимент, результаты которого для него самого неожиданны и непредсказуемы. Такой взгляд превращает вселенную в неистощимый источник информации» («Культура и взрыв». С. 247).

Лотман не отделял идею Бога от физических реальностей и от своих научных семиотико-кибернетических занятий. В этом отношении интересно сопоставить его позицию со взглядами академика А. Д. Сахарова. Вяч. Вс. Иванов вспоминает эпизод: выдающийся теоретик, находясь на отдыхе в Сухуми, прочитал друзьям популярную лекцию о Большом взрыве, о начале Вселенной. Е. Г. Боннэр спросила его, как все это соотносится с Богом? Ответ Сахарова изумителен: «Пойми, ведь Бог так велик, что мелочи вроде пространства и времени к Нему не имеют непосредственного отношения»⁶². А Лотман не мог отделить «эксперименты» и «информацию» от Бога!

И ученый остановился перед самой заманчивой и самой загадочной проблемой — жизни после смерти. В целом он оставался неверующим скептиком. Когда моя жена спросила его в 1992 г. (послед-

⁶² *Иванов Вяч. Вс.* Няня Маруся и другие гении. — «Общая газета», 1999, 18—24 февраля, № 7. С. 16.

ний приезд Лотмана в Петербург), надеется ли он на встречу с Зарой «там», он осторожно ответил, что не уверен в существовании «там». И все же он постоянно подходил к таинственному краю. В статье «Две “Осени”» Лотман говорит о теме зимы-смерти, завершающей стихотворение Баратынского, и заканчивает статью потрясающим пассажем: «Подобно библейскому Моисею, Пушкин и Баратынский подвели свой народ к границе обетованной цели, но им не суждено было перейти ее, не перешли ее и мы. Нам все еще предстоит сделать этот рывок из пустоты на землю нового мира. Будем оптимистичны и остановимся на вере, что этот скачок будет сделан»⁶³. Да, Лотман не был, подобно Баратынскому, пессимистом, он завершал свои последние статьи, завершал свою жизнь с явной надеждой. Опираясь на тернарность, к которой все больше он подходил, на триицу «вера, надежда, любовь», скажем, что у ученого уже и вера начинала теплиться, он был близок к гармоническому завершению классической христианской триады.

И — парадоксально, как многое в нашей жизни! — в трагические минуты Лотман переступал через скепсис и находился особенно близко к принятию классической триады. Ф. С. Сонкина вспоминает, что когда в тревожном ожидании страшной развязки (у мужа был тяжелейший инфаркт) она, глубоко верующая, пошла в церковь и, коленопреклоненная, молилась и плакала, Лотман, вошедший с ней в храм, тоже плакал и... крестился. Этот эпизод многого стоит.

⁶³ Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 406.

ВМЕСТО ИТОГОВ

Если о физическом продлении жизни после смерти можно гадать и сомневаться, то совершенно бесспорно прочное существование научного наследия большого ученого. Труды Лотмана издаются все чаще и чаще, можно говорить о существовании в разных вариантах почти полного собрания его сочинений⁶⁴. Планируется издание сочинений

⁶⁴ Первое по времени издание — таллинское, Лотман. I — III. Оно, естественно, охватило только часть наследия ученого. А затем главную инициативу взяло на себя издательство «Искусство — СПб». После успеха книги Лотмана «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)» (1994, тираж был еще «старый» — 25000 экземпляров! а в 1998 г. вышло второе издание книги тиражом в 5000 экз.) издательство стало выпускать том за томом толстые тематические сборники книг и статей Лотмана:

«Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки 1960—1990. «Евгений Онегин». Комментарий» (1995);

«О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста. Статьи и исследования. Заметки. Рецензии. Выступления» (1996);

«Карамзин. Сотворение Карамзина. Статьи и исследования 1957—1990. Заметки и рецензии» (1997);

«О русской литературе. Статьи и исследования (1958—1993). История русской прозы. Теория литературы» (1997);

«Об искусстве. Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962—1993)» (1998).

Сейчас издательство «Искусство — СПб» готовит шестой по счету (общей нумерации нет) том о семиотике и культурологии — тем самым будет почти полный комплект трудов Лотмана. Книги вышли невиданными для нынешнего книжного рынка тиражами — по 10000 экземпляров (только последний том — «Об искусстве» — 5000).

Московское издательство «ОГИ» приступило тоже к подготовке Собрания сочинений Лотмана; в 1998 г. вышел в свет 1-й том «Русская литература и культура Просвещения».

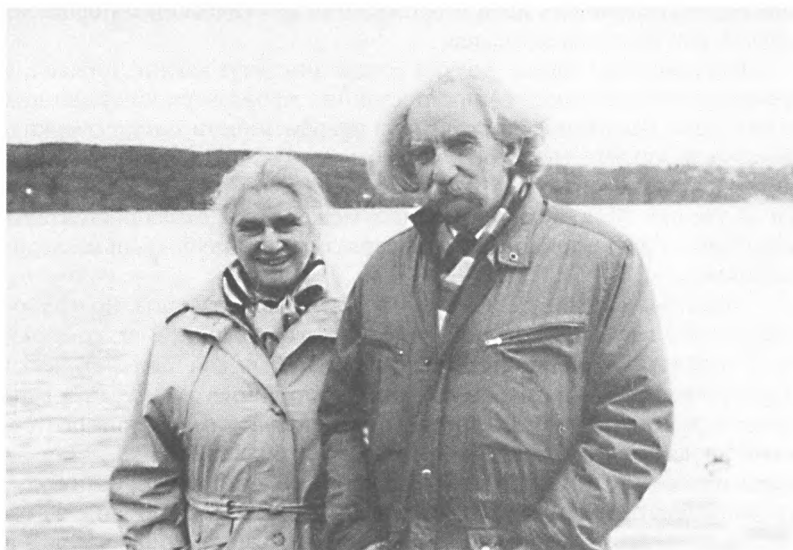
и дальше, и у нас, и за рубежом. По-прежнему Лотман один из самых часто цитируемых и упоминаемых ученых-гуманитариев. В вузовских студенческих учебных программах обязательны труды Лотмана. В самых различных жанрах — от академических монографий до телевизионной публицистики — звучат похвальные, возвышенные отзывы о деятельности и личности тартуского профессора.

Впрочем, чем более значительна фигура ученого, тем больше вероятность появления и контрастных, критических суждений, пусть и единичных. Как любил повторять Лотман, там, где безличные, массовые «нарицательные» существительные, там чаще всего — нейтральная тишина, а зато там, где имена собственные, т. е. личности, всегда клубится атмосфера взрыва. Конечно, взрыв немислим при частных спорах: напомним, например, мои несогласия с отдельными концепциями Лотмана — или даже анекдотическую защиту М. Д. Артамоновым фальшивой X главы «Евгения Онегина». Но не обошлось и без взрывов. Группа молодых ленинградских историков, издававшая в конце 1970-х — начале 1980-х годов рукописный (машинописный) журнал «Метродор», с юным задором «разоблачала» действительные и надуманные ошибки выдающихся ученых: М. М. Бахтина, О. М. Фрейденберг. Досталось и Лотману. В 10-м выпуске «Метродора» (1982) опубликованы две антилотмановские статьи. Статья Р. Топчиева посвящена тогдашнему докладу (статья появилась чуть позже) Лотмана о пушкинском замысле «Иисус» и о попытке реконструкции этого замысла. Р. Топчиев крайне скептичен, считает невозможным восстановить идейно-сюжетную структуру произведения, которое известно только по одному слову заглавия. Но, пожалуй, более результативным было бы в противовес лотмановским концепциям представить свои соображения, свою реконструкцию пушкинского замысла. Однако автор ограничивается скепсисом.

Более содержательна статья Л. Я. Лурье «Источниковедение в статьях Ю. М. Лотмана по типологии культуры». Автор рассматривает несколько статей Лотмана, среди них уже вызывавшую возражение А. А. Зимина (спор о понятиях: «честь» и «слава» в древнерусских текстах); Л. Лурье здесь не оригинален, опирается на Зимина, считает, что тот прав. Интереснее спор по поводу статьи Лотмана «Декабрист в повседневной жизни». В некоторых случаях возражения Л. Лурье малопродуктивны (например, он скептически относится к лотмановской идее о возможном «романтическом» истолковании гордого ухода П. Я. Чаадаева в отставку по образцу поведения шиллеровских героев: дескать, нет сведений о знакомстве Чаадаева с Шиллером!), но некоторые возражения с опорой на источники, на цифры основательны. Впрочем, и цифровая корректировка иногда, в свою очередь, вызывает скепсис: скажем, вопреки утверждению Лотмана о том, что декабристы были «людьми действия», Л. Лурье приводит данные: из 402 участников тайных обществ лишь 91 чело-

век сражался в войнах с Наполеоном; ну и что, хочется возразить, разве это мало? и разве они не создавали атмосферу мужества, готовности к военным подвигам и т. д.? Вообще, дело ведь не в количестве, а в качестве. Лотман концентрировал свое внимание на типичнейших чертах декабристов, чертах, становившихся мифологическими. Может быть, тот грех, о котором я говорил выше, — расширение части до всеобщего целого — и здесь иногда имел место, но все-таки при характеристиках больших социальных и психологических групп подобное расширение вполне допустимо; люди разные даже в тесных коллективах, и всегда можно найти человека, который по своим свойствам значительно отличается от стержневой массы, но не он определяет суть явления. Культурологические обобщения Лотмана основаны на большом фактическом материале, и исключения, даже количественно весомые, не колеблют концепции в целом.

Не могу еще не сказать о критике Лотмана, посмертно прозвучавшей в книге В. Н. Турбина «Незадолго до Водолея» (М., 1994). Увы, теперь ушел из жизни и автор этой книги... В. Н. Турбин — талантливый московский литературовед, талантливый университетский преподаватель, но он с молодых лет отличался некоторой нарочитой изломанностью, изощренностью концепций; применительно же к нашей теме они достигли какой-то фантастической гиперболизации. Позволю себе привести большой отрывок из книги: «Юрий Лотман и в самые дремучие годы смог явить творчество как нечто методологически цельное. Пусть по сути структурализм его тартуской школы весь, с начала и до конца, входил в сферу научных доктрин, представляющих собою опережающую реакцию, наступление не столько на то, что было, сколько на то, что будет. Уходящая материальная эстетика здесь явилась в ее полном и откровенном виде: без присущего марксизму патетического многословия. Только схемы. Числа и линии, к сочетанию которых сводимо художественное высказывание. Получается своеобразный концлагерь. Тюрьма, ибо именно в концлагере и в тюрьме можно видеть подобное торжество геометрии и статистики: никаких отдушин для проникновения сюда нежелательной здесь духовности, даже имя исчезло, сменившись порядковым номером. Структурализм — сублимация втайне свойственного человеку желания упечь ближних своих в тюрьму, заточить их: лишь при этом условии «я» способно исчерпывающе овладеть сознанием «другого». И вполне закономерно: наш, отечественный структурализм появился вскоре после XX съезда КПСС: разрушались, дискредитировались реальные концлагеря, и желание оказывалось неутоленным. Заточение стали осуществлять не на людях, живых и страдающих, а на моделирующих их художественных высказываниях. Говорить все это можно только с признательностью: отказаться от каннибализма материальной эстетики в одночасье немислимо: но тогда уж лучше оставить в покое живых



З. Г. Минц, Ю. М. Лотман. 1989 г.

людей и терзать вербальную плоть — слова. Структурализм — заключительный аккорд затянувшейся лебединой песни марксизма. Его детище: гениальным структуралистом был Сталин, ибо он ухитрился свести всю философию к знаменитым семи «чертам» диамата-истмата, а такое тартуской школе и во сне привидеться не могло бы. Случай слишком известный: Лотман, «сын», посягнул на «отца», на Сталина; оттого-то марксисты так ненавидели структурализм, в то же время с каким-то мазохистским усердием провоцируя его на новые эскапады» (С. 43—44).

О таких анекдотических трактовках тоже надо знать. Грустно, конечно, что — объективно! — клеветническую чушь сочиняет не газетный гангстер, способный любую концепцию довести до абсурда, а вполне честный человек, который, впрочем, вряд ли прочел у наших структуралистов более чем три-четыре ранних работы.

Большому ученому, наверное, положено иметь хотя бы несколько «зоилов». Мне приходилось слышать ворчание одного физика, считающего В. И. Вернадского дутой величиной. Почему бы не получить такого ворчуна и Лотману?! Как римскому триумфатору, при колеснице которого полагалось иметь бегущего и орущего клеветника.

А триумф Лотмана, несомненно, — громадный, непоколебимый, радостно прочный. В начале своей работы я уже говорил не только о публикациях лотмановских текстов, но и о массе современных книг и сборников, посвященных творчеству ученого, роли в нашей науке московско-тартуской школы. Долго еще наше и последующие поко-

ления будут осваивать идеи и богатейший фактический материал из трудов тартуского профессора.

В германском городе Бохуме создан институт имени Лотмана, в университетских городах мира постоянно проводятся конференции в его честь. Выдающиеся мыслители современности пишут очерки о покойном коллеге (напомню хотя бы предисловие Умберто Эко к английскому изданию книги Лотмана 1990 г.). И уже известны книги об ученом. Моя, на данном этапе, может быть, самая обстоятельная, будет в XXI веке продолжена серьезными и глубокими исследованиями.

Будет более основательно изучено не только научное, но и художественное наследие Лотмана, особенно его рисунки, — и, конечно, весь уникальный облик этого человека. Он был как бы генетически запрограммирован на необычайно разностороннего деятеля, в первую очередь — ученого. Талантливый питерский химик, университетский профессор Я. В. Дурдин делил всех своих коллег и учеников на три категории: одни могут что-то делать в области науки, если будут созданы благоприятные условия, а если таковых не будет, то и ждать от них нечего; другие далеки от науки в любых ситуациях, все равно каких, и благоприятных, и неудачных; а третьи — люди науки в любых условиях. Лотман, естественно, принадлежал к третьей категории. Он не мог не быть человеком науки, какие бы препятствия ни ставились внешними силами. А если еще оказывались просветы, хотя бы временные, и ограниченные возможности трудиться, он включал все свои резервы и потенции — и достиг таким образом выдающихся успехов, приобрел заслуженную мировую известность.

Б. Ф. ЕГОРОВ

БАХТИН И ЛОТМАН*

В необозримо громадной литературе о Бахтине довольно часто упоминаются труды представителей тартуско-московской семиотической школы и, конечно, труды ее главы Лотмана. Может быть, и не в такой обширной, но тоже достаточно количественной литературе о Лотмане ссылки на Бахтина не менее часты. Было бы странно, если бы этого не наблюдалось. Четверть века назад один коллега (В. А. Зарецкий) во время литературоведческой конференции, на которой присутствовали Д. С. Лихачев и Ю. М. Лотман, заметил, обращаясь к соседям: «Здесь две трети вершин нашей науки. Не хватает еще Бахтина». Воистину.

Именно тогда, в начале семидесятых годов, появились ценные работы Вяч. Вс. Иванова и Д. М. Сегала⁶⁵, освещавшие воздействие идей Бахтина на труды Лотмана, а потом работы на эту тему пошли косяком. Авторы некоторых из них уже стали как бы бить отбой и подчеркивать не столько сходство, сколько отличие современных семиотиков от Бахтина (статьи И. Р. Титуника⁶⁶). И уже в недавнее время опубликованы исследования непосредственно на тему «Бахтин и

* Текст частично опубликован: «Бахтинские чтения». III. Витебск, 1998. С. 83—96.

⁶⁵ *Иванов Вяч. Вс.* Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики. — Семиотика. 6. 1973. С. 5—44; данная статья перепечатана в журнале «Диалог. Карнавал. Хронотоп» (1996, № 3. С. 5—58) с интересным современным «Послесловием» автора (С. 59—67); *Segal D.* Aspects of Structuralism in Soviet Philology. Tel Aviv, 1974.

⁶⁶ *Titunik I.R.* M.M.Baxtin (The Baxtin School) and Soviet Semiotics. — «Dispositio» (Ann Arbor). 1976. Vol. 1, № 3. P. 327—338; *Titunik I.R.* Bakhtin and Soviet Semiotics. — «Russian Literature» (Amsterdam). Vol. 10, № 1. P. 1—16.

Лотман» — статьи А. Рейда, А. Манделькер, П. Гржибека, Н. Каухчишвили, И. Верча, Д. Бетэа (грубая транскрипция фамилии Bethea)⁶⁷.

А. Рейд, как видно даже из названия его статьи («Кто же Лотман и почему Бахтин говорит о нем такие гадкие вещи?»), явно преувеличивает негативность весьма деликатных замечаний Бахтина о современной семиотике, хотя и пытается наметить возможность сближения. П. Гржибек более тщательно исследует соотношение методов Бахтина и Лотмана (хотя в заглавии его работы стоит более широкое понятие «школы», но практически речь идет именно о Лотмане). Правда, значительная часть статьи Гржибека посвящена сравнению работ Бахтина и ранних теоретических трудов Лотмана (1960—1970-х годов), что дает автору основание говорить лишь о самых общих схождениях: и Бахтин, и Лотман вместе со «школой» рассматривают язык в широком семиотическом смысле, т. е. как понятие, относящееся к любой знаковой системе, а не только к словесной; точно так же и «текст» трактуется широко — как созданный любыми знаками. А в остальном Гржибек находит различия, опираясь на бахтинские высказывания в его записях 1970—1971 годов, посвященные тогдашнему уровню отечественной семиотики, имея в виду в первую очередь труды Лотмана и «школы»: «Семиотика занята преимущественно передачей готового сообщения с помощью готового кода. В живой же речи сообщение, строго говоря, впервые создается в процессе передачи и никакого кода, в сущности, нет <...>. Код — только техническое средство информации, он не имеет познавательного творческого значения. Код — нарочито установленный, умерщвленный контекст»⁶⁸.

Бахтин, недостаточно знакомый с работами Лотмана 1960-х годов, упрощает картину, но в первом приближении его критика справедлива, и Гржибек имел некоторое основание провести такие параллели: Бахтин подчеркивает, в отличие от «школы», индивидуальность, неповторимость текста как высказывания (достаточно было бы проштудировать первую структуралистско-семиотическую книгу

⁶⁷ Reid A. Who is Lotman and Why is Bakhtin Saying Those Nasty Things About Him? — «Discours Social / Social Discourse». 1990. Vol. III, № 1—2. P. 325—338; Mandelker A. Semiotizing the Sphere: Organicist Theory in Lotman, Bakhtin and Vernadsky. — «Publications of the Modern Language Association of America». Vol. 109, 1994. P. 385—396; Гржибек. П. Бахтинская семиотика и московско-тартуская школа. — Лотм. сб. I. С. 240—259; Kauchschischwili N. Florenskij, Bachtin, Lotman (dialogo a distanza). — «Slavica Tergestina». Vol. 4. Наследие Ю. М. Лотмана: настоящее и будущее. Trieste, 1996. P. 65—80; Verč I. Стих vs проза: от Бахтина к Лотману и дальше.... — Ibid. P. 153—162; Bethea D.M. Bakhtinian Prosaics Versus Lotmanian «Poetic Thinking»: the Code and its Relation to Literary Biography. — «Slavic and East European Journal». Vol. 41, № 1, 1997. P. 1—15.

⁶⁸ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 352.

Лотмана «Лекции по структуральной поэтике» (1964), чтобы увидеть там конкретные, «индивидуальные» анализы, но, опять же, некоторые теоретические высказывания времен «летних школ» давали основания для бахтинских обобщений). Далее Гржибек, однако, переходит к противопоставлению концепции Бахтина учению Ф. де Соссюра, полагая, что метод Лотмана базируется на учении Соссюра, и тогда бахтинские утверждения о социальной и материальной сущности знаковых систем противостоят как бы «идеализму» и «абстрактности» не только соссюровской, но и лотмановской семиотики.

А в конце статьи Гржибек справедливо отмечает изменения, произошедшие в методе Лотмана: «Однако во второй половине 70-х годов понятие текста в московско-тартуской школе было пересмотрено, особенно в серии статей Лотмана (далее идут ссылки на теоретические труды Лотмана 1977—1986 годов. — Б. Е.). Примечательно, что в этих статьях первоначальное определение текста подвергнуто некоторым изменениям в духе бахтинской семиотики. Статьи, написанные после Вяч. Вс. Иванова, Л. Матейки и Д. М. Сегала, подчеркнувших важность бахтинских идей для современной семиотики, демонстрируют явное теоретическое и концептуальное сходство со взглядами Бахтина»⁶⁹. Именно так.

Статья Н. Каухчишвили посвящена не столько сопоставлениям ученых, сколько общему обзору русских культурологических концепций XX века, с главным вниманием к Флоренскому. Остальные труды посвящены более частным, хотя и значительным, проблемам; наиболее обстоятельна статья Д. Бетза.

К сожалению, всем авторам (по крайней мере, всем находившимся в моем поле зрения) осталась неизвестной основополагающая статья Лотмана «Бахтин — его наследие и актуальные проблемы семиотики», прочитанная как доклад на международном Бахтинском симпозиуме в германском университете им. Ф. Шиллера (Иена, 1983) и опубликованная в материалах конференции⁷⁰.

Данная статья Лотмана чрезвычайно интересна для понимания более поздних идей тартуско-московской школы, поздних по отношению к высказанным в начале пути и служившим объектом критики Бахтина. Так как статья посвящена не анализу эволюции «школы», а наследию Бахтина, то автор, совсем не касаясь вопроса об изменениях своего метода, в самом подчеркивании главных выводов

⁶⁹ Гржибек П. Бахтинская семиотика... С. 247—248. Упомянутая статья Л. Матейки — послесловие к английскому переводу книги: *Voloshinov V.N. Marxism and the Philosophy of Language*. New York, 1973.

⁷⁰ Lotman Ju. Bachtin — sein Erbe und aktuelle Probleme der Semiotik. — «Roman und Gesellschaft. Internationales Michail-Bachtin-Colloquium». Jena, Friedrich-Schiller-Universität, 1984. S. 32—40. В дальнейшем ссылки на эту статью даются непосредственно после цитат. Цитатные переводы принадлежат мне.

бахтинского учения, представляемых без полемики (лишь с небольшими коррективами), как бы с согласием, фактически намекает и на свою эволюцию и обезоруживает прошлых и будущих оппонентов, судящих о Лотмане лишь по ранним его работам.

Поэтому статью можно воспринимать и как изложение своих взглядов. Если они почти все совпадают с бахтинскими, значит, произошло изменение метода, обусловленное, добавим от себя, как имманентными потенциями, заложенными в ранних идеях, так и, очевидно, влиянием Бахтина: и его трудов, и критики в адрес «школы». Это очень существенно.

В первой части статьи рассматривается соотношение метода Бахтина с концепциями Ф. де Соссюра и отмечаются два важных контраста: 1) в отличие от «статического» представления швейцарского лингвиста о знаковых системах, Бахтин утверждал их динамический характер; 2) Бахтин строил учение о диалоге в противовес прежним «монологическим» концепциям. Тут Лотман делает единственное замечание; он считает, что понятие Бахтина о диалоге несколько неопределенно, иногда даже метафорично, и ниже дает свое семиотическое определение диалога: «...механизм переработки новой информации, которая еще не существует до диалогического контакта» (с. 38). А так как Бахтин воспринимал современных структуралистов как последователей де Соссюра⁷¹, то выгодное отличие Бахтина от швейцарского ученого, намеченное в статье Лотмана без критики и как бы с одобрением, косвенно означает и деликатную корректировку суждений Бахтина: вы, дескать, бранили нас за «соссюровскую» ограниченность, а мы вполне солидарны с вашим противостоянием де Соссюру!

Приведенная выше цитата с определением диалога взята из второй части лотмановской статьи, посвященной *развитию* идей Бахтина на новом этапе существования тартуско-московской школы, особенно идей о диалоге. С диалогом Лотман связывает свой основополагающий принцип второго этапа существования «школы», начавшегося с 1970-х годов, постулат о необходимости для культуры двух или более языков, взаимодополняющих друг друга: языки вербальный и изобразительный, литературы и театра, литературы и кино и т. д.; сюда же подключается одно из крупнейших психофизиологических открытий XX века, обнаружение различий между функциями двух полушарий головного мозга.

И в самом деле этот принцип как бы вытекает из понятия диалогизма (наличие двух или более языков и кодов создает диалогическое общение) и усиливает внимание к динамическим процессам в семиотических сферах; новое определение диалога, данное Лотманом, как бы прямо вытекает из постулата динамичности (процесс

⁷¹ См.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества... С. 238.

создания нового) и, в свою очередь, порождает динамичность⁷². В рассматриваемой статье Лотман несколько раз подчеркивал большую важность для семиотики не механического переноса аутентичной информации, а творческих процессов, в которых создается новая информация, всегда включаемая в диалог.

(Заметим в скобках: в последние годы жизни, особенно в книге «Внутри мыслящих миров», Лотман как бы согласился, что при обычной односторонней передаче информации от «Я» к «Другому» она, информация, не меняется, остается константной; но есть исключение: когда происходит автокоммуникация, передача самому себе, тогда могут меняться коды, а информация — наращиваться; однако Лотман не учитывал, что и при передаче другому коды часто меняются, а в свете новых контекстов информация еще возрастает, поэтому вряд ли стоит противопоставлять передачи «Я—Он» и «Я—Я».)

Таким образом, в области теории семиотики произошло сближение позиций, метод Лотмана в 1980-х годах приблизился к бахтинскому. Но общие семиотические принципы не охватывают всех сторон мировоззренческих систем, в которых взаимоотношения носили значительно более сложный характер. К сожалению, насколько мне известно, авторы, создавшие труды на тему «Бахтин и Лотман», не касались глубинных основ их мировоззрения и мироощущения, а там различия весьма существенны.

Прежде всего стоит говорить о религиозности Бахтина, неизменной на протяжении всей его жизни, и об атеизме Лотмана, идущем от семейного и общественного воспитания. Бахтин был по-интеллигентски свободным и творческим христианином, далеким от официозности и консервативного традиционализма, он толерантно относился к карнавальным кощунствам, да и сам мог высказывать парадоксальные «кощунственные» мысли вроде представления об Евангелии как карнавале, вскользь брошенного в беседе с В. Н. Турбиным, однако религиозность была основой творческого мировоззрения Бахтина⁷³. На ней строилась его этика; понятия греховности, вины, жертвы, искупления, благодати наполняют его труды.

Бесспорно заметно холодное отношение Бахтина к формалистам в течение всех двадцатых годов и не менее холодное отношение фор-

⁷² М. Л. Гаспаров выводит динамичность в лотмановских анализах из наследия Ю. Н. Тынянова (см.: *Гаспаров М. Л.* «Анализ поэтического текста» Ю. М. Лотмана: 1960—1990-е годы. — Лотм. сб. 1. С. 189). Пожалуй, бахтинское влияние более прямое.

⁷³ См.: *Турбин В. Н.* Карнавал: религия, политика, теософия. — «Бахтинский сборник». Вып. 1. М., 1990. С. 25. За последние годы вышло немало работ о религиозности Бахтина и об ее источниках. Из новейших исследований отмечу: *Тамарченко Н. Д.* Автор и герой в контексте спора о Богочеловечестве (М. М. Бахтин, Е. Н. Трубецкой и Вл. С. Соловьев). — «Дискурс». Новосибирск, 1998, № 5/6. С. 25—39.

малистов к Бахтину: ведь хвалебную рецензию на его книгу о Достоевском 1929 года написал марксист А. В. Луначарский, а не кто-либо из вождей формализма, как будто бы должных заинтересоваться виртуозным анализом стиля и языка писателя! Конечно, тут могла сыграть роль враждебная книга П. Н. Медведева «Формальный метод в литературоведении», вышедшая в 1928 году: формалисты, разумеется, знали, что она создавалась в круге Бахтина, но главное не в этом. «Отчуждение» объясняется прежде всего контрастом мировоззренческих основ: религиозность — атеизм, из чего вытекают и более поздние, спустя сорок лет, упреки Бахтина в пренебрежении формалистами «большого времени», т. е. вечности, невнимании к истории культуры, содержательным и ценностным аспектам искусства и т. д. (однако Бахтин отмечал и достоинства формалистов: заметны «...новые проблемы и новые стороны искусства»⁷⁴).

Прохладное отношение Бахтина к появившимся в 1960-х годах отечественным структуралистам и семиотикам — как бы продолжение его неприятия формализма, ибо и у структуралистов он видит имманентное «замыкание в текст», «механические категории», «деперсонализацию» и т. д.⁷⁵ Подчеркнем еще раз, что Бахтин, видимо, не знал историко-литературных трудов Лотмана, как не знал и эволюции его семиотических концепций. Бахтин объявил семиотико-кибернетический «код» техническим, завершенным, нетворческим, в противовес необъятному, незавершенному контексту, а уже в ранних трудах представителей тартуско-московской школы намечались выходы из «статики» и неизменности, не говоря уже о дальнейшей эволюции метода. (Кстати, Бахтин не прав, заменяя код контекстом, это разные вещи: код — свод правил для передачи информации, а контекст — громадный культурный фон, мир ассоциаций, глубокий и разнообразный до бесконечности.) Учтем, однако, что Бахтин в статье 1970 года «Ответ на вопрос редакции “Нового мира”» выделяет «выдающиеся литературоведческие работы последних лет — Конрада, Лихачева, Лотмана и его школы»⁷⁶, но это не мешало ему постоянно подчеркивать свою отдаленность от «Лотмана и его школы»: «Я — не структуралист», — любил повторять ученый.

Соотносясь с религиозными (и антирелигиозными) основами, разными были и философские корни мировоззрения. Молодость Бахтина прошла под знаком неокантианства. Вокруг его старшего друга, философа-профессионала М. И. Кагана в Невеле образовался своеобразный кантовский семинар. Каган учился в 1907—1914 годах на философских факультетах Лейпцига, Берлина, Марбурга, главным образом, у неокантианцев Г. Когена и П. Наторпа, писал диссертаци-

⁷⁴ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества... С. 372.

⁷⁵ Там же. С. 352, 372.

⁷⁶ Там же. С. 330.

цию о «трансцендентальной апперцепции от Декарта до Канта», в период мировой войны 1914—1918 годов оказался как бы интернированным в Германии, а в 1918 году вернулся в родной город Невель, где и познакомился с Бахтиным и организовал кружок по изучению «Критики чистого разума» Канта⁷⁷. Бахтин, помимо штудирования трудов Канта и кантианцев, видимо, много узнал от Кагана о Когене, Наторпе, вообще о марбургской философской школе.

Любопытен странный антибюрократический розыгрыш Бахтина, который присутствует в недавно обнаруженной в Витебске официальной автобиографии ученого 1920 года: «С 1910 по 1912 год находился в Германии, где прослушал 4 семестра Марбургского университета и один семестр в Берлине»⁷⁸. Однако, согласно архивным разысканиям дотошных исследователей В. И. Лаптуна и Н. А. Панькова, Бахтин в 1912 году закончил лишь 4-й класс Одесской гимназии⁷⁹, так что вся витебская автобиография, включающая, помимо других искажений дат, совсем уж фантастическое сообщение об учебе в германских университетах, является как бы контаминацией некоторых действительных фактов из жизни Бахтина с данными о философских занятиях в Германии его старшего друга М. И. Кагана. Бахтин устроил, как говорят специалисты по поэтике, «реализацию метафоры»: духовное восприятие кантианства он превратил в материальное обучение в Марбурге и Берлине. Но по сути Бахтин не очень «сочинял»: в беседах с В. Д. Дувакиным он говорил об очень раннем знакомстве с «Критикой чистого разума» Канта, чуть ли не с тринадцатилетнего возраста; в тех же устных высказываниях он подчеркивал «огромное влияние», которое оказала на него Марбургская школа, особенно Г. Коген⁸⁰.

В параллель к кружку Кагана, Бахтин в Невеле читал философские лекции для местной интеллигенции: «...главное внимание я в своих лекциях обращал на Канта и кантианство. Я это считал центральным в философии. Неокантианство»⁸¹. С одной из самых интересующихся

⁷⁷ «Память». Вып. 4. М., 1979; Париж, 1981. С. 255, 273.

⁷⁸ Лисов А. Г., Трусова Е. Г. Реплика по поводу автобиографического мифотворчества М. М. Бахтина. — «Диалог. Карнавал. Хронотоп», 1996, № 3. С. 165.

⁷⁹ Лаптун В. И. К «Биографии М. М. Бахтина». — «Диалог. Карнавал. Хронотоп», 1993, № 1. С. 70—71; Паньков Н. А. Загадки раннего периода (Еще несколько штрихов к «Биографии М. М. Бахтина»). — Там же. С. 80.

⁸⁰ См. «Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным». М., 1996. С. 35—36, 39—40. На тему «Бахтин и неокантианство» сейчас существует уже обширная литература (труды К. Кларк и М. Холквиста, Н. Перлиной, В. Ляпунова и др.). См. ее обзор: Николаев Н. И. Невельская школа философии (М. Бахтин, М. Каган, Л. Пумпянский в 1918—1925 годах): По материалам архива Л. Пумпянского. — «М. Бахтин и философская культура XX века (Проблемы бахтинологии)». Вып. 1, ч. 2. СПб., 1991. С. 33; эта статья важна новыми материалами и оценками философской жизни «невельцев»; см. также обзор и публикацию Н. И. Николаева в сборнике «М. М. Бахтин как философ». М., 1992. С. 221—252.

⁸¹ «Беседы...». С. 230.

слушательниц, будущей великой пианисткой М. В. Юдиной Бахтин вел специальные «неокантианские» беседы⁸². В конце двадцатых годов уже в Ленинграде ученый тоже читал «кантианские лекции»⁸³.

На неокантианские принципы Бахтин опирался, разрабатывая нравственные проблемы и доказывая первенствующую роль этики в философии (заметим, что он в письме от конца 1921 года просит Кагана добыть в Москве книгу Г. Когена об этике Канта⁸⁴), выдвигая понятия «единство», «поступок», «ответственность» и др.; выдвигая также на первый план индивидуально-персонологические аспекты, соотношение субъектно-объектных сфер в художественных произведениях, познавательную-новаторскую роль вопросов-ответов и т. д. Лотман считал, что, в отличие от представителей тартуско-московской школы, пользующихся понятием пространства как универсального языка, в формах которого выражается и время («бежит»), Бахтин в термине «хронотоп» уравнивает пространство и время, хотя к самому хронотопу Лотман отнесся весьма положительно (см. об этом ниже).

В письме к Л. Л. Фиалковой от 15 июля 1983 г. Лотман так формулирует различие: «...в современной семиотике существует два совершенно различных понимания пространства <...>. Бахтин идет от идей физики (теория относительности) и рассматривает пространство и время как явления одного ряда (в перспективе это восходит к Канту). Мы же (полагаю, что первыми стали исследовать эту проблему С. Неклюдов и я) исходим из математического (топологического) понятия пространства: пространством в этом смысле называется множество объектов (точек), между которыми существует отношение непрерывности <...>. С этой точки зрения пространство — универсальный язык моделирования. Заметьте, что мы в бытовой речи выражаем временные категории на языке пространства (*предыдущий*, *последующий*, время бежит, время остановилось и пр.), а пространственные понятия на временном языке выразить невозможно» (Письма. С. 270. «С. Неклюдов и я» — имеются в виду статьи этих авторов в «Тезисах докладов во второй летней школе по вторичным моделирующим системам», Тарту, 1966).

В последние годы ряд ученых заговорил о преодолении Бахтиным принципов неокантианства в середине двадцатых годов: «...он значительно перерос свое неокантианское происхождение» (Г. С. Морсон)⁸⁵; «М. Бахтин в своем философствовании, бесспорно, перерас-

⁸² Там же. С. 237—238.

⁸³ Там же. С. 145.

⁸⁴ «Память». Вып. 4... С. 262.

⁸⁵ Morson G.S. The Bakhtin Industry. — «Slavic and East European Journal», 1986. Vol. 30, № 1. P. 86 (цит. по русскому переводу этой цитаты: «Диалог. Карнавал. Хронотоп». 1994, № 1. С. 65; перевод неточен).

тает границы системы Г. Когена» (Н. И. Николаев)⁸⁶; «...философа, критически пересматривающего свое юношеское неокантианство» (К. Эмерсон)⁸⁷; такое преодоление считал «естественным» В. В. Кожин⁸⁸. Наиболее обстоятельно рассмотрел сходство и отличие немецкого и русского философов В. Л. Махлин в докладе «Г. Коген и М. Бахтин», прочитанном 28 января 1994 года на Теоретическом семинаре Бахтинской научно-педагогической лаборатории при Московском педагогическом государственном университете. Общий вывод автора доклада относительно отличий таков: «...проблема “преодоления метафизики” у Когена и Бахтина решалась в разных направлениях: Коген пытался найти опору в “чистой” культуре и “чистом” познании; Бахтин хочет укоренить культуру в “нравственной реальности”»⁸⁹. С этим нельзя не согласиться, но все-таки, что и подчеркивает большинство исследователей, Бахтин остался кантианцем до конца своих дней.

Зато к гегельянству у Бахтина никогда не было симпатии. Философский метод Гегеля определяется Бахтиным как монологический и абстрагирующий, диалектика воспринимается как редукция диалога: в диалектике уничтожаются эмоционально-личностные, индивидуальные черты, «вылущиваются абстрактные понятия и суждения, все втискивается в одно абстрактное сознание»⁹⁰. О нелюбви Бахтина к Гегелю и его диалектике интересно рассказал С. Г. Бочаров в мемуарно-аналитической статье, где привел ярко парадоксальное высказывание кантианца: «Диалектика гегелевского типа — ведь это обман. Тезис не знает, что его снимет антитезис, а дурак-синтез не знает, что в нем снято»⁹¹.

Конечно, гегелевский историзм, рассмотрение как крупных образований типа литературных жанров, так и конкретных произведений на историческом фоне не мог не затронуть метода Бахтина, но все-таки ученый предпочитал крупномасштабные категории, существующие в библейском «большом времени». И недаром оппоненты находили у Бахтина исторические неточности. В этом плане Лотман сравнивал его с Ю. Тыняновым как литературоведа: «В научном отношении Тынянов, в определенном смысле, подобен Бахтину: конкретные идеи часто ложные, а концепции предвзятые <...>».

⁸⁶ Николаев Н. И. Невельская школа... С. 33.

⁸⁷ Эмерсон К. Американские философы в свете изучения Бахтина. — «Диалог. Карнавал. Хронотоп». 1993, № 2—3. С. 7.

⁸⁸ Кожин В. В. Бахтин в живом диалоге. — «Беседы...». С. 277.

⁸⁹ «Диалог. Карнавал. Хронотоп». 1994, № 4. С. 126. В этом номере (С. 124—126) содержится подробное изложение доклада В. Л. Махлина.

⁹⁰ Бахтин М. М. Эстетика... С. 352, 364.

⁹¹ Бочаров С. Г. Об одном разговоре и вокруг него. — «Новое литературное обозрение», 1993, № 2. С. 72, 88.

Но — общая направленность исключительно плодотворна и оплодотворяюща» (Письма. С. 331). Это — цитата из письма Лотмана к автору данной статьи, письма 1984 года, а в 1990 году он повторил эту мысль в печатной статье о Тютчеве: «Подобно тому, как теоретическая идея, лежащая в основе книги Бахтина о Рабле, глубока и плодотворна, несмотря на очевидную уязвимость историко-литературной ее реализации применительно к Рабле, смысл статьи Тынянова «Пушкин и Тютчев» — совсем не в исследовании отношений Пушкина и Тютчева»⁹². Разумеется, теоретичность, крупномасштабность мышления Бахтина совсем не гегелевская, а «библейская» и кантианская.

Лотман, наоборот, вырос в университетской научной среде Ленинграда тридцатых—сороковых годов, его учителя опирались на гегелевский и вытекавший из него раннемарксистский метод, потому пафос историзма и диалектики проник в самые основы мировоззрения молодого ученого; на диалектике будут строиться потом и многие теоретические положения лотмановского структурализма.

Русская общественная и философская мысль XIX века, которая тоже активно воспитывала Лотмана, была сама густо замешена на Гегеле и почти не заметила Канта. Но XX век несколько сместил пропорции, и если не поубавилось гегелистов, то явно прибавилось кантианцев. М. Ю. Лотман склонен зачислить в этот лагерь и отца: «Ю. М. Лотман был кантианцем»⁹³. Или, в последнем варианте: «...в работе 1989 г. отказ от гегелевской традиции и ориентация на Лейбница и Канта получит теоретическое осмысление» — и следует ссылка на статью Лотмана «Культура как субъект и сама себе объект»⁹⁴. Подобные мнения — сильное преувеличение. Нигде Лотман не отказывается от Гегеля; в упомянутой его статье он говорит, что герменевтические проблемы, смещающие интерес от отражения «духа» в тексте на отражение текста в аудитории (т. е. на интерпретацию текста воспринимающими), восходят к Канту, но далее от «великих основоположников нового европейского мышления — Гегеля и Канта» Лотман переходит к обретающему актуальность, как представлялось ученому, Лейбницу (Лотман. III. С. 368—369). То, что Лотман интересовался по существу мистическими монадами Лейбница, которые он переводит в «семиотико-информационный» план, чрезвычайно важно (жаль, что эта проблематика не получила дальнейшей разработки), но это совсем не кантианство.

⁹² Лотман Ю. М. Поэтический мир Тютчева. — «Тютчевский сборник». Таллинн, 1990. С. 109.

⁹³ Лотман М. Ю. За текстом: заметки о философском фоне тартуской семиотики (Статья первая). — Лотм. сб. I. С. 216.

⁹⁴ Лотман М. Ю. Послесловие: Структуральная поэтика и ее место в наследии Ю. М. Лотмана. — В кн.: Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 678.

Сильно преувеличено «кантианство» отца и в статье М. Ю. Лотмана «За текстом...», хотя и конкретный пример с семиотическим «текстом» (размывание антиномии субъекта и объекта) и констатация, что в работах Лотмана последних лет содержатся принципиальные отсылки к сочинениям и идеям Канта, — бесспорно, справедливы. Но все-таки в большинстве случаев ссылки — или объективная констатация исторических фактов (например, в работах о Карамзине теме «Карамзин и Кант» уделено немало страниц), или проведение границ между кантианцами и собою; выше отмечалось различие в понимании пространства и времени у Бахтина и тартуанцев; в книге «Культура и взрыв» Лотман кантовской трансцендентной ноуменальной реальности противопоставляет сложное семиотическое пространство, где происходят прорывы в трансцендентные области⁹⁵; в книге «Внутри мыслящих миров» Лотман представления Канта о предсказуемости массовых явлений корректирует идеей И. Пригожина об «индивидуально» непредсказуемом поведении больших систем при бифуркациях⁹⁶. Далека Лотман, как уже говорилось, и от восходящего к Канту бахтинского уравнивания пространства и времени.

Вообще надо быть осторожным при анализе влияний и при даче мыслителям определений с суффиксами «-ист» и «-анец» / «-янец». М. Ю. Лотман законно удивляется, что некто Р. Ветик делает Ю. М. Лотмана последователем Платона. Но если известный марбургский неокантианец П. Наторп находил тесные связи Платона с Кантом и марбургской школой неокантианства, то почему бы истоки и лотмановского метода не возвести к Платону?! В принципе у любого крупного ученого можно найти какие-то схождения со всяким знаменитым предшественником, отдаленным хотя бы на несколько веков. Но все дело в степени влияния и в пропорциях.

Если оба ученых имеют разные истоки своей тяги к генерализирующим обобщениям (Бахтин — библейскую и кантианскую онтологию, Лотман — Гегеля и западных семиотиков и структуралистов), то черты самого метода крупномасштабных выводов из анализа большого конкретного материала у них очень сходны. Характерно, что целый ряд крупных открытий Бахтина Лотман использовал в своем творчестве, плодотворно их развивая. Например, на бахтинские понятия хронотопа и романного слова он опирался при анализе сюжетов: «Введение М. М. Бахтиным понятия хронотопа существенно продвинуло изучение жанровой типологии романа <...>. Если к этому добавить особенности романного слова, глубоко проанализированные М. М. Бахтиным и открывающие почти неограниченные возможности смыслового насыщения, то делается понятным ощущение сюжетной безграничности, которое вызывает роман у читате-

⁹⁵ Лотман Ю. М. *Культура и взрыв*. М., 1992. С. 42—43.

⁹⁶ Лотман. *Внутри...* С. 326—327.

ля и исследователя»⁹⁷. В. С. Вахрушев в интересной рецензии на книгу Лотмана «Внутри мыслящих миров» конспективно отмечает, что автор «часто заходит на «бахтинскую территорию», когда рассуждает о Достоевском, о «неточном» слове писателя, о «сложном многоголосии гетерогенных языков культуры» (с. 148), о дискретности как «законе всех диалогических систем» (с. 194) и т. д.» (рецензия отдана в журнале «Вопросы литературы», 1998, № 6). Сам Лотман в упоминавшейся немецкой статье отметил, что его идея о необходимости для культуры по крайней мере двух семиотических языков прямо вытекает из бахтинского диалога (см. с. 37).

Можно немало найти то общих, то более частных аспектов методов двух ученых, а также категорий их мировоззрения, в которых есть сходные элементы и структурные каркасы. Например, плодотворно было бы рассмотреть присутствующую у обоих противопоставленность субстанции и функциональности. Недавно польский культуролог Богуслав Жилко в добротной книге о Бахтине интересно соотнес «жанр» и «большое время» ученого с понятием «символа» у Лотмана⁹⁸. А сам Лотман в книге «Культура и взрыв» наметил важную проблему: предложил рассмотреть метод О. М. Фрейденберг и ее исследования жанров и сюжетов в соотнесении с соответствующими областями у Бахтина⁹⁹. Сюда было бы полезно подключить и работы на эти темы самого Лотмана.

Не все параллели отличаются полным сходством. В отдельных случаях Лотман вносил уточнения; см., например, его замечание по поводу применения Бахтиным оппозиции «монолог — диалог» лишь к родовому противопоставлению «поэзия — проза», в то время как конкретно эта оппозиция была не столько между родами, сколько в методах: например, многоязычное барокко — и монологический романтизм и в стихах, и в прозе¹⁰⁰.

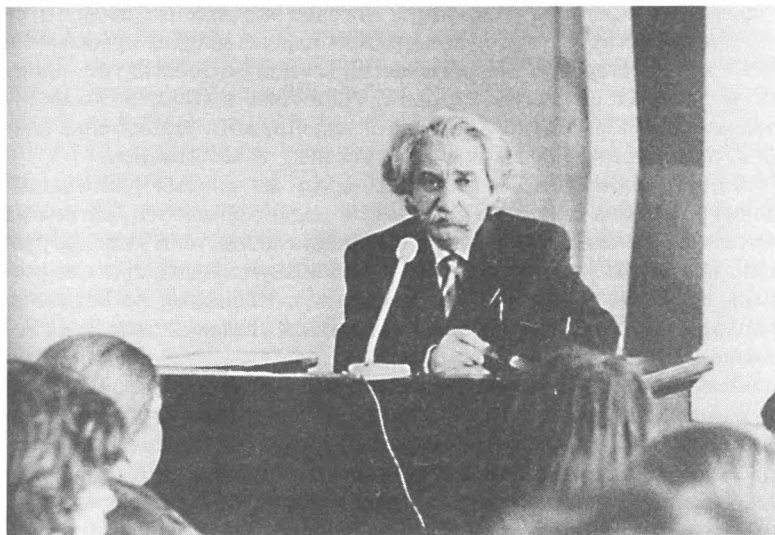
В чем, конечно, наблюдается полное схождение двух ученых, это — в основах этики. И в теоретическом плане, и в практическом, т. е. в смысле жизненного поведения. Христианские нравственные императивы вели Бахтина в его многотрудной жизни, он никогда им не изменил. Лотман, слава Богу, не испытал арестов и ссылок, но четыре года самого тяжелого пекла великой войны да еще обильные притеснения и угрозы потом — тоже значат немало. И тоже он ни разу не поступился высокими (по сути, христианскими) нравственными

⁹⁷ Лотман Ю. М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия. — Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 325—326, 330.

⁹⁸ *Żyłko B.* Michał Bachtin. Gdańsk, 1994. S. 182—184.

⁹⁹ Лотман Ю. М. Культура и взрыв... С. 217—218.

¹⁰⁰ Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Спецкурс. Тарту, 1975. С. 33.



Ю. М. Лотман

принципами. И главное — глубокий демократизм обоих ученых, проявлявшийся и в быту, и в творческих идеях (ведь все аспекты диалога и карнавала основаны на презумпции равенства участников; лотмановская культурология тоже демократична). И все их творческие искания глубоко честны и совестливы, они тесно связаны с «правдой-истиной» и «правдой-справедливостью», говоря терминами Н. К. Михайловского.

В концовке немецкой статьи о Бахтине Лотман говорит именно об этих чертах применительно к анализируемому автору: «Все, кто имел счастье знать М. М. Бахтина лично, были убеждены, что он не только гениальный исследователь, но также ученый высокого человеческого уровня, с выдающейся профессиональной этикой и величайшей честностью в поисках истины. Поэтому мы должны говорить не только о том, как мы смотрим на Бахтина, но также и о том, как он смотрит на нас. Я желал бы, чтобы мы в нашем научном стремлении были бы достойными его» (с.40). Но точно такими же словами можно охарактеризовать и самого Лотмана.

Лотман «имел счастье знать М. М. Бахтина лично». Как только семья Бахтина получила возможность жить не в Саранске, а близ Москвы (с конца 1969 г. — семь месяцев лечения в Кунцевской больнице, с мая 1970-го — постоянное жилье в доме для престарелых в Гривне), Лотман через московских друзей смог лично познакомиться со старшим коллегой по науке. Первое знакомство, очевидно, состоялось в конце июля или начале августа 1970 г., когда Лотман был в

Москве. Визит оставил у тартуанца тяжелое впечатление из-за бытового неустройства великого ученого: ведь первые месяцы пребывания в доме для престарелых Бахтины имели комнату в общежитии; длинный коридор со спящим народом, «удобства» в конце этого коридора мешали нормальной творческой жизни, хотя терпеливые Бахтины, привыкшие и не к таким трудностям, не жаловались.

Лотман, вернувшись в Эстонию, сразу же занялся реализацией пришедшей ему в голову замечательной идеи: пригласить Бахтина на постоянное жительство в Тарту. В предшествующие годы кафедра русской литературы уже пыталась обогатиться двумя выдающимися учеными, Ю. Г. Оксманом и В. Д. Днепровым-Резником, но неудачно. Думалось, что с Бахтиным может получиться. Лотман писал Б. А. Успенскому 29 сентября 1970 г.:

«Есть серьезное дело. Мы думали-думали и решили, что грех нам, что Бахтин *так* живет. Мы прикинули, что для того, чтобы, если он согласится, снять ему с женой хорошую комнату в Тарту и организовать медицинское и бытовое обслуживание, нужно:

а) Инициатива и желание — это у нас есть. И, главное, чувство, что иначе стыдно.

б) Деньги. Это, как мы прикинули, тоже потянем. Хотя очень желательно было бы, если бы несколько москвичей присоединились, добровольно отяготив себя сбором 10 р. в месяц.

в) Его согласие и желание. Вот по этому поводу я и обращаюсь к Вам. Нельзя ли каким-либо образом узнать *его* отношение к этому проекту? Хорошо бы не очень откладывая — комнату мы уже присмотрели, но в Тарту с этим очень трудно — может уплыть» (Письма. С. 512—513).

Но, увы, Бахтины отказались переехать в Тарту. Может быть, уже виднелась московская квартира (В. Н. Турбин через свою студентку-семинаристку, дочь могущественного председателя КГБ Ю. В. Андропова, смог добиться вначале поселения Бахтиных в Подмоскowie, а потом и городской квартиры для них), может быть, не хотелось уезжать далеко от Москвы, но Бахтины отказались от эстонской жизни.

В дальнейшем материальная помощь Бахтиным ограничивалась непериодическими денежными сборами, которые организовывал В. Н. Турбин. Летом 1971 г. проводился один из таких сборов, зафиксированный в опубликованном письме ко мне Лотмана от сентября 1971 г.: я собирал деньги в Питере, а через свою дочь Татьяну, уезжавшую тогда в Эстонию и Псков, я бросил клич тартуанцам и псковичам, чтобы собрать деньги и договориться о суммах и периодичности дальнейших сборов, но у Лотмана, как всегда к концу лета, не было ни копейки, и он присоединился к компании лишь осенью (см. Письма. С. 235).

Осенью же 1971 г. Лотман подготавливал научную конференцию к 150-летию Ф. М. Достоевского и в письме к Б. А. Успенскому от 15 сентября приглашал принять в ней участие адресата, Вяч. Вс. Ива-

нова и В. Н. Топорова, Лотману хотелось, чтобы Иванов подготовил «доклад о Бахтине и Достоевском или любой другой» (Письма. С. 522). Кажется, тот не приезжал с таким докладом, но когда Лотман стал готовить специальный, шестой, том «Трудов по знаковым системам (Семиотика)» «в честь Михаила Михайловича Бахтина (к 75-летию со дня рождения)», как потом было объявлено на титульном листе (том вышел лишь в 1973 г.), то Вяч. Вс. Иванов дал в сборник основополагающую статью «Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики». Лотман назвал эту статью «очень хорошей» в письме к В. Н. Топорову от 4 декабря 1972 г. (Письма. С. 682).

Продолжались и личные посещения Бахтина. 12 февраля 1973 г. Лотман и Б. А. Успенский были на московской квартире ученого. Ф. С. Сонкина, ведшая тогда подробный дневник, изложила в письме ко мне от 19 мая 1998 г. содержание своей записи рассказа Лотмана об этом визите: «Старенький благостный Бахтин сидит, прикованный к своему креслу (лишенному ноги было трудно вставать. — Б. Е.), хозяйничает какая-то толстая баба (домработница Г. Т. Гревцова. — Б. Е.), на кухне во весь голос ревет репродуктор. Висит объявление: «Профессор Бахтин принимает по таким-то дням и часам». Юра сокрушался о его судьбе».

Лотману очень хотелось опубликовать в «Трудах по знаковым системам» какую-либо работу Бахтина, тот двумя порциями прислал статью, но потом оказалось, что она может войти в сборник трудов ученого «Вопросы литературы и эстетики» (сборник появился уже посмертно, в 1975 г.). Об этой неудачной истории Лотман сообщает мне в письме от 13 июня 1974 г. (Письма. С. 255). С 1972 г., когда вышло 3-е издание бахтинской книги «Проблемы поэтики Достоевского», материальное положение ученого несколько улучшилось.

Видимо, личные встречи продолжались и в последний год жизни Бахтина. В книгу «Сотворение Карамзина» Лотман включил, наверное, одну из последних услышанных фраз старшего коллеги: «Михаил Михайлович Бахтин за несколько месяцев до своей кончины произнес замечательные слова: “Нет ничего абсолютно мертвого: у каждого смысла будет свой праздник возрождения”»¹⁰¹. Духовное бахтинское наследие начало праздновать свое возрождение еще при жизни ученого, но телесное существование человека, увы, имеет свой четкий предел.

8 марта 1975 г. Лотман получил телеграмму Б. А. Успенского о кончине Бахтина (см. Письма. С. 557). 9 марта он пишет Ф. С. Сонкиной: «Слыхали ли Вы грустную новость о том, что скончался М. М. Бахтин? Говорят, последние дни он очень страдал. Грустно. Он был последним из стариков <...>. На похороны я не поехал — сильно разболе-

¹⁰¹ Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 319.

лась нога (старость?) и нет никакой возможности распахнуть лекции» (Письма. С. 372).

В те недели он часто думал о Бахтине; приведу запись его слов из дневника Ф. С. Сонкиной (апрель 1975 г.): «Анабиоз у рыб зимой, когда прекращается биологическое время. Так, вероятно, жил Бахтин последние 25 лет. А окружающим казался мирным, другим. Так человек в тюремном бараке может говорить о портянках, и даже с интересом, похоронив внутри себя совсем другое».

Лотман с ужасом встретил московское известие о передаче архива Бахтина в частные руки (по завещанию ученого, совладельцами его архива назначались С. Г. Бочаров, В. В. Кожин, Л. С. Мелихова), он очень расстроился, что рукописи могут быть растащены, опубликованы под чужими именами, и настаивал в письме к Б. А. Успенскому от 22 марта 1975 г., что должна быть срочно сделана полная опись архива, после чего он передан в Ленинскую библиотеку в Москве или в Публичную в Ленинграде (см. Письма. С. 558—559). История показала, что Лотман ошибался и в своих тревогах, и в пожеланиях: хранители архива проявили аккуратность и заботу ничуть не меньшую, чем потенциальные государственные рукописные отделы библиотек, а при издании современного собрания сочинений Бахтина, подготавливаемого С. Г. Бочаровым и другими сотрудниками ИМЛИ, особенно важно, чтобы архив был непосредственно в руках редакторов.

4 апреля 1975 г. в Литературном музее Москвы состоялся вечер памяти Бахтина, в котором участвовал и Лотман. Опять процитирую описание вечера в дневнике Ф. С. Сонкиной, любезно сообщившей его мне: «Разумеется, маленький зал переполнен. Выступает Турбин, очень сдержанно и вполне прогрессивно. Славословит Бахтина какой-то приезжий коллега Бахтина по Саранску. Но главным, и так предполагалось, было выступление Кожина. Он построил свое выступление на том, что наука имеет нравственный характер и должна учить нравственности, как учат труды Бахтина, Чижевского, Ухтомского. Как будто бы завершающим должен был стать доклад В. В. Иванова. Остановившись на плодотворности основных работ покойного, В. В. назвал его великим ученым XX века. И после него, совершенно неожиданно для присутствующих, вышел Ю. М. Его выступление было завершающим, и были даже попытки аплодисментов, думаю, потому, что он размышлял и не давал ни оценок, ни сравнений с другими. Он начал со своего известного положения о том, что после смерти меняется представление о творчестве ученого так же, как изменилось суждение об «Онегине» после смерти Пушкина, как меняются портреты усопших... Он думает, что пока еще рано и трудно сказать, что работы Бахтина бессмертны, но надо, чтобы живущие не измельчили его наследие в бесконечных спорах, а содействовали своим единством пониманию главных идей Бахтина».

Наверное, уже в те дни у Лотмана вырисовывалось содержание его будущего немецкого доклада о Бахтине...

Т. Д. Кузовкина

ТЕМА СМЕРТИ В ПОСЛЕДНИХ СТАТЬЯХ Ю. М. ЛОТМАНА*

В три последние года жизни изменились не только жанр, тематика и стиль статей Ю. М. Лотмана, но и сам способ его работы: Юрий Михайлович диктовал тексты секретарям¹⁰² (книга «Культура и взрыв» (М., 1992) — его первая надиктованная большая работа). Чаще всего статья рождалась из замысла, записанного ночью самим Ю. М., или продиктованного им как «заготовка на завтра». 7 октября 1993 года в больнице Ю. М. собрал свои последние статьи в сборник. (Объем его — приблизительно 200 страниц компьютерного набора.)¹⁰³ Основные темы сборника — это предсказуемость и непредсказуемость в исторических и культурных процессах, механизмы случайности, роль искусства как мастерской непредсказуемости, философское осмысление смерти.

Сборник должен был открываться общетеоретическим предисловием («Моноструктуры и бинарность»), рассматривающим культуру как особый объект описания и трудности, возникающие при анализе ее реального функционирования. Вообще теоретические работы первой части сборника тематически являются продолжением монографий «Культура и взрыв». По-прежнему в центре внимания

* Впервые текст был опубликован: «Russian Studies» (СПб.), 1995, № 4. С. 288—303.

¹⁰² С 1990 года секретарями Ю. М. Лотмана работали В. И. Гехтман и автор этих строк.

¹⁰³ Тексты последних статей Ю. М. Лотмана готовятся к изданию в одном из томов собрания его сочинений, работу над которым (под руководством М. Ю. Лотмана) ведут сотрудники кафедры русской литературы и семиотики Тартуского университета при финансовой поддержке Института мировой культуры Московского государственного университета.

Юрия Михайловича глобальные исторические и культурные процессы, в развитии которых чередуются периоды предсказуемости и непредсказуемости. Анализ художественного текста или вспомнившегося автобиографического эпизода ведет к глубоким философским размышлениям над основными проблемами бытия. Историко-литературные статьи второй части сборника посвящены творчеству Баратынского, Пушкина, Жуковского, Блока. Последней большой работой Ю. М. стала статья о реализме Гоголя. Особое место в сборнике должны были занять «Листки из черновика», состоящие из небольших заметок, недописанных статей, неиспользованных замыслов. Сам Юрий Михайлович весьма скептически относился к этой части сборника и считал, что «Листки» необходимо снабдить названием: «Из архива сумасшедшего семиотика» и следующим предисловием: «Перебирая бумаги, накопившиеся у меня в одном из ящиков, куда я откладывал все то, что не знал, куда отложить, и чем подробнее заниматься мне не было ни времени, ни охоты (наиболее нелепые отрывки своих собственных мыслей или выписки, сделанные в разное время из давно позабытых источников, — обычно я сопровождаю выписки точными библиографическими адресами, но иногда я этого не делал по небрежности или отсутствию времени), я натолкнулся на забытый пакет. В нем находились обрывки бумаг одного давно умершего молодого человека, которые были мне переданы его другом, не знавшим, что с ними делать. Вот из этого ящика, где образовался некий склад, я и извлек эти отрывки, иногда совершенно не связанные друг с другом».

Наряду с основными темами сборника большое место в «Листках» занимают размышления Ю. М. о понятии пустоты и анализ мифологических моделей описания мира.

По замыслу Лотмана, сборник должен был завершаться общетеоретической статьей «В ожидании языка. Накануне взрыва», подводящей некоторые итоги и одновременно ставящей под сомнение его теоретические размышления последних лет. «Настоящее время болезненно немотствует и ищет свой язык. Может быть, оно найдет его вообще не в искусстве или же в каких-либо принципиально новых формах художественного творчества», — заключает Юрий Михайлович.

Почему именно тема смерти выделяется нами в позднем творчестве Ю. М. Лотмана?

Можно сказать, что три года, прожитые Юрием Михайловичем после кончины его жены, профессора Зары Григорьевны Минц, были годами непрерывной борьбы со смертью, приближение которой он так остро чувствовал, о которой много думал и говорил.

Завершая сюжет своей жизни, Ю. М. ни в чем не отступал от идеала поведения Человека-интеллигента, выработанного русской культурой XIX века и так хорошо известного ему как исследователю. Юрий Михайлович часто сам являлся иллюстрацией к описываемым

им культурно-поведенческим кодам. Осознанно выстраиваемый сюжет собственной жизни все время подсвечивался светом других сюжетов. Это проявлялось на разных уровнях.

Так, Ю. М., которого невозможно было представить в неухоженном, незелегантном виде, неоднократно повторял и цитировал в последних статьях восторженное описание Л. Н. Толстым жены Петра Ивановича Лабазова, возвратившейся из ссылки вместе со своим мужем-декабристом: «Нельзя было себе представить ее иначе, как окруженную почтением и всеми удобствами жизни. Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы жадно, или чтобы на ней было грязное белье, или чтоб она спотыкнулась, или забыла бы высморкаться — этого не могло с ней случиться. Это было физически невозможно» («Декабристы»).

Происходил своеобразный обмен: история и литература давали материал для анализа, анализ же, в свою очередь, менял в чем-то жизнь самого исследователя. Механизм подобного обмена тоже становился предметом осмысления и описания.

Тот поведенческий идеал, воплощение которого стало нормой для Лотмана, обязательно включал в себя постоянно присутствующее ощущение взгляда со стороны, что не мешало, а как-то, наоборот, удивительным образом способствовало неподдельной человеческой искренности и обаятельности Ю. М. в общении.

В последние месяцы и дни, подвергая почти все сомнению и переосмыслению, Юрий Михайлович говорил и о построении своего поведения. В один из самых трудных дней в больнице он, усмекаясь, сказал: «Вот теперь я, друг мой, должен был бы говорить какие-то высокие слова, но не получается». Осмысление своего поведения, некая отстраненность от себя самого, были особенностями Лотмана, видимо, с самого раннего возраста. В этой связи характерен забавный эпизод, который Юрий Михайлович, смеясь, рассказывал в больнице: «А еще мне вспомнилось, как я лежу дома в комнате родителей за печкой, а Ляля¹⁰⁴ заболела. Вызвали скорую помощь, вообще все ужасно, а я выставил ноги в *длинных* панталонах и думаю: «Какой у меня значительный вид! Как у взрослого!» Мне казалось, что это очень величественно. Никто, конечно, не заметил ни моих панталон, ни позы, но это было очень важно почему-то».

К своему позднему творчеству Ю. М. относился весьма скептически. Он постоянно сомневался в том, хорошо ли то, что он сейчас диктует, имеет ли это какой-то научный смысл? Перед началом ежедневной работы он любил повторять: «Знаете, что со мной будут делать в аду черти? <...> Они будут с утра до вечера читать мне мои сочинения». Иногда сомнения в *смысле* доходили до смешного. Надо сказать, что многие из тех, кто вдруг понимал, что наконец-то при-

¹⁰⁴ Виктория Михайловна Лотман — старшая сестра Ю. М. Лотмана.

думал теорию, которая спасет мир от всех проблем, считали своим долгом писать или звонить Лотману. Однажды нам довелось читать вслух (это входило в обязанности секретарей) присланное Юрию Михайловичу сочинение явно сумасшедшего автора. После этого чтения мы вернулись к очередной теоретической статье Ю. М. Я прочитала вслух начало, а он, засмеявшись, сказал: «Мы говорим, что этот человек сумасшедший, а он почитает мои статьи и скажет про меня то же самое».

Подвергая сомнению смысл и научную ценность написанного, Юрий Михайлович безусловно положительно относился к *необходимости* работы, преодолению немощи, старости, боли, смерти усилием воли, творческим порывом, *рождением мысли*. Он буквально оживал, работая. Когда мы приходили к Ю. М., мы видели старого не по годам, больного, утомленного бытовым неустройством человека. Потом начиналась работа. Юрий Михайлович диктовал и оживал одновременно. Вдохновение приносило смысл даже в быт. Начинались остроты, борьба с печкой и приготовление обеда казались совсем не трудными занятиями. Когда мы уходили, Ю. М. был одушевлен, полон сил и жизненной энергии. На какое-то время отступали болезни и смерть.

Не ставя перед собой задачи делать глобальные обобщения общетеоретического характера, вернее, оставляя это право другим, нам хотелось бы «проследовать за мыслями» Ю. М. Лотмана о смерти в его работах 1991—1993 годов.

Можно выделить следующие основные ступени развития этой темы в его поздних статьях:

- 1) определение понятий неподвижности, небытия, пустоты; (мы бы назвали это попыткой осмыслить смерть на некоем метатеоретическом уровне, уровне философских, понятийных абстракций);
- 2) осмысление жизни и смерти на биологическом уровне;
- 3) определение понятия индивидуальности как необходимого звена в осмыслении проблемы жизни/смерти;
- 4) связь жизни и искусства.

Среди поздних статей есть и философские размышления на эти темы, но чаще они связываются с анализом творчества того или иного писателя.

Мир, лишенный динамики и движения, становится темой многих поздних замыслов Ю. М.

Так, в больнице Юрий Михайлович диктует статью под названием «Пустота как фундаментальная проблема» (позже он помещает эту статью в «Листки из черновика»), основные положения которой сводятся к следующим:

- 1) «Как мифология, так и наука начинаются с постулирования пустого пространства (или пустого времени); только в этих условиях мир получает возможность движения. (Кстати, поэтому идея движе-

ния сливается так часто с идеей разрушения, то есть регенерацией пустоты.)»

2) «Возникает существенный вопрос: необходимость определения самого понятия «пустое пространство». Обычно мы довольствуемся представлением о том, что пустота — это нечто не описываемое средствами принятого нами языка. Естественно поставить вопрос: что представляет собой не описываемое средствами никакого языка и как должен выглядеть язык, не способный ничего описать».

3) «До сих пор одним из наиболее фундаментальных вопросов науки был такой: чем заполнена вселенная. Сейчас, вероятно, не менее актуальна другая формулировка: «А что такое вселенная, не заполненная ничем?» <...> Пустота становится основой еще не использованного резерва науки».

4) «<...>описание разнообразных философских систем следовало бы начинать с изложения их модели пустоты.<...> Удобно излагать истории идей не как непрерывную цепь концепций, а как описание представлений о пустоте».

В данном случае лотмановский термин «пустота» означает то, что существует вне и помимо индивидуального сознания. «Пустота — то, что существовало до творческого акта и что сохранится после его гибели».

В книге «Культура и взрыв» (Лотман 1992 а: 248—256) в главе «Конец! как звучно это слово...» (эта глава является сокращенным вариантом статьи «Смерть как проблема сюжета». — Лотман 1993: 1—15) Ю. М. рассматривает проблему смерти на уровне биологии: «Первая ступень рассматриваемого нами аспекта реализуется в сфере биологии как проблема размножение — смерть. Непрерывность процесса размножения антитетически связана с прерывностью индивидуального бытия». На этом уровне Лотман выделяет глубокое противоречие «между лежащим вне категории жизни и смерти генетическим кодом и индивидуальным бытием организма». Однако на биологическом уровне противоречие это не осознаваемо никем и не является предметом трагического переживания. В природе смерти нет.

В «Замысле о творческом начале смерти» мы находим следующее определение темы смерти у Толстого: «“Три смерти” у Толстого: чем человечнее, тем смертельнее. Самая смертная — это псевдоцивилизация. Среднее — крестьянская жизнь: человеческая, но включенная в законы природы. В природе — нет смерти. Для Толстого вопрос смерти — вопрос слитости/неслитости с природой».

В неопубликованной статье «В ожидании языка. (Накануне взрыва)» Юрий Михайлович подробно останавливается именно на моменте перехода от биологического уровня на более сложный: «В основе жизни лежит борьба за выживаемость. Стремление к выживаемости составляет скрытый фундамент всего органического существования».

Уже на этом уровне Юрий Михайлович выделяет два типа отношения к реальности.

С одной стороны, реальность представляется «как нечто стабильное, лежащее над вариативностью, некая константа, к которой должна приспособляться жизнь, также ориентируемая на стабильность».

С другой стороны, «реальность представляется как бесконечный поток вариантов, основным стабильным признаком которого является нестабильность. В этом аспекте устойчивость жизни определяется подвижностью ее вариативности, гибкостью ее форм». В последовательной цепи все более усложняющихся механизмов «понижается степень взаимозаменяемости и повышается уровень индивидуальности. Этот процесс осциллирования между простотой, взаимозаменяемостью, отсутствием индивидуализации в поведении и памяти, с одной стороны, компенсируется, с другой стороны, многофакторностью, функциональным усложнением, заменой коллективной памяти индивидуальной и предсказуемого, заложенного в памяти поведения поведением, отвечающим неожиданностям обстоятельств окружающей среды».

В статье «Ожидание языка» Юрий Михайлович подробно анализирует момент перехода сознания к осмыслению конечности своего существования и пониманию его трагичности.

«Критерием перехода является отмеченность понятия «смерть». Появляясь одновременно с категориями прерывности, она (отмеченность. — Т. К.) влечет за собой длинную цепь совершенно новых структурных явлений, таких как продолжение рода, выживание, коренная трансформация самого понятия памяти».

«С появлением индивидуальности биологический процесс становится трагичным по самой основе своей природы». Иллюстрацией такого понимания трагичности жизни может служить лотмановский анализ стихотворения Мандельштама «Ламарк» (статья «Ожидание языка». — Т. К.). В этом стихотворении «эволюция представляется как болезненное явление, страдание материи, плата, которую жизни пришлось внести за вступление на принципиально чуждый ей путь прогресса». В основе стихотворения, по мнению Юрия Михайловича, «лежит мысль Беме о болезненности процесса жизни <...> о человеке и создаваемой им цивилизации как чуждой природе болезни».

И от нас природа отступила —
Так, как будто мы ей не нужны».

«<...> Точка зрения Мандельштама совершает путь обратной эволюции до полного растворения в природе. А сама природа, с этой точки зрения, предстает как некая неподвижная безмолвная сущность, равная себе самой». Ю. М. связывает философию природы

Мандельштама с традицией русского руссоизма и, в частности, с представлениями о человеке и природе Льва Толстого.

Частным проявлением противоречия между генетическим кодом и индивидуальным бытием организма является другое — «между бесконечностью жизни как таковой и конечностью человеческой жизни».

Интересно, что именно это противоречие выделяется Ю. М. при анализе им творчества Баратынского. В статье «Баратынский. Два лица смерти» Юрий Михайлович подробно останавливается на анализе темы смерти в творчестве Баратынского. Во-первых, в творчестве Баратынского Лотман выделяет две концепции смерти:

- «1) поворот к возрождению в циклических процессах;
- 2) для человека с его линейным развитием — конец.

По сути дела, для Баратынского это вопрос о соотношении циклического и линейного».

«<...>Для Баратынского между творчеством природы и человека заключается глубокое различие. Творчество природы — зерно, которое, следуя евангельскому образу, если не погибнет, то и не возродится. Творчество человека уникально по своей природе, и завершающая его гибель — гибель окончательная, последнее и не подлежащее апелляциям и жалобам решение. Этот же вопрос можно было бы переформулировать как противопоставление уникального (неизбежно таящего в себе смерть) и многократного, являющегося основой непрерывности жизни».

Как замечает Ю. М., у Баратынского циклическое противопоставлено линейному, возрождение — концу, повторяемость — уникальности.

Далее Юрий Михайлович делает следующее обобщение: «По сути дела, у Баратынского был один-единственный враг: энтропия. Стабильное, лишённое различий выравнивание бытия в некоей единой уровневой неподвижности — вот такой, застывший на нуле мир, и был творческим кошмаром Баратынского. Ему противостояли и бытие, как накопление, рывок творческих сил жизни, и смерть, как провал в небытие, но провал оформленный, не безликое выравнивание, а негативное творчество — разбег перед новым рывком в бытие. Поэтому смерть для Баратынского — не пустота, а перевернутое отражение жизни: она содержит в себе все то, что жизнь может выдать как реализацию. Поэтому смерть, по сути дела, — форма бытия, разбег перед жизнью, а жизнь — непрерывная реализация смерти».

В статье «Две “Осени”» Лотман углубляет это зеркальное противопоставление жизни и смерти в творчестве Баратынского: «Жизнь для Баратынского конкретна и поэтому наделена полнотой окраски. Смерть — состояние негативное — отсутствие жизни, признаком ее является отсутствие признаков: “бесцветность”, “немота”, “слепота”, “глухота”» (Лотман 1994: 401).

Именно это отсутствие признаков интересует Ю. М. и в стихотворении Блока «Статуя», которое он анализирует в статье «Блок и Беме». Отмечая, что одной из доминирующих особенностей поэтики Блока является ее динамизм, Юрий Михайлович обращается к уникальному в этом смысле стихотворению, которое говорит не об оживлении, а о застывании. Анализируя лексический уровень стихотворения, Лотман приходит к выводу о том, что «движение становится движением *навсегда*, то есть недвижимостью. <...> Признаки превращаются в вещи. Они получают вес, неподвижность. Мы входим в мир вечного спокойствия, в мир Якоба Беме».

Беме неоднократно появляется в поздних статьях Ю. М., для которого интересно, что Беме отождествлял движение со страданием и писал, что движение — это Qual (страдание) материи.

Интерпретация стихотворения «Статуя» Блока связана с представлением Лотмана о том, что в предсимволистскую и символистскую эпохи многие произведения искусства посвящены описанию мира, «лишенного динамики, освобожденного и от трагизма жизни, и от трагизма смерти».

Так, например, он замечает, что изменяется тема кладбища. «Кладбищенская тема из символа непрочности и бренности, разрушения, то есть негативного движения от бытия к небытию, превращается в тему вечного сна, остановленного движения».

Смысл противоречия между бесконечностью жизни и конечностью человеческого существования Ю. М. раскрывает через категорию индивидуального сознания, пытающегося осмыслить смерть, понять ее. Смысл и понимание, «жизнь как таковая» и индивидуальность, живущая и мыслящая, соединяются в некоем понятийном единстве. (Интересно в этой связи частое цитирование Юрием Михайловичем пушкинских «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы», в которых он выделял связь смысла и понимания:

Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...)

Для того, чтобы понять смерть, необходимо понять жизнь, и прежде всего определить самого «субъекта» жизни.

«Понятие жизни неотделимо от образа живущего существа, а это последнее требует высокого уровня самосознания и с большим трудом поддается формальному определению. По сути дела, здесь остается удовлетвориться формулой: “живое существо — это существо, считающее себя живым”».

«Понятие индивидуальности одновременно оказывается и исходной точкой, и завершающим пунктом идеи жизни. Такое положение вряд ли удовлетворит логика, хотя и может опереться на эмпирическую реальность» («Пустота как фундаментальная проблема»).

Осмысление смерти в «Культуре и взрыве» также построено на стремлении установить связь между пониманием жизни и смерти и смертью как некоей объективной данностью.

Противоречие между бесконечностью жизни и конечностью индивидуального существования «с того момента, как индивидуальное бытие превращается в бытие сознательное (бытие сознания) <...> из характеристики анонимного процесса превращается в трагическое свойство жизни».

Само понятие смерти связывается с осмыслением пространства жизни и дается через понимание ее индивидуальным человеческим сознанием: «Поведение человека осмысленно. <...> Осмысление связано с сегментацией недискретного пространства». Далее Юрий Михайлович продолжает: «Начало-конец и смерть неразрывно связаны с возможностью понять жизненную реальность как нечто осмысленное».

Отсюда Лотман делает очень важный для его концепции вывод о связи искусства и жизни. «Обычный процесс осмысления действительности связан с перенесением на нее дискретных членений, в частности литературных сюжетов». В статье «Пустота как фундаментальная проблема», определив важность идеи индивидуальности, ее неповторимости для осмысления общих основ бытия, Юрий Михайлович делает следующий шаг: «В этом отношении изучение художественного акта приобретает глубокий смысл. С этой точки зрения философия искусства перестает быть факультативным пространством, привлекающим внимание лишь ограниченного круга эстетов: она становится одним из центральных пунктов общей теории структуры мира».

Таким образом, для того, чтобы понять значение темы смерти в литературе и (шире) в искусстве вообще, Лотман одновременно определяет, что такое пустота, небытие, отсутствие признаков вообще, затем вводит определение смерти как биологического явления, после чего переходит к анализу понимания смерти в культуре.

Осмысляя смерть с разных сторон, он связывает язык *описания* и *описываемое явление*, анализируя в то же время саму эту связь.

«Искусство и жизнь — явления, настолько тесно связанные друг с другом, что понять одно без другого, видимо, практически невозможно» («Пустота как фундаментальная проблема»).

В нескольких последних статьях Ю. М. Лотман останавливается на анализе творчества тех писателей, для которых противоречие/единство искусства и жизни было особенно актуально. Так, в статье «Баратынский. Два лица смерти» Юрий Михайлович выделяет характерное для Баратынского стремление привнести организацию в жизнь: «Вариативность, возможность видеть мир и говорить о нем принципиально немонологически — основное свойство жизни. Однако в этом противопоставлении жизни и искусства выступает и дру-

гая сторона: жизнь хаотична, искусство подчинено строгой организации. Переноса организацию в жизнь, мы как бы превращаем ее в художественное творчество.

И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласие захотел».

(«В дни безграничных увлечений»).

В этом отношении особый интерес представляет последняя статья Ю. М. о Гоголе (продиктованная им в больнице). Уникальность творческого гения Гоголя состоит в том, что «только превращенная в страницы рукописей или книг действительность становится для Гоголя реальностью. Гоголевский текст — не исписанная тетрадь, а огромное число противоречащих друг другу, но в равной степени реальных вариантов. <...> Если бы потребовалось коротко определить сущность того, что обычно называют реализмом Гоголя, то точнее всего было бы предложить формулу “неисчерпаемый запас возможностей жизни”».

Именно с этой творческой особенностью связывает Юрий Михайлович и жизненную трагедию Гоголя. «Гоголь верил, что он не «изображает», а творит мир. Отсюда источник одной из его важнейших трагедий.

Молодой Гоголь верил, что, изображая зло, он его уничтожает. <...> То, что в романтической литературе часто фигурировало как метафора, для Гоголя превратилось в реальность. Он возложил на свои плечи создание мира и испугался того, что сам создал. Когда же, согласно замыслу, рядом с ужасным миром должен был быть создан другой — прекрасный, Гоголь почувствовал, что волшебное свойство создавать то, чего еще не было, его покинуло. Тогда творчество превратилось в преступное умножение зла. Гоголь имел смелость принять на себя эту ответственность, но ему не хватило сил ее выдержать».

Юрий Михайлович, определяя место проблемы смерти в системе культуры («Линейное построение культуры делает проблему смерти одной из доминантных в системе культуры» — «Культура и взрыв»), выделяет следующие «способы» осознания, понимания смерти:

1) «В сфере культуры первым этапом борьбы с «концами» является циклическая модель, господствующая в мифологическом и фольклорном сознании». Идею цикличности породила «необходимость примирить недискретность бытия с дискретностью сознания (и бессмертность природы со смертностью человека)».

2) «Религиозное сознание — путь преодоления смерти “смертию смерть поправ”».

3) Примирение со смертью. «Основа примирения со смертью — <...> ее естественность и независимость от воли человека». В основе

такого отношения «возможность ссылки на естественные законы природы и на непосредственное, свободное от теорий чувство», присутствующее, например, Фальстафу, чью речь Лотман приводит как пример такого взгляда.

4) «Позиция, противоположная фальстафской, реализуется в культуре как апология героизма, находящего свое крайнее проявление в героическом безумии». Героическое безумие — предмет внимательного изучения Юрия Михайловича (вспомним, например, берсерков, о которых он неоднократно говорил на своих последних спецкурсах, им посвящена и отдельная глава «Дурак и сумасшедший» в «Культуре и взрыве»).

5) «Особой формой победы над смертью и преодоления ее является самоубийство». Самоубийство как культурное явление также неоднократно становилось темой исследования Лотмана (см., например, главу «Итог пути» в «Беседах о русской культуре» с анализом самоубийств Радищева¹⁰⁵ и русского Вертера — Опочинина и т. д.).

6) Для Лотмана важна была и другая форма преодоления смерти, которую можно определить словами, часто цитировавшимися самим Юрием Михайловичем: «погиб, исполняя свою по службе должность». Здесь вспоминается его вступительное слово на конференции 1989 года «Великая Французская революция и пути русского освободительного движения», в которой он говорил о смерти Н. Я. Эйдельмана, умершего, выходя из архива, смерти Д. С. Самойлова сразу же после речи, произнесенной на вечере, посвященном памяти Б. Пастернака, и смерти Р. Н. Блюда в коридоре Тартуского горсовета во время одного перестроечного заседания¹⁰⁶.

В неопубликованной статье «О стихотворении Жуковского “Покойнику”» Юрий Михайлович показывает, как у Жуковского происходит «оживление» умершего Пушкина, «я» которого растворяется в некоей непоименованной высшей деятельности. <...> Отдельная личность делается сопричастной божественному началу мира. Таким образом, стихотворение охватывает путь от личности, обозначаемой местоимением “он” и проходящей через жизнь и смерть, к безличностному, высшему бытию.

В статье «Две “Осени”», анализируя отрывок Пушкина «Осень», Лотман отмечает, что с образом чахоточной девушки в стихотворение вводится тема смерти. «Однако для Пушкина смерть — не последняя точка в движении жизни. Продолжение его — в поэзии. Именно она открывает дорогу в будущее. Поэтому смерть — не ко-

¹⁰⁵ См. подробный анализ отношения Радищева к смерти в статье «Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской литературе конца XVIII века» (Лотман 1992б).

¹⁰⁶ См. анализ пушкинского отзыва о «высокой», «исторической» смерти В. Л. Пушкина в статье «Сцена и живопись как кодирующие устройства культурного поведения человека начала XIX столетия» (Лотман 1992в).

нечная точка стихотворения. Оно заканчивается образом открытого и свободного движения, переходом из сна («Так дремлет недвижим...») в динамический порыв:

Громада двинулась и рассекает волны.
Плывет! — Куда ж нам плыть?..»

Нам кажется, что особую значимость (в том числе и автобиографическую) имеет следующий вывод, сделанный Юрием Михайловичем о творчестве Пушкина: «Одна из основных особенностей взгляда Пушкина на искусство заключается, в частности, в том, что оно для него никогда не является *средством*, употребляемым для пусть даже высокой, но внеположенной цели. Но одновременно оно не может характеризоваться самодостаточностью, то есть не может сближаться с идеалами «искусства для искусства». Этот последний превращает пространство искусства в нечто более узкое, чем пространство жизни. Между тем для Пушкина подобно тому, как в топологии подобие есть тождество, искусство *подобное* жизни принципиально располагается в одном ряду с действительностью. Эти явления все время подменяют друг друга и во взаимной игре оказываются одним и тем же и принципиально разным».

В одной из записей «Листков из черновика» есть следующий вывод: «Только в момент обретения искусства человек становится реальностью».

Реальность жизни для самого Юрия Михайловича была прежде всего реальностью творчества. Теоретические размышления во многом обуславливались собственным поведением, и, наоборот, собственное поведение складывалось под влиянием написанного и обдуманного. Где-то на пересечении этих двух взаимовлияющих тенденций складывался феномен личности ученого, изучение творчества которого только начинается.

Библиография

Лотман 1992а — Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992.

Лотман 1992б — Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской литературе конца XVIII века — Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3-х т. Таллинн, 1992. Т. 2. С. 134—158.

Лотман 1992в — Сцена и живопись как кодирующие устройства культурного поведения человека начала XIX столетия — Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3-х т. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 287—295.

Лотман 1993 — Лотман Ю. М. Смерть как проблема сюжета. — Сборник материалов конференции «Русская культура: Структура и традиция»: (Киил, Великобритания, 2—6 июля 1992 года). — Studies in Slavic Literature and Poetics. Vol. XX: Literary Tradition and Practice in Russian Culture. Amsterdam: Atlanta, 1993.

Лотман 1994 — Лотман Ю. М. Две «Осени». — Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 394—406.

Ю. М. ЛОТМАН

ВОСПОМИНАНИЯ

Какое счастье, что в последние месяцы жизни Лотман, наконец, обратился к воспоминаниям: сколько мы узнали нового о его жизни и сколько бы мы потеряли, не сохранись эти записи! Оказалось еще, что самая первая мемуарная попытка относится к 1989 году — см. раздел 2. Добавляем еще интервью Лотмана 1982 г. (см. раздел 4), имеющее личностный характер. Первая публикация воспоминаний «Не-мемуары» и «Двойной портрет» — Лотм. сб. 1. С. 5—53; 54—71.

Все обозначенные <...> купюры принадлежат первоиздателям. Мелкие неточности, имеющиеся в воспоминаниях, не исправляются и не оговариваются.

1. НЕ-МЕМУАРЫ

Идея записать военные рассказы Ю. М. Лотмана принадлежит Заре Григорьевне Минц. Осенью 1988 года Юрий Михайлович неохотно и с большим количеством оговорок согласился начать диктовать свои воспоминания, но за недостатком времени этот замысел постоянно откладывал.

Диктовать «Не-мемуары» он начал только в декабре 1992 года. Работа продолжалась до конца марта с большими перерывами. Частично воспоминания были записаны на диктофон, частично продиктованы автору этих строк. К публикуемому тексту Юрий Михайлович относился как к самой первой «конспективной версии» и с конца февраля начал работать над дополнениями — они внесены в основное повествование в соответствии с несколько условной внутренней хронологией. Тематика дополнений имела случайный характер — это было обращение к традиционным сюжетам его рассказов о войне.

Юрий Михайлович полагал, что когда подобные сюжеты будут исчерпаны и внесены в основной текст, предстоит еще уточнить фактическую сторону воспоминаний и отредактировать их. Эту работу Юрий Михайлович сделать не успел. В какой-то мере этот пробел был восполнен Лидией Михайловной Лотман и Михаилом Юрьевичем Лотманом.

Е. А. Погосян.

В 39-м году Ворошилов заявил в одном из выступлений — я сейчас не помню в каком, — что отсрочка, которую получают студенты, несправедлива, и все студенты были лишены ее. Я учился на первом курсе филологического факультета, на отделении русского языка и литературы.

Поступление в университет совершенно переменяло мою жизнь. В школе в шестом—седьмом классах я пережил трудное время. У

меня был конфликт с учительницей русского языка и литературы — как ее звали, не помню, — и с определенной частью класса. Был один эпизод: мы проходили «Ревизор», учительница разбила класс на роли, и мы читали по ролям. Я должен был читать Хлестакова. Впервые в жизни я почувствовал в себе склонность к артистизму. И помню, как с особым чувством я выкрикнул: «Несут...» Класс захопал, а учительница сказала, что я действительно хорошо играю Хлестакова, потому что это мой характер. Я был страшно оскорблен. На будущий год, начиная с девятого класса, у нас переменялись учителя. Классным руководителем стал Дмитрий Иванович Жуков, математик, а литературу и русский язык вел Ефим Григорьевич.

Я вдруг понял, что в школе может быть интересно. В IX—X классах я неожиданно для себя стал хорошо учиться. Меня увлекала тригонометрия, математика вдруг перестала быть мучением и особенным увлечением неожиданно стала литература. Я зачитывался Достоевским. Толстого к этому времени я уже прочел всего (издание с черными томами — приложение к журналу). «Войну и мир» прочел несколько раз (до сих пор читаю ее непрерывно и не знаю, сколько раз читал, хотя, наверное, помню уже наизусть). Особенно меня поразили сказки Толстого.

После урока с Ефимом Григорьевичем подолгу мы говорили о Достоевском. Одновременно у меня в жизни произошло еще одно важное событие. Лида¹⁰⁷ поступила в университет. У нас дома начали бывать студенты (у Лиды был круг друзей и подруг, и они готовились к экзаменам у нас дома). В этом году еще (это был последний год) в университет не принимали детей служащих (это называлось «из нерабочих семей») без предварительной производственной практики. Надо было минимум два года отработать на производстве. Поэтому в группе Лиды только она и ее подруга Нелли Рабкина были непосредственно из школы. Лида, как правило, готовилась к экзаменам вместе с небольшой группой в нашей большой квартире на Невском. Кроме Лиды и Нелли, там был молодой парень Наумов (потом женившийся на Нелли, которая после замужества преподавала и писала статьи под фамилией Наумова) — бойкий, интересовавшийся советской литературой, что тогда казалось не наукой, чем-то слишком новым для науки. Наумов тщательно скрывал, что был из репрессированной семьи¹⁰⁸ и уже вступил на путь партийной карьеры. В дальнейшем он на нем преуспел как руководитель ленинградского издательства. Но для меня решающей оказалась другая встреча — Анатолий Михайлович Кукулевич. Отработав агрономом необходимые для трудовой практики два или три года, он поступил в Ленин-

¹⁰⁷ Лидия Михайловна Лотман (род. 1917) — средняя из сестер Ю. М. Лотмана. (Примеч. Е. А. Погосян.)

¹⁰⁸ Его брат, авиаконструктор, был арестован. (Примеч. Л. М. Лотман.)

градский университет и одновременно учился на русском отделении под руководством Григория Александровича Гуковского и на античном под руководством Ивана Ивановича Толстого. Этот блестяще одаренный и обаятельный человек, которому Гуковский сулил исключительное научное будущее, успевший опубликовать несколько статей о Гнедиче в «Ученых записках» Ленинградского университета и главу в только что тогда вышедшем томе Истории русской литературы, погиб под Ленинградом в конце 1941 года. Он пережил отступление от границы до Ленинграда, убежал в военной форме к нам домой очень веселый и возбужденный — он только что вырвался из окружения.

Он оказал на меня большое влияние. До этого я собирался заниматься энтомологией. В этом меня поддерживал приятель Кукулевича Саша <Александр Сергеевич> Данилевский, в будущем профессор-энтомолог, который был праправнуком Пушкина, происходил по прямой линии от сестры Гоголя и был непосредственным родственником писателя Данилевского. В профиль он немного напоминал молодого Гоголя и того Пушкина, который нарисован на картине Серова «Пушкин в Михайловском» (у Серова странный Пушкин — мало похожий на Пушкина, но чуть-чуть на Сашу Данилевского). Не без влияния обаяния Саши Данилевского я собрался стать энтомологом и усердно читал специальную литературу. Загадочный, устрашающий и притягивающий меня мир насекомых до сих пор вызывает во мне странное чувство — я думаю, что именно насекомые, с их исключительно медленной эволюцией и поразительной силой выживания будут последним населением нашей планеты. Они, бесспорно, наделены интеллектуальным миром, но этот мир для нас навсегда будет закрыт. Итак, с насекомых я «переселился» в русскую литературу. Под влиянием Ефима Григорьевича и Толи Кукулевича у меня пробудился интерес к литературе и — шире — к филологии вообще. Я начал изучать греческий язык (который я сейчас, к сожалению, совершенно забыл).

Мы все быстро выросли. В классе по крайней мере у человек десяти были арестованы родители. Был арестован и вскоре расстрелян отец моего лучшего друга Борьки Лахмана. Он был видным партдеятелем и директором Института слабых токов. В доме у них висел большой портрет Рыкова, как говорил Борька, подаренный им самим. Расстрел отца и ссылка матери и сестры — Борька остался в квартире один, его не тронули — не повлияли на нашу дружбу. Мы продолжали встречаться по вечерам на его теперь уже пустой квартире или дома у нас и оба с радостью говорили, что скоро будет война. Сейчас это звучит дико. Начиная с Испании мы чувствовали всю неизбежность войны. Вообще нет для меня ничего более смешного, чем рассуждения о том, что Гитлер внезапно и «вероломно» напал. Может быть, только лично Сталин был опьянен тем, что он считал

очень хитрым, и заставил себя верить в то, что союз с Гитлером устранил опасность войны, но никто из нас в это не верил. Правда, некоторые девчонки (я забегаю на год с лишним вперед, и, перескочив время испанской войны, вспоминаю об эпизоде, когда Риббентроп приехал в Москву) — вдруг начали носить прическу арийских дев (ва-ликом), и одна из однокурсниц Лиды у нас в доме говорила, что у Риббентропа «неотвратимо влияющие глаза». Но это такое краткое германофильство в кругу, о котором я могу говорить по личным впечатлениям¹⁰⁹, охватило только девчонок — старших школьниц и студенток¹¹⁰.

Как сейчас помню — не помню только, кто их сказал — я или Борька Лахман, — слова: «Тогда никому не придет в голову считать,

¹⁰⁹ В дальнейшем я не буду повторять этой оговорки, но ее нужно иметь все время в виду, даже когда я говорю о газетных сообщениях и политических событиях.

¹¹⁰ Позже в партизанском фольклорном тексте, переделанном из песни «Спят курганы темные...», популярной в последний предвоенный год (она из какого-то фильма), были такие строки:

Под немецких кисонек (пелось и «ласточек» и «девушек»)
Ты прическу делаешь,
Губы понакрасила, (это тогда был такой разврат!)
Вертишься дугой.
Но не нужны соколу
Выходки немецкие
И пройдет с презрением
Парень молодой.

А вот текст, который я сам записал в партизанском отряде во время войны (стихи угнанных в Германию мальчиков и девочек):

Дайте ответ

Задайте вопрос и ответьте,
Любезные дочки страны,
Что может подлея быть на свете
Того, что творите здесь вы.
Меж тем как кругом погибает
Отчизна
Народ невозможно шагает <?? м. б. «страдает». — М. Л. >
Страна погибает в крови.
А вам — все равно наслаждаться,
Снабжая Европу собой,
И вниз головою бросаться,
Обняв итальянца рукой.
Иль с чехом в дорожной канаве,
Как в брачной постели, лежать,
И гордость советской.....
Везде бесконечно терять.

Это было в Белоруссии, район Скопен, там было много мальчишек из партизанских отрядов — их, наверное, потом всех пересажали. Оттуда начался большой прорыв к Минску — к нам приехал Жуков.

кто троцкист, а кто бухаринец, а все будут солдаты на фронте». А поскольку всем было ясно, что после испанской войны будет большой фронт, испанскую войну мы переживали как что-то непосредственно наше — я помнил названия сотен военных пунктов, места сражений Интернациональной бригады. Замечу в скобках, что Хемингуэя тогда мы уже знали — мы читали его «Прощай, оружие!» и зачитывались им — это было опубликовано в журнале, который тогда назывался еще, кажется, «Интернациональная литература». Вообще мы очень много читали, прямо как опьяненные. За последние два школьных года я перечел собрание Толстого, отец мне купил двенадцатитомник Достоевского. У нас в семье детям дарили только книги. На это денег ни при каких обстоятельствах не жалели. А читал я как осатанелый.

Мы с Борькой даже пробовали пробраться в питерский порт (откуда тогда корабли отправлялись в Испанию), чтобы пролезть в трюм и удрать. Но нас, конечно, поймали, и, подвергнув тщательному допросу (бдительность!), все же с миром отпустили. Борьку не взяли в армию в 40-м году, когда взяли меня. В это время он переживал сильное любовное увлечение. (Его возлюбленная Женя Зенова потом вышла замуж — это уже впечатления послевоенные — за человека, который, видимо, очень сильно ревновал ее к памяти погибшего Борьки и видимо внушил прежде ей совершенно чуждые антисемитские настроения и речи. До войны ничего подобного, конечно, не было¹¹¹.)

Школу я неожиданно для себя кончил как отличник с красным аттестатом. Подозреваю, что Ефим Григорьевич несколько подправил мое сочинение. А сочинение я писал по «Двенадцати» Блока, исписал целую тетрадь, не успел не только переписать, но даже проверить — думаю, что ошибок было значительно больше, чем официально числившихся «0 орф. / 1 синт.» — это в черновике-то! Здесь, я думаю, сказалась доброта Ефима Григорьевича, который поощрял мой интерес к литературе и сквозь пальцы смотрел на некоторые орфографические недостатки. И оценка была «отлично». Это позволило получить красный аттестат, что давало право на поступление в вуз

¹¹¹ Замечу в скобках, что и на фронте я совершенно не сталкивался с этими проблемами. Я иногда раздражал окружающих, как может раздражать всякий человек, например, отсутствием навыков физической работы. Но очень быстро я это преодолел и с тяжелым физическим трудом справлялся легко; в частности, привык таскать тяжелые 160-миллиметровые снаряды. А снаряд, замечу для читателя, — абсолютно безопасен, если его уронить на землю; чтобы сделаться опасным, он должен быть повернут вокруг своей оси — тогда взрыватель приводится в боевое положение; нам приходилось ронять тяжелые снаряды взрывателем на камни так, что взрыватель совершенно деформировался. Все же экспериментировать в этой области никому не советую. (К сведению любопытствующих, так обстоит дело именно со снарядами, но не минами.)

без экзаменов. Доброта ли Ефима Григорьевича или осенившее меня орфографическое вдохновение, но это сыграло большую роль: на выпускной вечер я пришел без пиджака, потом мы всю ночь бродили по Ленинграду, я заболел тяжелым воспалением легких и пролежал в постели до начала сентября. Если бы я должен был сдавать экзамены, то не смог бы поступить в университет в этом году и вся моя судьба пошла бы другим путем. К сентябрю я выздоровел.

Время между началом университетских занятий и призывом меня в армию было без каких-либо преувеличений счастливейшим временем. Введение в литературоведение читал Гуковский, введение в языкознание — Александр Павлович Рифтин¹¹², крупнейший специалист в области семито-хамитской филологии. Оба читали блестяще. В университете все для меня было сказочно прекрасно. У меня сложились очень хорошие отношения с группой. У нас была замечательная группа, правда, вскоре юношей всех забрали в армию — я не подходил по возрасту, и меня взяли через год в начале второго курса. На курсе остались три мальчика — двое других не попали в армию по здоровью, и оба потом умерли во время блокады.

На первом курсе я увлекся фольклором, ходил на дополнительные занятия Марка Константиновича Азадовского и сделал очень удачный доклад на семинаре Владимира Яковлевича Проппа. (Пропп вел только семинарские занятия, лекции читал Азадовский — и то, и другое было страшно интересно). Доклад посвящен был теме «Бой отца с сыном в русском фольклоре» (с параллелями в немецком фольклоре). Проппу он, кажется, очень понравился. По крайней мере, когда после войны в солдатской шинели и немецких сапогах¹¹³ я пришел в университет, то в коридоре перед деканатом я увидел В. Я. Проппа и поздоровался с ним. Посмотрев на меня (в моей длинной шинели, думаю, вид у меня был совсем не марциальный,

¹¹² Рифтин был деканом, провез и сохранил факультет в эвакуации, возвратил его в Ленинград и умер в тот день, когда ему позвонил П. Н. Берков и сказал, что только что война кончилась. Он положил трубку, отошел от стола и умер. Это был замечательный человек и очень крупный ученый.

¹¹³ Они отличались тем, что голенище их было в форме усеченного конуса, расширившегося кверху (немецкие солдаты запикивали туда магазины автоматов), и я со своими тонкими ногами выглядел значительно менее героически, чем мне тогда казалось. Носил я их не из шика, а оттого, что из своей довоенной одежды и обуви я безнадежно вырос. Поэтому весь первый послевоенный год я проходил в военной форме; моя гимнастерка, обвешанная двумя орденами и восемью медалями, выглядела смешно. Но вопрос «как это выглядит?» ни меня, ни кого другого тогда не интересовал — мы были выше этой пошлости. Студентки, которые вернулись из армии, тоже ходили на лекции в кирзовых сапогах и военной форме (например, Ленина Иванова — прекрасная девушка, она вышла замуж за Витьку Маслова). Среди девушек имелись и другая группа, как правило, из обеспеченных, чаще профессорских семей — мы их называли «фифами». Они демонстративно бунтовали против нашего аскетизма (то есть красили губы) и на-

пользуясь выражением Петра I), он поздоровался и сказал: «Постойте-постойте. Вы — брат Лиды Лотман. Нет, вы сами — Лотман» (здесь, конечно, не только моя заслуга — Пропп обладал поразительной памятью и, видимо, помнил большинство студентов). Среди разных наград и поощрений, которыми меня щедро и, боюсь, не всегда заслуженно дарила жизнь, слова Проппа я запомнил как одну из ценнейших.

В самом начале второго курса меня вызвали в военкомат и сообщили, что в течение ближайших недель я буду призван в армию. Я поспешил сдать экзамены за весь второй курс вперед (тогда это казалось невероятной глупостью, но потом, когда я вернулся, странным образом оказалось очень кстати).

Наконец, я получил приказ явиться в военкомат. Все казалось очень простым и прозаичным. Все знали, что приближается война, но как-то лихорадочно старались об этом не думать. Все, по крайней мере в моем кругу, непрерывно веселились, а в кинотеатрах шел фильм «Если завтра война», и все пели песню с тем же названием. И фильм, и песня были очень бодрые:

Если завтра война,
Если враг нападёт,
Еслиチューе черной нагрянет...

Основной ударной силой в будущей войне представлялись тачанки. Фильм кончался праздником победы после войны: с экрана на нас смотрели популярные актеры (на войне, которая шла на экране,

шей «идейности» (ходили на танцы). Заводилой у них была дочь Гуковского Наташа. Судьба ее была трагической, но после ареста отца «фифа» показала себя твердым и мужественным человеком.

В дальнейшем мы с ней очень сблизились. Наташа была на курс старше меня. Когда Гуковский был арестован, а квартира его опечатана (для Наташи оставили только одну комнату) и веселая команда, всегда толкавшаяся вокруг нее, разбежалась, одна, в полузапечатанной квартире, ожидающая ребенка, она энергично боролась за отца и постоянно ездила по следственным чиновникам. Тогда же она вышла замуж за сына Аркадия Семеновича Долинина Костю. Брак этот был со стороны Долинина жестом благородства и смелости — семья была против этого брака, который, видимо, спас Наташу от высылки из Ленинграда. Узнав, когда подошел день ее рождения, я, собрав все свои деньги, купил большой букет роз, прекрасную коробку конфет «Марешаль» и нагрянул с этим к Наташе. За разговорами мы провели весь день почти до темноты и с тех пор стали друзьями, осмелюсь сказать, близкими.

[Юрий Михайлович не вспомнил о том, что значительно ранее этого посещения Наташи Гуковской он в критический момент нанес визит ее семье. В тревожные дни, когда Г. А. Гуковский ждал с минуты на минуту ареста, решительный звонок в дверь заставил всех вздрогнуть; вдруг раздался веселый возглас открывшего дверь: «Это Юра Лотман!» Об этом эпизоде впоследствии вспоминала Н. Г. Гуковская-Долинина. (Примеч. Л. М. Лотман.)]

конечно, никто из них не погиб), а за спиной у них пылал фейерверк победы. Такой представлялась нам война. Такой, да не такой. Мы все читали «На западном фронте без перемен» Ремарка и «Прощай, оружие» Хемингуэя и достаточно много слышали и говорили о мировой революции, о второй всемирной войне. И как-то усердно об этом забывали.

Это чувство напоминает мне следующее, лично пережитое: летом сорок второго года нам довелось вырываться из окружения. Мы вытаскивали с собой наши орудия, которые везли трактора. За минуты — не могу сказать, сколько их было, может быть 15, может быть 40, — убило двух трактористов, на их место садились новые (тракторист не мог прижаться к земле, находился практически без защиты на своей медленной, шесть-восемь километров в час, и неуклюжей машине). Трактора были гражданские, мы их до этого реквизировали в колхозе. Такое же чувство надвигающейся угрозы и вместе с тем желание забыть о ней было, помню, за несколько минут до начала прорыва. Мы все лихорадочно уснули «про запас», ощущая, что этот отдых нам еще потребуется.

То же самое было и перед войной: все, не говоря этого, чувствовали, что эти минуты нам еще понадобятся. Все торопились веселиться.

Так и у нас дома. Отец уезжал в командировку за день до того, как я должен был явиться в военкомат. Я отправился на студенческую вечеринку, которую группа устраивала мне на прощание, и вышло так, что в армию я ушел, не простившись с отцом, и больше его никогда не видел. Мать пошла на работу в свою поликлинику. Провожать меня пошла только средняя сестра Лида, которая принесла мне конфет.

Провожали нас торжественно. Перед погрузкой нас выстроили около вагонов, и командир эшелона объявил, что с прощальным словом к нам обратится старый питерский пролетарий. Слово это я запомнил на всю жизнь как «Отче наш»: «Ребята! Гляжу я на вас и жалко мне вас. А пораздумаю я о вас, так и... с вами!» — «По вагонам!» — взревел командир, и мы отправились в путешествие, которое оказалось долгим.

Ехали мы весело, в теплушке, сразу разбились на небольшие группы. Я был на втором этаже, а третий этаж напротив заняла группа, которая назвала себя лордами, а свою полку — палатой лордов. Мы, естественно, противостояли им как демократия.

Дорога была очень веселой. Все было ново — и быт, и география: нас везли в Грузию. Только в Кутаиси нам сообщили, где мы будем служить. Местом службы был назначен 427-й артиллерийский полк. В этом полку (он менял название, превращался в гвардейский, потом в бригаду) под командованием командира полка К. Дольста я прослужил всю войну.



Из письма Ю. М. Лотмана к сокурснице О. Н. Гречиной из Грузии;
Ю. М. призван в армию. 1940 г.

Дольст был немец. Правда, в той ситуации такая национальность не очень украшала и он называл себя латышом, но все знали правду. Большинство офицеров из среднего и высшего командного составов к этому времени были арестованы, и армия практически была передана молодым командирам, занимавшим должности выше своих чинов. Как ни странно, это оказалось в военном смысле очень выгод-

но — старое начальство ворошиловских и буденновских времен или аракеевцев типа маршала Тимошенко показало себя во время войны абсолютно не пригодными ни к чему.

На фронте один только раз, протянув связь в не помню какой, но очень высокий, штаб, я видел маршала Тимошенко: он сидел в блиндаже под тремя накатами (наша землянка была прикрыта еловыми ветками, присыпанными сверху землей) и еле мог выдавить из себя слово — губы его тряслись, хотя никакой реальной опасности вокруг не было.

Осмелюсь сказать, что жестокий сталинский террор, прокатившийся по армии, пусть это покажется диким, имел, вопреки ожиданиям и самого Сталина, положительную сторону — он очистил армию от бездарных и некультурных командиров, доставшихся от первых послереволюционных лет. Конечно, среди репрессированных были и мужественные, и талантливые люди — они погибли в первую очередь, но террор был столь широким, что под него попадали и дураки. По крайней мере (уклонюсь от общих рассуждений и буду говорить только о личном опыте) полк, в который я попал, был укомплектован командирами (слово офицер тогда не было принято), занимавшими должности выше звания, молодыми и хорошо подготовленными. Скажу несколько слов о них, потому что с ними мне пришлось провести практически всю войну.

Командир батареи капитан Григорьев был блестящий артиллерист. Командиром взвода был только что призванный запасник Шалиев, которого мы называли Стариком, — ему было чуть-чуть за сорок. Умный и, что очень важно, очень спокойный в боевых условиях человек. Военной выправки в нем не было ровно никакой. Артиллерист же он был очень хороший. Заканчивал войну уже не в нашем полку, в генеральском чине и, кажется, в конце войны погиб.

Начало боевых действий воспринималось нами как давно ожидаемое и потому облегчающее событие. А кроме того было весело (да, да, весело) пережить на практике то, что так долго переживалось в уме. Помню такую сцену в один из первых дней. Я — на огневой у телефона. Пушки стреляют. Прямо к пушкам, несмотря на падающие поблизости снаряды, подкатывает полуторка. С крыла ее (особый шик был в том, чтобы ехать не внутри, а стоя на крыле машины: кроме шика, это давало возможность вовремя замечать пикирующие самолеты, но шик тоже был важен) соскакивает командир дивизиона и лихо, громовым командным голосом произносит: «Молодцы, первая (то есть первая батарея — это мы)! По вам стреляют, и вы стреляете, и получается — что получается? — артиллерийская дуэль».

Время, прошедшее между прибытием в часть и началом войны, заполнено было обычными обстоятельствами солдатской службы и не заслуживает подробного рассказа. Новыми были только выезды на «боевые стрельбы». Шли бесконечные южные зимние дожди, мы

втаскивали наши пушки на горы. Одну по скользкой, покрывающей гору грязи уронили вниз, к счастью, никого не убили. Потом ее вытаскивали тремя тракторами. Очень мокрый и покрытый грязью, я зато наслаждался полной волей после казарменных месяцев.

Грузины-горцы были исключительно приветливы. Нас, мокрых и грязных, зазывали в их построенные из плоских камней на вершинах не очень высоких гор хижины, грели, сушили нашу одежду и кормили. Помню, хозяин одного дома был солдатом в первую мировую войну, и он нам очень долго рассказывал, объясняя, что такое война.

Вскоре после возвращения с учений пришел приказ: полк разделить на две части, одну оставить на Кавказе, а другую переводить на западную границу. Вскоре я с теми, кто должен был ехать на запад, уже был в вагоне.

Нас привезли в Шепетовку, и вскоре мы переехали в летние лагерь в Юзвин. Война явно приближалась — это было видно из того, как часто нам на политзанятиях разъясняли, что войны с союзной Германией, конечно, не может быть.

Я твердо решил на приближающейся войне не показать себя «хлюпиком» и все свободное время делил между французскими книгами и турником, так что к началу войны без большого труда сдал все спортивные нормы (бег и прыжки для меня никогда не были трудностью, а на турнике я натренировал себя до твердой армейской «четверки»).

Война началась для меня так: лагерная жизнь шла в палатках. За палатками проходила «линейка» — дорога для солдат полка, по которой мы все ходили. Перед палатками проходила «линейка», по которой проходили только дежурные часовые и офицеры, найдящиеся в этот день в наряде (она была усыпана желтым песочком). Еще дальше проходила еще одна «линейка», по которой не ходил никто. Там стоял часовой, заходить на дорожку разрешалось только тем, кто ее подметает и собирает с нее упавшие листья. По ней мог ходить командующий, если бы он заехал в часть. Однажды мы, как всегда, утром отправились на учебу, то есть нагрузили себя катушками, лопатками, топорами — всем, положенным по уставу, — и отправились в лес спать. Выспавшись к обеду, мы строевым шагом с бодрой песней отправились назад. Но, подходя к лагерю, мы вдруг увидели, что на «святая святых» стоит разворотивший дорожку пыхтящий трактор. Сразу стало ясно, что ничего, кроме конца света, произойти в наше отсутствие не могло. Лагерь был весь перевернут. Была объявлена боевая тревога. Выстроенные с полной боевой выкладкой, мы выслушали объявление (произнес его комиссар Рубинштейн — Дольст отправился в штаб армии получать боевое задание), что мы отправляемся, в точном соответствии с учебным планом, на новый этап боевой подготовки (за три дня до войны — 19-го), что тот этап обучения, который предстоит пройти, называется «подвижные лагеря» — дви-

гаться будем только ночью, днем — маскироваться в лесах и придорожных кустах. И, несколько изменив голос, комиссар добавил: «Кто будет ночью курить — расстрел на месте». После этих слов дальнейших пояснений уже не потребовалось.

Точно помню охватившее нас — пишу «нас», потому что мы на эту тему говорили, — общее чувство радости и облегчения, какое бывает, когда вырвешь больной зуб. Как говорит Сальери у Пушкина:

Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член!

Для нас союз с Гитлером был чем-то противоестественным, ощущением опасности в полной темноте. А теперь и началось то, к чему мы всегда готовились и для чего себя воспитывали: началась война, которая, как мы полагали, будет началом мировой революции или, по крайней мере, продолжением испанской увертюры. Не могу утверждать, что именно так чувствовали все вокруг меня, но чувства ленинградской молодежи, моих друзей, были приблизительно такими. Правда, мой друг Перевошиков¹¹⁴ оказался умнее. Когда мы говорили: «Слава Богу, началась война!» — он добавлял: «Теперь и Сталин, и Гитлер полетят...» (не уточняя куда). Другие так не считали, хотя друг от друга мы свои мысли не скрывали. В любом случае нарыв прорвался.

Мы в касках, в подогнанных по росту шинелях, с трехлинейными винтовками (автоматы мы только видели издали — ими обвешивались штабные начальники) с гордостью проезжали (в дальнейшем движение все убыстрялось, и мы уже ехали и днем, и ночью) через деревни, и девушки из приграничных деревень забрасывали нас цветами и кричали (это точно, так оно было): «Не пускайте к нам немцев!» Как потом, «драпая», — наш технический термин для обозначения отступления — стыдно было вспоминать эти минуты!

Особенно стыдно было, помню, мы отходили, и шли через то ли большую станицу, то ли маленький городок — как всегда, по обе стороны дороги стояли толпы, женщины и дети. И мальчик, взглянув на мою винтовку, крикнул: «Винтовка ржавая-то». В эту ночь я не спал — чистил и смазывал винтовку. В дальнейшем — лышу себя надеждой — ржавой винтовки у меня не было.

¹¹⁴ Еще до начала работы над «Не-мемуарами», во время одного обычного разговора, когда Юрий Михайлович рассказывал о предвоенном времени и настроениях тех лет, я записала несколько фраз о «Николке Перевошикове»: «смеялся над всем — все свое переживал как чужое»; «был пораженец, ждал войны с Америкой»; «обо всем говорил с насмешечкой». На фронте он однажды получил посылку с продуктами из блокадного Ленинграда, а вскоре его семья погибла от голода, осталась одна сестренка, которую Юрий Михайлович видел в Ленинграде уже после войны. (Примеч. Е. А. Погосян.)

Приведу еще один пример, правда уже из «драпа» 42-го года. Мы проходили через брошенный военный лагерь, набрали там гранат и даже консервов, в лихорадке оставленных тыловиками, а мой лучший друг Лешка Егоров (не могу не упомянуть этого замечательного человека — настоящего рабочего парня, он был слесарем, поэта¹¹⁵, влюблявшегося в каждой новой станице самой возвышенной и, как правило, платонической любовью) нацепил себе нечто самое нелепое, что я видел за все время войны: фронтовую фляжку, отлитую из стекла какими-то выполнявшими план тыловиками: таскать стеклянную фляжку во фронтовых условиях — верх нелепости. Я с изумлением спросил Лешку, что это он, и получил объяснение: «Сохраняю в драпе вид бойца в полном обмундировании, чтобы видели местные жители, что мы не драпаем, а отступаем по плану». И он действительно не драпал, а отступал.

Начало войны догнало нас недалеко от старой границы. В середине ночи мы подошли к Днестру в районе Могилева-Подольского и сразу развернулись. Наблюдательный пункт был на старой границе, на возвышенном берегу Днестра. Линия занимала километров семь, посередине был разбит промежуточный пункт, и я был на промежуточном. Фронт еще не вышел к старой границе (на днестровский берег, где мы развернулись). Три дня мы стояли как бы в тылу, не видя перед собой никаких войск. Перед нами была Молдавия, в которой должны были находиться наши войска. Были ли они там — я не знаю, но с той стороны к нам из наших войск никто не пришел. Справа, в стороне Киева, грохотало. Над нами усиленно летали немецкие самолеты, но не бомбили.

Самым крупным событием этих дней было следующее: мы расположились в районе, где раньше стояли наши тылы. Не ведаю, по какой причине тыловики удрали, причем так беспорядочно, как будто отступление было под прямым напором немцев, хотя те были еще очень далеко. Все свое имущество они побросали.

Лазая между брошенными ящиками с амуницией, снарядами и боеприпасами, мы обнаружили два больших ящика яиц (не знаю сколько, но их было несколько тысяч). Мы сообщили об этом «по линии», и к нам потянулись со всех точек дивизиона. Помню, что сами мы ели яичницу из четырехсот яиц каждая после довольно того военного пайка.

¹¹⁵ Помню несколько стихов, сочиненных им в 42-м году на Кавказе:

Куда ни глянь — повсюду только горы,
Куда ни глянь — кавказские края,
Но среди гор там расположен город,
Где проживает милая моя.

Помню еще такую сцену в Ингушетии — уже на следующий год. Мы спали в сарае на полу, а дочка хозяина на корточках сидела на пороге. Пришел Леша, и я невольно услышал ее слова: «Все спал, мой не спал, твой ждал».

Маленькое отступление о военном языке. Военный язык отличается прежде всего, тем, что он сдвигает семантику слов. Употреблять слова в их обычном значении противоречит фронтовому языковому шегольству. Но это не индивидуальный акт, а каким-то образом возникающие стихийно диалекты, которые зависят от возникновения некоторых доминирующих слов, как правило, связанных с доминирующими элементами быта (а быт складывается очень быстро, даже если он подвижный, как, например, в отступлении). Он предметно очень ограничен и общий для всего пространства фронта: так что слова этого быта становятся как бы субязыком. Определяющее слово 41-го — лета 42-го года было «пикировать». Этим словом можно было обозначать почти все: «спикировать» могло означать «украсть», могло означать «удрать на какое-то мероприятие», например «спикировать к бабам», или же «завалиться спать» («пока вы чапали, я тут спикировал»), «уклониться от распоряжений начальства» и т. д. Обычно оно означало некое лихое действие, которым можно похвастаться. Помню, как разъяренный офицер из какой-то другой части, у которого из легковушки что-то украли, кричал на своего шофера: «Пока ты дрых, у меня тут пистолет и все барахло спикировали!» Были потом и другие такие слова, по которым мы сразу узнавали, с нашего ли фронта человек или нет, — своего рода жаргон.

Прямые же значения слов табуировались. Так, например, существовало устойчивое табу на слово «украсть». Оно казалось отнесенным к другой — гражданской и мирной — и оскорбительной семантике. Мы знали, что немцы употребляли вместо него слово «организовать», но словом «украсть» не пользовались, находя в нем тоже неприятный привкус и отсутствие свойственного оккупантам чувства себя как организатора.

Когда-то, в романе «Огонь», Барбюс цитировал разговор окопного писателя с солдатами-однополчанами. Солдат интересовало, как их фронтовой товарищ будет описывать войну — с ругательствами или нет. И решительно заверяли его, что без ругательств написать правду о войне нельзя. По своему опыту скажу, что дело здесь не только в необходимости передать правду. Замысловатый, отборный мат — одно из важнейших средств, помогающих адаптироваться в сверхсложных условиях. Он имеет бесспорные признаки художественного творчества и вносит в быт игровой элемент, который психологически чрезвычайно облегчает переживание сверхтяжелых обстоятельств.

Настроение у всех было лихорадочно веселое. Мимо нас на самую передовую линию проехали в дальнейшем совершенно бесполезные сорокопятки (45 мм или противотанковые пушки). К нам зашел покурить командир одной из этих пушчонок, лихой красавец-грузин со значками, которые выдавались победителям армейских соревнований. Помню, как лихо он держал наотмашь где-то добытую немец-

кую сигару (это был такой шик, что он даже не затягивался, чтобы подольше протянуть). Сообщив, сколько выстрелов он делает в минуту, он добавил: «Семь танков сожгу, прежде чем меня раздавят!» (формула эта звучала не ернически, а естественно — мы все так просчитывали). В ту же ночь я его снова встретил. Он был грязен, в разорванной гимнастерке, пушки рядом не было. «Понимаешь, Юрка (мы уже были на ты и по именам), — не сказал, а буквально прорыдал он, — не берут. Я восемь раз попадал в танк, а ему — сменим лексикку — хоть бы хны». Орудие его было раздавлено.

Двое суток мы вели непрерывный огонь и удерживались на исходной позиции. Наблюдательный пункт был уже занят, и разведчики и вычислители вместе с командиром батареи прибежали к нам на огневую. Еще полдня мы выдерживали на этой линии. К вечеру второго дня нашей войны было приказано с наступлением темноты отступить на 400 метров. Кстати, когда наступила ночь, кухня побаловала нас: нам привезли вместо вечерней баланды прекрасную рисовую кашу. Это был запас, который не разрешалось расходовать. Настроение было, как говорит солдатская пословица, «раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!». Затем началось отступление, которое первое время шло достаточно организованно.

Пользуясь тем, что противник ночью не воевал и с заходом солнца прекращал все боевые действия, мы держались принципа: выстоять до захода солнца. Когда наступала южная темная ночь, мы быстро сматывали линию и отходили, сначала на несколько километров. Там развертывались и окапывались, а утром начиналось все снова. Но через несколько дней «юнкеры» усиленно бомбили небольшую станцию у нас в тылу, а рано утром откуда-то сбоку туда прорвались танки. Это было наше первое окружение. Затем слово «окружение» стало одним из самых употребительных у нас.

Фактически, окружением назвать это было нельзя. Как слоеный пирог нельзя назвать кренделем. Это было подвижное состояние перепутанных между собою армий, которые все время стремились образовать нечто, что можно было назвать словом из военного учебника — «фронт». Постепенно возобладал совсем другой, не предусмотренный военной теорией принцип: те, кто обладали большей скоростью передвижения, оказывались впереди (так, например, штабы, автомобильные колонны, снабжение и танки оказались дальше всего в тылу), часто совершенно теряя связь с разбросанными воюющими частями. А пехота и артиллерия оставались позади.

У нас были прекрасные пушки и очень хорошие артиллеристы, но положенные нам скоростные тягачи мы потеряли довольно скоро. И потом уже до 43-го года нам не давали взамен ничего. Мы пользовались сельскохозяйственными гусеничными тракторами, которые мы реквизировали в колхозах и которые давали шесть километров в час, то есть не имели ровно никакой надежды оторваться от

противника. Именно от этого наша тяжелая артиллерия несла такие большие потери в технике. Все-таки кое-как мы пушки тянули, не бросали их. Мы приспособились подключать к орудию два трехтонных грузовика. По ровному месту и даже в гору дело шло. Но с горы раскатившиеся орудия нажимали сзади на машины, и шоферы в ужасе бежали рядом со своими грузовиками и управляли рукой или же стояли на крыле. Потом начались дожди. Техника противника начала тонуть в клейком мокром черноземе, и движение фронта замедлилось. Мы, мокрые, проваливаясь в жидком черноземе, проклинали дожди, которые, по сути дела, нам очень помогли.

В начале войны нам стали выдавать знаменитые «наркомовские» 100 грамм, то есть 100 грамм водки (должен отметить, что в дальнейшем в отступлениях и окружениях бывали перебои с едой, почти мы не получали месяцами, снаряды нам доставляли относительно регулярно, но наркомовские 100 грамм мы получали постоянно без перебоев). Конечно, по пути от них отхлебывалось немало, но это покрывалось потерями в людях, так что в общем положенные 100 грамм до нас доходили полностью и неразбавленными.

Я до начала войны водки даже не нюхал. Дома у нас бывало столовое вино (отец понимал в винах и любил хорошие), но водка появлялась только на праздники для гостей. Когда нам начали выдавать водку, я свою порцию первые два дня отдавал ребятам. Но потом пятеро моих друзей собрались и слили свои дневные нормы вместе. Единым духом я лихо выпил поллитра водки. Помню только, что успел залезть в блиндаж и завалиться на солому спать.

Не знаю, сколько прошло времени, но меня растрясли. Пока я протирал глаза, мне в уши накричали, что немцы прорвали фронт на запад от нас и ушли глубоко в тыл, что мы практически опять в окружении и надо срочно сматывать. «Сматывать» в данном случае имело два значения — «сматывать удочки», то есть драпать, и сматывать катушки с телефонным проводом. В случае отступления оба значения сливались. Меня растрясли, и я нашел силу выполнить свою работу — смотал свои катушки и потащил их. Не без гордости скажу, что катушки и аппарат я все же в целости доставил на место. Но ребята потом рассказывали, что, вопреки приказу двигаться молча и говорить шепотом, я всю дорогу орал сатирические стишки, которые разные театральные актеры занесли на фронт. Так, комическому «фрицу» приписывались слова песенки, которые мы превратили в свой иронический гимн:

Хоть в политике я лапоть,
Но пора как будто драпать...

Война, состоявшая из дневной работы нашей батареи, а потом быстрого свертывания и ночного отступления с тем, чтобы на новом месте развернуться перед зарей, восстановить все линии связи и с

рассветом опять начать работу, длилась до зимы. В декабре завернули неожиданно сильные морозы (вообще годы войны были отмечены исключительно жестокими зимами, как, по словам местных жителей, давно уже прежде не было). Для меня война как-то неотрывно связалась с дождливой осенью, пушками и машинами, застрявшими до осей в черноземе, бесконечным их оттуда вытаскиванием и жестокими зимними морозами.

Вообще (это не только мое чувство, я его проверял на других) основное внутреннее состояние — желание, «чтоб она к чертовой бабушке кончилась», — жажда конца. Зимой ждешь, пока кончатся морозы, трешь уши, затыкаешь лопнувшие ботинки (в 43-м году нам дали американские ботинки, они были как железные, до конца войны им сносу не было, но ноги они стирали до крови), зато немецкие танки и самолеты на своем эрзац-бензине наших морозов не выдерживали. Летом тепло, благодать, можно и переодеться, и вшей побить, урвать время постирать, а главное — вообще не мерзнешь. Да и спать можно не только в хате, а где-нибудь на стожке соломы. Но зато с утра до вечера по небу ползают «юнкеры» (87 и 88). В полной мере сказывается превосходство противника в танках, и солдаты матерят изо всех сил ясное небо и хорошую погоду. Ждут осени и зимы, для того, чтобы, растирая руки и танцуя, чтобы согреть ноги, проклинать зиму. Зимой 42-го года наша станция называлась «Сосна». Помню постоянный вопрос по линии «Сосна, сосна, скоро ли придет вторая весна?» Днем ждем ночи, ночью ждем дня. Летом ждем зимы, зимой лета. Это — закон фронта.

Светлая сторона. На фронте не так страшно, как кажется, когда описываешь или читаешь о нем в книгах. Вообще лучший способ избавиться от страха — это погрузиться в то, что этот страх вызывает. Если боишься передовой, чтобы избавиться от мучительного чувства, поезжай на передовую. Мы все были затерроризированы постоянной угрозой окружения. Но вряд ли кто-нибудь поверит, какое облегчение охватывает, когда нечто происходит на самом деле, когда вместо того, чтобы ждать и чувствовать, приходится действовать. И окружения не так страшны, как страшно их ожидание и рассказы о них. Да и война не так страшна, как когда ожидаешь или вспоминаешь о ней на дистанции. Погружение в нее — лучшее лекарство от страха. Поэтому мне приходилось сталкиваться с тем, как люди, зацепившиеся в ближних тылах или штабах, становились там болезненно трусливы, шли на самострел, что очень часто означало расстрел, лишь бы не попасть на фронт. Но я абсолютно убежден, что они были нормальные, а совсем не болезненно трусливые люди. И если бы судьба бросила их сразу в настоящую переделку, познакомила бы их с войной прежде, чем они «успели испугаться», то они никогда бы не «заболели». Пишу «заболели», ибо это настоящая болезнь, я ви-

дел много людей, действительно больных. В холодную воду надо прыгать сразу, а не раздумывать на берегу.

Мне и вообще молодым ребятам нашего полка очень повезло тем, что мы в первые же дни попали туда, где казалось страшнее всего. И убедились, что, по сути дела, страх определяется нашим воображением и отношением реальности и привычки. В дальнейшем, когда я уже был опытным сержантом и к нам начали поступать «молодые» из тыла (это было уже в конце войны), я регулярно брал одного из них и шел туда, где казалось наименее приятно быть. Это необходимо для того, чтобы убедить человека, что страх рождается не объективными условиями (величиной опасности), а нашим к ним отношением.

Кстати, это прекрасно демонстрируют фильмы ужасов. Если дешевые фильмы порождают страх зрителя чудовищными кадрами, то Хичкок блестяще показал, что любой предмет, бытовой и безопасный, можно снять так, что зритель окажется на краю инфаркта от ужаса.

* * *

Мы отходили к Дону (лето 42-го года). Немцы ночью не двигались, мы пользовались этим и за ночь пешком успевали оторваться от передовых немецких частей, перемещающихся на мотоциклах и бронетранспортерах, километров на 30.

Ноги были уже абсолютно сбиты. И когда после короткой стоянки встаешь, кажется, что легче подохнуть, чем сделать хотя бы один шаг. А ребята уже уходят. Заставляешь себя сделать первый, второй, третий шаг — болят. Стерты подошвы, пальцы ног. Невозможно разогнуть колени. И первые шаги все делают так, что, глядя на других, сам подыхаешь со смеху. Очень больно от присохших к ногам стертых портянок. Вообще, разуваться уже перестали. Потому что ясно, что потом обуться будет невозможно и придется идти босиком. А босиком далеко не уйдешь. Так тянешься приблизительно первый километр. А потом ноги расходятся, портянки как-то более мягко укладываются в сапогах. Первый час — короткий отдых — второй... а к утру, глядишь, и намотаем километров тридцать.

Периодически над нами пролетает «рама» — немецкий разведывательный двухмоторный самолет «хейнкель», названный так потому, что у него между крыльями и хвостовым оперением фюзеляж раздваивается. Покружит и улетит. Мы острым: «Ну, сфотографировала, надо запросить карточку, домой послать», или же: «В немецком штабе заметят, что сегодня небриты». По «раме» мы дружно стреляем, но она не обращает на это ровно никакого внимания. После ее ухода жди «юнкерсов». Так оно всегда и бывает. Сначала мы слышим гудение, а потом появляются бомбардировщики — не очень много, как правило

три, иногда шесть, в зависимости от того, идем мы маленькой группой или толпой. Это «Юнкерс-87» — пикирующий, одномоторный, очень хороший самолет, пикирует прямо вертикально со страшным ревом и очень точно бросает бомбы (что нас совершенно не радует).

Еще издали, но уже явно нас увидя и решив, что мы — цель, достойная внимания, «юнкерсы» из треугольного построения вытягиваются в линию. Далее происходит прекрасно нам известная своим строгим, хорошо соблюдаемым ритуалом процедура, очень напоминающая поведение хищных животных или насекомых. Пока «юнкерсы» летят треугольником, можно быть спокойными — они направляются куда-то в другое место. Но вот они вытянулись в змейку и заходят в круг, центр которого приходится немного впереди нас. Значит, к нам в гости пришли. Мы сбегает с дороги врассыпную и прижимаемся к земле. Земля — наша основная защита. А «юнкерсы» змейкой направляются к нам. Вот первый оторвался, резко повернул носом к земле и почти вертикально, с красотой точного расчета падает на нас. Вот от него отделились бомбы — мы их прекрасно видим, падают, кажется, что абсолютно точно тебе в голову. Бомбы обгоняют самолет. Вокруг себя слышишь глухие разрывы, земля трясется. Летчики пикируют артистически, поворачиваются почти у самой земли — наши никогда так не пикируют. Самолет, как гипнотизер, приковывает взгляд, оторваться невозможно. Наверное, то же написали бы кролики о свидании с коброй.

Из покрывшего землю дыма, пласта пыли самолет с воем, доходящим до предела выносимого, вырывается вертикально вверх. Подымаясь, он успевает еще обдать нас пулеметным огнем или огнем из авиационной пушки. Но свист пуль не слышен, потому что с воем падает следующий. В эти минуты отключаешься, чувства страха не испытываешь — не испытываешь вообще никакого чувства, — вероятно, то же чувствовали лежащие под нами камни. Наконец, последний самолет отбомбился, и они улетают. Мы подымаемся.

Я всегда удивлялся низкой эффективности этих налетов. Конечно, по густым массам пехоты, по движущейся бронетехнике, по развернутым орудиям или танкам эти бомбовые удары были очень эффективны. Но по рассеявшимся отступающим частям армии, солдаты которой успевали прыгнуть в канаву, заскочить в какое-либо укрытие, эффективность была низкая. Дым расходится. Мы, для ободрения себя и чтобы показать немцам, что тоже не лыком шиты, успеваем несколько раз выстрелить по самолету из карабина. Патронов было до черта, они валялись повсюду, и беречь их не приходилось. Но ни одного результата своей решительности мне увидеть не пришлось. То ли я плохо рассчитывал упреждение, которое на такой малой высоте должно быть очень большим, то ли броня у «юнкерсов» была крепкая, но никаких неприятностей я немецкому Вермахту этими своими выстрелами не доставил. Может быть, где-нибудь на каком-нибудь крыле и осталась цапапина, но эффектного падения,

подобного, например, описанному Твардовским в «Теркине», сбившем двухмоторный «юнкерс», мне добиться не удалось. Но смысл этой стрельбы и был в другом: она очень подымает дух, перестаешь себя чувствовать кроликом, даешь выход энергии. В общем, вещь хорошая.

Мы движемся к Дону. От бомбежек, периодически появляющихся немецких танков мы разделились и идем на восток небольшими группами — два-три человека. Стараемся идти со своими, из своего полка, но практически уже растерялись. В степи во время бомбежки я встретился с солдатом из другого дивизиона нашего полка — донским казаком. Вскоре он подобрал в степи брошенную кем-то замученную лошадь и сел на нее. Лошадь, как и я, еле переставляла ноги, и мы с ней шли пешком, а он — верхом. Всю дорогу мы рассуждали, почему война для нас так неудачно складывается. Мой спутник выражал свою мысль приблизительно в следующих словах: «Ты, Юрка, не сердись, а евреи тут виноваты. Нет, ты не думай, я это не в фашистском духе, и, знаешь, этих предубеждений у меня нету, но посуди сам. Вот немцы к войне готовились, а мы что — мы фестивали делали, кино лучшее в мире выпускали, Ойстрах на скрипочке пилил — и все евреи. Ну, знаешь, у меня предрассудков нету, но лучше б было в это время не скрипочками заниматься». Я не разделял его взглядов и стремился ему объяснить, что идет война между фашизмом и антифашизмом, а антифашизм предполагает ренессанс — развитие искусства. На что он отвечал: «Вот и доренессансился, что немцы на Дону, туды-перетуды твой ренессанс!» Но, в общем, мы двигались дружно. Разошлись мы, только когда темной южной ночью вышли на Дон.

Темнота только сгушалась от горящих по берегу и в темноте каких-то барж, машин и еще всяческой ерунды, которую армия дотянула до Дона и тут бросила. Мы подошли к берегу, нужно было решиться, что делать дальше, никакой переправы не было, но по берегу ходили отдельные растерявшиеся солдаты. Пробегавший солдат сказал, что здесь недалеко полузатопленная баржа и в ней сахар и водка и что ребята там пьют, как муравьи. Мой напарник сказал, что пойдет выпьет и наберет с собой. Я решил переправиться, пока еще темно.

Как я это сделаю, мне было абсолютно неясно — плавать я не умел и не умею¹¹⁶. Шагая по топкому песку на самом берегу Дона, я увидел две черные фигуры в плащах, закрывающих знаки различия (но плащи были командирские), и услышал отрывок разговора: речь шла о необходимости переправить через Дон лошадей. Один из говорящих докладывал, что нашел крепкую лодку и парня, который имеет небольшой опыт: он будет держать лошадь под уздцы, а она

¹¹⁶ Здесь — как и во многих других местах — типичное для автора принижение своего образа: плавал он — в смысле проплываемого расстояния — неплохо, но, никогда специально плаванию не обучавшийся, не знал никаких стилей, а плыл, как он это сам называл, «на бочку». (Примеч. М. Ю. Лотмана.)

будет плыть, надо только найти опытного гребца. Меня захватила волна нахальства. Я вышел из темноты и подошел к ним со словами: «Гребца ищите? Вот он я». Вид мой, кажется, не внушил большого доверия тому, кто был старше чином. «Смотри, — сказал он, для убедительности прибавив несколько слов из военного красноречия, — сам утонешь, так мне <...> не жалко, а ты мне лошадей не утопи». Но меня уже понесло. Я сказал: «Не пугайте меня, дело привычное, на море вырос...» Мы отправились. Я на веслах, а другой солдат брал лошадь под уздцы, сидел на корму, мы отталкивали лодку, лошадь, брыкаясь, заходила в воду, и я начинал грести. Сначала я крутился — одна рука обгоняла другую, — гребец я был никудышный. Но постепенно начало получаться. Лошадь, попытавшаяся влезть в лодку, получила по морде и поплыла. Второй раз было легче. Не знаю, сколько раз я проездил, но потом я сказал: «Амба, ребята, еще раз отвезу и хватит, ищите другого».

Мы переплыли. Я вылез из лодки и пошел с чувством переходящей все пределы усталости и ожидая, что здесь, на берегу, я сейчас натолкнусь на прочную нашу оборону. Там я получу данные о дальнейшем маршруте. Никакой обороны не было. По этому берегу, как и по тому, бродили отдельные солдаты. Куда идти — было совершенно непонятно. Я лег на мокрый береговой песок и уснул, кажется, прежде, чем успел опустить голову. Сколько я проспал — не знаю. Потом я встал и пошел на восток, надеясь, что все-таки на какую-то оборону я натолкнусь. Не может же быть, что фронт совершенно голый.

Дон в этом месте течет несколькими то сливающимися, то расходящимися потоками. У меня не было сил искать какие-либо места перехода. Я шел по прямой вброд, один за другим преодолевая довольно глубокие параллельные рукава. Было совершенно пустынно. Сил не было абсолютно, но я нашел способ их поддерживать: я шел и стрелял трассирующими патронами в небо, один за другим. Это каким-то странным образом позволяло пересилить чувство потерянности. При этом я во весь голос дико выкрикивал самые непечатные ругательства. Смесь выстрелов и моей дикой ругани странным образом поддерживала. Наконец, я перешел последний приток, бухнулся на землю и снова тут же уснул. Переправа через Дон была закончена.

* * *

Летом 1942 года фронт относительно стабилизировался. Нас пополнили и направили в район Моздока (Чечено-Ингушетия). Небольшой городок Малгобек, расположенный прямо на Тереке, находился непосредственно на линии фронта. По ту сторону реки, где было казачье население, расположился передний край немцев. Мы удерживали южный берег, но слово «удерживали» здесь можно употребить только метафорически: пехоты у нас почти не было. Наши пушки,

насколько это позволял ограниченный запас снарядов, должны были одновременно выполнять свою прямую задачу — подавлять артиллерию противника — и страховать переправу, к чему они были мало приспособлены.

В ингушских домах прямо на берегу (население убежало в горы, и деревня была совершенно пустой) мы устроили ПНП (передовой наблюдательный пункт) и ожидали со дня на день начала новой волны немецкого наступления. Используя колоритные средства солдатского языка, мы обсуждали, что будем в этом случае делать, имея всего пять снарядов. Противник, видимо, даже не подозревал, сколь скудны были наши средства и усиленно накапливал резервы (мы это прекрасно видели), готовясь к прорыву. Ему, видимо, и в голову не могло прийти, что ему противостоит на этом участке лишь дивизион артиллерии почти без снарядов, одна минометная батарея и какие-то ничтожные, наскоро собранные и плохо оснащенные отряды, составленные из самой разной публики, включая поваров, штабных писарей. Когда я — не без иронии — спросил командовавшего ими старшего лейтенанта: «А что это за род войск?» — он ответил изысканным матом опытного фронтовика, и мы оба покатались со смеху.

На противоположном берегу, прямо против нас, был расположен немецкий наблюдательный пункт и штаб. Мы прекрасно видели все, что там делается и могли пересчитать по пальцам мотоциклы, которые непрерывно подъезжали и откатывали. Там шла оживленная штабная и наблюдательная работа, но снарядов у нас было так мало, что строго было приказано: стрелять, только если противник начнет переправу. А наше молчание вдохновляло тот берег.

Однажды (жара стояла уже настоящая) мы увидели, что часовой, охранявший вход в штаб, стоит на посту совершенно голый, в чем мать родила, только в сапогах и с автоматом на шее. Он не только защищался этим от жары, но и явно находил удовольствие в том, какое впечатление должен был производить его вид на нас. Стоя анфас к нашему пункту, он хохотал и хлопал себя по животу. Наш лейтенант не выдержал такого унижения и выпросил в штабе три снаряда: «Ну хоть припугнуть немножко, чтоб штаны надел», — упрашивал он комбата и получил ответ: «Ну ладно, три штуки дай». Тремя снарядами пристрелять орудие, даже если раньше пристрелка уже была, почти невозможно — ведь то ветер, а то орудие с каждым выстрелом пусть незначительно, но оседает, особенно на нетвердой прибрежной почве. Всем этим можно было пренебречь при обычной, массированной стрельбе. Это было бы просто незаметно. Но здесь работа была филигранная и требовала предельной точности. Наше орудие, выпустив три снаряда, конечно, не принесло заречному соседу никакого вреда, но намек он все-таки понял и штаны надел.

Вообще, отношение к обнаженному телу у нас и в немецкой армии было совершенно различным. Причем здесь явно сказывалась

граница между европейским и восточным взглядом на этот вопрос. Немцы не только не стыдились (все наши наблюдения шли через линию фронта, потому мое мнение нуждается в корректировке) расстегнутости, обнаженного тела, но даже, видимо, находили в этом особый стиль. Они охотно разъезжали по фронту голые на мотоциклах, на немецких воинственных плакатах фронтовой немецкий офицер всегда изображался в расстегнутой на груди форме и с закатанными рукавами (вероятно, в немецкой армии все это воспринималось как «марциальный шик»). У нас было принято стыдиться своего тела (я не помню, чтоб кто-нибудь из нас, особенно из крестьянских ребят, раздевался для того, чтобы загорать). Если в жару на работе мы позволяли себе вольность, это могло быть до пояса голое тело, но при обязательных штанах и сапогах.

Зато, замечу, зимой мы всегда ходили в шапках, и европейский шик мужчины — ходить на морозе без шапки — нам был совершенно незнаком. Когда я много лет спустя (это было в Норвегии) заметил своему уже немолодому другу, ходившему на морозе с обнаженной головой, не холодно ли ему без шапки, то получил ответ: «Но это же так молодит». Замечу, между прочим, что покрытая даже в жару голова мальчишки в России тоже имеет свой шик, но противоположный — она взрослит. Оценка может меняться, но принадлежность головного убора к семиотике возраста сохраняется.

КАК ВШЕЙ ВЫВОДИТЬ

В «Василии Теркине» у Твардовского есть такой эпизод. Старик, который участвовал в первой мировой войне, разговаривает с Теркиным и спрашивает:

А скажи, простая штука
Есть у вас?
— Какая?
— Вошь.

На что Теркин, приосанившись, отвечает: «Частично есть». На это участник первой мировой войны отвечает Теркину, что тот настоящий солдат. Темы этой не обошел никто, кто относительно правдиво писал о войне, от Барбюса до Гашека¹¹⁷. Вошь — частично запрещенная тема. Она касается «той» стороны военного быта. До вой-

¹¹⁷ Ср. в «Швейке»:

Весь фронт во вшах. И с яростью скребется
То нижний чин, то ротный командир,
Сам генерал, как лев, со вшами бьется
И, что ни миг, снимает свой мундир.

(перевод П. Г. Богатырева).

ны я знал о вшах только по литературным памятникам или же по энтомологическим исследованиям.

Мы отходили — был второй месяц войны. Но на Южном фронте было еще очень жарко. Однажды я почувствовал совершенно непонятный раздражающий зуд. Мы стояли в лесопосадке в степи и ждали ночи, чтобы выйти из укрытия от самолетов и снова начать отступление на восток. Я отошел поглубже в лесопосадку и, скинув рубаху, содрогнулся от отвращения.

Энтомология всегда была предметом моей любви, это чувство осталось даже после того, как я отказался от идеи самому сделаться исследователем насекомых. Особенно привлекали меня прямокрылые и сетчатокрылые, а о жесткокрылых я собирался писать исследование, и мне до сих пор жалко, что я его не написал. Но к паразитам, и среди них особенно ко вшам, у меня было какое-то физиологическое отвращение. Увидев у себя на рубашке крупную белую вошь, я в прямом — неметафорическом — смысле слова содрогнулся и еле сдержал рвоту. Действовал я решительно, в соответствии с обстановкой. Я развел костер, поставил на него ведро с водой, разделся догола и все, кроме сапог и документов, запихал в ведро. К счастью, этот суп успел хорошенько свариться, прежде чем нам объявили марш. Я наскоро все выжал и мокрый до нитки отправился догонять взвод. Таково было первое впечатление.

Однако острота его скоро притупилась, и с постоянным появлением вшей и с постоянной необходимостью с ними бороться пришлось примириться. К счастью, в конце 41-го или в начале 42-го (не помню точно) было найдено верное средство.

Немцы тоже страдали от вшей и боролись с ними, осыпаясь разными химическими порошками. Но средства эти действовали плохо. Противник сильно страдал от насекомых, видимо, совершенно незнакомых ему в нормальном быту, и так до конца войны действенных средств не умел найти. В результате, когда пришло время наступления, мы *никогда*, даже когда нужно было спрятаться от обстрела или мороза, в немецких землянках не жили: залезть туда означало наверняка набраться насекомых.

Наша пехота, которая, конечно, не могла на передовой устроить даже самой элементарной вошебойки, тоже очень страдала от вшей. Но артиллерия и пехота второй линии практически к 42-му году от них избавились. Не знаю, кто был тот гений, который изобрел простое и верное средство, но я бы ему поставил памятник (пишу это без всякой иронии). Средство было такое. Найти на фронте железную бочку из-под горючего не представляло никакого труда. Они валялись рядом с разбитой и обгорелой техникой и другим фронтовым мусором. Их была масса. Из них делали самое элементарное устройство: брали бочку, выжигали или вымывали из нее остатки содержимого (мазута, смазочного масла, горючего). После этого аккуратно выби-

вали одно дно, сохраняя выбитую железную основу. Потом вырезались два куска дерева точно по диаметру бочки, они забивались в нее крестообразно на такой высоте, чтобы положенная на них амуниция не касалась дна. После этого на образовавшийся крест вешали одежду, подлежащую дезинсекции. Дно немножко поливали водой и железную крышку, обмотав для прочности плащ-палаткой, заколачивали сверху. После этого бочка ставилась на камни и под ней разжигался костер. Через полчаса или чуть больше раскаленную бочку открывали. Из нее вырывался сжатый пар, а на крестовине висело горячее, иногда чуть тлеющее, если касалось стенок, белье. Никакая вошь такого эксперимента выдержать не могла. Горячее скрипящее белье было очень приятно надеть. Правда, отстирать сгоревшую грязь уже было невозможно, но это нас совершенно не тревожило. Бочки были наше спасение.

Вши органически входили не только в быт, но и во фронтовой фольклор. Это была тема бесконечных шуток, изощренно-замысловатых ругательств, они становились героями многих происшествий. Вот одно из них.

В нашей батарее командиром взвода управления был инженер с Донбасса, милый и интеллигентный человек Иващенко (у огневииков был свой Иващенко — тоже лейтенант, страшно противный). Иващенко попал в армию прямо с «гражданки» во время отступления и сохранил многие черты штатского человека, но был хороший артиллерист, веселый, компанейский парень. Вот с ним и случилась история, которую, кстати о вшах, здесь следует вспомнить.

Это было в 43-м году в Северном Донбассе. На фронте было относительное затишье, наблюдательный пункт был километрах в двух от передовой, и мы решили воспользоваться этим, чтобы избавиться от вшей. Для этого мы с той стороны наблюдательного пункта, которая была закрыта от передовой стеной сгоревшего дома, устроили «бочку». Первым повесил свою гимнастерку, брюки и белье командир батареи, а когда содержимое прокалилось, в бочку повесил свое добро командир взвода Иващенко. Человек непривычный, городской и культурный, он страшно не выносил вшей. Раздевшись догола, оставив только сапоги, он все повесил в бочку, а нам только приговаривал: «Жарь их, сволочей, жарь!» Мы и раскалили бочку. Но, видимо, искры подымались слишком высоко, и вдруг невдалеке упал сначала один снаряд, другой — немцы явно делали пристрелку, а затем начался довольно густой обстрел. Мы залезли в ровик. Бедный Иващенко влез туда как был — в чем мать родила, в сапогах и с партбилетом, который он догадался вынуть из кармана, в руках. Он выглядел не очень торжественно, и мы, не стесняясь, иронизировали над положением своего командира. Когда обстрел кончился и можно было вылезти, Иващенко бросился к бочке: увы, все сгорело. На дне бочки лежал только расплавившийся гвардейский знак, который лей-

тенант забыл свинтить. Иващенко сидел в сапогах, голый, с партбилетом и гвардейским знаком в руках и страшно злой материл немцев, войну и нас, как он считал, неправильно повесивших белье.

Пришлось звонить на батарею, чтобы немедленно принесли кальсоны, штаны и другое имущество лейтенанту. Но, когда по линии пошло, что с наблюдательного пункта для Иващенко требуют кальсоны, это вызвало новую волну солдатских шуток. К чести лейтенанта следует сказать, что когда, наконец, имущество было принесено и с ним от старшины бутылка водки, то настроение его исправилось и он выражал громко радость, что не сгорел орден Красной Звезды.

Случай этот имеет смысл записать, потому что смешных и веселых эпизодов в самых тяжелых условиях всегда было много. Скажу, что на фронте мы смеялись гораздо больше, чем потом нам приходилось в мирной жизни, например, во время разгрома университета в эпоху борьбы с космополитизмом.

* * *

Ранней весной 44-го года фронт находился на Западной Украине и врезался в расположение противника узким длинным клином. На нашем участке он образовал своеобразный язык, длиной около двадцати километров, но шириной всего от двухсот метров до километра. Наблюдательный пункт был вынесен на самое его острие, а пушки находились у основания. Противник простреливал нас с трех сторон, и, практически, непростреливаемого места в нашем пространстве не было. К этому нужно прибавить, что ранняя весна растопила снег, а почва оттаяла только местами, так что ходить приходилось в воде то по щиколотку, то по колено, скользя по льду под водой или же погружаясь в клейкую массу чернозема. Каждой ногой мы вытаскивали из земли пуд жидкой черной клейкой массы. Бегать по такому пространству было абсолютно невозможно, ходить исключительно трудно. А нам, связистам, ходить приходилось непрерывно. Противник вел довольно плотный обстрел этого пространства, столбы воды, грязи и куски льда вставали со всех сторон, мокрые шинели висели на плечах как пудовые, а морды были настолько грязные, что без хохота смотреть друг на друга было невозможно.

Я шел по линии, где-то пересеченной осколком, продвигался через эту кашу чернозема, воды и льда и попал под густой, сконцентрированный обстрел. Не помню, какими словами я выражал свои чувства, но могу представить, что это была та лексика, которую лингвисты иногда именуют экспрессивной. Пришлось лечь в грязь на какую-то корягу. Осколки и комья мокрой грязи шлепались вокруг.

В это время по воде и грязи, подымая фонтаны, прямо на меня выбежал большой, весь залепленный грязью заяц. Ему не везло, как и мне: он влево — и мина падает влево, он в другую сторону — и туда

проклятая. Видимо, совершенно одурев, он, брызгая водой и грязью, побежал прямо на меня и встал, почти упершись носом в мой нос (очень может быть, что глаза у меня были скошены, как у него). Мы в недоумении уставились друг на друга.

Помню, меня поразила мысль, что заяц, очевидно, думает то же самое, что и я: «Какая гора железа направлена сюда с единственной целью меня ухлопать». Эта же мысль мелькала и у меня, правда, с некоторым оттенком гордости — испытывал ли заяц гордость, сказать не могу.

Одна мина упала совсем рядом и совершенно завалила нас водой и грязью. Заяц, видимо решив, что это уж слишком, бросился по воде в сторону. Я подумал, что он, пожалуй, прав и это место лучше покинуть, потому что оно, видимо, противнику понравилось. Бежать было невозможно, я побрел. Обернувшись невзначай, я увидел, что заяц тоже бредет, но вприпрыжку, с трудом вытягивая ноги из грязи (думаю, зоологи никогда не видели зайца в таком виде). Я подмигнул ему, и мне показалось, что он улыбнулся. Больше мы не встречались.

* * *

Вряд ли стоит подробно, неделю за неделей, месяц за месяцем описывать события войны. Мне они интересны, потому что касаются меня. Исторической ценности они не имеют, не потому, что исторические ценности порождаются участием в событиях «великих людей», а потому, что они порождаются литературным талантом того, кто описывает. Толстой писал, что случай, когда нищий музыкант в швейцарском городе Люцерне в течение получаса играл слушавшим его богатым англичанам и не получил ни от кого из них ни гроша, — случай, достойный включения в перечень событий мировой истории. Поэтому величина события — производная от того, что произошло, способности наблюдателя осмыслить и передать это событие и культурного кода, которым пользуется получающий информацию. Поскольку я не обладаю необходимой способностью показать в событии его причастность истории, дальнейшие рассказы о войне можно закончить.

Писать о войне трудно. Потому что, что такое война, знают только те, кто никогда на ней не был. Так же, как описывать огромное пространство, у которого нет четких границ и нет внутреннего единства. Одна война зимой, другая — летом. Одна во время отступления, другая — во время обороны и наступления; одна днем, другая ночью. Одна в пехоте, другая в артиллерии, третья в авиации. Одна у солдата, другая у приехавшего на фронт журналиста.

Журналист может провести многие дни на войне, быть на передовой или в тылу противника, может проявлять большую смелость и жить *совсем как*, но все-таки у него совсем другая война. Потому что

в конечном счете он обязательно уходит. Он *временно* на фронте. Солдат на фронте постоянно. Я знаю по личному опыту войну в таких ее лицах: в 41-м и 42-м годах на Южном фронте, в 43-м на Южном и Юго-Западном, затем на Западном, а в период наступления — на Прибалтийском, в Польше и Германии. Сначала, самые первые дни, на Днестре, затем пешим ходом — наша батареяная полуторка сгорела в первые же недели войны, в дальнейшем мы периодически захватывали какие-то машины, но скоро их теряли. А кроме того, батарейный телефонист, а я был именно им, — всегда пешеход. Пока он разматывает или сматывает свою катушку, машины и трактора успевают уйти вперед в случае наступления или, что еще менее приятно, назад в случае драпа. Навалив на себя катушки и аппарат (в нашей практике, как правило, две катушки около 8-ми кг в каждой), телефонист идет пешком, догоняет своих, наконец, находит в том беспорядке, который образуется при ночном перемещении армии <...>.

Наш 437-й артиллерийский полк с командиром подполковником К. Дольстом считался ударным, пользовался по всему фронту славой, но для нас это оборачивалось тем, что нами все время затыкали дыры. Это приводило к постоянным перебрасываниям с места на место и даже с фронта на фронт, то есть к дополнительным тяготам.

Фронтная жизнь значительно облегчается, когда положение стабилизируется и быт принимает привычные формы. Конечно, и в этих условиях регулярно происходят бомбежки и обстрелы, и мы бегаем по линии, соединяя кабель, проваливаемся под лед и испытываем все прочие фронтные удовольствия. Но это все-таки регулярная жизнь: известно, где можно обогреться, когда подъедет кухня, если на огневой, или пойдет с термосом посланный на кухню и принесет хоть замерзший, но обед.

Совершенно иная жизнь при передвижении. Отступление и наступление имеют совершенно различные тяготы. Отступление несравнимо хуже наступления, но потери при этом несравнимо меньше. Вернее, они имеют иной характер. При отступлении может «потеряться» целая дивизия. Мы сами неоднократно терялись, то всем полком, то батареей, а то и в одиночку. Ночной драп мучителен без столкновений, беспорядком, неожиданными натыканиями на неприятеля, неожиданными потерями, непониманием, что надо делать и полным незнанием ситуации.

Наступление, как правило, проходит в обстановке меньшей беспорядочности, хотя и тут ее достаточно. Столкновения с неприятелем здесь, как правило, происходят днем. Но потери при наступлении значительно большие. Вообще, наступать мы не умели и так и не научились. В последние месяцы войны, когда, казалось бы, должно было быть легче (и немец был уже не тот, хотя авиация его продолжала господствовать в воздухе, но это была уже совсем не та авиа-

ция — три, девять самолетов), потери мы продолжали нести очень большие и, главное, «дуром».

Дольст был хороший артиллерист и предпочитал стрелять с огневых позиций, а не прямой наводкой.

Летом 1943 года на фронте среди командования вошло в обиход то, что можно назвать модой, — вытягивать тяжелые пушки на прямую наводку. Отчасти это было необходимо в случае, если приходилось прорываться через очень укрепленные, бронированные, многоэтажные немецкие линии обороны. Но в этой тенденции была и другая сторона: среди командующих дивизиями и армиями к этому времени все более развивалась погоня за орденами. А это требовало эффектных прорывов и совершенно чуждой для частей, переживших на своей шкуре большое отступление 41—42-го годов, тенденции не щадить людей. Ущерб быстро пополнялся новыми тыловыми частями, молодыми солдатами. Низкую подготовку наспех пополненных полков с успехом компенсировали количеством и огромными жертвами. Страшные потери часто были очевидно лишними и подсказаны были погоней за эффектными фразами в рапортах.

Именно таков был дух нашего нового командира бригады Пономаренко. Во время наступления он с начальником артиллерии армии и каким-то писателем, который, видимо, переживал восторг оттого, что испытывает опасности передовой, сидел в блиндаже. У него был немецкий графин для водки, где ко дну был приделан стеклянный петушок. Они выдумали игру: «топить петуха» (заливают бутылку водкой) — «спасать петуха» (выпивают эту водку). С утра пьяный, он звонил в те или иные наступающие части. В том красноречии, которое передать на бумаге затруднительно, но которое мне по телефону регулярно приходилось слышать (он даже привык узнавать меня по голосу), кричал спьяна: «Это ты, Лотман (называть фамилии было не положено), так-так-так! Скажи своим, — речь шла о начальнике штаба дивизиона Пастушенко, — чтобы они так-так-так высотку заняли так-так-так-так к следующему звонку (то есть к следующему «петушку»)». Или, разбрызгивая слюну, пьяным голосом: «Пастушенко, Пастушенко, поднимай дивизион в наступление, Одера больше не будет!» (Это многократно повторяемое выражение означало, что нельзя пропускать такую возможность получить Героя Советского Союза или, по крайней мере, хороший орден.)

Начальник штаба дивизиона, умный человек и хороший артиллерист, находившийся в районе, густо обстреливаемом минометами противника, отвечал: «Слушаюсь» — и клал трубку с хорошим матом и словами: «Сам полезь». А потом докладывал о том, что приступил к атаке, встретил сильный огонь противника, залег, а к вечеру сообщал: «Отступили на исходный рубеж, потери средние».

Читатель (если он когда-нибудь будет) может не понять ситуации: командир дивизиона понимал, что, потеряв своих прекрасно

обученных солдат ради орденов пьяного дурака, он обессилит батарею или дивизион. Им руководили вовсе не соображения гуманности или чего-то еще, о чем тогда не думали, а практический разум, который заставлял человека беречь свое оружие, поддерживать подразделение в боевой готовности, кормить своих солдат не из жалости, а чтобы они могли работать. Все эти оттенки чувств передаются средствами русского мата, который прекрасно выражает их и превосходно понимается слушателями.

Но были и такие командиры, которые по неопытности или из самолюбия и жажды наград действительно бросали свои подразделения в ненужные и безнадежные атаки. И тогда к формуле «отошли на исходные» — теперь уже реальной, прибавляли: «двадцать, тридцать и т. д. палочек упали» — так зашифровывались потери, потери людьми, которые были очень велики.

Кому-то из любителей орденов понравилась фраза, которую использовал — не помню, в какой газетке — лихой журналист. Происхождение ее таково. В уставных документах есть фраза: «Артиллерия преследует врага огнем и колесами». Как это часто бывает, риторика превратилась в правило поведения. Выражение понравилось. Конечно, артиллерия действительно преследует огнем и колесами, но это означает, что она имеет для каждого рода батарей свои формы не отрываться от пехоты. Например, для наших пушек это могла быть и прямая наводка, и стрельба на 15 км. Но для эффектного донесения, для того, чтобы изумить какого-либо заехавшего журналиста, а главное, чтобы получить награду, выгодно было представить это следующим образом: охваченные энтузиазмом артиллеристы рвутся в бой, колесами не отрываясь от передовых пехотинских частей. <...> Выгоняли пушки на расстояния, слишком для них близкие, практически лишая их эффективности (например, за время, которое требуется тяжелой артиллерии, чтобы сделать выстрел, танк может сделать их десяток). Поэтому непосредственная дуэль тяжелой батареи с выдвинутыми на нее танками обычно имеет один и тот же результат, который мы неоднократно испытывали на личном опыте: батарея успевает уничтожить один-два танка, но ценою утраты всех орудий и личного состава. Одним из результатов было то, что артиллерия, неся чудовищные потери, теряла квалифицированных, подготовленных солдат, второпях заполнялась молодыми, в результате терялся навык быстрой и точной работы и самого главного в артиллерии — слаженности всей батареи в некое единое живое существо. Качество артиллерии понижалось, потери росли, зато с каждым прорывом и продвижением вперед росло число генералов, получавших медали героев и ордена.

Из-за больших потерь происходило следующее: армия продвигалась, казалось бы, получала большой и, по сути дела, бесценный опыт и, следовательно, должна была повышать свои боевые качества, но в силу огромных потерь и пополнения совершенно неопытными

людьми, а также превратившейся к концу войны в настоящую болезнь погони за орденами, боевые качества частей и дисциплина в них понижались.

С наступлением стали развиваться совершенно неслыханные прежде грабежи, часто поощряемые штабными офицерами, которым было на чем перевозить награбленное. У нас тогда с отвратительным для нас шиком распространилось и даже сделалось модным употреблявшееся в немецкой армии выражение для обозначения грабежа «организовать»; например, «организовать себе радиоприемник», «организовать новые сапоги». С переходом на территорию Германии эти выражения вошли в моду и означали войти в дом и забрать себе те или иные вещи. С полной ответственностью могу сказать, что в нашем полку этого не было.

Между тем это была тоже выдумка какого-то из тыловых политиканов — грабежи были негласным образом узаконены. Не успели мы перейти границу Германии, как нам сообщили, что мы имеем право отправлять посылки домой. Были введены нормы (количественные) для рядовых и сержантов (кажется, 6 килограмм, но не помню, на какой срок), а высокие чины быстро перестали стесняться всякими нормами. Могу сознаться, что — не помню, на какой станции, — мы захватили немецкий эшелон с продуктами и я послал домой в послеблокадный Ленинград положенные мне 6 килограмм сахарного песка. Это был мой единственный «трофей» (слово это стало общим термином для называния присвоенного имущества). Мои друзья посылали домой захваченные на складах сахар или какие-либо другие продукты, то есть то, что действительно можно было назвать военным трофеем.

В повальных грабежах мы не только не участвовали, но и открыто выражали к ним отвращение. Зато у нас была другая метода: после стрельбы на батарее остаются пустые медные гильзы (для наших снарядов это были большие, в половину человеческого роста металлические стаканы). Их надо было отправлять в тыл. Наши ребята забивали их трофейными продуктами или же барахлом из магазинов, и мне неоднократно приходилось слышать: «Пускай наши бабы порадуются, а то голыми ходят». Но при всех смягчающих обстоятельствах возможность грабежа, как бы его ни называли, действовала на армию разлагающе. Потом, когда фронтовая армия превратилась в оккупационную, грабежи не уменьшились, а скорее наоборот. Фронтные солдаты демобилизовались, и части пополнялись совсем молодыми деревенскими парнями, которые совершенно шалели от возможностей, которые открывало перед ними, привыкшими к голоду и нищете, бесконтрольное положение оккупанта.

Однако воистину рыба тухнет с головы. То, что мог награбить (а теперь это уже было не присвоение сахарных мешков из немецких армейских запасов, а имущество гражданских людей), присвоить себе

какой-нибудь солдат, совершенно несопоставимо было с возможностями генералов, которые пользовались ими достаточно широко. Не в оправдание могу сказать, что американская армия, с которой мы контактировали потом очень много, грабила не меньше, но с большим пониманием и разбором. Для нас было диковинкой все, они умели выбирать действительно ценное.

Наш полк (преобразованный сначала в гвардейский, а затем многократно награждавшийся различными боевыми орденами и превращенный в бригаду, сохранив почти до самого конца войны свой дух и основной костяк командиров) закончил войну за два дня до того, как она кончилась официально, на Одере, встретившись с американцами. Мы вышли с двух сторон на берег. Посередине реки на длинном острове скопились эсесовские части, которые предпочли сдаться американцам и до самой последней минуты отбивали атаки с нашей стороны.

Наступил вечер, и мы вдруг неожиданно поняли, что война кончилась. Это было странно — более точного слова найти не могу. Наверно, так себя чувствует младенец, когда он родился: привычной ситуации нет, а что делать — он не знает.

Выпить с американцами нам тогда не удалось — это случилось на несколько дней позже. Мы где-то достали очень слабого, кислого домашнего яблочного вина и на безлюдном и уже совершенно безопасном берегу в темноте его пили. И тут случилось нечто странное.

Общее настроение все эти годы, как я говорил, было бодрым. Бывала усталость, проклятья, иногда энергию и силу приходилось поддерживать длинной и изощренной матерщиной (очень помогает). Вообще — никакой идиллии. Но это было нечто совсем иное по сравнению с тем, что случилось с нами сразу же после окончания войны. Стало почему-то очень грустно.

В ряде фильмов, изображавших конец войны, на экране всегда появлялись кадры торжественной встречи фронтовиков с вынесшими все тяготы их девушками и семьями. Но между окончанием войны и даже первыми незначительными демобилизациями прошли месяцы. Это были самые тяжелые месяцы.

Мы стояли в чем-то вроде негустого лесочка. Нас не допекали занятия (обычная мука солдата не в боевых условиях), мы были свободны. Мы даже могли, когда хотели, пойти в ближайшую немецкую деревню или в очень милый близлежащий городок. Но вдруг, и казалось без видимой причины, нас охватила гнетущая смертная тоска — не скука, а именно тоска. Мы пили по-мертвому и не пьянели. Приходилось вспоминать и давать себе отчет в том, что в эти годы старательно забывалось.

В соседнем полку был скучноватый пожилой человек из запасников, выполнявший отнюдь не уважаемую нами роль какого-то мелкого политработника. Он был немножко пьян. Подсел ко мне и ры-

дая (до этого между нами не было никакой близости) и утирая локтем сопли, заговорил со мной на «ты». Начал рассказывать, что у них сожгли деревню, что дети у тетки, а где жена, он до сих пор не знает. А мне и самому было что вспомнить, хотя я этого ему не рассказывал (это было запрятано слишком глубоко).

Дело было в станице Орхонка на Кубани. В период, когда в срок втором году Южный фронт подкатился непосредственно к Орджоникидзе — тогда еще не Владикавказу, — наш полк непосредственно прикрывал выход к городу. Если бы здесь не удалось задерживать танковые колонны, к обеду Орджоникидзе пал бы. Накануне нас срочно сняли из-под Моздока. Мы развернули связь и батареи только успели немного окопаться, как с первым утренним светом с немецкой стороны началась ураганная стрельба.

Для меня лично события разворачивались естественным образом: связь была перебита. Я побежал по линии (проклятая судьба связи — когда все поглубже затираются в ровики, он бежит по линии и связывает перебитые провода). Наш провод был переправлен через Орхонку — приток Терека, в том месте, где обычно бабы брали воду. Подбежав к Орхонке, я увидел то, что с тех пор сопровождает меня всю жизнь: женщина рано утром, конечно, не зная, что за ночь фронт, который накануне был в 30-ти километрах, если не больше, подошел и вышел прямо на улицы, пошла за водой к реке, взяв с собой мальчика лет трех-четырех. Разорвавшийся снаряд пробил ей висок, она лежала, я и сейчас это вижу, раскинув ноги в задранной юбке, с небольшим расплывающимся красным пятном у виска. А рядом мальчик, ничего не понявший, тянул ее за руку. До сих пор для меня не решен вопрос, правильно ли я поступил: я думаю об этом постоянно и часто вижу эту сцену. У меня была перебита линия, и это означало, что батарея парализована. По интенсивности немецкого обстрела было ясно, что через несколько минут начнется массовая танковая атака, а батарея будет молчать. Мне надо было соединить провода, и я побежал по линии дальше. В ту минуту у меня не было даже никакого сомнения в том, что я должен делать.

Потом линию еще несколько раз перебивало осколками и я, подключая проверочный телефон, бежал то в ту, то в другую сторону, для того чтобы устранять новые повреждения. Когда артобстрел кончился и немецкие танки, не прорвавшись, откатились обратно, я побрел по линии назад к себе, совсем забыв про этот эпизод. Вдруг около нашего провода, в том самом месте, где я его завязал, я увидел лужу крови (потом мне женщины говорили, что они утащили ребенка в дом, а мать была, конечно, убита на месте). Не могу не сознаться, что тогда это не произвело на меня особенного впечатления. Как сказал М. М. Сперанский Г. С. Батенькову: «На погосте живучи, всех не оплачешь». Но вот в первую же пьяную ночь после окончания войны я все это увидел вновь. Это и многое другое. Не случайно мы пили

вмертвую и было немало самоубийств. Их официально списывали по формуле «в пьяном виде», как позже списали самоубийство А. Фадеева. Но причина, конечно, была в другом. Пришло время расплачиваться за долги. Так же, как оно позже пришло и к Фадееву. (Замечу в скобках, что не могу не уважать Фадеева за то, что он оказался честным должником. А я нет.)

Пребывание в армии обрыдло до невыносимости, а демобилизация все еще была в каком-то далеком будущем. Желавшие поддерживать дисциплину командиры уверяли, что нас совсем не демобилизуют, а переправят в Китай. Мы пили мертвую чашу.

Но выход неожиданно подвернулся. В нашем полку был лейтенант Толя Томашевич. Он был сын известной в московских интеллигентских кругах дамы, которая была вторым браком замужем за одним из наиболее высокопоставленных генералов, профессором Артиллерийской академии, дворянином, перешедшим в Красную Армию еще в гражданскую войну. Сейчас он был в полуопальном положении уважаемого, но устраненного от непосредственного командования офицера. Его пасынок Толя по совершенно пустяковой истории (будучи студентом перед войной, он издавал рукописную газетку под названием «Уря!») попал в лагерь. Когда началась война, отчим-генерал, учитель ряда молодых маршалов, сумел вытащить своего пасынка из лагеря и отправить его на фронт.

На фронте умный, смелый и чрезвычайно художественно одаренный Толя быстро дослужился до лейтенанта, нахватал орденов, а когда кончилась война, решил организовать фронтовой театр. Пользуясь поддержкой некоторых генералов, он получил разрешение и собрал вокруг себя человек пятьдесят очень талантливых ребят.

Армия — как Ноев ковчег. В ней всякой твари по паре. Нашелся превосходный скрипач, несколько профессиональных аккордеонистов, замечательный жонглер. Его коронным номером было ходить по канату, держа на носу тяжелый стол; канат был натянут так, чтобы проходил над первым рядом, где сидел генералитет и штаб, и шик был в том, что он все время как бы ронял тяжелый стол с двумя тумбами и потом возвращал его в исходное положение. Как-то раз, когда он блестяще проделал свой номер и, наконец, опустив стол, раскланивался, комбриг вскочил в бешенстве и закричал: «Пять суток ареста!»

В этом доморощенном театре я исполнял роль художника — писал декорации. Когда мы ставили какие-то сцены из античного театра и в глубине были установлены изготовленные мною декорации, изображающие античных богинь, то начальник политотдела, думая, что это мы выгребли из запасов немецкого театра в подвале, сказал: «А эту немецкую <...> — убрать немедленно». А когда я доложил, что это не немецкое, а я вчера рисовал, он, приоткрыв рот, сказал: «Эты рисовал — ну, даешь!»

Так мы создавали очаг искусства в несколько необычной ситуации. Были и накладки. Толя картинно изображал заикание, и это был его коронный номер. Однажды он не учел, что аудитория в госпитале, куда нас привезли, — контуженные, из которых многие заикались. После блестяще проведенного номера его чуть не побили и ему пришлось прятаться.

Несмотря на все эти «веселости», переживания были очень тяжелые — мы все рвались домой и вместе с тем понимали, что мы отвыкли от той жизни, которая нас ждет, не имеем никакой профессии и едем в неизвестность.

Опасения наши, к сожалению, во многих случаях оправдались. Среди нас был ростовский парень — прирожденный артист, с великолепной трагической мимикой и каким-то от Бога данным артистическим жестом. Еще в армии он пристрастился пить эфир и вскоре после демобилизации, как нам писали, умер.

Наконец, пришла и демобилизация.

По пути я встретился с сыном дворничихи нашего дома. Он попал в плен, но, по счастью, когда фронт развалился, из пленных был призван в армию (это бывало очень редко, как правило, их ссылали сразу в лагерь) и демобилизовался как солдат. Мы приехали в Ленинград глубокой ночью, вагон остановили где-то на запасном пути, нас никто не встречал. Домой я не сообщал точного дня, потому что даты возвращения указать было невозможно, а волновать даром не хотел. Мы остановили первую же машину — это оказалась «скорая помощь». Деньги у нас были, и шофер за небольшую сумму согласился развезти нас, после того как отвезет больного. Так в середине ночи я приехал домой. Дома все спали — меня не ждали. На другой день я поехал в университет.

Я восстановился в университете и с какой-то жадностью алкоголика принялся за работу. Из университета я бежал в Публичку и сидел там до самого закрытия. Это было совершенно ошутимое чувство счастья. Надо было определять семинар. Общим кумиром студентов был Г. А. Гуковский. Я продемонстрировал самостоятельность и не пошел к Гуковскому. А записался к тогда еще числившемуся среди молодых профессоров и не пользовавшемуся такой популярностью Н. И. Мордовченко. Но у Мордовченко, который занимался Белинским, я взял тему по Карамзину — то есть по теме Гуковского, не думая, что это кого-либо заденет. Но Гуковский, видимо, обиделся.

Ничего не переживал я в жизни увлекательнее, чем эта тогдашняя работа над статьей «Карамзин в “Вестнике Европы”». Мне очень жаль, что работа так и не была полностью напечатана и значительная часть ее потом потерялась. Карамзин декларировал, что «Вестник Европы» будет журналом полностью переводным, публикующим информацию о новейших событиях в Европе. Источники он указывал очень глухо или не указывал их вообще. Я занимался поис-

ками источников. Было совершенно не сравнимым ни с чем наслаждением сидеть в пустой комнате Публичной библиотеки, где стояли французские журналы, и рыться в них, пока не начнут выгонять (т. е. пока библиотека не закроется вечером. — Б. Е.). Скоро обнаружилось, что Карамзин очень неточно указывал свои источники и фактически публиковал не переводы, а очень тенденциозные пересказы, делавшиеся с отчетливой ориентацией на события русской жизни. Например, мне удалось доказать, что Карамзин откликнулся на гибель Радищева, замаскировав этот отклик под перевод с французского.

Эта оставшаяся неопубликованной статья — до сих пор у меня самая любимая.

Целые дни я проводил между полок фонда Публичной библиотеки. А между тем события развивались быстро и очень грозно. Началась кампания по борьбе с космополитизмом. Она подкралась для меня как-то незаметно. Сначала были нападки на Эйхенбаума. Но серьезность их как-то не доходила до моего сознания. Тем более что накануне был университетский юбилей, на котором Эйхенбаум получил орден. После первых статей в газетах, воспринимавшихся мной как нелепица, к которой не стоит серьезно относиться, я повторял себе слова из «Макбета»: «Земля, как и вода, содержит газы, и это были пузыри земли». И мне казалось, что лично ко мне это никакого отношения не имеет и все «пузыри» исчезнут так же, как появились.

Однажды, зайдя к Мордовченко (каждое посещение для меня было событием, и, прежде чем звонить в дверь, я долго стоял на лестнице и волновался), я застал его испуганно-встревоженным. Понижая голос, хотя разговор шел в его квартире, он сказал мне, что в Москве арестован еврейский антифашистский комитет. Я совершенно не понял, почему он так взволнован, мало ли кого тогда арестовывали. В дальнейшем события разворачивались очень быстро по заранее подготовленной программе.

А я все бегал в библиотеку и в архив. Когда события непосредственно вошли в университетские стены и начались разгромные заседания и проработки Эйхенбаума, Гуковского, Жирмунского и других профессоров, я долго не мог понять, в чем дело (во время проведения кампании из Пушкинского Дома в университет был прислан для «подкрепления» Бабкин, корректор, ставший профессором).

Подробности разгрома университета и Пушкинского Дома достаточно хорошо изложены в материалах, собранных К. Азадовским и изданных в соавторстве с Б. Ф. Егоровым [О низкопоклонстве и космополитизме: 1948—1949 («Звезда», 1989, № 6. С. 157—176). — *Примеч. ред.*]. Поэтому буду касаться только того, что задевало лично меня.

Пришло время распределения. Проходило оно так: комиссия собиралась в Главном здании ночью (начинали работать обычно в 12-м

часу). До этого мы стояли в коридоре и ожидали. Потом отворялась дверь (в ритуал входило, чтобы зала заседаний была густо накурена, поэтому, когда отворялась дверь, оттуда валил дым, как из ада). Там сидел Бердников, Федя Абрамов (до этого он был партийный деятель и громила первый номер, потом — известный писатель¹¹⁸) и весь состав партбюро. Меня вызвали, я зашел, на меня посмотрели, хотя они меня знали и я их знал как облупленных, и сказали: «Выйдите, обождите, еще рано» (зачем они меня вызвали, я так и не понял). Был проделан обряд, напоминающий когда-то выдуманный Николаем I, когда приговоренных поляков прогоняли сквозь строй в определенном порядке, так что глава восстания проходил последним и до этого должен был видеть, как забивали до смерти всех его соратников. Наша процедура была менее торжественной, но в ней были свои «пригорки и ручейки». Ленинградских девочек из комнатных семей без каких-либо возражений направляли в сибирские деревни или на Дальний Восток. На все это я должен был, ожидая свою очередь, смотреть. Наконец, вызвали меня, посмотрели и почему-то заговорили со мной в третьем лице: «Он пусть придет в другой раз». Кончилось дело тем, что через несколько дней меня вызвали к Бердникову и он сообщил, что мне дают возможность открытого распределения. Когда я спросил Бердникова, где моя характеристика, выданная в бригаде при демобилизации¹¹⁹, он, посмотрев мне своими ясными глазами в глаза, сказал отчетливо: «Она потерялась». Это была та цена, которую с меня взяли за открытое распределение.

Начался длительный период поисков работы. Протекал он по вполне стереотипному сценарию. Утром я отправлялся в одно из тех мест, где, как накануне я выяснил, есть вакантное место (как правило, это была школа). Директор принимал меня очень ласково, говорил, что место есть и просил на следующий день принести заявление и заполнить анкету. Как ни странно, еще в 50-м году я сохранял то качество, которое в зависимости от ориентации можно назвать и наивностью, и глупостью. Смысл заполнения анкеты для меня, весь жизненный опыт которого был связан с войной, был совершенно неясен. Когда мой приятель, веселый циник Димка Молдавский (до войны мы с ним были на одном курсе, но он страдал пороком сердца и на фронт не попал; к этому времени он был уже аспирантом при Наумове и занимался Маяковским) при первой же встрече спросил меня: «Ты кем

¹¹⁸ Когда ему нужно было сдавать кандидатский минимум по Радищеву, он меня позвал для консультации. Он поразил меня тем, что при этом он все время курил, а окурки приклеивал слюной к стене и все повторял: «Да ты мне лишнего не говори».

¹¹⁹ Характеристика была написана дивизионным писарем, который до этого был солдатом в моем взводе и хорошо ко мне относился, командир дивизиона ее подписал, но, конечно, все хвалебные эпитеты принадлежали писарю; получалось, что я чуть ли не единолично победил фашистского зверя в его собственном логове.

вернулся?» — я не понял вопроса. «Ну с каким пятым параграфом, балда?» — мать Димки была русской, и по паспорту он был записан русским. После объяснения я решительно возмущился и послал его довольно далеко. Сама постановка вопроса мне казалась дикой.

Мое образование в этом вопросе завершил А. В. Западов — человек умный, насмешливый и цинический. Когда мы с ним однажды столкнулись на филфаке, я ему пожаловался на то, что места как бы есть, но все время повторяется одна и та же странная процедура: сначала подробная и многообещающая беседа, затем просьба заполнить анкету, предложение зайти через пару дней, а после этого какой-то странный взгляд в сторону и одна и та же формула: «Знаете, к сожалению, это место у нас вчера отняли». Западов посмотрел на меня, как на идиота. Я давно не видел такого изумленного лица. «Не знаете, в чем дело?» — спросил он меня. — «Не знаю». — «Знаете, сходите в зоомузей, им нужен человек с филологическим образованием, поговорите». Я отправился туда. Зайдя в кабинет к заместителю директора, толстому пожилому еврею, я сказал, что меня прислал Западов. Человек посмотрел на меня с нескрываемым возмущением: «Зачем он вас прислал? Я же ему объяснял, что у нас уже работают два еврея. Больше я взять не могу». Я повернулся и ушел. Через пару дней я встретился на улице с Западковым. «Поняли?» — «Понял», — сказал я. — «Ну что ж, — сказал он, — дурень умом богатеет».

Однако запас послевоенного оптимизма (может быть, глупости?) был во мне настолько велик, что настроение у меня в этот момент было боевое и веселое. Я продолжал писать диссертацию (я написал большую статью о Пнине, которая нигде не была опубликована, хотя, как мне казалось, она имела смысл).

Кроме того, у меня завязались несколько неопределенные отношения с Зарой Григорьевной. Познакомились мы еще в бытность мою на четвертом курсе. Я в эту пору регулярно прирабатывал тем, что писал большие портреты вождей по клеточкам. То, что получалось, только отдаленно напоминало образцы, с которых я срисовывал (особенно вначале). Но это и не требовалось. Заказчики — как правило, это были майоры или подполковники, руководившие военными клубами, — следили только за тем, чтобы все ордена были тщательно выписаны и, убедившись, что по этой части все в порядке, решали, что можно вешать.

Между прочим, искусство писать портреты по клеточкам я освоил, еще работая в нашем армейском клубе. Для того, чтобы представить, что такое сходство с военной точки зрения, расскажу следующий эпизод. После конца войны наша бригада стояла в Потсдаме. Желая уклониться от надоевшей до невозможности строевой подготовки и совершенно бессмысленных после окончания войны тренировок в развертывании огневых позиций, я, как уже говорилось, устроился художником в клуб. Моим напарником был мой близкий друг

Хачик Галюмерян — действительно талантливый художник и очень славный парень. С ним мы и освоили искусство рисования портретов по клеточкам.

Однажды нам сообщили, что в клубе будет собрание, на котором выступит кандидат в Верховный Совет от группы оккупационных войск, и что это — Абакумов. Имя это, пугавшее тогда даже самых смелых людей, мне ничего не сказало. В повести Тынянова есть фраза, объясняющая, почему приговоренного к сечению поручика не ведут на эшафот, ставя вместо него пустые козлы: «Преступник секретный, тела не имеет». Абакумов был отчасти секретным начальником. На обязательных по ритуалу плакатах с портретом и биографией кандидатов была какая-то совершенно непонятная мутная клякса. С нее следовало скопировать портрет в три метра высотой. Даже ордена нельзя было разобрать, но они были перечислены в печатной биографии. Мы разбили эту кляксу на квадратики и нарисовали что-то абсолютно невозможное.

По тогдашней простоте нравов в клуб, в котором Абакумов должен был выступить перед избирателями, нас беспрепятственно пропустили на наши обычные места (за мной числилось еще и освещение зала). Когда Абакумов вышел на трибуну, мы с Хачиком переглянулись и чуть не упали. Ничего даже отдаленно похожего на нашу кляксу перед нами не было. Однако при нашей тогдашней бесшабашности, это нас не испугало, а только рассмешило. Хачик, со своим легким армянским акцентом, который он в комические моменты усиливал, сказал мне: «Ничего, я сейчас подойду к нему и скажу — товарищ Абакумов, дай я тебе сейчас морду на квадратики разобью — мы живо срисуем».

Однажды ко мне после лекции подошли Зара Григорьевна с Викой Каменской, и Зара Григорьевна предложила мне для приближающейся научной конференции, посвященной Маяковскому, оформить зал, нарисовав, в частности, его портрет. Я сэкономил все время для научных занятий, которым предавался со страстью алкоголика, тянувшегося к бутылке. Участвовать в подобных мероприятиях отнюдь не входило в мои планы. Сильно заикаясь (работая артиллеристом на телефоне, я выработал правильное дыхание и почти не заикался, но, оказавшись после демобилизации «на гражданке», я вдруг обнаружил, что в разговоре с девушками или незнакомыми людьми заикаюсь так сильно, как никогда доселе; на заседании кружка я однажды должен был прервать доклад и уйти со сцены), я объяснил Заре Григорьевне, что рисую только за деньги. Ее комсомольский энтузиазм был ошарашен таким цинизмом, и она отошла от меня со слезами на глазах, громко произнеся: «Сволочь усатая!» Это было наше первое объяснение.

Следующий наш контакт был еще менее удачным. На студенческой научной конференции, посвященной Белинскому, Зара Григорьевна, с присущей ей тогда кавалерийской дерзостью, решила сде-

лать доклад на тему «Белинский и романтизм». Доклад вышел неудачный, практически провалился. Марк Качурин со свойственной ему проницательностью мягко указал на то, что саму концепцию романтизма докладчица извлекла не из материала, а из распространенных штампов. Столь же принципиально, со всегдашней для него тактичностью, высказался Н. И. Мордовченко. Меня же черт понес выступить в качестве защитника, и я, сильно заикаясь, произнес несколько либеральных фраз о том, что, с одной стороны, конечно, так, а с другой стороны, нельзя не оценить... Докладчица мужественно перенесла всю критику. Но моей защиты перенести не могла и убежала в женскую уборную, куда за ней торжественно воспрошествовали все девушки. Конечно, тактичность требовала, чтобы я просто удалился. Но я решил, что моя должность мужчины требует утешить, то есть самое худшее, что я мог придумать. Я дождался, пока Зара Григорьевна и другие дамы покинули убежище, и навязался провожать их до дому. (Эпизод этот мы позже вспоминали как критерий полного идиотизма, он стал одной из наших семейных легенд.)

В дальнейшем отношения наши исправились, и накануне ее госэкзамена я был приглашен как консультант, который должен был за ночь «накачать» Зару, Вику и Люду Лакаеву сведениями по XVIII—XIX векам (они были поклонницами Д. Е. Максимова, занимались Блоком и кроме Блока ничего знать не считали достойным, зато Блока знали в совершенстве).

До своей поездки в Тарту я исходил ногами не только огромные пространства Союза, но и пересек Польшу, Германию и Прибалтику. Однако ощущение границы для солдата совершенно иное, чем для штатского человека. Как сказал в одном месте Лев Толстой, солдат, даже если он пересечет весь мир, все время находится в одном полковом пространстве: все тот же фельдфебель, все та же батальонная собачка, все те же обязанности и интересы. Даже когда в различных перипетиях, в многочисленных отступлениях и окружениях приходилось иногда оставаться одному и сотни километров следовать в одиночестве в поисках своего полка, образ полка постоянно присутствовал и был как бы тем стеклом, сквозь которое просматривался весь остальной мир: направление, задачи, характер действий — все было предрешиено. И если приходилось проявлять большую концентрацию индивидуальной воли, то направлена она была на то, чтобы опять влиться в это пространство.

Теперь создалась принципиально иная обстановка. Необходимо было самому решать свою судьбу. Мы ушли в армию мальчишками, вернулись взрослыми мужчинами. Мы научились ответственности. В определенных стереотипных обстоятельствах мы безошибочно знали, что нам следует делать, чтобы быть честными людьми. Но теперь мы оказались в совершенно других обстоятельствах, для которых у нас не было выработано никаких стереотипов. Мы привыкли быть взрослыми и принимать самые ответственные решения, а вме-

сте с тем мы обладали опытом детей и к нестандартным ситуациям были совершенно не готовы.

А обстоятельства бросили нас в политическую ситуацию второй половины сороковых годов, категорически требовавшей выбора поведения и индивидуальной ответственности. Одна из особенностей была в том, что когда ледоход времени раскалывался и разносил льдины, то очень часто на разных льдинах оказывались люди, все еще не забывшие совсем недавних фронтовых связей.

Нечто аналогичное отразилось на моих отношениях с Георгием Петровичем Бердниковым. Однокурсник моей сестры Лиды, Макогоненко, Кукулевича, Бердников в студенческие годы находился почти в нищете. Он наверняка не смог бы удержаться на студенческой скамье, если бы не Г. А. Гуковский. Гуковский заметил способного и зажатого нищетой и политическими трудностями студента и по законам, обязательным для старой профессуры, приложил все силы, чтобы помочь ему. Он оказывал Бердникову материальную помощь и помог ему превратить курсовую работу в статью и опубликовать ее в студенческом томе «Ученых записок» факультета.

На новый 40-й год Лидина группа традиционно собралась в нашей огромной квартире, и я, как это часто бывало, терся среди студентов. Я помню, как, когда часы пробили двенадцать, Бердников поднялся с бокалом в руках¹²⁰ и произнес: «Ребята! Мы же люди сороковых годов! Выпьем за сороковые годы!» И все дружно выпили. Действительно, начались сороковые годы.

После войны, в университете, я снова встретился с Бердниковым. Я восстановился на втором курсе, он — в аспирантуре. Мы оба ходили в гимнастерках, только на его погонах были капитанские звездочки. На войне он служил в штабе пехотного полка, и думаю, что воевал хорошо. Это, а также его частые бывания у нас дома, его женитьба на Тане Вановской, прелестной, милой девушке, подруге и однокурснице Лиды (к которой я, помню, был равнодушен), придавали некоторый оттенок нашим отношениям даже тогда, когда он начал свой головокружительный карьерный путь <...>. Могу, стараясь сохранить объективность, сказать, что Бердников был не глуп, жесток только в той мере, в какой это было необходимо ему для карьеры (в этой ситуации он был беспощаден), уничтожал людей по холодному расчету, но без удовольствия — а это, знаете, очень много. При первой возможности старался хоть чуть-чуть отмыть свои руки. Так, например, сделавшись потом директором театрального института (не имея ровно никакого отношения ни к театру, ни к научному направлению института, но обладая статусом, при котором он мог быть директором не важно уже чего), он постарался вернуть на работу кое-кого из выгнанных в эпоху борьбы с космополитизмом, например Я. С. Би-

¹²⁰ Бокалы были наши семейные, старинные, но что пили из них — представления не имею, помню только, что шампанского, конечно, не было.

линкиса, и даже прослыл в ленинградских театральнo-гуманитарных кругах прогрессистом. На самом деле он был умный, абсолютно беспринципный человек, который ясно понимал, что весь идеологический шабаш продлится недолго и те, кто сейчас так быстро по чужим костям взмывают вверх, так же быстро свалятся вниз. Интуиция его не обманула. Для себя он хотел другой судьбы и добился ее, и, сделавши несколько очень крутых поворотов, благополучно дожил свой век.

Передо мной были две возможности: продолжать искать работу в Ленинграде, стучаться в закрытые для меня двери или плюнуть и, сбросив со стола карты, начать какую-то совершенно другую игру. Я и выбрал второе. На одном курсе со мной училась милая ленинградская девушка Оля Зайчикова. Отношения наши заключались в том, что мы иногда болтали, встретившись в библиотеке или в коридорах филфака. Ее жених погиб на войне, отношения наши были милые, но довольно далекие. Однажды встретившись с Олей, мы заговорили о наших делах, и она, узнав, что я долго и безуспешно ишу работу, что мне это в высшей мере обрыдло, что я хочу плюнуть и уехать куда-нибудь из Ленинграда (я тогда видел перед собой деревенскую школу и заранее собирал побольше книг, которые можно было увезти), предложила мне позвонить в Тарту, в тот же учительский институт, куда была назначена она и где, как она знала, было незанятое место по русской литературе. Я позвонил директору института Тарнику. Он, выслушав все мои анкетные данные, сказал, что я могу приехать.

Одевшись в слегка перешитый отцовский черный костюм, единственный мой «праздничный», я поехал в Тарту, где остался на всю остальную жизнь.

Незнание языка и обстановки, а также бессовестная глупость, которая сопровождает меня на всем протяжении жизни, помешали мне увидеть трагичность той обстановки, в которую мы попали. Я искренне воспринял ситуацию как идиллию: работа со студентами доставляла огромное удовольствие, хорошая библиотека позволяла энергично продвигать вперед главы диссертации, в основном уже написанной, дружба с кругом молодых литературоведов, в эту пору обитавших в Тарту, — все это создавало у меня ощущение непрерывного счастья. Четыре-шесть часов лекций в день не утомляли, а неожиданно сделанное открытие, что по ходу чтения лекции я способен прийти к принципиально новым идеям и что к концу занятий у меня складывались интересные и неизвестные мне вначале концепции, буквально окрыляло.

Диссертация была фактически написана еще в студенческие годы, и сразу после окончания университета я подал ее на защиту (это, кажется, было воспринято как нахальство, но, честное слово, это была просто наивность). Оппонентами были П. Н. Берков и А. В. Предтеченский. К моменту защиты кандидатской у меня уже практически была готова докторская.

На это время приходится важные события моей жизни. Я перешел на работу в университет (количество студентов росло и появилось добавочное вакантное место; ректор Ф. Клемент предложил мне его). И я женился. Зара Григорьевна переехала в Тарту (мне пришлось при этом преодолеть ее отчаянное сопротивление: она не хотела бросать свою школу и собиралась, как я ей ехидно говорил, «строить социализм в одном отдельно взятом классе»).

Оформление наших отношений было совершенно в духе комсомольского максимализма Зары Григорьевны. Мы отправились в ЗАГС «оформлять наши отношения». Ни я, ни Зара Григорьевна не рассчитывали, что там придется снять пальто. Но на мне все-таки был «лекционный» костюм (на семейном языке называвшийся «дым и мрак» — левый рукав его был закапан стеарином, потому что по вечерам выключали свет и работать приходилось при свечке). Праздничных платьев у Зары Григорьевны не было вообще (мещанство!). А было нечто «исполняющее обязанности», перешитое из платья тети Мани — женщины вдвое выше и полнее Зары Григорьевны.

Мы пришли в ЗАГС. «Пришли» — это не то слово: я буквально втащил отчаянно сопротивлявшуюся Зару Григорьевну, которая говорила, что, во-первых, она не собирается переезжать в Тарту и бросать своих школьников Волховстроя, во-вторых, что семейная жизнь вообще мещанство (подруга Зары Григорьевны Люда резюмировала эти речи язвительной формулой «Личное — взад, общественное — вперед!»). В ЗАГСе нас ожидал исключительно милый эстонец, занимавший эту должность при всех сменявшихся режимах и, как большинство интеллигентов того возраста и той поры, очень хорошо говоривший по-русски. Прежде всего он поразил нас решительным ударом, предложив снять пальто. На Зару Григорьевну неожиданно напал приступ смеха (отнюдь не истерического, ей действительно была очень смешна эта «мещанская» процедура). Заведующий ЗАГСа печально посмотрел на нас и с глубоким пониманием произнес: «Да, в первый раз это действительно смешно!»

После этого мы устроили брачный пир, пригласив Шаныгина, работавшего в университете на кафедре доцентом, в комнате которого я прожил несколько месяцев, пока не получил небольшое отдельное помещение¹²¹. Он состоял из двух стаканов кофе на каждого и целого блюда булочек со взбитыми сливками — *vastla kuklid*.

¹²¹ Шаныгин был убежденный холостяк. Мы никогда не убрали — пол был по шиколотку засыпан мусором. Он обзванивал знакомых дам, произнося при этом всегда один и тот же текст: «Юленька! (или Танечка, Сашенька и проч.) Я не спал три ночи (он отличался завидным сном и ужасно храпел). Я раскрыл перед собой свою душу и понял: нет-нет, я вас не достоин. Вы — чистая и святая!» После этого в трубке раздавалась либо готовность пасть с вершин святости, либо возвести и его на них, но он продолжал: «Вы не знаете всей меры моей испорченности. Прощайте — навек».

Меня поселили в комнате в «уплотненной» квартире директора продуктового магазина — исключительно милого человека. Эстонец, он был женат на латышке и дома разговаривал по-русски. Жена его была настоящая дама, никогда не работала и вела образ жизни самый светский. Квартиру она содержала в идеальном порядке и каждый день вытирала пыль белой тряпкой. Наша комната, заваленная книгами и отнюдь не сверкавшая аккуратностью, вызывала у нее брезгливое отвращение. Но хуже стало, когда у нас родился сын, а затем появилась нянька Степанида¹²² из-под Пскова, которая немедленно развела таких больших и страшных тараканов, каких я ни до, ни после никогда в жизни не видал.

Перед нами закрыли двери кухни, и нам пришлось готовить уже на четверых, включая грудного младенца, на керосинке в коридоре. При этом Степанида неизменно засыпала, предварительно уничтожив все запасы съестного, а керосинка постепенно начинала коптить. Когда мы прибегали с лекции, войти уже было невозможно. Миша сидел почти как негритенок, Степанида спала¹²³, а соседка лежала в обмороке.

Но жили мы очень весело: много работали, много писали и постоянно встречались в небольшом, но очень тесном и очень дружелюбном кругу. Я полностью перешел в университет, Зара Григорьевна работала в учительском институте.

В это время в Тарту приехал Б. Ф. Егоров. Жену его Соню — химика — ректор Клемент пригласил в Тарту. Борис Федорович учился на пятом курсе авиатехнического института, но на пороге окончания, предвещавшего ему хорошо обеспеченное будущее, что было совсем не пустяками в это время, имел смелость резко переменить направление своей жизни, заочно окончить ЛГУ по кафедре фольклора, прибыть в Тарту аспирантом-фольклористом герценовского института и, быстро защитив диссертацию, сделаться членом кафедры литературы. Когда Б. В. Правдин ушел на пенсию, Егоров принял кафедру. Он перевел в Тарту на открывшуюся после ареста Адамса вакансию своего друга — молодого, исключительно талантливого Я. С. Билинкиса.

В Тарту сложилась небольшая, но интенсивно работавшая и постоянно обменивавшаяся дискуссиями на теоретические и историко-литературные темы группа. Мы очень часто собирались и часами спорили. Особенно острыми были дискуссии между мной и Билинкисом. Меня, получившего со студенческих лет закалку формалиста, привлекали структурные идеи. Борис Федорович тоже к ним тя-

¹²² Анахронизм — Степанида Тимофеевна была гораздо позже; как звали эту няньку, я не помню. (Примеч. М. Ю. Лотмана.)

¹²³ По словам родителей, просыпаясь, нянька бросалась на керосинку с неизменной формулой: «Холера — здынулась!» (Примеч. М. Ю. Лотмана.)

готел. Зато со стороны Билинкиса они вызывали резкое неприятие: он называл их дегуманизацией гуманитарных знаний и защищал принципиальный интуитивизм. Исключительно талантливый лектор, он хотел бы и в науку внести вкусовую импровизацию.

В целом мы жили в напряженной и исключительно привлекательной атмосфере. Если же вырывались в Ленинград или в Москву, то только для того, чтобы по уши влезть в архивы.

* * *

В доме, в котором мы жили (я, Зара Григорьевна и дети), по тогдашней тартуской манере двери никогда не запирались. В Тарту тогда это не было исключением. Войдя с улицы через крошечную прихожую, можно было пройти прямо в самую большую из наших комнат, в которой помещалась столовая, приемная для гостей и мой кабинет.

Утром одного из воскресений, когда я, Зара Григорьевна и дети сидели за завтраком, кто-то энергичными шагами вошел с лестницы и кулаком постучал в дверь. В дверях стоял высокий человек с энергией в лице и фигуре, которая выражала полную готовность вступить в драку.

Нас осаждали заочники. Провалившись на экзамене, они часто не уезжали, потому что командировочные им оплачивали только при условии полной успеваемости. Я решил, что это очередной двоечник, который будет сейчас доказывать, что тройку он заслужил. Однако ситуация оказалась иной.

Вошедший представился. Это оказался в ту пору только что прогремевший своей первой повестью «Один день Ивана Денисовича» Солженицын. Не помню, как он представился, но и из слов, и из жестов вытекало, что он приехал бить мне морду. Для того, чтобы объяснить ситуацию, придется немножко вернуться назад.

В это время наши старшие курсы были достаточно сильными. Зара Григорьевна увлеченно пользовалась несколько расширившимися возможностями вносить в программу новации. Курс советской литературы быстро делался интересным. «Лауреатов» удалось потеснить и за их счет частично ввести эмигрантскую литературу и репрессированных писателей. Все это было совершенно ново. Ни в Ленинграде, ни в Москве ничего подобного не было.

Так, на кафедре образовалась небольшая группа студентов, активно под руководством Зары Григорьевны изучавших творчество Булгакова. Один из них, подававший большие надежды парень, из местных русских, очень способный молодой человек, но с детства алкоголик и kleptomан (что нам было неизвестно), был участником этих занятий. С рекомендацией Зары Григорьевны и моей, он был гостеприимно принят Еленой Сергеевной Булгаковой и допущен к чтению по машинописной копии еще не опубликованного тогда рома-

на «Мастер и Маргарита». Через некоторое время он стал появляться на кафедре с машинописью этого романа (это был не первый экземпляр, но с карандашной авторской правкой). Он заверил, что получил эту рукопись легальным путем от Елены Сергеевны.

Дальше разыгралась совершенно булгаковская история. Елена Сергеевна взволнованно сообщила нам, что экземпляр «Мастера и Маргариты» выкраден и что она крайне тревожится, поскольку ведет переговоры с Симоновым о публикации (переговоры довольно безнадежные и затянувшиеся, но не прекращавшиеся), и что если рукопись ускользнет за границу и там будет опубликована, то это навсегда (тогда казалось, что навсегда) закроет возможность издания ее в СССР.

Я поехал к упомянутому студенту домой — он жил на самом краю Тарту в плотном, совершенно купеческом доме, построенном, вероятно, в 10-е годы, с богатым фруктовым садом и высоким забором с запиравшейся калиткой. Первое, что мне бросилось в глаза — на полках большое количество пропавших у меня книг. Я повел себя несколько театрально, в духе маркиза Позы, о чем сейчас, может быть, стыдно сказать, но из песни слова не выкинешь. Я сделал театральный жест и произнес голосом шиллеровского героя: «Вам нужны эти книги? Я Вам их дарю!» (конечно, надо было себя вести проще, но тогда я себя повел так, видимо, именно эта театральность произвела некоторый эффект). После этого я повернулся и опять-таки голосом маркиза Позы сказал, кажется, что-то в таком духе: что если в его душе есть остатки чести, он должен до вечера принести мне рукопись Булгакова, что шаришь у него и делать обыск я не собираюсь. После этого я ушел.

Похититель, которого я ждал дома, не появлялся. Ночью (Зара Григорьевна и дети уже спали) я сидел у настольной лампы в темной комнате и ждал. Где-то около двух часов на лестнице раздались шаги. Через незапертую дверь просунулась рука и на стол в прихожей упало письмо (в моем архиве это письмо должно быть). После этого шаги удалились, и дверь захлопнулась.

Письмо было совершенно ужасное. Такое письмо могла бы написать смесь Свидригайлова с Мармеладовым. Оно было покаянное, с отвратительными подробностями, с каким-то добавлением юродства, совершенно в духе Достоевского. Письмо сообщало, что рукопись уже отправлена Елене Сергеевне (деталь: бандероль он отправил незаказную, хотя тогда разница в стоимости исчислялась ничтожными копейками, зато незаказные часто терялись).

Эпизод этот закрыл его герою до этого бесспорно ему принадлежавшее место в аспирантуре. По распределению он ушел в пригородную школу недалеко от своего дома, а вскоре спился и умер. А, кстати, очень красивый был парень.

И вот эта история получила неожиданное продолжение. Я уже знал от Елены Сергеевны, что вопрос исчерпан (ее задело, что отправлено было простой почтой, а мне, как невольному соучастнику

всей этой грязной истории, потом было тяжело с ней встречаться, хотя никаких упреков или обвинений с ее стороны я никогда не слышал). Но оказалось, что Елена Сергеевна некоторое время не знала, что рукопись отправлена к ней. И именно в это «некоторое время» я и услышал в воскресенье энергичный стук в нашу дверь. К счастью, в первых же словах я мог успокоить Солженицына известием, что рукопись уже отправлена Елене Сергеевне, и если еще не пришла, то должна прийти сегодня-завтра.

Разговор сразу принял другое направление. Я не помню, о чем мы говорили, но в центре, видимо, был «Один день Ивана Денисовича» и вопрос о возможности устройства в эстонскую обсерваторию или физический институт блестящего астронома NN, который после лагеря хотел эмпирически проверить теоретические расчеты о выделении элементов воздуха (или каких-то газов?) на Луне и о возможности каких-то форм простейшей жизни — он тогда был без работы. Расстались мы уже совершенно спокойно, и в тот же день я зашел к нему в гостиницу и мы довольно долго ходили по Тарту. Позже мы обменялись несколькими письмами. К сожалению, больше встреч у нас не было.

* * *

В конце 60-х годов в Тарту часто приезжала Наталья Горбаневская с сыном (он ровесник Леше). Мы с нею уже были знакомы, и мне нравились очень ее стихи, и между нею и нашим домом установились очень близкие отношения. Летом она жила у нас на даче и в Тарту у моей племянницы Наташи. В своем стиле она держалась подчеркнуто бесстрашно. Делала на квартире встречи конспиративного характера, хотя конспирацией этого назвать было нельзя — она ее в корне презирала. За нами уже очень следили, она это знала и сознательно этим бравировала.

В результате мы прожили очень бурное и бурно-веселое лето. Осенью Горбаневская принесла мне целую пачку каких-то листов и сдала на хранение. У меня в кабинете была высокая печка: я на нее все и положил. Грешный человек, я до сих пор не знаю, что там было, поскольку в чужих бумагах рыться не люблю. Не помню, через сколько недель (Горбаневская уже уехала в Москву) рано утром позвонили, я открыл двери, и в квартиру, не представляясь и не спрашивая разрешения, вошло человек двенадцать¹²⁴. Некоторых из них я знал. Один

¹²⁴ Число участников обыска и их грубость несколько преувеличены. Хотя я сам в это время не был в Тарту, сужу по свежим рассказам. Формула, с которой они вошли к нам, стала в нашей семье крылатой: «С Новым годом, Юрий Михайлович, с новым счастьем. Вы меня, наверное, не помните: я — К., работник прокуратуры. Вот, пришли к вам с обыском». Дело происходило в начале января 1970 года. (Примеч. М. Ю. Лотмана.)

был муж моей ученицы, известный пьяница, — потом он специально заходил, извинялся передо мной и расписывал, как ему было стыдно принимать участие в обыске. При этом от него пахло водкой, а она, как известно, пробуждает совесть¹²⁵. Но, видно, дело было не только в водке. Некоторое время спустя он ушел из прокуратуры и перешел на гораздо менее престижную должность юрисконсульта.

Вошедшие начали деловито обыскивать квартиру. Их было очень много, и они наполнили все комнаты. Комнат было три. Первая — самая большая — была наполнена моей библиотекой. Библиотека захватила также и вторую комнату, которая была нашей спальней и кабинетом Зары Григорьевны. А третья была детская. Между прочим в детской на столе лежал свежий продукт романтических игр Алеши, которому было лет десять, и его приятеля, сына рижского профессора Сидякова (он в это время жил у нас постоянно). Юра Сидяков, зачитывавшийся в эту пору рыцарскими романами и Дюма, организовал «Общество физического уничтожения князей зла и врагов рыцарства». Вскоре один из гостей с торжеством принес мне бумагу и препротивным голосом потребовал, чтобы я объяснил, кто организовал общество, кто в него входит и какие цели общество преследует. Кстати, вид бумаги был настолько очевидно детским, а среди гостей все-таки оказались несколько не лишенных элементарной сообразительности людей, что бумагу не включили в протокол и в дальнейшем в деле она не фигурировала.

Между тем гости занялись исключительно кропотливым и совершенно неперспективным трудом. Они начали вытаскивать книгу за книгой и листать, что, очевидно, вскоре им надоело. Я чувствовал себя погано, поскольку напряженно ожидал, когда же они доберутся до рукописей Горбаневской.

Что же касается Зары Григорьевны, то она, сидя за столом в этой наполненной неприятными гостями комнате, спокойно читала корректуры. Она была действительно поразительно смелый человек, я за всю жизнь не видел ее испуганной.

Уже темнело. Зара Григорьевна, которая демонстративно, даже гораздо более аккуратно, чем обычно, поддерживала обычную семейную жизнь, дала мне и детям ужин. Кагэбешники смотрели голодными глазами, как мы посреди их толпы закусываем. Может быть, это сыграло решающую роль в том, что, когда необысканной осталась

¹²⁵ Есть такая народная черта: негодай, а как напьется, придет каяться. Так было и с С. — напьется и придет: «Юрка, я — негодай, я — мерзавец, я — стукач. Но на тебя (на «ты» он обращался ко мне тоже только спьяну) я никогда не стучал». Когда КГБ не смогло на кафедре никого нанять, С. взял на себя эту функцию, и это была с его стороны жертва. Но и кафедре, и лично мне он помогал. Однажды, когда нас очень грызли, он мне сказал: «Решения разогнать не было».

одна только печка, на которой лежал архив Горбаневской, начальник, пробурчав что-то не очень печатное, что можно передать формулой «ничего нет», предложил мне подписать протокол, что я сделал только после того, как они согласились вписать фразу, что ничего запретного обнаружено не было, и представить полный список изъятых бумаг (изъяты были пишущая машинка и машинописи уже опубликованных статей по семиотике)¹²⁶.

Недосмотренные шкафы они запечатали, шкафы простояли в запечатанном виде потом около месяца, после чего зашел господин и, выразившись самой красноречивой лексикой, просто снял печати, так и не открыв тех шкафов. Вообще общее впечатление было, что им это занятие ужасно надоело, ситуация стала типично российской, когда позже зашел муж моей ученицы и извинялся до тех пор, пока не надоел мне, а в конце предложил выпить.

Позже я узнал, что ректору и по своим каналам они доложили о совсем не столь благоприятных результатах и даже включили формулу, что при обыске были изъяты документы, имеющие антисоветский характер. Это имело то последствие, что по делу Горбаневской обо мне было вынесено особое постановление, которое не влекло «дела», но и не означало оправдания. Этот хвост за мной тянулся еще очень долго и, в частности, послужил основанием тому, что длительное время мне не разрешали заграничных поездок даже тогда, когда все эти основания и все эти запреты перестали активно выполняться.

Бумаги я позже сжег, о чем и сказал Горбаневской, но это не вызвало у нее никакого интереса, поскольку и сами эти бумаги никакого особого криминала в нормальной ситуации не представляли. Литература эта называлась запрещенной, и литературу полагалось рассредотачивать по нескольким безопасным точкам у сочувствующих. Я думаю, в ее романтическом подсознании это выглядело так, что она создала такое запасное хранилище литературы.

¹²⁶ В действительности здесь была еще пара сюжетов. Во-первых, кроме бумаг Горбаневской были и «свои» — «Доктор Живаго», «Четвертая проза», стихи Бродского и проч. (в Москве на это могли бы посмотреть сквозь пальцы, но в провинции считалось большим криминалом). Во время обыска отец спокойно вынул их из разных мест, положил в портфель и ушел «на работу». Во-вторых, кроме Н. Горбаневской у нас — на второй квартире, где после смерти маминой тети жила моя двоюродная сестра Наташа, — часто жил Г. Суперфин, и какие-то свои бумаги то ли оставил, то ли забыл там. Обыск проводился на обеих квартирах одновременно, но на второй гебисты вели себя гораздо более нагло. От тщательности же обыска я сужу по такой детали. Когда я приблизительно через неделю зашел в совершенно разгромленную вторую квартиру, то подобрал первую же попавшуюся бумажку — это была машинописная копия секретного приложения к договору Молотова—Риббентропа (до сих пор храню эту бумагу). (Примеч. М. Ю. Лотмана.)

* * *

Когда мы приехали в Тарту, «Ученые записки» почти не выходили. Единственный филологический номер содержал только одну, чисто вкусовую статью Адамса о Гоголе. Проведенный в 1958 году в Москве первый в СССР конгресс славистов сделался предлогом, благодаря которому мы получили согласие Клемента на издание целого тома трудов. Это был первый выпуск «Трудов по русской и славянской филологии» — так мы назвали новую серию. Одновременно мне удалось пробить выход монографии, посвященной жизни и творчеству А. С. Кайсарова. Этот труд отнял у меня много времени и сил, но, вернее сказать, не отнял, а подарил мне очень много действительно счастливых минут. Так начались тартуские издания по славистике.

Издание первого тома записок было мотивировано конгрессом славистики, однако в дальнейшем (и тут следует сказать спасибо ректору Клементу) нам удалось *de facto* завоевать себе право на ежегодное издание целого тома «Трудов по русской и славянской филологии», причем в значительно расширенном объеме. А через некоторое время мы добились разрешения на основание еще одной самостоятельной серии — серии семиотических трудов, которые сделались одним из основных дел нашей — Егорова, Зары Григорьевны и моей — жизни...

Слово «семиотика» почему-то дразнило наших московских оппонентов — нападки на это направление велись с двух сторон: с одной нас обвиняли в деполитизации науки, а с другой — в ее дегуманизации, причем оппоненты часто соединяли свои фронты и в статьях одних и тех же авторов можно было прочитать, что «тартуская школа дегуманизирует литературоведение и обрекает его на безыдейность». Центрами «гуманизма» были ИМЛИ и советский отдел Пушкинского Дома.

Мы действовали по крыловскому принципу «полают и отстанут». За всю свою научную деятельность, написав и опубликовав несколько сотен работ, я ни разу не отвечал ни на одну из полемических нападок. Это делалось не из «высокомерия», в чем меня неоднократно обвиняли оппоненты, а из-за того, что всегда приходилось экономить время и бумагу.

Зара Григорьевна, Борис Федорович и я договорились о таком принципе: на каждый выпуск смотреть как на последний. Действительно, мы всегда исходили из возможности полного разгрома и ликвидации издания. От этого, с одной стороны, — напряженная интенсивность работы, с другой, — иногда нарушение стройности композиции: в статью приходилось вставлять то, что в более спокойных условиях можно было бы превратить в отдельную публикацию.

Научное творчество в эти годы развивалось исключительно быстро, особенно в Москве и Ленинграде. В Москве вокруг Вяч. Вс. Ива-

нова возник целый круг молодых и исключительно талантливых ученых. Это был какой-то взрыв, сопоставимый лишь с такими культурными вспышками, как Ренессанс или XVIII век. Причем эпицентром взрыва была не русская культура, а индология, востоковедение вообще, культура средних веков. Необходимо было научное объединение, но это было нелегко. Тартуский и московский центры шли из разных точек и в значительной мере разными путями. Московский в основном базировался на опыте лингвистических исследований и изучении архаических форм культуры. Более того, если фольклор и такие виды литературы, как детектив, то есть жанры, ориентированные на традицию, на замкнутые языки, считались естественным полигоном семиотики, то возможность применения семиотических методов для сложных незамкнутых систем, типа современного искусства, вообще подвергалась сомнению.

На первой «летней школе» на эту тему произошла очень острая дискуссия между мной и И. И. Ревзиным (употребляя слово «острая», я хочу сказать о напряжении в отстаивании научных принципов, которое, однако, не только не препятствовало сразу же сложившимся между нами отношениям чрезвычайной теплоты и уважения, но как бы подразумевало такой фон). Ревзин, гениальный лингвист (я без всяких колебаний употребляю эту оценку), слишком рано умер, именно в тот момент, когда он находился на пороге принципиально новых семиотических идей. Но в первой «летней школе» он решительно отстаивал неприложимость семиотических методов к индивидуальному творчеству, ограничивая их пределами фольклора. Идея о неразрывной связи, которая существует между семиотическими методами и замкнуто-традиционными структурами, в дальнейшем наиболее последовательно развивалась А. К. Жолковским и Ю. К. Щегловым, обусловив их интерес к детективу как к структуре, в которой законы языка значительно доминировали над текстами. В дальнейшем, правда, и эти исследователи сконцентрировали свое внимание на творчестве Ильфа и Петрова, а затем, еще более расширив текстовое пространство, переместили значительную часть своих интересов в область нарушения правил. Однако вначале их интересы были именно в этой сфере.

Непосредственное столкновение разных школ и, более того, разных ученых, отличавшихся индивидуальными научными особенностями, областями научного опыта, большей или меньшей ориентацией на традицию или личностное искусство, оказалось исключительно плодотворным, и дальнейшее развитие семиотических исследований многим обязано этому счастливому сочетанию.

Включение, начиная с третьей «летней школы», в тартускую группу Б. М. Гаспарова еще более обогатило общее движение, поскольку принцип разнообразия в единстве получил новое и яркое подтверждение.

Я уже сказал, что на каждый новый том и на каждую «летнюю школу» мы смотрели как на последнюю. Это не риторическая фигура. Научное движение совершалось на фоне обстановки, к которой вполне были применимы слова Пастернака:

А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно — что жилы отворить.

На этом фоне складывались две культурные ориентации. Одна, представленная Б. М. Гаспаровым, как бы продолжала установку Пастернака — замкнутость, стремление «не открывать окна». Философия «башни из слоновой кости» была для Б. М. Гаспарова принципиальной (что, кстати, резко противоречило его таланту превосходного лектора, любящего и умеющего овладевать аудиторией). Что же касается З.Г. Минц, Б. Ф. Егорова и меня, то мы стали принципиальными «просветителями», стремились «сеять разумное, доброе, вечное».

Змея растет, сбрасывая кожу. Это точное символическое выражение научного прогресса. Для того, чтобы остаться верным себе, процесс культурного развития должен вовремя резко перемениться. Старая кожа делается тесной и уже не защищает, а тормозит рост. На протяжении научной жизни мне вместе с тартуской школой пришлось несколько раз сбрасывать старую кожу. Самый близкий пример — это трудности ее теперешнего состояния, когда почти весь состав переменялся, пополнившись новым поколением. А старое поколение заметно сходит со сцены. Как бы ни были грустны отдельные моменты этого процесса, он не только неизбежен, но и необходим. Более того, он был как бы заранее запрограммирован нами. Остается лишь надеяться, что, сбросивши кожу, змея, меняя окраску и увеличиваясь в росте, сохранит единство самой себя.

2. «ПРОСМАТРИВАЯ ЖИЗНЬ С ЕЕ НАЧАЛА...»¹²⁷

Этот вольный опыт автобиографии Ю. М. Лотмана был импровизационно сделан зимой 1989 года для радиостанции Би-би-си. К сожалению, передача тогда так и не прозвучала в эфире. Ученый не писал мемуаров, а это делает публикуемое воспоминание о дотартуском периоде его биографии особенно ценным.

Просматривая свою жизнь с ее начала, как я ее помню, я, естественно, задаю себе вопрос, интересно ли кому-нибудь то, что интересно мне. Я — историк и много работал с мемуарной литературой. Мемуарная литература бывает двух родов и представляет два разных интереса. Некоторые мемуары рассказывают о людях, с которыми произошло что-то необычное, и сами эти люди чем-нибудь выделялись. Но интересны и другие мемуары — о людях, которые пережили то, что переживали все вокруг, ничем особенным не отличались и вспоминали, желая рассказать не о своем уме или о своей работе, а просто желая бесхитростно вспоминать, потому что вспоминать приятно. Я отношусь ко второму роду. Я никогда не был — ни психологически, ни реально — человеком необычной судьбы. Моя жизнь — средняя жизнь. Говорю это без кавычек и с глубоким убеждением. Речь идет не о научном мышлении, а о простой человеческой голове. Я никогда не был особенно хитер. И никогда не понимал того, чего не понимали люди, жившие вокруг меня. Мои взгляды менялись, и я никогда не имел удовольствия сказать десять или пятнадцать лет спустя: «О да, я это давно предвидел!» Поэтому я постараюсь рассказать, как я помню, и, хотя это обещать невозможно, не вносить своих сегодняшних чувств и переживаний, а вспоминать, что чувствовалось, переживалось и виделось мне тогда. А поскольку я живу уже долго и видел много того, что видели люди, жившие вокруг меня, но уже в большинстве своем умершие и, как правило, так и не успевшие ничего сказать, я считаю, что то, что я буду говорить, — это и моя обязанность перед их памятью. Хотя как историк я знаю, что прошлое никогда ничему никого не учит, и в этом смысле никаких иллюзий или претензий у меня нет.

Я родился в Петрограде в семье интеллигентных родителей. Отец мой был талантливым и известным в Петрограде, а потом в Ленинграде, адвокатом, но в самом конце 20-х годов, убедившись, что он не может защитить своих подзащитных (дело шло о людях, которых

¹²⁷ Впервые опубликовано в «Независимой газете» от 11 ноября 1993 г.

выселяли из Ленинграда), он навсегда отказался от частной практики и потом служил юрисконсультom в ленинградском издательстве. Это сразу снизило финансовый уровень семьи. Жили мы, в общем, по тогдашним представлениям очень средне. Мать была врачом. Семья для меня до сих пор, хотя я довольно рано был вынужден ее покинуть, занимает исключительно важное место в жизни. Кроме отца (его образ был исключительно важен) и матери, для меня огромную роль сыграли мои три сестры, все старше меня. Помню, когда мы с сестрами летом жили на даче, то у нас бывали большие трудности с едой. Мы жили очень дружно, очень небогато, но было весело. Может быть, мне было веселее, чем другим, потому что я был младше и ни за что не отвечал. А вот, например, средняя сестра, Лидия, выдав себя за немку и для солидности переодеваясь в старинное мамино платье, начала преподавать немецкий в очень обеспеченной семье военного инженера. Домой она приносила подававшиеся там к чаю пироги — это тоже было весело. У нас была хорошая семья и хорошее детство, как я считаю. Правда, мои сестры видели и другую сторону — такой беспечности, как у меня, у них не было.

Мое второе впечатление — школа. Я пошел прямо во второй класс, в первом классе не был — болел. Отношения со школой были разные. Первые классы я провел в бывшей немецкой *Peterschule*; эту школу я потом и кончил, только она перестала быть *Peterschule*, а стала трудовой школой, сначала восьмилеткой, потом — девятилеткой, а кончил я уже десятилетку. Это была очень хорошая школа при церкви св. Петра — старая, с прекрасным помещением. Боже, какие там были классы, какие коридоры! И как интересно было, когда в кружке юннатов или в каком-нибудь другом мы задерживались до глубокой ночи, бегать по этим коридорам. В школе была исключительная библиотека, оставшаяся от старых времен, были книги и на греческом языке, которые манили, хотя были недоступны. Вот там я впервые прочел Геродота по-русски в четвертом-пятом классах... Мы очень быстро выросли. Я вспоминаю, что в это время мы уже были совершенно взрослыми, или нам так казалось. По крайней мере, мы торопились.

Школьные отношения не были бесконфликтными, но девятый и десятый классы оставили исключительно светлые воспоминания. Скажу об одном. Наш школьный учитель, математик Дмитрий Иванович Жуков, держался ровно, хотя минимум у трети класса родители были расстреляны. Никакого оттенка различного отношения. Софочка Люстерник, потерявшая обоих родителей, окончила отлично, — она погибла в блокаду. Мой лучший друг — Боря Лахман, у него расстреляли отца, его не взяли в армию, когда взяли меня, но через год он погиб на Ленинградском фронте... Все очень путалось: в это самое время Борька был влюблен. Все сплеталось гораздо сложнее, чем нам сейчас кажется. Мы были молоды... Учителей я вспоминаю с необычайной благодарностью. И до сих пор я люблю свой класс, хотя его почти не осталось — блокада и война унесли почти всех.

Жизнь имела и другую сторону. Этот период для нас начался очень ясно и четко: я помню, как рано утром — был декабрь, темно — мы пошли в школу и увидели траурные флаги. Перед входом в школу стояла толпа. Мы гадали, что же случилось? Самым старым был Калинин — может быть, с Калининым что-нибудь? Нет, убили Кирова. Вот это была для ленинградцев черта. Мы всей школой пошли во дворец, где были похороны, прошли мимо гроба. Атмосфера в Ленинграде сразу очень изменилась. После этого начался другой период, и в детстве была проведена полоса. И теперь, глядя назад, я понимаю, что очень многое из того трагического для всех людей, что пришлось пережить, началось, видимо, с этого зимнего утра.

Целой эпохой нашей жизни была война в Испании. Революция в Испании переживалась как наш собственный фронт. Мы с Борькой задумали бежать в Испанию и даже сделали попытку, но ленинградский порт охранялся очень бдительно, и нас быстро сцапали, очень ясно объяснив, куда мы можем поехать вместо Испании, и мы вернулись несколько пристыженные. Об этом случае я никому не рассказывал — кажется, сейчас впервые о нем говорю.

Мы, в общем, знали, что будет война, и относились к этому — судите нас, называйте нас дураками, но так было, и я предупредил, что ничего придумывать не буду, — и относились к этому так. Мы знали, что это будет очень тяжело, очень опасно, но мы ждали мировой революции, мы к этому готовились. Это было для нас очень важно и интересно. Когда у Борьки арестовали родителей, отца расстреляли, мать и сестру выслали, мы с ним шли по набережной Невы и говорили о том, что скорее бы началась война: тогда весь этот бред, вся эта страшная чепуха кончатся, а война кончится мировой революцией — это было совершенно очевидно. При этом я должен сказать: я никогда не был комсомольцем. Меня, особенно в молодости (от этого потом отучила хорошая военная школа), всегда отталкивало от толпы. Хотя я был активным: был редактором школьной газеты, и меня за это очень часто били — у нас в классе была настоящая шпана, с которой наша газета вела «высокопринципиальную борьбу». Писали, может быть, в шутку, а дрались всерьез. Около школы мы дрались всегда, и я очень часто приходил домой в рваном пальто и с несколько странно разрисованной физиономией, но ничего, конечно, родителям не говорил, а отвечал всегда одно: споткнулся, упал.

Мы ждали исторических событий. Чувство, что мы живем в эпоху историческую, у нас присутствовало у всех. Конечно, делалось все страшнее. Очень страшными были тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой годы. Почему-то в Ленинграде, когда шли повальные аресты, стало плохо с электричеством — говорили о вредителях. В плохо освещенных комнатах, когда нельзя было читать, когда отец, который никогда не жаловался, приходил с работы с совершенно перевернутым лицом, жизнь делалась все страшнее и тяжелее. Но при этом мы же были гегельянцами, мы знали, что исто-

рия идет совершенно нехоженными дорогами и что «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Мы чувствовали себя — я и мои друзья, которых, к сожалению, уже почти никого не осталось в живых, — зрителями высоких зрелищ.

А затем для меня произошло счастливое событие: я кончил школу. Я кое-как кончил отличником по доброте своих учителей — иначе я этого объяснить не могу, потому что школа была трудная. Кончив отличником, я поступил в университет без экзаменов. Следующий этап — университет.

В выборе специальности я колебался. Я с ранних лет имел две склонности, но доминировала симпатия к биологии. Я собирался быть биологом и занимался этим вполне серьезно. Потом я познакомился с приятелем однокурсника моей сестры Толи Кукулевича — Александром Сергеевичем Данилевским, который был потомком Пушкина. Он был биолог, энтомолог, потом стал академиком, сейчас, к сожалению, его уже нет в живых. Это был замечательный человек. В общем, мне тогда все казались замечательными, но это был действительно замечательный человек и оказал на меня сильное влияние, отчасти укрепив меня в желании заниматься энтомологией. Я брал у него книги, но одновременно Толя Кукулевич начал со мной заниматься греческим языком. Он был исключительно обаятельный человек, блестяще учился на русском отделении, но одновременно и на классическом, потом погиб во время войны. К концу девятого класса я уже знал, что буду филологом. Я подал заявление на филологическое отделение — и заболел тяжелой простудой, воспалением легких. Проболея все лето и не поступил бы, если бы не был отличником — отличники шли без экзаменов. Итак, 1 сентября 1939 года я стал студентом Ленинградского университета.

* * *

Год и два месяца в университете — после этого меня взяли в армию, а потом и на фронт — были, бесспорно, самыми счастливыми в моей жизни. Ленинградский тридцатых годов университетский филфак, недавно организованный, был, конечно, уникальным явлением в мировой культуре. Такого университетского состава я не знаю ни в одном университете мира. Будет ли такое когда-нибудь еще — сказать трудно. Достаточно перечислить имена: На первом курсе я делал свой первый доклад по фольклору в семинаре Проппа. Пропп вел у нас семинары, а лекции читал Азадовский. Пропп был допущен пока только к семинарам. Уже если на одной только кафедре фольклора были Азадовский и Пропп — это может быть показателем уровня. А на кафедре литературы были Гуковский, Эйхенбаум, Томашевский, Гиппиус, Долинин, Максимов — десятки блистательных ученых, и среди них многие, сыгравшие определяющую роль в нашей науке. Каждая лекция была настоящим событием. Прекрасные лек-

торы, новые идеи. Пропускать лекцию было стыдно и страшно, на лекцию мы ходили, как ходят на давно ожидаемое событие. Ленинградский университет отличался от Московского. В Москве литературоведение всегда было несколько запущено. Там была мирового уровня лингвистика. В Ленинграде лингвистика была гораздо хуже, как мне кажется. И более того, я с сожалением говорю, что в эти годы я недооценивал лингвистику. Но все, что касалось литературы, культуры, ее теории, воспринималось как счастливое событие.

В университете — до последней лекции, затем в буфете очень быстро и коротко перекусить, потому что времени нет, затем — в Публичную библиотеку до ее закрытия. Публичная библиотека тогда тоже была другой. Сейчас туда не то что студентов, даже аспирантов стараются не допустить, а тогда для студентов был специальный зал. И Публичная библиотека, и университет отличались одной особенностью: они были наполнены людьми, которые были счастливы, если к ним обращаются и они могут помочь. Это были высокоинтеллектуальные люди. Эта атмосфера совместной работы и высокого благожелательства, с которым относились к нам старшие коллеги (мы уже чувствовали себя коллегами) — к нам, студентам первого курса, — это было замечательно, это создавало, бесспорно, фон жизни. К любому профессору — Гуковскому или Мордовченко — можно было подойти, и он, конечно, никуда не торопился и был рад выслушать. Точно так же и в библиотеке. Может быть, это чуть-чуть идеализировано. Очень может быть, но я говорю о том, как мне теперь кажется.

Университет был временем очень напряженным. После того как из библиотеки нас гнали, я приходил домой — я не жил никогда в общежитии, это было для меня большой удачей, потому что у меня было свое место для работы, — и, конечно, всю ночь я занимался. Мы привыкли спать 3—4 часа. Это было нормально. И этот темп я выдерживал долго. Только уже совсем в недавние годы мне это стало не под силу. Мы все время работали, потому что денег ни у кого не было. Обычно филологи шли на разгрузку в порт, но у меня была другая профессия — я рисовал. Я рисовал плакаты, я рисовал стенгазеты, я рисовал портреты Сталина. Первые портреты были ужасны, и за них, может быть, могли бы и посадить. Но я очень скоро понял психологию моих заказчиков. Они смотрят на мундиры, особенно это было после войны. На лицо вождя не смотрел никто. А на мундиры, если они в порядке и ордена повешены правильно (после войны я уже в этом не путался), — все полковники ахали, до чего это было похоже. Это был постоянный источник заработка. Были и другие. Как-то один человек защищал диссертацию про дефективных детей, и ему понадобилось несколько тысяч иллюстраций (он сам был немножко похож на своих подопечных, не тем будь помянут) — он изрезал пару десятков книг, учебников и расклеил на листочки. Но делать это надо было в четырех экземплярах. Это была очень хорошая работа, я быстро освоил технику...

Итак, приходилось работать, и на погрузку я с ребятами ходил в порт — это тоже была хорошая работа, а еще была бесплатная работа. Студенты были шефами и должны были читать лекции. Мы это делали очень охотно. Ну, вот по Пушкину — тогда Пушкин был очень в моде. Мы очень любили, когда нас посылали на шоколадную фабрику. С собой ничего нельзя было выносить, но читали мы лекции в обеденный перерыв, и перед нами ставили чай и большую тарелку самых дорогих конфет. Аудитория наша тоже сидела и пила чай с конфетами и совершенно не слушала Пушкина. Так проходило 45 минут, и, как говорилось в детской литературе той поры, усталые, но довольные мы возвращались домой.

Эти первые университетские годы много дали мне. Особенно большим событием был для меня годовой экзамен у профессора Г. А. Гуковского. Этот экзамен был особого рода. Григорий Александрович вел у нас введение в литературоведение. Кстати, тут проявлялся особый университетский принцип: не было не важных предметов. Никому не пришло бы в голову, что первокурсникам введение будет читать какой-нибудь второстепенный преподаватель. Все предметы читались преподавателями высшего класса, и читались всерьез. Лекции Г. А. Гуковского и экзамен у него были событиями настолько значительными, что они заслуживают некоторого специального воспоминания.

Вас. Вас. Гиппиус, один из замечательных профессоров этой поры, человек красивый и исключительно одаренный, был вместе с тем человеком высокого гражданского мужества, которое потом проявилось во время войны; в частности, как рассказывал мне Григорий Абрамович Бялый, в момент, когда казалось, что Ленинград будет через несколько дней, а может быть, и часов занят немецкой армией, Василий Васильевич, очень сдержанный всегда человек, подошел к нему и сказал: «Г. А. ! Имейте в виду, что если немцы войдут в город, то мой дом — всегда для вас». Погиб Гиппиус очень трагически. Он с женой выходил «ледяным путем» из блокадного Ленинграда и не дошел. Видимо, погиб на дороге. Я это знаю по чужим рассказам.

Г. А. Гуковский был не только крупный, я был сказал — великий ученый, но и замечательный лектор. В университете тогдашнем ученых было очень много. Стиль лекций у каждого был свой. Как нам тогда казалось, стиль лекций Г. А. старым профессорами не очень нравился — Томашевскому, Эйхенбауму. Они находили его очень картинным. Г. А. читал великолепно. Он никогда не читал по листочкам и по бумажкам, он всегда на лекциях импровизировал, и поэтому его статьи и книги не отражают, наверное, и половины того очарования и той педагогической стимулирующей силы, которую имели его лекции. Мы оказывались в центре живого научного самозарождения. Великолепно читал стихи, всегда по памяти. Рассказывали, что когда-то, в 20-е годы, в кругу молодых профессоров была та-

кая игра, затеянная Тыняновым: кто больше стихов знает наизусть? Гуковский всегда занимал первое место, хотя и Тынянов в этом смысле был отнюдь не последним. Он говорил исключительно живо, интересно и, что очень важно, творчески. Но элемент артистизма в его лекциях был. Он не мог окончить лекции без взрыва аплодисментов. Каждая лекция — а лекции читались в большом филологическом зале, который всегда был полным, — каждая лекция кончалась взрывом аплодисментов. Если кто-то шел по коридору и откуда-то неслись аплодисменты, то это означало, что у Г. А. кончилась лекция. Должен сказать, что многие профессора, мной и тогда, и сейчас любимые, относились к этому иронически. Это казалось слишком театральным. Но нужно сказать, что у этого были две стороны: определенная часть студентов, особенно студенток, шли на лекции Гуковского, как в театр. И получали чисто эстетическое наслаждение. Кстати, я не считаю грехом, если слушатель получает от лекции эстетическое наслаждение. Но мало кто, действительно мало, оценивал научную глубину его лекций. Они держались совсем не только, и даже совсем не столько на блистательной импровизации, на живости изложения, на прекрасном чтении давно забытых стихов, но и на сильной творческой мысли. Это был мыслитель большой силы и, главное, мыслитель, который вводил в самое мышление. Он признавался, что до конца не знает, что скажет на лекции, — это должно прийти в голову. Гуковский был своего рода лидером университета. Одно время он заведовал кафедрой, потом ему пришлось кафедру оставить; нам именно он прежде всего бросался в глаза.

Но не следует думать, что привлекала прежде всего такая блистательная форма. Человеком, сыгравшим в моей жизни огромную роль, был Николай Иванович Мордовченко, молодой блестящий ученый, человек с трагической судьбой — трагические судьбы бывают разные: он умер не от преследований, наоборот — его биография развивалась довольно благополучно, — он умер от рака. Кстати, был слух, что рака не было — была плохая операция, но — это слух, и хочется в него не верить. Будем думать, что он умер от рака. Но трагедия была и в другом. Николай Иванович созрел очень медленно и все делал в сердце и в голове. Он очень мало оставил: по сути дела, две книжки и несколько десятков статей. Но он уже все обдумал. Он был созревший крупный ученый. Когда он понял, что через несколько часов умрет, то рассказывал жене свои ненаписанные книги — то, ради чего он копил силы и время. Между прочим, несколько его очень интересных и важных статей потеряны в Пушкинском Доме, их потом не нашли: они написаны после войны. Не блокада виновата, а равнодушие. Это был замечательный человек, но он читал лекции сухо, и многие говорили — неинтересно, и девушки не бегали за ним с горящими глазами. Для меня его лекции были настоящим праздником. Они были насыщенные — так действует яркий свет в темном пространстве. Но Николай Иванович был очень строг

к себе. Все лекции он читал, чего ему многие студенты не могли простить. Однажды, я помню, был такой случай. Он пришел на лекцию, надел свои в золотой оправе очки, потом вынул портфель, разложил листы и сказал своим ровным голосом: «Сегодня лекции не будет — я забыл конспект дома». Тогда часть студентов, обрадовавшись, схватила портфели и убежала, хлопая дверьми, мы же ушли очень грустно. Но тогда я оценил высокий подвиг ученого. Конечно, Николай Иванович мог прочесть и не одну лекцию без конспектов, но он не мог себе этого позволить — он был очень строг к себе. Поэтому, может быть, и сделал гораздо меньше, чем мог сделать. Но для меня лично его имя остается совершенно священным.

Но несколько слов об экзамене у Гуковского. Григорий Александрович, который все делал самобытно, экзамен тоже провел самобытно. Он не спрашивал никакой теории по введению в литературоведение, а дал список текстов, который каждый должен проанализировать. Анализировать он предложил устно, не в обычной экзаменационной обстановке, а в большой аудитории и перед всем курсом. Сделал как бы маленькую защиту работ. Для меня это было очень важное событие. Кроме доклада у Проппа, второе крупное событие первого года. Я выбрал «Осень» Баратынского и проанализировал. Гуковский нашел, что очень удачно. В ту пору в Ленинграде появился и стал известен поэт Р<ивин>. Это был поэт, трагически погибший во время голода. От него остался след в нескольких стихотворениях его друзей. Вот известное стихотворение Давида Самойлова:

Был в Ленинграде странный малый,
Печальный, грустный и больной.
Был у него талант немалый,
Я знал его перед войной.

Мне передали, что Григорий Александрович сказал, что стихи Р. и мой доклад — самые сильные впечатления этого месяца. Я был польщен.

Университетская счастливая идиллия развивалась на фоне отнюдь не идиллических событий. Последние месяцы пребывания в университете совпали с финской войной. Ленинград был завален ранеными. Мы ходили после лекций — а лекции проводились не на филфаке, так как были трудности с топливом и университет замерзал, — не только в Публичную библиотеку, но и в больницу — помогали раненым.

Итак, лекции, Публичная библиотека, раненые, чувство приближающейся катастрофы и вместе с тем чувство непрерывного праздника — так я дожил до того момента, когда был принят закон о призыве студентов в армию.

Осенью сорокового года я был призван в армию...

Записал Григорий Амалин

3. ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

Эту статью Ю. М. Лотман диктовал в декабре 1992 года. По замыслу автора, в нее должны были войти сравнительные описания его университетских преподавателей: Б. В. Томашевского и Г. А. Гуковского, М. К. Азадовского и В. Я. Проппа, Б. М. Эйхенбаума и В. М. Жирмунского. Предполагалось, что она будет включена в сборник статей 1991—1993 гг. Однако, через некоторое время Юрий Михайлович решил, что воспоминания не представляют научного интереса, и работа осталась незавершенной. Некоторую ее часть автор считал возможным напечатать вместе с «Не-мемуарами». Статья публикуется полностью по черновой рукописи, отдельные хронологические неточности не оговариваются. В подготовке текста к печати приняли участие Л. Н. Киселева и М. Ю. Лотман.

Т. Д. Кузовкина

ТОМАШЕВСКИЙ И ГУКОВСКИЙ

Сжатую характеристику ученого обычно ограничивают перечнем его сочинений и концепций. Когда мы говорим о Томашевском, такое описание было бы значимым и богатым. Но оно не было бы полным. Томашевский-ученый неотделим от яркого, незаурядного облика Томашевского-человека. Всякий рассказ о нем в сжатой форме энциклопедического справочника пройдет мимо некоторой доминирующей черты этой исключительно нестандартной, самобытной личности. Он был выдающимся знатоком французской литературы и высшей математики, непревзойденным авторитетом в текстологии и обладал совершенно уникальной способностью читать трудные почерки¹²⁸. Можно было бы продолжить список его разнообразных научных способностей и интересов, однако при личном знакомстве с ним поражало не только это, а тот труднообъяснимый комплекс бла-

¹²⁸ Сейчас существует ряд технических средств для того, чтобы прочитывать густо замазанные и зачеркнутые строки. Томашевский в них не нуждался: только прищурив глаза, читал любой зачерненный текст. Мне, тогда еще начинающему филологу, он говорил: «Это же очень просто. Зачеркивающий бессознательно следует определенной логике. Видите, он нанес ряд густых черточек наискось слева направо. Умственно снимите их. Это можно сделать, потому что они повторяются в правильном узоре. Под ними такая же цепь черточек справа налево. Снимите и их. Видите, перед Вами совершенно ясная, незачеркнутая строка». Я сознательно привожу этот пример — в нем проявилась железная логика и одновременно сильно развитое воображение. Редкостное сочетание этих качеств составляло творческий принцип Томашевского.

городных мужских качеств, который составляет шарм высшего тона военного человека.

Булат Окуджава в стихотворении, посвященном Пушкину, писал:

Он красивых женщин любил
Любовью не чинной,
И даже убит он был
Красивым мужчиной.

Можно спорить о том, так ли следовало бы характеризовать Дантеса, но сама мысль о распространяющейся вокруг Пушкина ауре мужской энергии справедлива. Эта же аура была и у одного из самых замечательных людей в плеяде русского пушкиноведения — Бориса Викторовича Томашевского. Если есть некая квинтэссенция положительных свойств подлинного мужчины, то в Томашевском она проявилась, может быть, в большей мере, чем в ком-либо из тысяч мужчин, с которыми мне приходилось встречаться в жизни. Для меня, тогда еще романтически настроенного, он ассоциировался с декабристом Луниным, хотя во внешности его ничего «гусарского» не было. Широкоплечий, с несколько мешковатой фигурой, с лицом скорее инженера, чем филолога, Томашевский не был тем, кого можно назвать красавцем. В его облике и в интонациях всегда присутствовала ирония. Он не выносил пафоса, даже искреннего. Атмосфера мужественности господствовала над обаянием его насмешливого ума и огромной эрудиции.

В науке он более любил разрушения красивых концепций, чем предположения, даже самые увлекательные. Мы его называли «великим деструктором», но за возведенным в принцип сомнением стоял тщательно скрытый слой романтики, которого сам он стыдился как недостатка, маскируя его насмешливым тоном.

Однажды в самый разгар кампании борьбы с космополитизмом мы столкнулись с ним при выходе из туалета в Пушкинском Доме. «Единственное место в этом доме, где легко дышится», — бросил он на ходу. Насмешливые реплики его были убийственны и в свое время составляли значительную часть своего рода устной хрестоматии коридоров Пушкинского Дома. В трагической обстановке заседаний, посвященных разоблачению космополитов, Томашевского тоже вытаскивали на трибуну и пытались заставить «каяться». Обвинение заключалось в том, что он читал спецкурс по поэтике, то есть, по мнению критиков, пытался «протащить» формализм. На кафедре, с которой один за другим сходили «признававшие ошибки» профессора, Томашевский презрительно буркнул: «Мне что Мария Семеновна¹²⁹

¹²⁹ Мария Семеновна Лев, занимая формально какую-то техническую должность, держала в своей памяти все дела кафедры, знала поименно всех студентов, напоминала профессорам все их дела, в общем, была в самом точном значении этого слова «душой факультета».

включила в расписание, я и читал, не хотите — не буду». Правда, положение его было менее драматичным, чем у других подвергавшихся в этот период критике профессоров. Собрание пушкинских рукописей в ИРЛИ, где он был незаменим, и один из основных технических вузов, где продолжал читать курс высшей математики, создавали ему надежные плацдармы для отступления. В сочетании с глубоким чувством независимости это давало ему прочную почву под ногами. Пушкин в стихотворении «Еще одной высокой, важной песни...» назвал «наукой первой» умение *«читать самого себя»*. Этим редким искусством Томашевский был наделен в полной мере.

На филфаке Томашевский кроме курсов по теории литературы и стилистике вел спецкурс по Пушкину. Спецкурс, длившийся долгие годы, читался так: первый семестр посвящен был краткому резюме всего, что было прочитано до этого. Это было необходимо, так как состав слушателей каждый год менялся, но даже те, кто в прошлом году прослушал полный курс, любили ходить на это «повторение», оно никогда не было механическим, а всегда содержало определенные черты новизны. Затем следовало чтение нового материала. Здесь Томашевский успевал продвинуться в творчестве Пушкина приблизительно на год (иногда несколько больше, иногда — несколько меньше). Так длилось это шествие по биографии и творчеству Пушкина, которое оборвала смерть лектора.

Смерть оборвала и завершение итоговой монографии Томашевского «Пушкин». При его жизни успел выйти только первый том, в котором анализ жизни и деятельности Пушкина был доведен до конца южного периода. Предполагались еще два тома. Традиционная формула «неожиданная смерть» в данном случае — самое точное выражение, которое следует здесь употребить.

Томашевский приобрел дом в Гурзуфе, стоявший на том самом месте, на котором когда-то был дом Раевских, неразрывно связанный с крымским периодом жизни Пушкина. Считалось даже, что это тот самый дом, только несколько перестроенный и модернизированный. Томашевский поселился в этом доме, овеянном памятью Пушкина. С тех пор лето он обычно проводил в Гурзуфе. Здесь настигла его смерть, загадочные обстоятельства которой так и остались тайной.

Томашевский был превосходным, неутомимым пловцом. Но однажды слушавший его сердце врач запретил ему продолжать эти занятия. Томашевский обещал, сказав лишь, что еще последний раз сходит поплавать. Далее произошло следующее: он поплыл далеко в море и больше уже не вернулся. Когда нашли тело, врачи установили, что в воде произошел инфаркт, и квалифицировали это как несчастный случай. Я глубоко убежден, что это было сознательное самоубийство. Когда-то Цветаева сказала о Маяковском, что он жил как человек и умер как поэт. Б. В. Томашевский был вполне достоин этих слов.

Я разговаривал с Томашевским за несколько дней до его последней поездки из Ленинграда в Гурзуф. Надо помнить, что пришедшее на смену того литературоведения, корни которого уходили в эпоху символизма, литературоведение в годы победоносного шествия формального метода принципиально отказалось от глобальных идей и головокружительных обобщений. «Приличными» считались те исследования, заглавия которых начинались сакральной формулой: «К вопросу о...» или «Несколько вводных замечаний к проблеме...». Такая установка была не только своего рода полемичной, но и содержала серьезные обоснования: из области тематики упомянутого Грибоедовым автора сочинения «Взгляд и нечто», потомки которого населили массовое литературоведение эпохи символизма, литературоведение вступило в период увлечения конкретными, строго обоснованными, но слишком частными разысканиями. Резко увеличился объем нового фактического материала, однако анализ явно обгонял синтез, гипотеза из неизбежного и плодотворного элемента науки перешла в сферу чего-то вненаучного и запрещенного для серьезного ученого.

В обширной пушкинистике тех лет практически не было новых синтезирующих работ о «Евгении Онегине». Попытка начинающего автора, зарекомендовавшего себя в печати только несколькими статьями о Радищеве и масонстве, могла восприниматься как дерзость. Меня, еще недавно ходившего в гимнастерке и шинели, это скорее подзадоривало, чем смущало. Я отдал рукопись своей статьи Томашевскому, и он попросил меня через несколько дней зайти к нему в Пушкинский Дом. (Особенность профессоров тех лет — самых маститых и уважаемых — заключалась в их глубокой, ненаигранной, невнешней культурности. Она проявлялась в неизменной любезности в отношениях со студентами и в постоянной готовности увидеть в студенте научного коллегу.) В назначенное время я явился в Пушкинском Доме и прошел в кабинет к Томашевскому. Прекрасный, пушкинских времен стол, за которым сидел Томашевский, был в исключительно организованном, аккуратном состоянии, хотя весь был покрыт книгами. Томашевский, которого я увидел, был для меня неожиданно новым — таким я его еще никогда не видел. Он не был насмешливым, не был злым, не был остроумным. Наверное, так выглядел бы немолодой рыцарь, снявший с себя доспехи и латы и аккуратно положивший свой шлем на маленьком столике у окна. Томашевский сказал мне, что он прочел статью и что ее надо печатать. С этой своей резолюцией он передаст статью в редакцию. «А когда напечатаем, можно будет и подискутировать». Это было одобрение, хотя и в свойственной ему сдержанной форме, и я вышел совершенно счастливый. Статья эта увидела свет в III томе издания «Пушкин. Исследования и материалы»¹³⁰. По трагическому совпадению этот том открывался

¹³⁰ Лотман Ю. М. К эволюции построения характеров в романе «Евгений Онегин». — Пушкин: Исследования и материалы. Т. 3. М.; Л., 1960. С. 131—173.

фотографией Томашевского и статьёй Н. В. Измайлова — развернутым некрологом памяти Томашевского. Обещанный им разговор не состоялся. Когда я много лет спустя вернулся уже под другим углом к той же теме, я многократно пытался представить себе полемические замечания Томашевского. Но это, конечно, было невозможно.

В пространстве научных исследований гуманитарные наиболее связаны с личностью автора. Академик А. С. Орлов однажды заметил, что исследователи невольно передают изучаемым ими писателям глубинные черты своего собственного характера. Эту мысль он пояснял сравнением: «Вот у Мейлаха, — говорил он, — все писатели осторожные, слова лишнего не скажут, все оглядываются, уточняют формулировки, а у Гуковского так и шастают, так и шастают». В этом ироническом замечании таится глубокая истина.

Между исследователем и изучаемым им писателем складываются сложные диалогические отношения, в каком-то смысле подобные отношениям между палачом и жертвой. Чтобы изучать творчество писателя, даже при сознательном стремлении к предельной объективности, ученый должен найти в нем нечто созвучное себе, некое зеркальное пространство, в котором он сам может отразиться. Требования объективности не противоречат этому. Ограничив себя узкой сферой изучения (например, одним каким-либо писателем), исследователь может увлечься «самоотражением» в материале; расширение же изучаемого пространства (если он обладает достаточной степенью автокритицизма и широтой исследовательских знаний) невольно внесет коррекцию, предохраняющую от субъективизма. Несмотря на предельную объективность исследовательского стиля Томашевского, его Пушкин всегда был именно *его* Пушкиным. В многообразии пушкинской личности Томашевский высвечивал объективный ум, действительно присущую Пушкину поразительную способность трезвого взгляда на жизнь. Томашевскому было чуждо стремление к эффектности, и в Пушкине он видел то, что Пастернак назвал 'стремлением

...впасть <...> как в ересь,
В неслыханную простоту.

Трудно найти более точное определение для пафоса поэзии Пушкина. Для того чтобы прозрачность стекла воспринималась нами, необходимо иметь в памяти мутные стекла. Для того чтобы простота сделалась ощутимой, странной, то есть получила бы *значение*, ее надо пережить как ересь, то есть как предельную *антипросто-ту*. Этот пушкинский пафос был вместе с тем сознательным ориентиром Томашевского. Все эффектное в науке было для него проявлением дурного тона, поэтому, в частности, слушавшие его студенты учились оценивать его методологическую сдержанность ретроспективно, с годами, когда постепенно сами вырастали до того, чтобы в

науке выше, чем цветные, ценить абсолютно прозрачные, до незаметности, стекла, которые создают эффект открытого окна, не стремясь эгоистически прибавить к пейзажу собственную окраску.

Эрудиция Томашевского была широка и разнообразна. Исследовательские методы, применимые на лингвистическом материале, изучении биографий, ритмики и стилистики, пересекались с навыками изучения русской и французской литератур. Если к этому добавить сознательную установку на критику и самокритику, стремление к объективной научности и отталкивание от восходящей к символизму традиции вторжения субъективности в исследование, то мы получим тот фон, на котором Томашевский строил свой научный метод, сочетавший яркую индивидуальность со строгой объективностью.

Соединение очерков, посвященных научным и человеческим портретам Гуковского и Томашевского, в одну главу продиктовано не стремлением воспроизводить классическую композицию Плутарха и не желанием построить эффектную антитезу, а реальной соотносительностью места этих двух исследователей в науке их времени. Трудно найти людей, более противоположных по темпераменту, складу интеллекта и культурной ориентации. Их человеческая и научная полярированность в значительной мере определила то, что, работая в одно и то же время в одних и тех же стенах, читая лекции одним и тем же студентам, они не были близки. Более того, в отношениях между ними всегда ощущалась холодноватая сдержанность, а иногда и нескрывтая неприязнь. Но это не мешало тому, что оба они органически включались в то богатое разнообразие единства, которое представлял собой филологический факультет Ленинградского университета предвоенного периода. И в науку они вошли своеобразной плутарховской парой, противоречивым единством. Студенты тех лет резко делились на поклонников (и поклонниц) каждого из этих профессоров, одновременно принадлежать к обоим лагерям как-то не было принято. А между тем без пересечения этих двух ярких человеческих характеров, представляющих одновременно две научные тенденции, каждый из них потерял бы определенную долю богатства внутренней окраски.

Одним из губительных последствий глобального уничтожения научных школ в гуманитаристике XX века была утрата разнонаправленности научных поисков. Единомыслие в науке — показатель ее умирания. Научные разномнения оттачивают исследовательскую мысль, поэтому процветание науки связано, кроме прочих причин, с высокой человеческой культурой — основой толерантного отношения к чужим мнениям. Ничего нет губительнее для науки той некультурности, которая выражается в формуле: «Кто не с нами, тот против нас». Перенесение в научную сферу тех понятий, которые могут быть оправданы в этической, религиозной или политической областях, то есть там, где доминирует вера, противопоставлено пространству, вся

жизнь в котором возможна лишь на основе сомнения и критицизма, поэтому научный и общественный прогресс далеко не всегда идут в ногу. Они сближаются в эпохи, когда исторические льдины начинают трещать, но еще прочно держатся на местах. В период ледохода их пути расходятся.

Г. А. Гуковского я впервые увидел, когда в 1938 году начал ходить на лекции доцента Л. Л. Ракова по античной литературе. Сначала несколько слов о Ракове. Блестящий лектор, он находился в эту эпоху (в конце 30-х годов) на вершине славы. Талантливый ученый, разнообразно одаренный человек — он был писателем и вместе с Д. Алем написал шумевшую тогда комедию «Опаснее врага», которая была поставлена Н. П. Акимовым¹³¹.

Читал он блестяще. На лекции в то время, когда старые профессора появлялись в протертых до блеска костюмах, сшитых, вероятно, еще в дореволюционные годы, а студенты натягивали на себя что придется из родительского гардероба или нехитрых дарований госторговли, Раков являлся в изысканных заграничных костюмах с двубортными жилетами (я впервые увидел тогда эти портняжные изыски). Такое щегольство вызывало иронические замечания одних и злобное шипение других, однако оно вписывалось в ту короткую вспышку «процветания», которая определяла быстро увядавший потом «ренессанс» последних предвоенных лет. «Ренессанс» был специфический: по Невскому, скрываясь от милиции, проскальзывали серокожие женщины с грудными младенцами на руках — это были те, кому удавалось ускользнуть от украинского и кубанского голода, а на Марсовом поле были развернуты гигантские ларьки, оформленные талантливыми художниками, где продавалось все, что должно было демонстрировать изобилие. В столице и Ленинграде были отменены карточки. Мой школьный приятель рассказывал, как утром, когда он шел в школу, из дверей ресторана «Англетер» вышел сильно выпив-

¹³¹ Само название было по тем временам дерзким: печать полна была статьями, громившими «врагов народа». Слово «враг» заполняло страницы газет, не устававших призывать к бдительности. Этим были полны кинофильмы. Использовались при этом талантливые актеры и одаренные режиссеры, создавшие с точки зрения киноискусства (если понимать его в духе Эйзенштейна, как мастерство, совершенно безразличное к истине или лживости того, что воплощается с помощью искусного использования монтажа, света и других приемов экранной техники) впечатляющее полотно. В одном из них — «Великий гражданин» — на экране актер, загримированный под Бухарина, декламировал Тютчева:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои.

Тютчев был возведен в идейные вдохновители самого ходкого в то время обвинения — в «двурушничестве». На этом фоне напоминание слов Крылова о том, что «услужливый дурак опаснее врага» (см. басню «Пустынник и медведь»), звучало в достаточной мере дерзко.

ший Петров¹³² с воздушными шариками, привязанными к пуговицам заграничного пиджака, и, сев в услужливо подкатившего извозчика, тут же заснул... Шарики раскачивались в воздухе. Этот «пир», конечно, не лишен был того, что напоминало окончание пушкинского названия: «во время чумы». Это был пир перед войной, всеми ожидавшейся и уже ощутимой. И те, кто не попадали прямо под гусеницы сталинско-бериевского террора, спешили радоваться.

Г. А. Гуковский в предвоенные годы, когда я его впервые увидел, был самым молодым из профессоров филфака. Однако он не только среди студентов, но и в академических сферах уже занял признанное место одного из ведущих ученых. П. Н. Берков, который был старше Гуковского, однажды изумил меня, начав свою полемику с Гуковским по какому-то конкретному вопросу такими словами: «Григорий Александрович, я — Ваш ученик!»

В коридорах филфака, в еще «доразгромный» период повторялся остроумный рассказ одного из литературоведов о нашумевшем в ту пору событии. Литературовед А. Л. Дымшиц, бывший тогда одним из партийных деятелей литературоведения, только что вернувшийся из армии и ходивший по филфаку в офицерском мундире, представил докторскую диссертацию. Оппоненты — Томашевский, Гуковский и Эйхенбаум — с треском его провалили. Свидетели этого тогда нашумевшего события рассказывали, что сначала Гуковский, как лев, разорвал его на куски, а потом Эйхенбаум с улыбкой начал тихим голосом клевать диссертанта. После этого, по словам очевидца, на кафедре осталась лишь одна абсолютно обглоданная кость. Эйхенбаум, всегда сдержанный, с улыбкой, неизменно изящный в выражениях и жестах, более всего чуждавшийся эмоций и эффектов, никогда не прибегавший на лекциях к декламационным приемам, был прямой противоположностью Гуковскому. Гуковский не мог закончить лекцию без того, чтобы аудитория не дрогнула от взрыва аплодисментов. Именно по этому признаку мы замечали, что в актовом зале кончилась его лекция. Мне довелось слышать, как, проходя в это время по коридору, Эйхенбаум сдержанно сказал: «Театр!» В дальнейшем в потоке разгромных статей, наводнявших в ту пору всю периодику, имена Гуковского и Эйхенбаума упоминались рядом, через запятую, с одинаковыми эпитетами и обвинениями.

Г. А. Гуковский обладал прекрасным, звучным баритоном, стихи читал превосходно и неизменно побеждал на затейных Тыняновым состязаниях: кто больше помнит наизусть малоизвестных и забытых поэтов. Память его была изумительна. Держался на лекции он

¹³² Возможно, речь идет о В. М. Петрове (1896—1966) — кинорежиссере и киносценаристе, который с 1928 года работал на ленинградской киностудии «Севзапкино», был известен своими экранизациями (1934 год — «Гроза», 1937—1939 — «Петр I»). (Примеч. Т. К.)

свободно, присаживаясь на край стола, никогда не читал по готовому тексту. Кроме курса русской литературы XVIII века, который я слушал у Гуковского еще школьником, приходя к сестре в университет (когда я стал студентом, он этот курс уже передал Беркову, сам читал пушкинскую эпоху), Гуковский читал в послевоенные годы курс «Введение в литературоведение». Чтение протекало так: он входил в аудиторию с книгой в руках — это был текст того стихотворения, которое он собирался на этот раз анализировать, садился на край стола и прочитывал стихотворение. Затем начиналась свободная импровизация, посвященная какой-либо проблеме, связанной с анализом текста. Гуковский обладал совершенно несравненным чувством стиля, оттенки которого в анализируемом стихотворении он передавал слушателям и анализом, и интонацией, которая была одним из важнейших элементов его лекторского мастерства. Печатный облик его работ — книг и статей — совершенно бессилён передать шарм свободной непредсказуемости его устных импровизаций (именно импровизаций — он никогда не повторял один и тот же текст два раза). Нынешний читатель работ Гуковского, лишенный возможности вообразить его интонации, воспринимает Гуковского так, как представляет себе облик ископаемого животного наш современник, видящий окаменевшие отпечатки следов никогда им не виданного мощного существа. Отсвет этого искусства научной импровизации в сильно ослабленном виде Гуковский передал некоторым из своих учеников, в особенности Г. П. Макогоненко.

Критики Гуковского (особенно Эйхенбаум и Томашевский) справедливо обращали внимание на некоторые неточности и натяжки в его концептуальных построениях, но никто не обладал талантом так вдохновлять, открывать глаза и, главное, вызывать ответную способность исследовательского вдохновения. Анализ текста и великолепная декламация Гуковского заставляли аудиторию буквально перенестись в XVIII век и пережить его как свою современность¹³³. Подобно тому как динамо-машина заряжает батареи, Гуковский «зарядил» Макогоненко, и не его одного, а целое поколение.

Издав две книги по литературе XVIII века¹³⁴, Гуковский подвел этими изданиями черту своей первой концепции русского литератур-

¹³³ Некий безымянный студент подчеркнул в эпиграмме эту способность Гуковского заставить слушателей пережить прошедшее как настоящее:

О если бы и днесь вернулось все опять,
Державин жил бы вновь и Тредьяковский,
Какой урок прекрасный мог им дать
Григорий Александрович Гуковский.

¹³⁴ Пробным шаром была небольшая книга «Русская поэзия XVIII века» (Л., 1927). Затем появились «Очерки по истории русской литературы XVIII века (дворянская фронда в литературе 1750-х — 1760-х годов)» (М.; Л., 1936) и «Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века» (Л., 1938).

ного процесса, пока еще охватывавшей пределы XVIII века. Прежде всего от переживавшего тогда свой расцвет формализма Гуковского отличал интерес именно к процессу, к динамической системе. Вместо философии «приемов» он выдвигал понятие художественной доминанты, которая менялась в разные моменты литературного процесса. Понятие художественной ценности, согласно его воззрениям, переменчиво. Гуковский демонстрировал это на примере Сумарокова. Обруганный Ломоносовым, а затем Белинским, провозглашенный бездарным поэтом-подражателем (исторический анализ многие авторы подменяли без конца повторяющимися эпиграммными строками, в которых фамилия «Сумароков» рифмовалась с «бездарное дитя чужих уроков»), Сумароков в его руках оживал.

Отличительной чертой подхода Гуковского было то, что в центре внимания оказывался один излюбленный им персонаж, который, как солнце планетами, был окружен историческими личностями, игравшими в концепции второстепенную роль. В первой книге таким персонажем был Сумароков, во второй — Радищев. Сейчас трудно оценить новаторский пафос такого подхода. Гуковский не только извлек имя Сумарокова из праха, но оживил и его поэзию. Он как бы стер пыль с поэта, и тот заблистал перед нами во всем блеске своего неумного таланта, яркого полемического жара и трагического одиночества личной судьбы. Это была прекрасная школа того, как можно сочетать объективность исторического взгляда и непосредственно переживать чувства современника.

Концепция русского литературного процесса в сознании Гуковского на наших глазах расширялась. Сначала это был XVIII век, центром следующего круга стал Пушкин. Здесь Гуковскому пришлось столкнуться не только с достижениями предшествующей пушкинистики, но и с ее предрассудками. Согласно неписаным, но отчетливо ощущаемым правилам, Гуковский не был посвящен в рыцари ордена пушкинистов. То, что он вошел туда и сразу нарушил никем не сформулированное, но строгое табу на проблемные вопросы, вызвало у одних иронию, а у других даже раздражение. Гуковский обладал особым дарованием ни у кого не вызывать равнодушного отношения: ему или поклонялись, или его ненавидели. В кругу таких признанных авторитетов в научных сферах ЛГУ, как, например, Эйхенбаум, к нему относились с не очень добродушной сдержанностью. Особенно это начало проявляться, когда Гуковский, отойдя от литературы XVIII века (здесь его авторитет признавался безоговорочно, да и трудно было не признать компетентность человека, знавшего наизусть — без преувеличения — всю русскую поэзию XVIII века), «вторгся» в пушкинскую эпоху; впоследствии были опубликованы его монографии на эту тему: «Пушкин и русские романтики» (Саратов, 1946) и «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (М., 1957). На обсуждении первой из этих книг (обсуждение проходило в атмосфере нескрываемого не-

доброжелательства со стороны ряда авторитетных профессоров кафедры) Б. М. Эйхенбаум после вводного доклада Гуковского с улыбкой заметил: «И жить торопится, и умствовать спешит».

Согласно господствовавшим тогда представлениям, Батюшков и Жуковский находились на противоположных полюсах арзамасской поэзии: корни оптимистической поэзии Батюшкова питал яркий мир античной идиллии, дорога к которому была открыта французской и итальянской поэзией; источник же трагического романтизма поэзии Жуковского находился в немецкой литературе. Гуковский, вопреки этому расхожему представлению, создал концепцию, с точки зрения которой оба эти направления являлись лишь поверхностным, внешним проявлением внутреннего единства. Основой для поисков единства Гуковский избрал поэтическое слово. Для него было существенно не то, *что* говорят (под этим понимался тот аспект так называемого «содержания», который можно пересказать прозой), а то, *как* говорят — непередаваемая прозой основа поэтического текста. С этой точки зрения и Батюшков, и Жуковский создавали поэзию, о которой можно было сказать словами Лермонтова:

В уме своем я создал мир иной
И образов иных существованье.

В этом Гуковский видел сущность романтизма. Поэзия, обращенная не к реальному вещественному миру, а к миру иллюзорному, была для него поэзией романтической. И когда Батюшков писал, что «маленькая философия» его души разбилась о страшную реальность наполеоновских войн, он, по мысли Гуковского, выражал самую сущность своей идиллической поэзии. Гуковский пока еще безмолвно вводил в эту картину третье лицо — Пушкина, поэта, у которого слово было вещественным и реальным. Это сразу меняло перспективу. В Батюшкове и Жуковском высвечивалось глубокое сходство, мир их поэзии был самодостаточен и в сопоставлении с действительностью не нуждался. Когда же трагическая реальность вынудила к такому сопоставлению, то разница отошла на задний план. Наступила пушкинская эпоха. Эта концепция давала основания для критики, например, со стороны Томашевского, который в своих лекциях, не называя прямо Гуковского, показывал, сколь часто многочисленные реальные факты литературной истории получают упрощенно-схематическое, а иногда и просто неточное истолкование. Томашевский одним взмахом своей аналитической мысли, укрепленной обширной эрудицией, рассеивал научные иллюзии, которые увядали в его руках, как проколотые шарики. Но как генератор идей он не мог сравниться с Гуковским. И это мы почувствовали по его первой (по трагическому стечению судеб оказавшейся последней) итоговой монографии о Пушкине. Там, где автору потребовалась концептуальность, ему пришлось *volens nolens* учесть идеи Гуковского.

Следует отметить, что две монографии, посвященные Пушкину, были для Гуковского только началом большого историко-литературного замысла, который должен был включать в себя широко задуманную цепь монографий: после Пушкина был объявлен спецкурс о Гоголе (книга, написанная на основе этого спецкурса¹³⁵, не была закончена к тому времени, когда Гуковский был арестован и вскоре погиб в следственной тюрьме). Монография о Гоголе была опубликована лишь в первую оттепель в 1959 году без развернутой вступительной статьи с краткой редакционной заметкой без подписи, автором которой был Г. П. Макогоненко. Окончание последней главы было изъято во время обыска и затерялось где-то в архивах КГБ, но то, что в монографии не нашлось места «Выбранным местам из переписки друзьями», не было следствием грубого внешнего вторжения, а представляло результат самой концепции Гуковского. *Его* Гоголь не должен был писать «Выбранные места...». Помню образ, которым он заканчивал спецкурс по Гоголю. Он рассказал, что однажды был свидетелем того, как какой-то человек, пересекавший железнодорожную линию, оказался между двумя несущимися навстречу друг другу поездами. Когда они пронеслись, между двумя путями оказалась стоящая вертикально фигура с оторванной головой. В этом Гуковский находил как бы символ трагедии Гоголя, оказавшегося между двумя несущимися в противоположных направлениях путями России¹³⁶, — Гоголя, разрываемого на части Белинским и славянофилами.

Цикл исследований, задуманный Гуковским, не был даже пунктиром намечен перед аудиторией, и его замыслы двух противопоставленных книг о Толстом и Достоевском остаются для нас лишь предметом печальных догадок. Несколько устных докладов, прочитанных им в последний период, дают основания для очень приблизительных выводов о том, чем должна была кончиться серия. «Клим Самгин»

¹³⁵ Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959.

¹³⁶ Автобиографический эпизод, который рассказывал на лекции Гуковский, мог быть им осмыслен под влиянием соответствующего места из монографии А. Белого «Мастерство Гоголя» (отношение концепции Гуковского творчества Гоголя к его интерпретации А. Белым должно было бы стать предметом отдельного разговора): «Гоголь, начав с пленяющих безделушек, цельных музыкой, дав цельность стилю за счет погасшей мелодии, вдруг ужаснул узкой тенденцией, в которой завял его стиль, отчего и организм его творчества оказался... без головы; а голова — осталась без туловища: тело без головы взял в свои руки Белинский, раскрыв в нем тенденцию огромнейшей значимости; из неоконченной головы им извлекаемого процесса, оторванной от тела, Гоголь, выпотрошив мозг, сделал... жандармскую каску и арестовал свое творчество; но «Жандармская каска», просунутая в «Переписке» и «Исповеди», не смогла отвести тока, шедшего через Гоголя-творца в рассудочно-безголовое тело его творений, головой которых оказалась вся русская литература, продолжавшая развивать дело Гоголя: без Гоголя-проповедника» (*Белый А. Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934. С. 27*).

должен был сделаться отправным пунктом для сурового исторического суда над эпохой декаданса. Можно предполагать, что будущее представлялось исследователю как путь к новой пушкинской эпохе.

Г. А. Гуковский умел намечать для себя далеко идущие перспективные дороги. Но он умел не превращаться в раба этих собственных созданий. Он погиб в полном расцвете исследовательского таланта, и можно думать, что вряд ли он ограничился бы осуществлением задуманных планов. Очень может быть, что сами планы показались бы ему устаревшими. В нем были два человека: один как будто точно знал, куда идет литература, и готов был ее учить, другой всегда стоял на пороге двери, открытой в неизвестность, и готов был заново учиться. Именно этот второй Гуковский был наиболее плодотворен для своих учеников, хотя поверхностные его последователи ограничивались тем, что приносили клятву верности тем или иным догмам своего учителя.

Азадовский и Пропп: два подхода

Анализ текста допускает два возможных подхода. По сути дела, они настолько близки между собой, что очень часто различия между ними представляются лишь технической деталью, а не принципиально иным структурным основанием. В одном случае мы формулируем тип кода и затем на его основании создаем реальный текст. Во втором случае первичным является некоторый текст, из которого путем абстрагирования извлекается кодовая система. Может показаться, что оба эти подхода — деталь, от которой, говоря об общих закономерностях семиотической системы, можно отключиться. Семиотическое содержание не изменится в зависимости от того, в каком направлении мы к нему движемся. В реальности, однако, это не так. И в зависимости от того, идем ли мы от конкретного текста к абстрактной его модели или, наоборот, от модели к тексту, мы сталкиваемся с совершенно различными механизмами и неодинаковыми результатами.

Размышления о том, как влияет на самые основы науки выбор одного из, казалось бы, симметричных путей: от модели к тексту или от текста к модели, — позволяют нам яснее представить себе различие и сходство двух основных направлений в нашей фольклористике. Эти направления связаны с именами и деятельностью В. Я. Проппа и М. К. Азадовского. Автор этих строк имел счастье в студенческие годы работать под руководством и того и другого на кафедре фольклора Ленинградского университета.

При том бесспорном уважении и даже любви, которую вызывал у нас М. К. Азадовский, в 50-е годы нам (говорю о той группе молодых фольклористов, которые в ту пору приступали к научной работе) более импонировал Пропп. Метод Азадовского казался эмпи-

рическим и недостаточно концептуальным, в то время как свежие, недавно получившие научное признание идеи Проппа представлялись тем долгожданным новым словом, которое призвано совершить переворот в филологических науках. Не случайно, основопологатели отечественной семиотики, исключительно высоко ценя Проппа, Азадовского фактически обошли своим вниманием. Модели тогда интересовали ученых больше, чем тексты.

В настоящее время, не принижая ни в малейшей степени блестящих идей В. Я. Проппа, нельзя не заметить, что подход Азадовского представляется, возможно, более актуальным. С точки зрения Проппа, реальностью является кодовая структура. Она, как генотип, скрыта в глубинах и реализуется во множестве взаимно равноценных текстов. Исследователь, поступая с текстом по способу, когда-то предложенному для несколько другой задачи: «вскрыв его как с трюфлями пирога», — извлекает структуру, которая и есть носитель смысла.

С этим связано, например, то, что повторное решение одной и той же задачи совершенно не то же, что повторное чтение одной и той же поэмы. В отношении между структурой и текстом следует ввести еще третий элемент: того, кто в этом отношении участвует, — человека. Реагирование человека на структуру и текст принципиально различно. Поэтому движение «структура — человек — текст» и движение «текст — человек — структура» порождают принципиально различные результаты.

При движении «текст — структура» носителем смысла будет то, что в разных текстах является одинаковым. Общее господствует над индивидуальным, и именно оно (общее) собирает в себе смысл текста. Двигаясь в противоположном направлении, мы переменяем не только путь, но и смысл движения. То, что было случайным, окажется релевантным, — и наоборот.

Возвращаясь к началу нашего рассуждения, напомним, что В. Я. Проппа интересовало движение от фольклорного текста к его историческим архетипам. С этой точки зрения индивидуальное мастерство сказителя представлялось вообще ложной проблемой, ибо значимым для исследователя было то коллективное, архаическое, что уводило к прототекстам. Талант носителя фольклорного текста, его индивидуальные художественные особенности, наконец, его вдохновение выносились Проппом за пределы структурного анализа. Активизировались другие понятия: память, бессознательная приверженность традициям, даже, в конечном итоге, — непонимание своего собственного текста. Сказитель был интересен лишь как *искажитель*. Причем такой подход принимал в изложении Проппа интересный научный поворот. Предметом анализа становился сам механизм искажения. В. Я. Пропп в лекциях неоднократно останавливался на вопросе, почему определенные аспекты традиционной эстетики подвергаются искажению, в то время как другие проходят сквозь века, сохраняясь в неизменном виде. Но и в этом случае интерес к

искажению был средством вычленить то, что сохраняет константные модели текста. Именно эта константная архимодель была для Проппа металлом, который надо выплавить из руды, сохраняющейся в памяти носителей фольклора вопреки их сознанию.

Для М. К. Азадовского характерна была противоположная ориентация: традиция представляла для него основу, которая одновременно и сохраняется, и трансформируется в произведении искусства. Фольклорный сказитель использует традицию в такой же мере, в какой поэт использует свой национальный язык. Подобно тому как именно на фоне языковой нормы художественная значимость поэтического текста делается особенно заметной, индивидуальное мастерство сказителя для Азадовского загоралось яркими красками на фоне безликой традиции. Проппа интересовало индивидуальное творчество как материал-основа для выявления типологических моделей. Для Азадовского типологические модели были материалом, на основе которого вспыхивало индивидуальное творчество. Конечно, такого рода характеристика страдает определенной упрощенностью. Оба ученых учитывали не только свои научные успехи, но и движение, которое прodelывалось их коллегами.

В некоторых работах В. Я. Проппа, особенно в тех, которые создавались в период, когда его метод подвергался крикливой и необоснованной критике, ощущается стремление найти убежище в классической фольклористике XIX века, пожертвовав некоторыми аспектами собственных открытий. Такова, например, на мой взгляд, книга В. Я. Проппа «Русский героический эпос», написанная в самый разгар оголтелых нападок на него в «Литературной газете». Однако в этом случае речь, конечно, не может идти о сдаче принципиальных позиций. Исследователь пробовал только защитить свои идеи, перенеся их из сферы типологии в более традиционную и звучащую менее дерзко область исторического анализа¹³⁷.

¹³⁷ Подобно этому М. К. Азадовский пробовал защитить академика А. Н. Веселовского, доказывая, что великий фольклорист якобы близок к революционным демократам и представляет собой честь русской науки и что нападки на него как на космополита вызваны недоразумением, тем, что бывшие в ту пору идейными вождями Фадеев и Симонов спутали великого русского патриота академика Веселовского с его братом, действительно якобы грешившим космополитизмом (делал уступку Азадовский), Алексеем Веселовским.

В начале кампании против Веселовского Фадеев и Симонов, оба высокие и стройные, появлялись на заседаниях Ученого совета филфака ЛГУ в одинаковых, полувоенного вида френчах, выходили вдвоем плечом к плечу к кафедре на сцене и произносили речи рокоchущими голосами прибывших наводить порядок военных начальников. Однажды при этом имел место забавный эпизод. Один из подвергавшихся критике (кажется, если память мне не изменяет, это был В. Н. Орлов) елейным голосом с ехидством сказал о Фадееве и Симонове: «Наши идейные вожди нам справедливо указали...» Поразительно было, что Фадеев мгновенно сник, как проколотый шарик, и закричал фальцетом: «Нет-нет! Вождь у нас один — товарищ Сталин, других вождей у нас нет и быть не должно».



Ю. М. Лотман и Д. С. Лихачев. 1981 (?) г.

Изучая фольклорное произведение по пропповской модели, мы отсекаем как не имеющие существенного значения самые основы того, что превращает фольклор в область искусства. Однако, идя по пути Азадовского, мы перемещаем доминанту таким образом, что у нас в руках, по сути дела, оказывается другой объект. Естественно, что модели его образуют совершенно иное пространство, чем в первом случае. Дальнейшая судьба полученных нами моделей будет различной в зависимости от того, стремимся ли мы к обобщениям художественного или логического типа.

Подобно тому как в пространстве, заполненном фигурками таким образом, чтобы фон в свою очередь тоже образовывал фигурки, но других начертаний (или такие же, но другого цвета), — мы можем видеть в модели Проппа фон, на котором высвечивается модель Азадовского, и приписать ей роль носителя смысла — и, наоборот, представить себе модель Азадовского в функции такого фона. В первом случае мы скажем, что направление шло от обедненности упрощенного видения мира к богатству его индивидуального, противоречивого облика. Во втором, что сквозь хаос неупорядоченности мы высветили закономерности структуры.

Мы начали это короткое сообщение замечанием, что анализ текста допускает два подхода, теперь мы можем уточнить это, сказав, что, во-первых, положение это справедливо, если речь идет не об искусственно созданных текстах, а о порожденных живым развитием культуры, и, во-вторых, что ограничение двумя подходами само по себе представляет лишь абстракцию. Следовало бы сказать: «минимально два подхода». При этом направление развития идет в посто-

янным живом отношении между увеличением количества вариантов, выводимых из абстрактной исходной модели, и сокращением их. Сочетание роста и уменьшения вариативности, как правило, образует в живой динамической структуре пульсирующее пространство, на фоне которого высвечиваются тенденции развития и старения.

<ЭЙХЕНБАУМ>

Борис Михайлович Эйхенбаум в кругу замечательных людей, составлявших неповторимо-своеобразный букет русистов на филфаке первых послевоенных лет, занимал совершенно особое место. Оценка вклада его в литературоведение — специальная тема, которая должна была бы сделаться предметом особых монографий. Здесь, однако, мы не претендуем на эту трудную и требующую специальных разысканий работу. Нам хотелось бы лишь добавить несколько живых черт — плода личных контактов, которые могут частично восстановить живые черты этого замечательного человека и ученого. В «Каменном госте» Пушкин создал исключительно глубокий и нестандартный образ Дона Альвара — сочетание физической хрупкости и духовной силы.

Каким он здесь представлен исполином!
Какие плечи! Что за Геркулес!

Дон Гуан иронически замечает, что

Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку
До своего он носу дотянуть.

И тут же снимает всякую тень иронии противопоставлением героического духа этому не соответствующему ему телу:

<...> а был
Он горд и смел — и дух имел суровый...

Б. М. Эйхенбаум не был, как пушкинский Дон Альвар, ни тщедушным, ни узкоплечим, его невысокая фигура была изящной, до последних дней стройной. Она сочеталась с манерами светского человека, постоянным изяществом жестов, утонченной аккуратностью одежды. Но, как и герой пушкинской трагедии, он сочетал фигуру кабинетного ученого не только с изяществом манер, но и с рыцарским духом и необычайной твердостью характера. В конце 40-х — 50-е годы судьба обрушила на него серию тяжелых ударов: в последние дни войны на фронте погиб его сын — талантливый молодой композитор, которому предвещали судьбу нового Шостаковича, из жизни ушла его жена, как писал он в дневнике, единственная близкая к нему женщина (духовной близости с дочерью не было). За этим последовала длинная цепь оскорбительных, необъективных нападок в печати. Можно не упоминать о невежественных клеветниках, но, к сожалению, к кампании преследователей присоединились и такие люди, как Б. И. Бурсов.

Тогда это был начинающий самородок, человек того разряда, который очень любили проникнутые просветительским пафосом старые ученые. То, что Бурсов — из простой крестьянской семьи и чуть ли не до 18 лет был неграмотным, в соединении с бесспорной талантливостью привлекало к нему внимание старых ученых. Того, что ум его не гибок и явно склоняется к догматизму, старались не замечать, а его поистине безграничное самомнение в ту пору еще не проявилось. Я был слушателем первых лекций Бурсова: они были тяжелы, неинтересны, но содержательны. Тем более для нас было неожиданностью, когда мы узнали, что Бурсов на одном разгромном собрании, обратившись с кафедры к Эйхенбауму, сказал: «Борис Михайлович, признайтесь, ведь Вы не любите русский народ!» Такие слова в те дни были равносильны приговору, который не подлежит апелляции. Бурсов был незлой человек, но Эйхенбаум обладал особым, не очень приятным для него даром: он вызывал зависть. Ему смертельно завидовал Пиксанов, завидовал и Бурсов, ему завидовали его гонители тогда, когда он был месяцами безработным и продавал все свои книги (ему пришлось распродать свою когда-то очень большую библиотеку), завидовали, когда на него сыпались со всех сторон удары, завидовали те, кто в ту пору процветали и писали про него клеветнические статьи, потому что они понимали, что, в каких бы высоких кабинетах их ни принимали, личных качеств Эйхенбаума у них никогда не будет.

Б. М. Эйхенбаум был *свободный* человек, и это особенно раздражало. За выдержку и постоянную улыбку Эйхенбаум заплатил дорогой ценой: у него был тяжелый инфаркт и мозговая эмболия. Ухоженный и очень знаменитый врач Союза писателей, выходя из его кабинета и поправляя перед зеркалом галстук, произнес: «Мы, конечно, больше не увидим нашего дорогого Бориса Михайловича». Буквально из могилы Эйхенбаума вытащила Виктория Михайловна Лотман — тогда молодой, но уже известный в Ленинграде врач. Она неделями не отходила от его кровати.

В бытовом студенческом жаргоне Эйхенбаума называли Бумом, повторяли эпigramму:

Наш ЛГУ не Бумом знаменит,
Он Миш<кой> Яковлевым славен.
Где стол был яств, там гроб стоит,
И на гробу сидит Державин¹³⁸.

¹³⁸ Профессор Н. С. Державин был ректором Ленинградского университета, М. Яковлев — университетский преподаватель. [Другие куплеты из так называемого «гимна формалистов» см. в мемуарах Л. Я. Гинзбург (Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 281—283). Из воспоминаний Ю. М. Лотмана следует, между прочим, что некоторые из этих куплетов в более позднее время ходили как эпigramмы. — *Примеч. ред.*]

4. ИНТЕРВЬЮ Ю. М. ЛОТМАНА

Вопрос: Что, по-Вашему, формирует главные качества личности (семья, школа, случайности; позже — своя воля...)? Что было определяющим на Вашем пути становления тем, кто Вы есть? Вы росли в семье адвоката. Не ждали ли от Вас продолжения семейной традиции?

Ответ: Я не знаю, кто я есть, и всю жизнь пытаюсь приблизиться к пониманию этого. Следовательно, я не могу сказать, какие факторы сформировали мою личность. Это и о другом человеке сказать очень трудно. О себе же, тем более когда жизнь еще не кончена и сам не знаешь, что еще сможешь и не сможешь совершить, — невозможно. О семейной традиции: в нашей семье жила традиция уважения к человеку независимо от его профессии, положения или национальности. Родители хотели, чтобы я был честным человеком. Отец однажды сказал мне, что лучше умереть, чем быть подлецом. Что же касается профессии, то здесь все было полностью предоставлено моему выбору.

Вопрос: Кто из людей, учителей (какие из книг) имели самое большое влияние на Ваше развитие, поиски? Чье мнение Вы (сейчас) цените превыше других?

Ответ: Я очень счастливый человек: с ранних лет, в университете, на войне, в зрелые годы мне встречалось очень много прекрасных людей. Многих из них уже нет на свете, но для меня они все живы. Одним из высших свойств человека я считаю память — я всех их помню, часто вижу во сне и вспоминаю наяву. Все они оказали на меня влияние, и перечислить их было бы невозможно. Кроме личной памяти есть и общая — зовется она культура. В памяти нет разницы между живыми и мертвыми: все живы, со всеми можно говорить, выслушивать их укоры или одобрения. Отсюда и ответ на последний вопрос: выше всего я ценю мнение Пушкина и очень боюсь его осуждения.

Вопрос: Может ли ученый, у которого есть способности и желание оставить свой след в науке, сделать это при любых условиях? Что одушевляет, что мешает заниматься наукой?

Ответ: Вопрос поставлен неточно: оставить свой след в науке не может быть *главным* побуждением ученого. История науки знает много случаев, когда ученые из соображений успеха в поисках истины или из этических соображений жертвовали возможностью связать то или иное открытие со *своим* именем. Известный лингвист академик

А. Шахматов, человек не только гениальной одаренности, но и высокой нравственности, не стал печатать одну из своих статей, узнав, что один из его учеников написал на ту же тему книгу. Он сознательно уступил приоритет открытия молодому ученому (статья Шахматова была опубликована только после его смерти). В науке есть свои «могилы неизвестного солдата», и у настоящего ученого они вызывают не меньшее уважение, чем самые блестящие имена. Что же касается возможностей, то, конечно, необходимо, чтобы способные к науке люди, особенно молодые, имели благоприятные условия для своей работы и, прежде всего, время («время — пространство для развития таланта», — сказал К. Маркс). Таланты надо уважать — это такое же национальное богатство, как и природа. Мы уже поняли, что надо охранять среду обитания и не относиться к ней хищнически. К талантам также нельзя относиться хищнически — они нуждаются в защите не меньше, чем вписанные в Красную книгу животные. Но все же ссылки на «условия», не дающие возможности развить свой талант, часто скрывают отсутствие целеустремленности, готовности к тяжелому повседневному будничному труду, без которого нет науки. Совесть ученого не удовлетворяется рассказами о трудных условиях, а спрашивает: «Все ли ты в этих трудных условиях сделал, что в них можно было сделать?»

Вопрос: Что одушевляет, что мешает заниматься наукой?

Ответ: Одушевляет любовь к истине, мешает — более всего душевная лень, боязнь трудностей и жертв, которые неизбежны при серьезной любви к науке.

Вопрос: Какой должна быть (идеальная) супруга ученого?

Ответ: Очень терпеливой. То же качество требуется и от мужа, если жена его — ученый.

Вопрос: Уживаются ли два ученых под одной крышей?

Ответ: Вопрос странный. Два любых порядочных и культурных человека должны уживаться под одной крышей. Следовательно, надо было спросить: «Бывают ли ученые порядочными и культурными людьми?» Ответ: «Иногда бывают».

Вопрос: Если Вам предложат уединиться с пятью книгами, какие бы книги Вы выбрали?

Ответ: Тайком бы пронес в свое уединение еще два чемодана книг.

Вопрос: Нравится ли Вам Тарту; какие достоинства, какие недостатки у Тарту как научного центра?

Ответ: Я не хотел бы жить ни в каком другом городе. Побывать мне хотелось бы во многих других городах, но жить только в Тарту. Мне кажется, что здесь самый воздух помогает работать и думать. Может быть, оттого, что в городе основной «человеческий пейзаж»: составляет учащаяся молодежь, т. е. та категория людей, которую я люблю больше всего. Что касается недостатков, то они есть везде. В



Ю. М. Лотман, Виктория Михайловна Лотман, Ребекка, Таня Кузовкина

Тарту как научном центре недостатком ощущается трудность общения с другими научными центрами, особенно зарубежными, недостаток в новой зарубежной литературе по гуманитарным вопросам. Возможности приобретения такой литературы университетской библиотекой явно не соответствуют научному значению Тартуского университета.

Вопрос: Сколько монографий Вы написали? Можно ли где-нибудь найти полную библиографию Ваших работ?

Ответ: Монографий, т. е. книг, посвященных какой-либо научной проблеме, — восемь. Самая полная библиография до сих пор была: K. Eimermacher and S. Shishkoff. Subject bibliographie of Soviet semiotics. The Moscow-Tartu School, Ann Arbor, 1977. Однако сейчас готовится к изданию в Таллине более полная.

Вопрос: В скольких странах издавались переводы Ваших работ? Есть ли у Вас замечания по поводу переводов?

Ответ: Лучше говорить не о странах, а о языках. Если я не ошибаюсь, то на три языка народов СССР (эстонский, литовский и армянский) и 16 зарубежных: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, шведский, финский, венгерский, польский, чешский, словацкий, румынский, голландский, новогреческий и японский. О качестве переводов мне трудно говорить: на тех языках, на которых я читаю, переводы хороши. Например, немецкий перевод, выполненный известным переводчиком Rolf-Dietrich Keil («Die Struktur literarischer Texte» [München, 1972]), мне нравится больше, чем моя книга.

Вопрос: Справочники пишут о Вас как об одном из создателей структурализма в советском литературоведении. Может быть, окажется возможным предельно просто объяснить самой широкой аудитории, что такое структурный метод анализа художественного произведения.

Ответ: Я не считаю себя «создателем». Структурные методы возникли давно. Вообще в науке вопрос «Кто первый?» всегда затруднителен и редко имеет смысл. На вторую часть вопроса я бы ответил так: можно ли заменить хорошую погоду танцами, стихотворение скульптурой или любовь тортом? Почему нет? Видимо, потому, что каждое из этих явлений обладает чем-то, что не переводится и не заменяется другим. Это «что-то» — структура данного явления. Следовательно, структура есть то, что отличает одно явление от другого. Но одновременно мы можем про десятки и сотни различных по величине и цене объектов сказать: «Это торт». И про чувства X к Y, A к B, D к E сказать: «Это любовь», хотя чувства весьма отличны и люди разные. Почему? Потому, что в данных объектах мы выявляем общую (инвариантную) структуру. Следовательно, структура есть то, что объединяет, казалось бы, разные явления. Это и изучают структурные методы. Но великий швейцарский лингвист конца прошлого века Ferdinand de Saussure сказал, что всякая система общения между людьми (любую такую систему в семиотике называют языком) покоится на механизме сходств и различий. Следовательно, структурные методы не просто помогают проникнуть в сущность тех или иных явлений, но и раскрывают их функцию в человеческом общении, т. е. их общественную функцию.

Вопрос: Вы член Союза писателей Эстонии. Какие связи у Вас с эстонской литературой? Будет ли опубликовано что-либо из Ваших работ на эстонском языке?

Ответ: За эти годы в журналах Эстонии («Keel ja Kirjandus», «Looming» и др.) неоднократно публиковались мои статьи. К осени будущего года должны выйти два учебника для эстонской школы: «Vene kirjandus IX kl.», совместно с проф. С. Исаковым (на эстонском языке) и «Учебник-хрестоматия по русскому литературному чтению», тоже для IX кл., совместно с доц. В. Н. Невердиновой (на русском языке). В издательстве «Eesti Raamat» находится в производстве сборник моих статей по теории культуры.

Вопрос: Как Вы относитесь к теоретическим работам, которые пишутся на малых языках, в том числе на эстонском? Есть ли у них перспектива? Что, по Вашему мнению, могло бы оживить эстонскую литературоведческую мысль?

Ответ: Прежде всего, я не согласен с постановкой вопроса в таком виде. Нет «малых языков», как нет «малых культур». Всякий язык, на котором сказано новое слово в человеческой культуре, есть великий язык. В этом смысле языки малых народов, например исландский, венгерский или эстонский — великие языки. Европа относи-

тельно поздно открыла для себя исландскую эпическую поэзию, но это не означает, что исландский язык не был великим языком и до того, как его «открыли». Теперь о науке, в частности гуманитарной. Венгры не боятся того, что их язык мало известен в Европе (как не боятся этого, например, японцы), и ученые соответствующих профессий вынуждены знакомиться с их работами в подлинниках. Одновременно венгры издают свои исследования и на русском, французском, немецком и других доступных для не венгерских ученых языках. Одно не исключает другого. Важно, чтобы было сказано новое слово. В этом отношении у эстонского литературоведения, я полагаю, большие и еще не использованные возможности. И конечно, здесь особые надежды, как всегда, возлагаются на молодое поколение ученых. Что касается второй части вопроса, то это большая и важная проблема, ответить на которую коротко было бы трудно. Хочу лишь отметить, что, на мой взгляд, исключительно важную роль сыграли бы переводы важнейших работ советского и мирового литературоведения последних десятилетий на эстонский язык. Издательства не проявляют в этом большой заинтересованности, видимо, полагая, что для таких книг недостаточно читателей. Это ошибочно: во-первых, в республике много студентов, учителей, писателей, журналистов, которым такие книги нужны. Но я сейчас хотел бы подчеркнуть то, что связано с заданным мне вопросом: перевод классической научной книги — незаменимая школа для переводчиков и читателей и сам по себе поднимает теоретическую мысль на новый уровень. Конечно, большинство эстонских филологов могут прочесть ту или иную книгу по-русски или по-английски, по-немецки или по-французски. Но появление таких книг, как сочинения М. М. Бахтина или Мукаржовского, Тынянова или Ингардена на эстонском языке, было бы событием, стимулирующим молодых ученых республики и повышающим уровень литературной критики.

Вопрос: Чем Вы сейчас занимаетесь?

Ответ: Тем же, чем всегда: читаю книги, читаю лекции, пишу статьи. Работаю над сопоставлением типологии различных по своей природе культур. А что из этого получится — маленькая статья или большая книга — не знаю.

Вопрос: У умудренных жизненным опытом людей обычно складывается пессимистическое мнение о молодом поколении...

Ответ: Значит, они недостаточно умудренны. Мудрость состоит в том, чтобы критически относиться к себе и снисходительно к другому.

Вопрос: Как Вы относитесь к сегодняшней молодежи? К студентам, которых Вы учите? Действительно ли их тяготение к знаниям (науке) меньше, чем было некоторое время назад?

Ответ: С огромным интересом. Я не верю, что про целое поколение можно сказать «лучше» или «хуже». Так говорят, как правило,

люди поверхностные. Некоторые черты сегодняшней молодежи мне нравятся больше, чем то, что я помню по своей молодости, некоторые меньше. А в целом молодость имеет огромные преимущества, и сталкиваться и работать с молодыми людьми — большое счастье. Конечно, хотелось бы часто лучшей предварительной подготовки. Белинский сказал очень точно, что никакое высшее образование не заменит начального, а мы часто пытаемся прикрыть первым недостатком второго. Хотелось бы больше внутренней культуры. Но что мне безусловно нравится в сегодняшней молодежи — это гораздо более сильно выраженное разнообразие личностей, вкусов, интересов. Я очень высоко ценю в людях любовь к искусству, особенно к поэзии, и ее знание. И меня очень радует, когда я сталкиваюсь с тем, что поэзия, духовная жизнь являются для человека не «десятым делом», а жизненной необходимостью.

Вопрос: Что для Вас свято?

Ответ: Человеческое достоинство.

Интервью по-эстонски было опубликовано в газете «Noorte Hääl» 28 февраля 1982 года. В оригинале публикуется впервые [в журнале «Вышгород» (Таллинн), 1998, № 3. С. 77—82].

Б. Ф. ЕГОРОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

Мои воспоминания о Лотмане реализованы лишь частично. Я многое еще мог бы сказать о товарище.

Например, целую главу следовало бы написать о так называемом антилидерстве Лотмана, о чем я лишь вскользь упомянул в очерке 2. Ведь за внешним «антилидерством» таилось глубинное, основательное, настоящее лидерство человека, который по своим творческим, нравственным, энциклопедически-образовательным способностям даже невольно становился центром и непрекаемым авторитетом для всех коллективов, в которых он находился.

Потом значительно можно было бы расширить рассказы об организаторской рыцарственности Лотмана. Например, приведу, с ее согласия, отрывок из письма Ф. С. Сонкиной ко мне от 13 ноября 1998 г.: «1974 год. Дело было в Латвии. Мы с Юрой на электричке ехали в Ригу из Кемери. Жаркое лето. Электричка полна, но мы с ним удобно сидим, потому что сели на конечном пункте — Кемери. Через несколько станций входит молодая женщина с девочкой лет пяти. Юра моментально вскакивает, освобождает место для девочки (мама от места отказалась). Девочка садится, Юра стоит возле меня, и мы тихо разговариваем. Девочка сидит и смотрит в окно. Поезд приходит в Ригу, все выходят, и я спрашиваю Юру, почему он освободил место девочке (что — маме, я бы поняла). На это он отвечает: “Да для того, чтобы она с детства знала, что мужчина должен поклоняться женщине, любить ее и... в том числе уступать ей место, независимо от возраста. Девочка тоже дама”».

Многое еще о чем стоит рассказывать... Но пока репродуцирую уже напечатанное. Источники:

1. «Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа». М., 1994. С. 475—484.
2. «Вышгород» (Таллинн). 1998, № 3. С. 147—153.
3. Там же. С. 74—76.
4. «Лотмановские чтения». Саратов, 1998. С. 35—39.

1. ПОЛВЕКА С Ю. М. ЛОТМАНОМ

Да, скоро исполнится 50 лет нашего знакомства. Довольно быстро, через 3—4 года, перешедшего в дружбу. Дружбу прочную, творческую и человеческую; как это ни удивительно, чистую, безоблачную, прошедшую сквозь трудные, иногда грязные, иногда драматические вре-

мена совершенно незапятнанной, ничем не омраченной. Мы ни разу за эти полвека не поссорились, ни разу не пробежала между нами черная кошка. Явление, конечно, уникальное. Один петербургский знакомый несколько лет назад, признавшись, что давно жаждал задать этот вопрос, наконец, спросил меня: «Как вы можете всю жизнь дружить с Лотманом? Неужели вас не захватывал сальерианский комплекс? Неужели вы ни разу не позавидовали ему?!» Наверное, я — неважный Сальери, или же Юрий Михайлович такой Моцарт, который способен обезоружить потенциального покусителя...

Скорее он не Моцарт, а Эйнштейн — удивительно похож внешне, да и внутренне тоже. По крайней мере, его господствующая черта (психологическая, переходящая в мировоззренческую) — гуманизм, активное, «потенциальное» внимание к людям, боль за обездоленных, посильная или даже непосильная помощь им. Невозможно представить Ю. М. Лотмана грубо или резко разговаривающим с любым собеседником или — неважно, в лицо или за глаза — грубо и резко характеризующего человека, событие, нацию... (это не означает всепрощения: нравственно чуждую особу он может деликатно-иронически хлестнуть весьма чувствительно). Еще Ю. М. очень похож на Э. Ласкера, шахматного кумира моего детства, но я совсем не знаю его личных свойств, поэтому не берусь судить о внутреннем сходстве.

Но Ласкера теперь забыли, а сходство с Эйнштейном — на виду. На заре перестройки случился такой эпизод в питерском аэропорту Пулково. Ю. М. Лотман стал тогда «выездным»; преодолевая физические недуги, неоднократно выезжал за границу; но перестройка, расковав нас политически, не очень-то позаботилась о скорости и простоте оформления документов. Из-за бюрократических задержек Ю. М. примчался в аэропорт, когда самолет на Осло (конференция — в Норвегии) давно уже улетел, следующий — через неделю, и единственным вариантом оказался транзитный полет с пересадкой в Хельсинки. Но и здесь уже не было свободных мест. Дежурная начальница смены посылает Ю. М. к начальнику международного аэропорта; профессор приходит в кабинет большого начальника, обставленного пультами и телефонами, и тот устало изумляется: «Почему она ко мне послала?! Она сама должна все решить» — «Не знаю». Начальник звонит дежурной: «Зачем вы гражданина ко мне прислали?» — и тут Ю. М. через стол хорошо слышит (телефоны у начальства мощные!) ее ответ: «Извините, но мне очень хотелось, чтобы вы посмотрели на него, как он похож на Эйнштейна». Начальник не может сдерживать улыбки, отпускает Ю. М. с богом, а образованная дежурная смогла достать «Эйнштейну» билет.

Творческая углубленность и интенсивность у Ю. М. тоже эйнштейновские, но, в отличие от знаменитого физика, Лотман — не однолюб, он никогда не занимался одной, пусть и магистральной темой, а ин-

тересовался самыми различными аспектами гуманитарных наук; в родном литературоведении он от раннего фундамента, от русской литературы конца XVIII века, шел и вперед — к Пушкину, Гоголю, Тютчеву, Толстому, XX веку, и назад — к Ломоносову, Петровской эпохе, к древнерусским памятникам, затем расширял свои интересы сопоставительными темами (особенно обстоятельно погружаясь в русско-французские связи), потом увлекся теорией литературы, семиотико-структуралистскими принципами анализа, отсюда был прямой путь в культурологию, в теорию и историю культуры и т. д. и т. п.

Многообразие и многоцветие интересов, заложенное, видимо, в натуре, создавало ценные открытия. Считаю, например, что одно из важнейших положений ученого — о необходимости для культуры нескольких языков — непосредственно вытекает из его глубокой привязанности к живописи и музыке, и не только в смысле посещений музеев и филармонических концертов, это само собой, но в непрерывной потребности сопровождать творческую деятельность буквальными связями со смежными искусствами: во время раздумий и разговоров, во время заседаний и конференций Ю. М. непрерывно рисует, изводя немалое количество бумаги, если она есть под рукой: карикатуры, сценки, лица, фигуры, абстрактные завитки; а когда он садится за письменный стол читать или писать, то ему желательно приглушенное звучание (радио, проигрыватель, магнитофон) классических произведений, обычно — Баха, Моцарта, Бетховена. Очень помогает, признается Ю. М.

Сочетание творческой интенсивности в работе с экстенсивностью интересов, преобладание, как у всякого открывателя нового, тенденции к разрушению старых структур и связей, к перекомпановке прежних элементов в совсем новые формы любопытно проявляется на бытовом уровне: в рисунках Ю. М. постоянно присутствуют шаржирование, сдвиги «реальных» пропорций; в разговоре Ю. М. бессознательно обращается к наличным предметам, переставляя их, комкая или даже искажая, если возможно, формы: например, если под рукой канцелярская скрепка, то она обязательно будет причудливо изогнута, полностью теряя первоначальный вид. И сны ему часто снятся «сдвинутые»; помню его рассказ о сне, где виделся горизонт с обилием заводских труб и со странными горизонтальными полосами дымов.

Когда дети были маленькие, любимая игра Ю. М. с ними: построить большую крепость из кубиков и деревяшек, а затем бомбардировать сооружение мячиками до полного разрушения (в педагогическом отношении занятие спорное: в течение одной из ближайших зим любознательные разрушители полностью развинтили — не ключами, а собственными пальчиками — велосипед, оставленный на веранде соседом).

Ю. М. не смог бы создать свои 800 научных трудов, если бы не обладал фантастической работоспособностью. У него никогда не

было «свободного» времени, он всегда занимался. Все четыре года тяжелейшей Отечественной войны (а он от звонка до звонка провел ее на передовой) он держал при себе учебник французского языка и штудировал его, как только выдавались минуты затишья. За студенческие пять лет он наработал столько материалов, что через год по окончании Ленинградского университета, быстро сдав весь кандидатский минимум, успешно защитил в родном университете первую диссертацию. Он не был ни в аспирантуре, ни в докторантуре, он никогда не награждался творческими отпусками, получал, по правилам советских вузов, непосильную нагрузку в 700—800—900 часов в год, из которых у Ю. М. добрая половина приходилась на лекции (он до сих пор жаден до лекционных курсов: и общие хочет читать, и — особенно — спецкурсы). Да это ведь реальные часы занятий, а сколько еще приходилось к ним готовиться! Единственное утешение — если читался курс, куда входили материалы советской литературы, то можно было многие современные произведения просматривать «по диагонали» или вообще говорить о них, не знакомясь, заранее зная их стандартно-типическое содержание. Семейный лотмановский анекдот тех лет. Жена, Зара Григорьевна: «Ты читал роман такого-то?» «Конечно, читал». — «Когда же ты успел, он ведь только что вышел». — «А я сегодня о нем на лекции читал».

Но постоянное обновление спецкурсов, обильные урожаи курсовых и дипломных работ, позднее еще и аспирантских сочинений отнимали уйму времени. Заедал быт: у Лотманов рождались дети; бабушек, увы, не было, приходилось домашний воз везти самим родителям, а они оба были творческие работники, поэтому делили бытовую ношу пополам. К тяготам относились с юмором; в комнате были развешаны лотмановские карикатуры со сценками из повседневной жизни; например, на одной была изображена глубокая ночь, орущий малыш и папаша (Ю. М. великолепно себя шаржирует) в ночном белье и босиком, уныло греющийся бутылочку с молоком; сбоку подпись: «Джон Грей».



Ю. М. оказался превосходным домохозяином; есть универсально талантливые люди, т. е. талантливые не только в своей узкопрофессиональной сфере: Ю. М., например, отличный кулинар. А для научной работы времени не оставалось, вернее, оставалась ночь, что Ю. М. с успехом для работы и с ущербом для здоровья постоянно использовал. Недосыпал он систематически. Когда я впервые увидел Ю. М., ему было 25 лет, но выглядел он на все сорок. Еще один анекдот. Заходит Ю. М. с первенцем-сынишкой в магазин, а какая-то сердобольная старушка ворчит: «Вот ведь нынешние родители, сами — господа, деда с внуком послали за продуктами»... «Деду» же не было и тридцати. Уставал Ю. М. отчаянно. Как-то он признался: «Если бы меня подвесили за ногу вон за тот крюк (показал на верх люстры) и оставили меня в покое, ох, и выспался бы я!» Конечно, за все эти недосыпы и недоотдыхи Ю. М. заплатил дорогой ценой, его организм сейчас часто напоминает об этих авралах, но иначе, видно, не было бы всемирно известного ученого.

Что еще способствовало успеху Ю. М. как ученого и как университетского преподавателя — уникальная память. Я не встречал больше людей с такими мнемоническими способностями. В его естественном компьютере заложены почти все стихи Пушкина, громадные массивы русской поэзии, лексика основных европейских языков, тысячи фактов и событий. В вечера общения, в прогулочные отрезки времени Ю. М. интереснейше рассказывал о войне, легко оперируя названиями городов и сел, датами... Когда я однажды изумился, он смущенно промолвил: «Я всю войну помню как по календарю: день за днем, все четыре года». Тогда я почти буквально завопил: «Господи, какой материал пропадает! Какой бы отклик нашла такая мемуарная книга, где вся Отечественная война рассказана не генералом и не офицером, а простым сержантом! Честное слово, Ю. М., эта книга была бы весомее и долговечнее ваших научных трудов, как бы я ни любил их: ваша научная деятельность принадлежит истории, принадлежит в буквальном смысле, она является важным этапом в истории науки, но следующие поколения отнесутся к ней именно исторически, как к определенной ступени в развитии науки, а книга о войне была бы, конечно, тоже исторической, полезной по фактическому материалу, но она стала бы надысторической, стала бы вечным памятником ленинградскому юноше, со студенческой скамьи взятому в армию, прошедшему страшную четырехлетнюю войну в самой гуще ее событий и ярко и правдиво ее описавшему». Так приблизительно агитировал я его. Неоднократно. В самых различных ситуациях. Увы, безнадежно. Ю. М. считает, что научная его деятельность важнее для человечества. А я часто браню себя, что не уговорил учеников, аспирантов и студентов с помощью магнитофона провоцировать Ю. М. на устные рассказы: глядишь — через год-два можно бы и книгу получить. А теперь — поздно, Ю. М. признается, что многие эпизоды уже стираются из памяти. Прозевали...

В нашей же памяти, тоже недолговечной, осталось несколько живых эпизодов (любопытно: как у большинства вспоминающих о войне, главные события у Ю. М. — не бои, а тяжелый изматывающий труд по рытью окопов и землянок, многокилометровые марши, голод и холод, бытовые конфликты). Изнурительное многодневное отступление 1941 г. по южноукраинским степям, безводье, жажда, радость встречи с арбузной бахчой: напились, даже умылись арбузным соком. В неразберихе окружения — героический образ неизвестного майора, на свой страх и риск остановившегося на опушке и указывавшего разрозненным группам бойцов, как обойти немецкие заслоны и выйти к своим. Твердое решение Ю. М. при угрозе плена уйти из жизни; не было пистолета, лишь винтовка; сапог снимать слишком долго, ситуация может быть мгновенной, поэтому носил с собой толстый карандаш: дотянуться до курка. Рыцарственные усилия Ю. М., в духе Льва Копелева, спасти от разграбления германские дома и даже замки; иногда удавалось; к счастью, в отличие от Копелева, у Ю. М. в части было больше ремарковского, а не бандитского люда, было много питерской молодежи. Могли и своровать, но не у частного, а у государства — или же ничейное; колоритный рассказ, как ночью на станции из неохраняемого вагона стащили ящик консервов (на ощупь) и ящик булькающих бутылок (спиртное!); оказалось — противотанковые гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Грандиозное питье в день окончания войны, со всякими смешными историями. Веселые рассказы о подготовке к празднованию дня Красной Армии, когда группе бывших студентов, в том числе и Ю. М., было поручено сочинять оду родной дивизии, а комдив все забраковывал и забраковывал очередные варианты; наконец, поэты догадались, что нет строк во славу комдива, вставили, текст был тотчас же утвержден.

Не смешно, однако, а грустно, что мы никогда не прочтем книги воспоминаний Ю. М. Лотмана. Но он ее и не собирался писать, это я его безуспешно агитировал. А вот то, что не осуществились некоторые его собственные планы, еще грустнее. У Ю. М. явно не реализовались в полной мере литературно-художественные наклонности: они иногда проявляются в изумительных образах, в остроумных очерках его частных писем; иногда Ю. М. взрывается ярким трагическим стихотворением. Эти тексты зафиксированы, их публикациям еще наступит свой черед. Но два замысла художественных произведений (еще не ясно было, в каком жанре: то ли повести, то ли пьесы), увы, целиком остались в проектах.

Это были замыслы произведений хотя и художественных, но на социально-политическую тему: показать, как бы развивалась русская история, русская общественная жизнь, если бы в 1825 году победили декабристы, а в начале 1860-х годов страной завладела бы партия Чернышевского. Вырисовывались интересные сюжеты о борьбе Пестеля с северянами за власть, победа Пестеля, причудливая смесь де-

мократических и деспотических принципов, агрессивная внешняя политика, обласкивание, а потом жестокое отталкивание не поддающегося власти Пушкина. А в шестидесятых годах — Писарев с Зайцевым во главе русского просвещения, разгон университетской профессуры, варварская, похлеще николаевской, цензура, потом сбрасывание, как слишком мягкотелых, вождей Нечаевым и установление сталинского режима в России за 60 лет до Сталина. Получились бы занимательные произведения, на конкретном материале показывающие типологическую общность всех заговорщических революций, неумолимо приходящих к деспотии (кстати, советую незнающим прочесть интереснейшие воспоминания болгарского революционера Ивана Хаджийского, блистательно показавшего ту же типологию в истории болгарского освободительного движения: мужественные и благородные романтики, начинающие революционный путь и вначале вершащие события, оттеснение их жесткими наполеончиками, создание тоталитарного режима...).

Много других замыслов погубило на корню, в том числе и совместных. Не написали мы полусерьезную, полуюмористическую, но для тех застойных лет очень бы полезную книгу-пособие для научных смельчаков «Как реабилитировать реакционеров и идеалистов» (первый прием там был под названием «навешать собак»: надо было найти еще более матерого реакционера, чем свой собственный объект, очернить того, как только можно, и тогда свой выглядел бы чуть ли не прогрессистом). Не удалось нам пешком пройти по стопам Радищева от Петербурга до Москвы — вынашивали такой замысел, хотели изучить жизнь именно радищевских сел и городов почти два века спустя, подолгу останавливаясь в них, — и затем описать в путевых очерках.

Выше я уже говорил о гуманизме и помощи людям. На эту тему можно многое вспомнить. Терпимое, христиански «прощальное» отношение к озлобленным людям, наносившим Ю. М. Лотману существенные нравственные уколы. Постоянное снисхождение к нерадивым студентам и аспирантам. Постоянно открытый кошелек для разных вспомоществований: от серьезно нелегальных (сборы в помощь политическим заключенным или выгнанным с работы) до бытовых подношений нуждающимся коллегам и знакомым (кошелек так быстро пустел, учитывая еще и немалые траты на растущую семью, что довольно часто Лотманы сами нуждались в помощи: не в безвозмездной, конечно). Я делю людей на две категории по поведению при необходимости раскошелиться в трамвае, музее, буфете, если присутствует несколько человек своих и неудобно из-за мелкой суммы расплачиваться каждому за себя: одни в таких случаях бросаются вперед, спеша расплатиться за всех, другие, наоборот, любым способом замедляют ход, рассчитывая на альтруистов; ясно, что Ю. М. принадлежит к первой категории, к самой «бросающейся» ее части.

Дом и стол семьи Лотманов всегда представлял собой то ли частную бесплатную гостиницу, то ли табльдот при гостинице: кто-то ночует, приехавший из Москвы или Питера; за вечерним чаем постоянно толчется народ, неизвестно откуда взявшийся, да и утром за столом бывают гости. Ну, а уж если какая-либо конференция в Тарту или защита диссертации, то лотмановский стол терпит гостей с утра до вечера, невольно обеспечивая трехразовое питание, а иногда и более того. Характерный эпизод. Конференция, приезжие, живем в прекрасной гостинице «Парк», иду я завтракать в буфет, тоже тогда прекрасный, со свежим холодным молоком и с ароматным горячим кофе, встречаю в коридоре знакомого, приглашаю с собой, а он мне откровенно: «Нет, я лучше пойду к Юрию Михайловичу». Мои полуустыжающие аргументы — дескать, дайте ему хоть утром от нас отдохнуть — увы, не помогли. Конечно, у Ю. М. вольготнее, чем в буфете...

У Лотманов гостиwali и опасные для КГБ люди. Однажды неожиданно появился А. И. Солженицын, проездом остановился на день в Тарту. Постоянно приезжали бывшие ученики Г. Г. Суперфин и А. Б. Рогинский, каждый из них поплатился за антисоветские деяния лагерем и ссылкой. Как-то я, приехав, застал у Ю. М. немало дней уже живущую Наталью Горбаневскую, московскую поэтессу, отличившуюся в 1968 году выходом на Красную площадь в числе знаменитой семерки московских смельчаков, протестовавших против вторжения наших войск в Чехословакию. А уж сколько перебывало гостей, привозивших и увозивших самиздат и тамиздат, не сосчитать.

Разумеется, семья Лотманов была под подозрением и наблюдением, а однажды добрые молодцы нагрянули с многочасовым обыском; перебрали по страничке каждую книгу громаднейшей библиотеки, ничего опасного не нашли: большая связка крамольнейшего самиздата лежала на верху голландской печки, агенты копались, стоя на стремянке, на книжном стеллаже в двух шагах от пакета, но не додумались подняться еще на полметра и заглянуть на печку!

Можно представить, сколько мужества и самообладания нужно было иметь Юрию Михайловичу и Заре Григорьевне, чтобы внешне спокойно наблюдать за операциями гебистов у самой опасной черты. Вообще, мужества Ю. М. не занимать. Его поведение на войне, лишь отдельными штрихами намеченное фронтовыми друзьями и совсем затушеванное — самим Ю. М., хорошо отображенное в блестящей характеристике фронтового начальства, выданной при демобилизации (и умышленно потерянной университетскими подонками, чтобы легче было отказать Ю. М. в рекомендации для поступления в аспирантуру — а Ю. М. не догадался снять копию!), увы, нынешними документами почти не зафиксировано. Разве что полная грудь орденов и медалей, заработанных сержантом на передовой, а не в тылу, красноречиво говорит о многом. Зато весь его путь последу-

ющих нелегких лет от Сталина до Андропова лежит на наших глазах, и тут вряд ли кто будет спорить, что, начиная от социально-политической выдержки (ни разу не поступиться человечностью, ни разу не солгать ради сохранения благонамеренного статуса) и социально-политических поступков, подпадающих под статьи каких-то там советских кодексов, и вплоть до бытового поведения (перебарывание тяжелых недугов, физических и нравственных, обращение с нарушителями уличного спокойствия и т. д.), — Ю. М. представляет собой одного из самых стойких людей нашего времени.

Гуманизм и мужество как ведущие черты характера хорошо проявились в мировоззрении ученого и в избирательном его интересе к соответствующим темам. В самые застойные брежневские годы, когда культивировалась классовая ненависть, Ю. М. открыто истолковывал «Капитанскую дочку» как произведение о милосердии, о внеклассовой, человеческой подкладке в чувствах и поступках персонажей, включая Пугачева и императрицу. А в смысле мужества отметим постоянное внимание Ю. М. к Радищеву, декабристам, Пушкину-человеку.

Отражение мировоззренческих и психологических особенностей ученого в его научных трудах — значительная и малоизученная тема. По отношению к Ю. М. Лотману она тоже достойна специального обширного исследования; замечу лишь, что интерес его к естественным, первозданным свойствам жизни, к «цыганщине» и, соответственно, к творчеству Руссо, Пушкина, Гоголя, Тютчева, Толстого, Блока связан с заветной, но недостижимой в условиях городской цивилизации идеальной простотой бытия, а теоретический комплекс структурно-семиотических работ Ю. М. Лотмана выглядит как сопротивление, отталкивание от чуждого, навязываемого метода, как убедительный противовес «социологическому импрессионизму» (термин Ю. Г. Оксмана), господствовавшему в советские годы, якобы строго научному, а на самом деле крайне субъективистскому, шаткому, меняющемуся по злобе дня методу и меняющейся шкале ценностей. А с другой стороны, теоретические пути, возможно, были необходимой преградой, сдерживающей рвущуюся на свободу первозданного бытия лавину духовных и душевных сил...

Петербург, июль 1993 г.

2. НАША МОЛОДАЯ КАФЕДРА

В своих воспоминаниях, уже опубликованных, я рассказал о том, как один питерский коллега признался мне, что он много лет хотел задать мне вопрос, потом однажды в конце концов решился: «Как Вы могли дружить с Юрием Михайловичем столько лет и не позавидовать, и не поссориться?» Я начал ему с ходу развивать некоторые свои соображения, потом мы много говорили с Юрием Михайловичем: я ему рассказал об этом нашем диалоге. И тоже приводили каждый

свои концепции, почему мы не ссорились. Действительно, это редчайший случай, я не знаю ни одного такого своего соединения с кем-то, чтобы за несколько десятков лет ни разу не поссориться. Недавно я еще кое-какие идеи продумал и хочу сейчас высказать их.

Юрий Михайлович Лотман был человеком, совершенно органически неспособным к командованию, к сообщению другим своих руководящих идей и, так сказать, настаивающим на том, чтобы эти идеи выполнялись. Наверное, и у меня, кстати, такое «антилидерство»: я, как и Юрий Михайлович, терпеть не могу, когда мною руководят, когда мне дают какие-то указания, и самому мне органически противно кого-то учить и кому-то приказывать. Просить могу, и то как-то не очень приятно.

Я как раз недавно занимался Карлом Марксом и думал, что для Карла Маркса две черты были характерны: лидерство, просто генетически заложенное стремление с молодых лет руководить, указывать, командовать и где-то тоже, наверное, в генах содержащаяся склонность к скандалам, к конфликтам. Юрию Михайловичу эта, так сказать, скандальность была абсолютно противопоказана. Он был очень терпимым, толерантным, рыцарственным и, наверное, эти две черты были доминирующими. Он очень был терпим к преподавателям, к лаборантам, когда они чего-то и недоделывали, и к студентам он тоже иногда был чрезмерно снисходителен, не до такой степени, может быть, как Борис Михайлович Эйхенбаум, о котором он пишет. Об Эйхенбауме легенды ходили. Студентка отвечает, потом последний вопрос — «Анна Каренина». «Вы мне только скажите, Вы читали *Анну Каренину*?» — «Нет, простите, я не прочитала *Анну Каренину*». — «Как это замечательно! Я поздравляю Вас!» Та ошарашена и не понимает, в чем дело. «Я так счастлив, что Вам это предстоит!» Конечно, уж Юрий Михайлович не до такой степени был терпим, но ему было присуще доверие к человеку и терпимость. Ведь это не равнодушие, не наплевизм, а полная органическая неспособность командовать, приказывать, давить на человека.

И вот с молодых лет у нас образовалась кафедра в общем терпимых, по-доброму относящихся друг к другу людей, и это великое дело. Не надо, конечно, идеализировать, были и конфликты, и какие-то ссоры, и даже, может быть, более крупные расхождения, но в целом все-таки толерантность — это то, что характерно было для нашей молодой кафедры. Юрий Михайлович если с кем конфликтовал, так это с Зарой Григорьевной. Наверное, это была физиологическая необходимость разрядки, которая могла замкнуться на какой-то кухонной чепухе, и из-за этого выходил конфликт. Иногда бывали и идеологические споры, но это не настолько существенно.

Конечно, еще и потому нам было друг с другом хорошо и кафедра была все-таки целостным и относительно бесконфликтным организмом, что нам все время приходилось держать круговую оборону. По-

тому что нас очень давило начальство, иногда, кстати, по делу. Начальство факультета, воспитанное в немецко-эстонском строгом, я бы даже сказал, бюрократическом, ореоле, очень шпыняло нашу кафедру за несоблюдение формальностей. У нас был небольшой и, пожалуй, единственный период четкости и порядка в 50-е годы — при Сергее Геннадиевиче Исакове. Не примите это за чрезмерный комплимент, но действительно Сергей Геннадиевич был идеальным лаборантом. Он, к сожалению, был им, кажется, всего год, потом он стал преподавателем, и мы даже плакали, потому что следующим лаборантом после Сергея Геннадиевича был человек совершенно противоположного склада. Бывают люди, которым органически не присуще знание о том, что творится вокруг, и им можно говорить, им можно телефонограммы посылать, все равно у них будет все валиться из рук. А Сергей Геннадиевич был лаборантом, который все знает, что в университете творится. Я не думаю, чтобы он куда-то там специально ходил, узнавал, это просто натура человека: по должности и по своему внутреннему интересу он все знает. В отношении ведения дел у нас были тогда кафедральные грехи. И от начальства доставалось иногда, наверное, правильно за наши беспорядки. Но зато все уходило в науку и в учебу, потому что главное, конечно, было для нас занятия со студентами, занятия свои собственные, а нагрузка тогда была очень большая (значительно больше, чем нынешние учебные нагрузки).

Юрий Михайлович был очень жаден до занятий, ему хотелось и общий курс читать, и спецкурс, и еще какой-то дополнительный спецкурс: он набирал, набирал, причем абсолютно бескорыстно. Это был научный пафос: ему хотелось поделиться со студентами, рассказать о том, чем он сейчас занимается, и так как учебная работа отнимала почти весь день, то на научную работу, на которую он тоже был жаден до самой кончины своей, оставалась ночь, работал до трех, до четырех утра, иногда до пяти, до шести, а в 8—9 надо вставать и на занятия идти. Конечно, это сжигание организма. Я думаю, что относительно ранний уход из жизни Юрия Михайловича — это результат совершенно ненормального существования, когда человек работает чуть ли не по 20 часов. Конечно, может быть, лучше было бы, чтобы он работал 8 часов в день, тогда бы не было Юрия Михайловича, не было бы стольких работ, которые он написал.

Из-за того, что и Зара Григорьевна была человеком учебного интереса и научного склада, конечно, в семье была очень запущена хозяйственная деятельность. Юрий Михайлович многое брал на себя. Он в этом отношении был рыцарь и часто заменял Зару Григорьевну и у кухонной плиты, какие-то виртуозные придумывал блинчики, особым способом жарил второе.

Я могу рассказать очень интересный эпизод. Моя дочка Таня и старший сын Лотманов Миша — почти ровесники. Помню, им 3—

4 годика, они играют в папы-мамы. Типичная детская игра. Моя Таня как хозяйка что-то раскладывает, наводит порядок в доме, а Миша — не помню, то ли со своим портфелем, то ли у нас взял, — пришел усталый с портфелем домой. Открывает портфель: «А я курочку принес». Таня моя вытаращила глаза: «Курочку — это бабушка приносит». У нас бабушка ходила за продуктами. А папа должен книги приносить, папа ходит в книжные магазины и приходит с полным портфелем книг. Этот эпизод мне на всю жизнь запомнился. Мы часто его вспоминаем, как «представление о папе».

Надо сказать, что книг Лотманы покупали, конечно, невероятное количество, и библиотека Юрия Михайловича — уникальная, в ней можно было работать, почти не пользуясь государственными библиотеками. Причем, не забудем, что первоначально Лотманы жили в Тарту в конце улицы Тяхе в маленькой «живопырочке» — метров 10 комнатка была, не больше. Ужасные условия: кровать, стол, маленькая кроватка, потому что только что родился Миша, их первенец. Еще книги. Книги, книги на подоконнике, какие-то уже были стеллажики, но все забито, потому что у Юрия Михайловича библиотека уже начала собираться в его студенческие годы. Он тогда довольно хорошую библиотеку себе смог приобрести, потому что после войны в Ленинграде были поразительно дешевые цены на книги. Можно было приобрести любые собрания сочинений за бесценок, любые редкие издания XIX века купить тоже по вполне умеренной цене. И Юрий Михайлович, как и многие из нас, покупал, покупал, покупал, а потом, так как он уже явно связал себя с Тартуским университетом, перевозил в Тарту эти книги чемоданами. Однажды я прямо ахнул. Юрий Михайлович все-таки не отличался богатырским здоровьем. Как-то раз я пришел к нему, он только что с поезда — и стоят три больших чемодана, неподъемные чемоданы, полные книг. Я ахнул, потому что тогда автобуса еще не было, а мы ехали поездом, из Ленинграда до Тапа и потом таллинским поездом до Тарту. А в Тапа никаких носильщиков нет. Я прямо вытаращил глаза: «Юрий Михайлович, а как же Вы три чемодана несли?» — «Очень просто, вот так, вот так и вот так». Наверное, переносил постепенно эти чемоданы, и в конце концов собрал эту уникальную библиотеку, которая помогла создавать его работы.

Очень был тяжелый быт не только потому, что Юрий Михайлович и Зара Григорьевна были людьми науки и мало занимались хозяйством, просто трудно было в такой комнатке, с мальчиком, только родившимся, наладить быт. Да и денег не было. Поэтому у Лотманов в первые годы, например, с посудой было трудно, едва на себя хватало. Скажем, приходит семья Егоровых в гости, четыре человека сидят за столом: две тарелки есть, а уже третьей нет. У Юрия Михайловича была изумительная вилка. Он всегда ее брал себе и называл ее декадентской. Один только зубец был правильный, второй зубец

был в виде штопора, я не знаю даже, кто его так свернул, третий зубец был просто наполовинку отломанный, а четвертый зубец под 90 градусов торчал. И вот Юрий Михайлович виртуозно кильку или что-нибудь захватывал, умудрялся в рот отправить, а после каждого укуса очень залихватски смотрящим вбок зубчиком усы подправлял. Конечно, постепенно быт налаживался, следующая квартира была двухкомнатная, потом трехкомнатная, постепенно эта сторона жизни как-то налаживалась, но трудности все равно оставались, дети росли. Работали, конечно, и Лотманы, и мы все очень зверски. Это уж действительно так.

Я еще хочу рассказать о том, какой Юрий Михайлович был семейнин, дело не только в «курочке», а вообще в таком напряженном внимании к дому, к жене, к ребятам. Хочу рассказать один эпизод, как Юрий Михайлович несколько часов был вне себя, когда «потерялась» Зара Григорьевна. А «потерялась» она, в общем-то, совершенно естественно, так как у нас не было телефона. История была такая. Я тогда жил в Питере, и квартиры у меня в Тарту уже не было, и Лейда Алексеева — тогда она была фактически женой Адамса, но еще держала свою небольшую квартирку (собственно, это две комнатки в коммунальной квартире) на улице Бурденко-Вески — очень бескорыстно уступала мне одну комнату, когда я приезжал на заочную сессию. Эту свою квартиру она все время кому-нибудь уступала. Там всегда жили какие-то знакомые девочки-студентки. Девочки переходили в одну комнату, а мне оставалась другая. Я не только занимался лекциями и практическими занятиями, но мы с Лотманами тогда очень усердно готовили «Ученые записки», потому что уже пошли и семиотические тома, и обычные тома «Трудов по русской и славянской филологии», еще сюда вклинивались добавочные тома монографий, которые тогда уже все основные сотрудники выпускали. Много было работы. И я обычно старался тоже помочь, когда приезжал зимой и летом на заочную сессию, с комплектованием очередного тома, написанием рецензий и, скажем, просто «причесыванием» статей, потом чтением корректуры, если уже том был «на выданье» из типографии. И мы пытались все-таки освободить Юрия Михайловича от этой технической работы, в основном мы этим занимались с Зарой Григорьевной вдвоем.

Как раз в один из вечеров Зара Григорьевна принимала какой-то длинный студенческий экзамен, и мы договорились, что вечером она придет ко мне и мы будем с ней окончательно «подгонять» том, чтоб потом сдать в редколлегию. И действительно так и было. Она довольно долго была в университете на экзамене, потом пришла ко мне, мы сидели, наверное, тоже часа два, не меньше, этот том «причесывали», и потом я ее пошел провожать домой. Была такая прекрасная белая летняя ночь... Что за это время произошло?

Юрий Михайлович краем уха слышал, что я позвал Зару Григорьевну заниматься этим сборником, но он знал, что она экзамен

принимает. Он знал, что Зара Григорьевна принимает не халтурно: уж если она принимает, то долго, но все-таки, когда прошло уже 8, 9, 10 вечера, ему стало просто страшно: нет и нет, что такое? неужели экзамен до 10 вечера? Он побежал в университет — я еще раз подчеркиваю, что никаких телефонов у нас не было, — все там закрыто. Вахтер в главном здании вышел на звонок и сказал: «Никого нет, все аудитории закрыты, все студенты и преподаватели уже давно ушли». Это ему, конечно, еще больше прибавило волнения. Тогда последняя надежда, что она все-таки у меня. Он поднимается на Домберг, идет к моему дому. И вот замечательная черта, которую я отношу на счет эстонской ментальности. Две девочки-студентки сидят у окна, причем они были дома, никуда не уходили, когда мы там работали с Зарой Григорьевной, когда я пошел ее провожать, — это все на их глазах происходило. Испуганный, взволнованный вбегает во двор Юрий Михайлович, видит этих девочек, здоровается и спрашивает: «Где Егоров?» — «Его нет», — сказали. — «А вы не знаете, была ли у него женщина?» Девочки с могильными лицами: «Тут никого не было». Представляете его испуг! Что же это такое?

Довольно близко от этого дома жила наша общая знакомая, Дина Борисовна Габович. У Дины Борисовны единственной тогда был телефон. Он, испуганный, запыхавшийся, бежит к Дине Борисовне и начинает звонить в милицию, что у него пропала жена. «Ой, наверное, это ваша. Вот у нас лежит, но она вдребезги пьяная. Документов у нее никаких нет. Она ничего не может сказать. Приходите оформлять». Но он все-таки не поверил, что Зара Григорьевна может вдребезги пьяная лежать в милиции. И он решил еще раз сбегать домой, а время уже около полуночи.

Мы уже давно пришли, и сыновья, тогда еще маленькие, сказали, что папа побегал искать Зару Григорьевну. И мы решили, что если мы пойдем ему навстречу, то опять разойдемся, и мы сядем на скамеечку около их дома и будем ждать хоть до часу ночи. И вот — действительно — около часа ночи бежит Юрий Михайлович, весь взлохмаченный, видит, что мы сидим, он чуть не с кулаками на нас набросился: где вы и что вы? И когда мы ему сказали, что мы были у меня, но что девочки проявили женскую солидарность, тогда только он немножко отошел. Во всяком случае, он очень пекся и заботился о семье.

Я рассказывал истории скорее смешные. А много было и драматического в жизни, но удавалось как-то все это преодолевать.

3. НА РУБЕЖЕ ПЯТИДЕСЯТЫХ (ОТРЫВОК)

Мне очень нравилась жена Адамса Лейда Юрьевна Алексеева (она до войны была женой русского художника Алексеева; кажется, он рано скончался). Сама талантливый художник, она и человек была яркий: умная, ироничная, добрая, с ней было очень интересно; наверное,

мало кто, кроме нее, мог бы выдерживать зигзаги настроения Адамса, а она блистательно с ним справлялась: «Володинька проснулся сегодня такой сердитый, такой сердитый, а я ему сразу кофе в кроватку — и он стал хороший». Лейда Юрьевна была близка мне еще и по любви к розыгрышам. Можно целый большой очерк написать о ее проделках. Расскажу лишь об одной.

Где-то под 1 апреля в Эстонии проходили выборы, не помню какие, но тогда это было важное политическое мероприятие, начальство сильно дрейфило, зная, сколько есть тайных ненавистников советской власти, поэтому перед выборами умышленно распускались слухи, что бюллетени пронумерованы симпатическими чернилами или что будут изучать отпечатки пальцев — чтобы люди боялись вычеркивать кандидата.

И вот Лейда Юрьевна вечером накануне выборов обзвонила самых подлых, самых лакействующих профессоров якобы от имени сотрудников таллинского радио: нужно с семьями явиться на избирательные участки к 6 часам утра, к открытию — корреспонденты будут брать интервью у видных профессоров. Можно представить утренние картинки у избирательных участков...

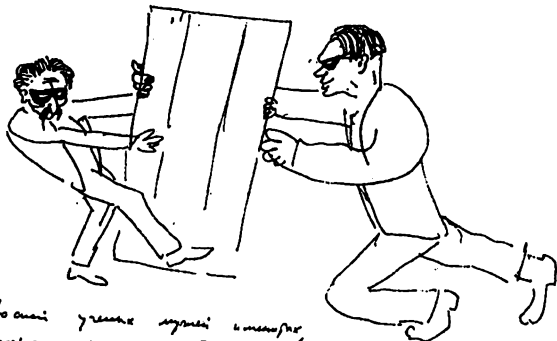
Занимались мы не только университетскими делами, у нас были частые и живые вечерние застолья, я уже писал об интересных шарадах, которые мы ставили (кажется, я еще не отметил яркий артистический талант Адамса, например, как он блестяще сыграл в одной шараде роль графа). Много клубилось и бытовых историй: квартирных, семейных, городских. Например, случилась шумная житейская история, в которой Ю. М. Лотман и я оказались главными персонажами.

Семья Лотманов, всегда отличавшаяся благотворительными устремлениями, привечала одну бедную старушку Гримм, бывшую преподавательницу немецкого языка. В 1950-х гг. пенсии были мизерные (да и была ли у нее пенсия?), жила старушка на какие-то гроши. Ю. М. придумал ей работу, она занималась немецким языком с его детьми (совсем малые тогда Миша и Гриша), и это давало возможность еще и подкармливать учительницу обедами и ужинами. Она ютилась тогда в комнатке в квартире бывшей жены Адамса Хильды Майсте, которая, видно, не отличалась высокой нравственностью: когда Адамса арестовали и затем отправили в карагандинские рудники, она отреклась от мужа; он не забыл ей этого и вернулся потом не к ней, а к приятельнице Лейде Юрьевне.

Х. Майсте — доцент ЭСХА (Эстонской сельхозакадемии), преподавала там русский язык. Не помню, как старушка оказалась в ее квартире, платила ли она что-нибудь за проживание, но только она стала нам со слезами рассказывать, что ее выживают. Вначале хозяйка перестала топить печь (дверца и выюшка находились в соседней комнате). Не помогло. Тогда Майсте в отсутствие жилицы всадила в

комнатку большой трехстворчатый шкаф, при котором нельзя было даже повернуться.

И мы с Ю. М. решили самовольно, без всяких судов и парткомов (тогда ведь со всякими житейскими невзгодами шли в партком!), защитить старушку. Утром, когда Майсте была в ЭСХА, мы явились на ее квартиру, извлекли шкафище из комнатки, оттащили его в дальний угол коридора (где он, кажется, и стоял раньше). Маленькая дочка Майсте, видимо сильно испугавшись нашествия каких-то разбойников, побежала за мамой, и когда мы уходили, то столкнулись с хозяйкой, которая еще на лестнице кричала: «Я сейчас вызову милицию!» Когда она узнала, что разбойники — университетские доценты, она не решилась поднимать шума и на время оставила старушку в покое, однако несчастная бездомница вскоре перебралась в другое место. История получила огласку, коллеги нас в основном хвалили, а Б. В. Правдин написал по этому поводу торжественное стихотворение:



Гнев, о богиня, воспой ученых мужей именитых,
Велий ковчег исторгших из келии бедной вдовицы,
В скорбной юдоли земной благолепный мир водворивших.
Подвиг сей геркулесов в граде гиперборейском
Лавра священной листвы, омировой лиры достоин.
16. XII. 1958. Ю. М. Лотман.

Гнев, о богиня, воспой ученых мужей именитых,
Велий ковчег исторгших из келии бедной вдовицы,
В скорбной юдоли земной благолепный мир водворивших.
Подвиг сей геркулесов в граде гиперборейском
Лавра священной листвы, омировой лиры достоин.

16. XII. 1958.

Ю. М. же нарисовал хорошую карикатуру, изобразив нас, в самом деле, в виде налетчиков в масках.

Если бы собрать все рисунки Ю. М. Лотмана тех лет, то можно было бы составить замечательную летопись нашей тогдашней жизни, да еще в двух ипостасях, словесной и изобразительной, а как говорил Юрий Михайлович, культура всегда стремится к многоязычию!..

4. Ю. М. ЛОТМАН В БЫТУ: ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ

О творчестве Ю. М. Лотмана (в дальнейшем он именуется сокращенно: Ю. М.) написано уже немало работ, еще больше их будет создано в последующие годы, появились также воспоминания и очерки о нем как о человеке. Однако, пока живо наше поколение, пока еще существуют на земле друзья, хорошо знавшие выдающегося ученого, надо спешить закрепить на бумаге все наиболее характерные черты его личности — история скажет нам спасибо.

Один когда-то близкий мне литературовед постоянно завидовал Ю. М. и часто придумывал для своего утешения его недостатки; он, например, решил объяснить доброе, совестливое, рыцарственное поведение «недруга» таким пассажем: «все его поступки головные, он нарочито старается быть хорошим; это лицемерие». Я взвыл от глубины такого «сальерианства», подчеркнул, что это чудовишный поклеп на Ю. М., и добавил: «Как бы было здорово, если бы ты лицемерно стал нежмотом!» (мой приятель грешил изрядной скупостью). И в самом деле, как бы преобразился мир, если бы все злые люди стали лицемерно добрыми! Мне корыстно внимательная и вежливая продавщица несравненно приятнее откровенной хамки. Но это к слову.

А может быть, подозрения в «головных» а не в «душевных» причинах широко известных положительных качеств Ю. М. возникали и у других знакомых? Не дал ли Ю. М. своими идеями о «жизнестроительных» сознательных тенденциях Пушкина (очень мне чуждыми идеями; по-моему, Пушкин слишком был стихийным) повод и его подозревать в таких «сознательностях»? Сразу же отвечу, что хотя Ю. М. и был более Пушкина «жизнестроительным», но страстно-стихийная его натура отнюдь не способствовала расчетам и целесообразности поведения (тот же приятель однажды высказал, по-моему, истинную мысль, кстати, опровергающую его некрасивые подозрения: дескать, душа Ю. М. была настолько бушующей, что он увлекся структурно-семиотическим схематизмом, чтобы сковать такой цепью пламенную душу...).

Добрый и щедрый Ю. М. был от природы, от родительских генов, и это подтверждалось неоднократно самыми различными сюжетами. Для меня одним из главных критериев проверки человека на антиномию «щедрость — скупость» является его поведение в компании знакомых, когда нужно расплачиваться за буфет или за автобус-трамвай-троллейбус. Если некто быстро расплачивается за себя одного или старается встать подальше от кассы, то это антипод Ю. М., который, наоборот, бросался к кассе заплатить за всех. Или еще его рассказ о таком эпизоде. Москва, Ленинская библиотека, холодина и там, и на улице; Ю. М. с младшим коллегой пошли перекусить в блинную, заодно решили распить для сугреву бутылочку, и Ю. М.,

оставив товарища в очереди за блинами, побежал в соседний магазин... Я, зная натуры и Ю. М., и коллеги, перебиваю: «А не справедливее ли было бы послать его, который в два раза вас моложе, за бутылкой, а вам постоять в очереди?!» Ю. М. нечего было возразить, такое совершается бессознательно.

У по-настоящему доброго человека существует презумпция антиподозрительности, веры в добрые же начала собеседника. Сколько было открытости Ю. М. и вспомоществования студентам — не перечислить. При этом иногда (слава Богу, что редко!) возникали и обманы, и воровство книг, и доноительство — но никогда подобные случаи не переламявали душу Ю. М., он оставался добрым. На его похоронах в 1993 г. президент Эстонии Леннарт Мери, бывший тартуский студент, рассказал о случае, поразившем его и запомнившемся на всю жизнь: когда Мери писал дипломную работу «Декабристы в Эстонии», то случайно с ним познакомившийся Ю. М., преподававший совсем на другом отделении факультета, предложил студенту свою обширную картотеку по декабристам (любопытно, что для эстонского студента оказалась удивительной научная щедрость профессора, для наших же столиц, тем более для профессоров старшего поколения, это обычное дело).

В опубликованном мной томе «Письма Ю. М. Лотмана» (М., 1997) зафиксированы добрые дела и по отношению к старшим, скажем, известная попытка Ю. М. перетянуть М. М. Бахтина в Тарту, которой должно было сопутствовать постоянное собирание денег для оплаты квартиры. Ни в каких письмах не сообщалось о частых сборах средств на помощь политическим заключенным в советских лагерях; могу теперь открыто подтвердить, что Ю. М. и З. Г. Минц щедро делились, беспрекословно и бесколебательно, хотя сами испытывали постоянную нужду (оба были на редкость нерасчетливыми и бесхозяйственными, деньги тратили и на себя без особой оглядки, и на родственников, и на постоянные обеды и ужины с гостями, так что даже при немалых гонорарах жили, как правило, в долг; получаемые зарплаты и гонорары сейчас же уходили на выплату долгов).

А совесть проявлялась в повышенной скромности, в постоянной оглядке на ближних: не помешал ли? не обидел ли? Последнее часто звучит в его письмах. Стоило несколько задержаться с ответом, как тут же получалось тревожное письмо: не обидел ли он чем-нибудь адресата? Господи, начинаешь в возвышенных тонах доказывать, что вообще невозможно на него обидеться и проч., — но через несколько месяцев тревога могла повториться.

Еще один важный критерий проверки человека: пьяное состояние. Считаю, что дети, старики и пьяные менее всего склонны к лицемерию и более всего проявляют глубинную сущность своей натуры. Иногда ведь бываешь удивлен, когда тихий и добродушный человек в пьяном виде вдруг выплескивает на поверхность злые или



Надгробия возведены по проектам тартуского скульптора
Станислава Нечволодова

грязные «уровни». Заверяю, что Ю. М. в самом распыанном состоянии оставался добрым и совестливым. Стыдливая улыбка (неудобно перед женщинами!), желание помочь на уборке «застолья» или по проходам далеко живущих и тоже нетрезвых. Оставался таким же, как всегда.

Рыцарственность его я тоже воспринимаю как генетическую, так как он неоднократно проявлял ее и в пьяном, и в трезвом состоянии. Кстати, в постоянных рывках расплатиться за всех тоже ведь участвует не просто доброта, но и рыцарственность. Невозможно вообразить рыцарственную жадность!

И, конечно, в рыцарственности почти всегда участвует храбрость. Один эпизод. Дача под Тарту. Я — в гостях у Лотманов, какие-то гости там и женского пола. Гуляем. Мы с Ю. М. приотстали, ведем свою беседу, а три женщины впереди, метрах в тридцати от нас. Каких-то два дюжих эстонца, похоже, что не совсем твердо стоящих на ногах, идут навстречу, останавливают женщин то ли расспросами, то ли заигрыванием — и Ю. М. обрывает нашу беседу на полуслове и бежит вперед. Кажется, у встречных никаких грубых намерений не оказалось, но если бы были, то Ю. М., не задумываясь, вступил бы в спор, в драку... Это натура, а не сознательная расчетливость поступков.

Мне всегда была неприятна теория «разумного эгоизма», проповедовавшаяся Чернышевским: якобы на этом стоит мир, якобы даже мать, рискующая ради ребенка и готовая даже жизнью пожертвовать ради него, действует так по эгоистическому расчету: ей так будет лучше, а иначе ей будет худо. В лекциях я всегда приводил в опровержение теории пример, запавший в памяти: где-то на Ставрополье с железнодорожной платформы упал на рельсы игравший там ребенок, а к платформе на полной скорости приближался проходивший мимо товарный поезд, который через несколько секунд раздавил бы младенца; находившийся рядом милиционер прыгнул на рельсы, схватил ребенка и моментально скатился под платформу. Неужели спаситель в эти секунды рассчитывал разумом, что выгодно ему и что невыгодно?! Так и Ю. М., побежавший на выручку к жене.

Отмечу, что Ю. М., маленький, шуплый, с детства не боялся драк, почему ему в школе, как сам он рассказывал, часто доставалось от более сильных одноклассников, что, однако, не останавливало борца за справедливость.

И еще одна «проверка на дорогах» — мысленный эксперимент на противоположность. Если попытаться представить Ю. М. жадничавшим, стремящимся прокатиться или покормиться наширмачка, или, в другом ракурсе, нахальным, в третьем — ведущим себя грубо с женщиной — то такое вообразить невозможно. Если бы такое случилось, то это был бы уже не Ю. М. Это был бы другой человек. Особый разговор — как отразились личные черты ученого в его научном творчестве; на эту тему нужно написать отдельную работу.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Абакумов В. С., советский гос. деятель 29, 309
 Абен Карл, преподаватель ТГУ, языковед 66
 Абрамов Федор Александрович, писатель 46, 307
 Абрамович Стелла Лазаревна, литературовед 180, 184
 Аврамец Ирина Александровна, преподаватель ТГУ, литературовед 154
 Адамс Вальмар Теодорович, доцент ТГУ, литературовед, писатель 60, 67—69, 73, 81, 83, 84, 314, 320, 368, 269
 Азатовский Константин Маркович, филолог 42, 306
 Азатовский Марк Константинович, проф. ЛГУ, фольклорист 18, 19, 37, 42, 276, 326, 331, 343—346
 Акимов Николай Павлович, режиссер 337
 Александр I 61, 147, 185
 Алексеев Василий Михайлович, академик, филолог 18, 21
 Алексеев Михаил Павлович, академик, литературовед 68
 Алексеева Лейда Юрьевна, художница, жена В. Т. Адамса 367—369
 Алексеева Любовь Васильевна, сокурсница Ю. М. по ЛГУ 21
 Аль Даниил, писатель 337
 Альтман Моисей Семенович, литературовед 130
 Альтшуллер Петр Григорьевич, литературовед 89, 135, 185
 Альтюссер Луи, франц. философ 164
 Алянский Самуил Миронович, издатель 130
 Амбус Ада, преподаватель ТГУ, литературовед 84
 Амелин Григорий Григорьевич, выпускник ТГУ, литературовед 123, 330
 Ампер Андре Мари, франц. физик 94
 Анастасевич Василий Григорьевич, библиограф, историк 77
 Андреев Леонид Николаевич, писатель 80, 154
 Андропов Юрий Владимирович, советский партийный и гос. деятель 256, 363
 Аренд Николай Федорович, лейб-медик, хирург 180
 Аристе Пауль, проф. ТГУ, филолог 84
 Артамонов Михаил Дмитриевич, физик, математик 185, 239
 Арьев Андрей Юрьевич, критик 177, 183
 Бабкин Дмитрий Сергеевич, литературовед 58, 306
 Багрицкий Эдуард Георгиевич, поэт 16
 Бавеский Вадим Соломонович, литературовед 159, 211
 Балонов Лев Яковлевич, физиолог 215
 Бальзак Оноре де 188
 Бальмонт Константин Дмитриевич, поэт 112
 Баратынский Евгений Абрамович, поэт 18, 179, 213, 235, 237, 265, 267, 330
 Барбюс Анри, франц. писатель 284, 293
 Батеньков Гавриил Степанович, декабрист 303
 Батюшков Константин Николаевич, поэт 79, 149, 150, 311
 Бах Иоганн Себастьян, нем. композитор 357
 Бахтин Михаил Михайлович 7, 22, 39, 73, 140, 141, 148, 149, 158, 195, 230, 239, 243—258, 353
 Безубов Валерий Иванович, доцент ТГУ, литературовед 64, 74, 80, 81, 113, 154, 167
 Безродный Михаил, выпускник ТГУ, литературовед 125
 Белинский Виссарион Григорьевич, критик 39, 40, 52, 54, 58, 113, 305, 309, 310, 340, 342, 354
 Белл Александр, американский физик 93
 Белобровцевы Ирина Захаровна и Виталий Иванович, филологи, издатели 220
 Белоусов Александр Федорович, фольклорист 154, 214
 Белый Андрей, писатель 191
 Беме Якоб, нем. философ 265
 Бенвенист Эмиль, франц. языковед 94, 126
 Берг Аксель Иванович, академик, физик, кибернетик 98, 158
 Бердников Георгий Петрович, литературовед 46, 47, 307, 311
 Берия Лаврентий Павлович, советский гос. деятель 30, 338
 Берков Павел Наумович, проф. ЛГУ, литературовед 9, 10, 19, 34, 54, 110, 132, 276, 312, 338, 339
 Бернштейн Сергей Игнатьевич, языковед 148
 Бетеа Д. — см. Bethea D.
 Бетховен Людвиг ван 74, 357
 Билинник Михаил Яковлевич, выпускник ТГУ, доцент ЛГУ, литературовед 26
 Билинник Яков Семенович, доцент ТГУ, проф. ЛГПИ, литературовед 45, 64, 70, 71, 311, 312, 314, 315
 Благовещенский Николай Александрович, писатель 70
 Блок Александр Александрович 37, 51, 65, 68, 111, 112, 115, 130, 149—151, 154, 156, 161, 165, 178, 181, 191, 196, 197, 201, 215, 217, 219, 260, 266, 310, 363
 Блюм Рэм Наумович, проф. ТГУ, философ 164, 269
 Богатырев Петр Григорьевич, филолог 124, 132, 149, 293
 Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович, польско-русский языковед 95
 Бок Тимофей фон, чиновник 226
 Бонди Сергей Михайлович, литературовед 168
 Боннэр Елена Георгиевна, жена академика А. Д. Сахарова 236
 Бочаров Сергей Георгиевич, литературовед 251, 258
 Брагинская Нина Владимировна, языковед 125
 Браже Тереза Георгиевна, литературовед, методист 177
 Брежнев Леонид Ильич, советский партийный деятель 65, 363
 Бродский Иосиф Александрович, поэт 160, 319

* Принятые сокращения: ЛГПИ — Ленинградский гос. педагогический институт им. А. И. Герцена, ЛГУ — Ленинградский гос. университет, ТГУ — Тартуский гос. университет, Ю. М. — Ю. М. Лотман.

- Бродский Николай Леонтьевич, литературовед 173
Бронштейн Михаил Лазаревич, эстонский экономист 164
Брюллов Карл Павлович, художник 18, 187
Буало Николая, франц. поэт, теоретик искусства 79
Буденный Семен Михайлович, маршал 25, 280
Булгаков Михаил Афанасьевич, писатель 29, 130, 197, 230, 315, 316
Булгакова Елена Сергеевна, вдова писателя 130, 315—317
Булгарин Фаддей Венедиктович, писатель 76
Бурлакова М. И. — см. Лекомцева М. И.
Бурсов Борис Иванович, проф. ЛГУ, литературовед 347, 348
Бухарин Николай Иванович, советский гос. деятель 337
Бюклинг Лийса, финская русистка 218
Бялый Григорий Абрамович, проф. ЛГУ, литературовед 18, 37, 45, 328
- Вановская Татьяна Викторовна, доцент ЛГУ, литературовед 311
Васильева Зоя, сокурсница Ю. М. по ЛГУ 21
Вахрушев Владимир Серафимович, филолог 254
Вацуро Вадим Эразмович, литературовед 177
Венгеров Семен Афанасьевич, литературовед, библиограф 42, 168
Веригина Валентина Петровна, актриса 130
Вернадский Владимир Иванович, академик 229, 241
Верч И. — см. Verč I.
Веселовский Александр Николаевич, академик, филолог 43, 44, 345
Веселовский Алексей Николаевич, академик, филолог 345
Вивер В., американский лингвист 95
Вигель Эдуард, библиограф Научной библиотеки ТГУ 66
Винер Норберт, американский математик, кибернетик 91—94, 103, 128
Виноградов Виктор Владимирович, академик, филолог 96, 102
Витт Иван Осипович, граф, генерал-лейтенант 178
Владимиров Сергей Васильевич, филолог, театровед 93
Волкова Октябрина Федоровна, востоковед, музыковед 132
Волконская Зинаида Александровна, писательница 234
Волохова Наталья Николаевна, актриса 130
Волощак Зоя Михайловна, языковед 99
Вольперт Лариса Ильинична, проф. ТГУ, филолог 161, 165
Вольтер 12, 20, 184
Ворошилов Климент Ефремович, маршал 23, 25, 271, 280
Вяземский Петр Андреевич, поэт 77, 79, 180
- Габович Дина Борисовна, знакомая Ю. М. 368
Гаген-Торн Нина Ивановна, этнограф, поэт 130
Галич Александр Аркадьевич, поэт, драматург 124
Галюмерян Хачик, фронтовой товарищ Ю. М. 30, 309
Ганелин Рафаил Шоломович, историк 62
Гаспаров Борис Михайлович, проф. ТГУ, филолог 123, 134, 155, 321, 322
Гаспаров Михаил Леонович, филолог 7, 55, 111, 123, 134, 247
Гашек Ярослав, чешский писатель 293
Гегель Георг Вильгельм Фридрих 74, 87, 91, 92, 251, 252
Гейне Генрих, нем. поэт 29, 107
- Герасимов Александр Викторович, востоковед 132
Герман Алексей Георгиевич, кинорежиссер 173
Геродот, греч. историк 15, 324
Герцен Александр Иванович 37, 45, 70
Гехтман Владислава Исааковна, секретарь Ю. М., научный сотрудник ТГУ 259
Гин Моисей Михайлович, литературовед 34
Гинзбург Лидия Яковлевна, литературовед 348
Гиннесс, семья ирландских пивоваров, издающая книгу рекордов 62
Гиппиус Василий Васильевич, проф. ЛГУ, литературовед 18, 191, 326, 328
Гиппиус Зинаида Николаевна, поэт 217
Гитлер Адольф 27, 273, 274, 282
Глинка Михаил Иванович 14
Гнедич Николай Иванович, поэт 15, 79, 273
Гоголь Николай Васильевич 14, 39, 40, 68, 73, 89, 186, 187, 191—196, 213, 220, 234, 260, 268, 273, 320, 342, 357, 363
Головин Борис Николаевич, языковед 101
Гомер 15, 147
Гончаров Иван Александрович, писатель 29
Гончарова (Пушкина) Наталья Николаевна, жена поэта 183
Горбаневская Наталья Евгеньевна, поэт 161, 163, 164, 317, 362
Горбачев Михаил Сергеевич, советский политический деятель 62
Гордин Яков Аркадьевич, критик, историк 177
Горький Алексей Максимович 113, 342
Грабак Иозеф, чешский филолог 126
Гревцова Г. Т., домработница в квартире М. М. Бахтина 257
Гречина Ольга Николаевна, сокурсница Ю. М. по ЛГУ, литературовед 21—23, 279
Гржибек П., культуролог 244, 245
Грибоедов Александр Сергеевич 74, 84, 113, 176, 181, 334
Григорьев, офицер 26, 280
Григорьев Алексей Львович, проф. ЛГПИ, литературовед 37
Григорьев Аполлон Александрович, поэт, критик 179
Григорьев Роман Геннадиевич, литературовед 7, 125
Григорьева Елена Георгиевна, литературовед 125
Гуковская Н. Г. — см. Долинина Н. Г.
Гуковский Григорий Александрович, проф. ЛГУ, литературовед 15, 16, 18, 19, 34, 35, 37—41, 44—46, 58, 149, 168, 169, 191, 192, 232, 273, 276, 307, 311, 326—331, 335—343
Гумбольдт Александр, нем. естествоиспытатель 221
Гумбольдт Вильгельм, нем. языковед 95
Густав II Адольф, король Швеции 61
Гуторов Иван Васильевич, белорусский литературовед 114
Гюго Виктор 29, 188
- Давыдов Василий Львович, полковник, декабрист 178
Данилевский Александр Александрович, преподаватель ТГУ, литературовед 214
Данилевский Александр Сергеевич, биолог 14, 273, 326
Данилевский Григорий Петрович, писатель 273
Даниэль Сергей Михайлович, театровед 7, 125
Даниэль Юлий Маркович, писатель 132, 160
Данте Алигьери 55, 184, 230
Дантес Жорж, офицер 332
Декарт Рене, франц. философ 103, 249

- Дементьев Александр Григорьевич, доцент ЛГУ, литературовед 36
- Державин Гавриил Романович, поэт 339
- Державин Николай Севастьянович, академик, филолог 348
- Диккенс Чарльз 12, 188
- Дмитриев Лев Александрович, литературовед 33, 45
- Дмитриев-Мамонов Матвей Александрович, поэт, публицист 41, 77
- Днепров Владимир Давидович, философ, литературовед 73, 256
- Добрушин Ролан Львович, математик 97
- Долинин Аркадий Семенович, проф. ЛГУ, литературовед 18, 34, 37, 45, 277, 326
- Долинин Константин Аркадьевич, филолог 277
- Долинина Наталья Григорьевна, литературовед, писательница, дочь Г. А. Гуковского 277
- Дольст К., офицер 26, 278, 279, 281, 298, 299
- Достоевский Федор Михайлович 16, 45, 70, 71, 91, 113, 156, 173, 188, 191, 248, 254, 256, 257, 272, 275, 316, 342
- Дробленкова Надежда Феоктистовна, литературовед 34, 35, 45
- Дрозда Мирослав, чешский русист 151, 165
- Дувакин Виктор Дмитриевич, литературовед 249
- Дудаев Джохар, чеченский политический лидер 85
- Дудин Михаил Александрович, поэт 29
- Дурдин Ярослав Васильевич, проф. ЛГУ, химик 242
- Душечкина Елена Владимировна, преподаватель ТГУ, литературовед 111, 154
- Душечкина Ирина Владимировна, преподаватель ТГУ, литературовед 154
- Дымышиц Александр Львович, литературовед 338
- Дьюи Г., американский русист 85
- Дюма (отец) Александр 29
- Евгеньев-Максимов Владислав Евгеньевич, проф. ЛГУ, литературовед 18
- Есеева-Сидорова Ирина Николаевна, сокурсница Ю. М. по ЛГУ, журналист 21—23
- Еголин Александр Михайлович, литературовед 91
- Егоров Алексей, фронтовой товарищ Ю. М. 283
- Егоров Борис Федорович, литературовед 100, 114, 123, 129, 133, 177, 210, 243, 306, 314, 320, 322, 366, 368
- Егорова Татьяна Борисовна, филолог, дочь Б. Ф. Егорова 256, 365, 366
- Екатерина II 89, 363
- Елизавета II, королева Великобритании 124
- Елизаренкова Татьяна Яковлевна, востоковед 132
- Ельмслев Луи, датский языковед 95, 107
- Еремин Игорь Петрович, проф. ЛГУ, литературовед 110
- Ермилов Владимир Владимирович, критик, литературовед 91
- Есенин-Вольпин Александр Сергеевич, математик, логик 97
- Жилко Богуслав, польский культуролог 230, 254
- Жинкин Николай Иванович, психолог, языковед 126
- Жирмунский Виктор Максимович, академик, проф. ЛГУ, филолог 10, 18, 44, 78, 107, 110, 111, 126, 232, 331
- Жолковский Александр Константинович, филолог 97, 99, 134, 321
- Жуков Георгий Константинович, маршал 274
- Жуков Дмитрий Иванович, школьный учитель Ю. М. 272, 324
- Жуковский Василий Андреевич, поэт 79, 215, 260, 269, 341
- Жулковский Стефан, польский культуролог 101
- Заболоцкий Николай Алексеевич, поэт 149, 151
- Заботкина Ольга Сергеевна, преподаватель ЛГУ, переводчица 37
- Завалишин Дмитрий Иринархович, декабрист 194
- Завалишин Ипполит Иринархович, брат Д. И. 194
- Загоскин Михаил Николаевич, писатель 74
- Зайдель Анна, сокурсница Ю. М. по ЛГУ 21
- Зайончковский Петр Андреевич, историк 159
- Зайцев Варфоломей Александрович, критик 361
- Зайчикова Ольга, сокурсница Ю. М. по ЛГУ, преподаватель Тартуского учительского института 48
- Закревская Аграфена Федоровна, петербургская светская дама 234
- Зализняк Андрей Анатольевич, языковед 99, 102
- Западов Александр Васильевич, проф. ЛГУ, литературовед 47, 48, 308
- Зарецкий Валентин Айзикович, литературовед 243
- Зеленин Дмитрий Константинович, этнограф, фольклорист 18
- Зимин Александр Александрович, историк 148, 231, 239
- Зиновьев Александр Александрович, математик, логик 97, 126
- Золотоносов Михаил Нафталиевич, критик 177
- Зошенко Михаил Михайлович 43
- Иванов Александр Андреевич, художник 13, 42, 89
- Иванов Вячеслав Всеволодович, филолог, культуролог 36, 71, 94, 96—99, 101, 102, 108, 121, 126, 131, 141, 159, 236, 237, 243, 245, 256—258, 320, 321
- Иванова Ленина, филолог 276
- Ивашенко, офицер 295, 296
- Игнатьев Михаил Борисович, кибернетик 206—208, 210
- Измайлов Александр Ефимович, писатель, журналист 79
- Измайлов Николай Васильевич, литературовед 335
- Ильф Илья, писатель 235, 321
- Ингарден Роман, польский философ 353
- Исаков Сергей Геннадиевич, проф. ТГУ, литературовед 8, 64, 66, 71, 72, 74, 80, 81, 110, 113, 129, 154, 159, 167, 216, 217, 352, 365
- Каверин Вениамин Александрович, писатель 130
- Каган Матвей Исаевич, философ 248, 249
- Кайсаров Андрей Сергеевич, филолог, историк 73, 78, 79, 84, 149, 320
- Калинин Михаил Иванович, советский гос. деятель 325
- Каллистов Дмитрий Павлович, проф. ЛГУ, историк 18
- Калмановский Евгений Соломонович, литературовед 33—35
- Калужнин Лев Аркадьевич, математик 97
- Каменская Виктория Александровна, сокурсница З. Г. Минц по ЛГУ, литературовед, переводчик 8, 52, 309, 310
- Кант Иммануил, нем. философ 165, 249, 250, 252, 253
- Кантор Георг, нем. математик 231
- Карамзин Николай Михайлович, писатель, историк 7, 40—42, 54, 58, 59, 73, 79, 85, 113, 135, 154, 158, 160, 168, 182, 183, 191, 196, 220, 238, 253, 257, 305, 306
- Каротамм Николай Георгиевич, советский партийный деятель в Эстонии 62

- Каучишвили Нина Михайловна, итал. литературовед 7, 219, 244, 245
- Качурин Марк Григорьевич, проф. ЛПИИ, литературовед, методист 8, 32—35, 310
- Кедров, советский партийный деятель в Эстонии 62
- Кекконен Урхо Калева, президент Финляндии 118
- Келлерман Бернхард, нем. писатель 29
- Керн Анна Петровна 183
- Килык Владимир Петрович, преподаватель ТГУ, литературовед 64, 80, 81
- Киров Сергей Миронович, советский партийный деятель 325
- Киселева Любовь Николаевна, проф. ТГУ, литературовед 7, 9, 67, 153, 154, 193, 213, 214, 218, 219, 331
- Кларк К., американский культуролог 249
- Клаус Георг, нем. философ 126
- Клейс Рихард, доцент ТГУ, филолог 66
- Клемент Федор Дмитриевич, ректор ТГУ, физик 60, 62—66, 70—73, 80, 82, 84, 85, 111, 112, 117, 129, 130, 132, 154, 166, 313, 314, 320
- Коген Герман, нем. философ 248—251
- Кожин Вадим Валерьевич, литературовед, критик, историк 251, 258
- Колмогоров Андрей Николаевич, академик, математик 93, 97, 101, 115, 126
- Конрад Николай Иосифович, академик, востоковед 248
- Константин Павлович, великий князь 185
- Кооп Арнольд, партийный функционер, ректор ТГУ 65, 166, 214
- Копелев Лев Зиновьевич, писатель 350
- Копержинский Константин Александрович, проф. ЛГУ, филолог 37
- Корман Борис Олерович, литературовед 73
- Костанди Олег, литературовед 214
- Краснов Георгий Васильевич, литературовед 72, 106
- Круус Ханс, историк, президент Академии наук Эстонии 62
- Крылов Иван Андреевич, баснописец 56, 79, 107, 108, 320, 337
- Крюковский Николай Игнатьевич, белорусский эстетик 163
- Кузнецов Анатолий Михайлович, музыковед 10
- Кузнецов Петр Саввич, языковед 97
- Кузовкина Татьяна Дмитриевна, секретарь Ю. М., научный сотрудник ТГУ 7, 10, 193, 214, 235, 259, 331, 351
- Куинджи Архип Иванович, художник 13
- Кукулевич Анатолий Михайлович, литературовед 15, 272, 273, 311, 326
- Кулагина Ольга Сергеевна, математик, языковед 97
- Кутузов Алексей Михайлович, писатель, переводчик 41, 54, 55, 78
- Куусберг Пауль, эстонский писатель 226
- Кухарева Валентина Николаевна, выпускница ТГУ, литературовед 15
- Кэбин Иван Густавович, советский партийный деятель в Эстонии 62
- Кохельбекер Вильгельм Карлович, поэт, декабрист 88
- Лакаева Людмила Константиновна, сокурсница 3. Г. Минц по ЛГУ, языковед 52, 310, 313
- Ламанский Владимир Иванович, академик, славяновед 21
- Лапгун Владимир Иванович, литературовед 249
- Ласкер Эмануэль, нем. шахматист 5, 326
- Лаугасте Эдуард, проф. ТГУ, филолог 82—85
- Лафонтен Жан де, франц. писатель 107, 108
- Ляхман Борис, школьный товарищ Ю. М. 17, 18, 273, 274, 324, 325
- Лев Мария Семеновна, секретарь филфака ЛГУ 332
- Левин-Страсс Клод, франц. этнолог 94, 102, 126
- Левин Юрий Давидович, литературовед 136
- Левин Юрий Иосифович, математик 99, 123, 124
- Левинсон Алексей Георгиевич, культуролог 125
- Левченко Я., филолог 7
- Лейбниц Готфрид Вильгельм, нем. философ 236, 252
- Лейбов Роман Григорьевич, преподаватель ТГУ, литературовед 214
- Леков И., болгарский стиховед 102
- Лекомцева (Бурлакова) Маргарита Ивановна, филолог 99, 101
- Ленин Владимир Ильич 105, 124
- Леонов Леонид Максимович, писатель 85
- Леонтьев Константин Николаевич, писатель, публицист 112
- Леонтьева Е. Г., литературовед 177
- Лермонтов Михаил Юрьевич 37, 40, 89, 107, 113, 138, 139, 154, 196, 220, 341
- Лесскис Георгий Александрович, математик, языковед 118, 122—124
- Леша — см. Лотман А. Ю.
- Лезмет Хелле Даниэлевна, выпускница ТГУ, литературовед 154
- Лившиц Кира, сокурсница Ю. М. по ЛГУ 21
- Лисов Александр Геннадиевич, культуролог 249
- Лихачев Дмитрий Сергеевич, академик 34, 111, 135, 149, 154, 215, 243, 248, 346
- Ломоносов Михаил Васильевич 54, 86, 113, 144, 197, 198, 215, 340, 357
- Лорка (Гарсия Лорка) Федерико, испанский поэт 35
- Лосев Алексей Федорович, философ 140, 141, 148
- Лотман Александра Михайловна, внучка Ю. М. 233
- Лотман Александра Самойловна, врач, мать Ю. М. 12, 278, 324
- Лотман Алексей Юрьевич, биолог, сын Ю. М. 86, 317, 318
- Лотман Виктория Михайловна, врач, сестра Ю. М. 12, 13, 261, 348, 351
- Лотман Григорий Юрьевич, художник, сын Ю. М. 86, 162, 211, 369
- Лотман Инна Михайловна, композитор, музыковед, сестра Ю. М. 12, 13
- Лотман Кяз, биолог, жена А. Ю. Лотмана 211
- Лотман Лидия Михайловна, литературовед, сестра Ю. М. 12, 13, 15, 21, 25, 28, 29, 46, 51, 271, 272, 274, 277, 311, 324
- Лотман Мария Михайловна, внучка Ю. М. 233
- Лотман Михаил Львович, юрист, отец Ю. М. 11—13, 28, 29, 222, 278, 312
- Лотман Михаил Юрьевич, проф. ТГУ, филолог, сын Ю. М. 7, 86, 184, 198, 214, 218, 232, 233, 253, 271, 290, 314, 317, 319, 331, 365, 366
- Лотман Ребекка Михайловна, внучка Ю. М. 233, 351
- Лукач Дьердь, венгерский философ 40
- Луначарский Анатолий Васильевич, писатель, советский гос. деятель 248
- Лунин Михаил Сергеевич, офицер, декабрист 332
- Лурья Александр Романович, психолог 97
- Лурье Лев Яковлевич, историк 239
- Любимов Юрий Петрович, режиссер 156
- Любищев Александр Александрович, биолог, культуролог 223
- Люда — см. Лакаева Л.
- Люстерник Софья, сокурсница Ю. М. по ЛГУ 324

- Ляпунов Александр Андреевич, математик 92, 97
 Ляпунов В., американский филолог 249
- Мабли Габриель Бонно де, франц. мыслитель-утопист 54, 55
 Мазинг Э., эстонский филолог 132
 Мазон Андрэ, франц. славист 130
 Майменова Мария Рената (Мария Львовна), польская переводчица, теоретик литературы 101
 Маймин Евгений Александрович, литературовед 33, 45, 114
 Майсте Хильда, эстонский филолог 369, 370
 Макогоненко Георгий Пантелеймонович, проф. ЛГУ, литературовед 33, 34, 78, 311, 339, 342
 Максимов Дмитрий Евгеньевич, проф. ЛГУ, литературовед 37, 51, 111, 112, 310, 326
 Малевич Олег Михайлович, филолог, переводчик 8, 83, 143
 Малиновский Бронислав, англ. этнограф, социолог 102
 Малыц Анна Эдуардовна, преподаватель ТГУ, литературовед 111, 154, 161, 162
 Манделькер А. — см. Mandelker A.
 Мандельштам Осип Эмилевич, поэт 264, 265, 319
 Марков Андрей Андреевич, математик 97
 Маркс Карл 74, 87, 91, 92, 350, 364
 Марр Николай Яковлевич, академик, языковед 46
 Мартенянов Юрий С., филолог 97
 Маслов Виктор Сергеевич, литературовед 33, 276
 Матвеева Анна Николаевна, сокурсница Ю. М. по ЛГУ 21
 Матезиус Вилем, чешский языковед 95
 Матейка Л. 245
 Махлин Виталий Львович, философ 251
 Маяковский Владимир Владимирович 47, 51, 52, 66, 68, 71, 130, 151, 307, 309, 333
 Медведев Павел Николаевич, литературовед 248
 Медведева Ирина Николаевна, литературовед, жена Б. В. Томашевского 51
 Медокс Роман, авантюрист 194
 Мейер Ян М., нидерландский славист 232
 Мейлах Борис Соломонович, литературовед 206, 335
 Мелихова Леонтина Сергеевна, литературовед 258
 Мережковский Дмитрий Сергеевич, писатель 217
 Мерзляков Алексей Федорович, поэт 78, 79
 Микеланджело Буонарроти, итал. скульптор 180
 Минц Зара Григорьевна, проф. ТГУ, литературовед, жена Ю. М. 51, 52, 64, 71, 77, 80, 83, 86, 100, 103, 111, 112, 129, 130, 144, 154, 157, 160—162, 165—167, 175, 197, 211, 217, 219, 221—223, 233, 234, 236, 241, 260, 271, 308, 313—316, 318, 320, 322, 358, 362, 364—368, 372, 374
 Минц Малка Ефимовна («тетя Маня»), тетка З. Г. 162, 313
 Михайловский Николай Константинович, публицист, критик 255
 Мицкевич Адам, польский поэт 178
 Модзалевский Борис Львович, литературовед 168
 Молдавский Дмитрий Миронович, литературовед 47, 307, 308
 Молотов Вячеслав Михайлович, советский гос. деятель 319
 Молошная Татьяна Николаевна, языковед 99
 Мордовченко Николай Иванович, проф. ЛГУ, литературовед 36, 39—42, 44—46, 52, 58, 78, 149, 172, 305, 306, 310, 327, 329, 330
 Морозов Павлик 122
 Моррис Чарльз Уильям, американский философ 94, 126, 136
 Морсон Г. С. — см. Morson G. S.
- Моцарт Вольфганг Амадей 14, 74, 356, 357
 Мочалов Лев Всеволодович, поэт, искусствовед 75
 Мукашевский Ян, чешский искусствовед 148, 353
 Мурникова Татьяна Филаретовна, доцент ТГУ, языковед, методист 111, 155
 Мэри Леннарт, президент Эстонии 75, 224, 226
 Мьяль Леннарт, эстонский буддолог 132
- Нагарджуна, древнеиндийский философ 132
 Надеждин Николай Иванович, журналист, критик 56
 Наполеон Бонапарт 78, 188, 199, 240
 Нарезный Василий Трофимович, писатель 79
 Наташа — см. Образцова Н. Ю.
 Наторп Пауль, нем. философ 248, 249, 253
 Наумов Евгений Иванович, проф. ЛГУ, литературовед 47, 272, 307
 Невердинова Вера Николаевна, литературовед 352
 Невзоров Максим Иванович, поэт, публицист, масон 41
 Неклюдов Сергей Юрьевич, фольклорист, культуролог 123, 194, 195, 250
 Некрасов Николай Алексеевич 156
 Немировский Игорь Владимирович, литературовед, издатель 125
 Нечаев Сергей Геннадиевич, революционер-авантюрист 361
 Нечволодов Станислав, скульптор 373
 Николаев Николай Иванович, литературовед, культуролог 249, 251
 Николаева Софья Александровна, доцент ТГУ, химик, жена Б. Ф. Егорова 70, 236, 314
 Николаева Татьяна Алексеевна, домохозяйка, теща Б. Ф. Егорова 74
 Николаева Татьяна Михайловна, языковед 6, 99
 Николай I 42, 114, 174, 185, 194, 307
 Ньютон Исаак 87
- Образцова Наталья Юрьевна, литературовед, племянница Ю. М. 317, 319
 Огибенин Борис Леонидович, востоковед, культуролог 132, 134
 Ойстрах Давид Федорович, скрипач 290
 Оксман Юлиан Григорьевич, литературовед 9, 10, 39, 40—42, 56, 72, 73, 80, 91, 140, 168, 256, 363
 Окулжава Булат Шалвович, поэт 180, 332
 Олеск Пеестер, директор Научной библиотеки ТГУ 10
 Орлов Александр Сергеевич, академик, филолог 18, 335
 Орлов Владимир Николаевич, литературовед 112, 345
 Орлов Михаил Федорович, генерал, декабрист 178
 Орлова Валентина, сокурсница Ю. М. по ЛГУ 21
 Орлова-Чесменская Анна Алексеевна, камер-фрейлина 234
 Островский Юрий, сокурсник Ю. М. по ЛГУ 22
- Падучева Елена Викторовна, языковед, культуролог 124
 Павлович Надежда Александровна, поэт 130
 Палым Виктор, проф. ТГУ, химик 221
 Панов Сергей Игоревич, литературовед 10
 Паньков Николай Алексеевич, культуролог 249
 Папаин Рафаэль Ашотович, стиховед, аспирант Ю. М. в ТГУ 154
 Папкович Зоя, сокурсница Ю. М. по ЛГУ 21
 Пастернак Борис Леонидович 29, 97, 148, 151, 165, 181, 269, 319, 322, 335

- Пастушенко, офицер 299
 Паустовский Константин Георгиевич, писатель 130
 Перевощиков Николай, фронтовой товарищ Ю. М. 282
 Перкаль Марк Константинович, литературовед 33
 Перлина Нина, литературовед 249
 Песонен Пекка, финский русист 218, 219
 Пестель Павел Иванович, полковник, декабрист 360
 Петр I 86, 146, 173, 174
 Петров Владимир Михайлович, кинорежиссер 338
 Петров Евгений, писатель 235, 321
 Петровская Елена Васильевна, преподаватель ТГУ, литературовед 214
 Пиксанов Николай Кириллович, проф. ЛГУ, литературовед 18, 348
 Пильд Леа Лембитовна, преподаватель ТГУ, литературовед 214
 Пирс Чарльз, американский философ 94
 Писарев Дмитрий Иванович, критик 361
 Платон, греческий философ 232, 253
 Плоткин Лев Абрамович, проф. ЛГУ, литературовед 37
 Плутарх, греческий историк 15, 336
 Плеханова Мария Борисовна, преподаватель ТГУ, литературовед 214
 Пнин Иван Петрович, поэт 56
 Погосян Елена Анатольевна, научный сотрудник ТГУ, литературовед 214, 220, 271, 272, 282
 Покровский Михаил Николаевич, академик, историк 45, 70
 Поливанов Михаил Константинович, математик, культуролог 97
 Полонская Елизавета Григорьевна, поэт 130
 Полухина Валентина, англ. русистка 6, 219
 Поморска Кристина, польский филолог 131
 Пономарева Галина Михайловна, научный сотрудник ТГУ, литературовед 67, 214
 Пономарева Софья Дмитриевна, хозяйка петербургского литературного салона 234
 Пономаренко, офицер 299
 Правдин Анатолий Борисович, доцент ТГУ, языковед 71
 Правдин Борис Васильевич, доцент ТГУ, литературовед 60, 67—70, 215, 314, 370
 Правдина Инна Марковна, доцент ТГУ, литературовед 71
 Предтеченский Анатолий Васильевич, проф. ЛГУ, историк 54, 78, 110, 312
 Пригожин Илья, бельгийский физик, химик 231, 253
 Пропп Владимир Яковлевич, проф. ЛГУ, фольклорист 18, 19, 145, 148, 276, 326, 330, 331, 343—346
 Прохоров Александр Владимирович, математик 101
 Прянишников Николай, искусствовед 125
 Пугачев Владимир Владимирович, историк 72, 89, 106, 114
 Пугачев Емельян Иванович 363
 Пумпянский Лев Васильевич, литературовед 249
 Пушкин Александр Сергеевич 7, 12—14, 39, 40, 42, 43, 51, 55, 58, 72, 73, 79, 88—90, 136, 145, 149, 150, 153, 155, 156, 158—160, 168—192, 196, 213—216, 220, 233, 235, 237—239, 252, 254, 258, 260, 269, 270, 273, 282, 326, 328, 332—335, 340—342, 349, 357, 359, 361, 363, 371
 Пушкин Василий Львович, поэт 79, 269
 Пушкин Лев Сергеевич, брат А. С. Пушкина 177
 Пярли Юле Карловна, преподаватель ТГУ, литературовед 214
 Пярль Андрес, доцент ТГУ, психолог 66
 Пятигорский Александр Моисеевич, востоковед, философ 99, 104, 108, 117, 123, 124, 126, 134, 136, 137, 163
 Рааб Харальд, нем. русист 136
 Рабкина Нелли Наумовна, литературовед 272
 Рабле Франсуа, франц. писатель 252
 Радишев Александр Николаевич, писатель 41, 42, 54—56, 58, 60, 73, 77, 88, 131, 147, 153, 168, 183, 191, 269, 306, 307, 334, 340, 361, 363
 Раевский Александр Николаевич, полковник, друг-соперник А. С. Пушкина 178
 Раевский Николай Николаевич, генерал, отец А. Н. 178
 Райт Рита, переводчица 130
 Раков Лев Львович, доцент ЛГУ, литературовед, писатель 16, 337
 Расин Жан, франц. драматург 79
 Ратгаузер Марк Яковлевич, преподаватель ЛГУ, историк 37
 Ратнер Лия, сокурсница Ю. М. по ЛГУ 21
 Ревзин Исаак Иосифович, филолог 92, 96—99, 101, 102, 108, 126, 158, 216, 321
 Ревзина Ольга Григорьевна, филолог 97
 Резник В. Д. — см. Днепров В. Д.
 Рейд А. — см. Reid A.
 Рейфман Павел Семенович, проф. ТГУ, литературовед, 8, 45, 64, 72, 80, 138, 154, 162, 166, 167
 Ремарк Эрих Мариа, нем. писатель 278, 360
 Репин Илья Ефимович, художник 13
 Реформатский Александр Александрович, языковед 97
 Риббентроп Иоахим, фашистский министр 274, 319
 Римский-Корсаков Николай Андреевич, композитор 14
 Рифтин Александр Павлович, проф. ЛГУ, филолог 18, 276
 Ричардсон Сэмюэл, англ. писатель 184
 Ровинский Дмитрий Александрович, юрист, искусствовед 158
 Рогинский Арсений Борисович, выпускник ТГУ, литературовед, историк, диссидент 362
 Розенцвейг Виктор Юльевич, языковед 97, 98
 Рубинштейн, комиссар 281
 Руднев Петр Александрович, доцент ТГУ, литературовед 110, 111, 154, 184, 214
 Руссо Жан Жак, франц. писатель 58, 136, 155, 363
 Рыков Алексей Иванович, советский гос. деятель 273
 Рылеев Кондратий Федорович, поэт, декабрист 88
 Рычкова Н. Г., математик 101
 Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович, писатель 119
 Салупере Малле Густавовна, выпускница ТГУ, сотрудник Исторического архива Эстонии 221
 Сальери Антонио, итал. композитор 356, 371
 Самойлов давид Самойлович, поэт 269
 Сахаров Андрей Дмитриевич, академик, физик 236
 Севериан Игорь, поэт 69
 Сегал Дмитрий Михайлович, филолог 99, 101, 119, 123, 134, 243, 245
 Сedaкова Ольга Александровна, литературовед, поэт 125
 Селищев Афанасий Матвеевич, языковед 148
 Семенова Е. В., художница, 130
 Сергеев Михаил Алексеевич, литературовед, библиограф, этнограф 130
 Серебряный Сергей Д., востоковед 123, 132
 Серов Валентин Александрович, художник 273

- Сидяков Лев Сергеевич, литературовед 318
 Сидяков Юрий Львович, литературовед 318
 Сима, кузина З. Г. Минц 51
 Симонов Константин Михайлович, поэт 29, 316, 345
 Синавский Андрей Донатович, литературовед, писатель 132, 160
 Скотт Николай Николаевич, литературовед 182
 Скафтымов Александр Павлович, литературовед 39
 Скотт Вальтер, англ. писатель 12, 89
 Сливовская Виктория, польский историк 130
 Сливовский Ренэ, польский русист, переводчик 7, 130
 Смирнов Александр Александрович, проф. ЛГУ, литературовед, переводчик 37
 Смирнов Савватий Васильевич, доцент ТГУ, языковед 75, 76
 Собаньская Каролина Адамовна, хозяйка светского салона 178
 Соколова Мария Александровна, проф. ЛГУ, языковед 18
 Соколянский Иван Афанасьевич, дефектолог 97
 Солженицын Александр Исаевич 315, 317, 362
 Соловьев Владимир Сергеевич, философ, поэт 247
 Сонкина Фаина Семеновна, сокурсница Ю. М. по ЛГУ, литературовед 8, 33, 156, 159, 161, 215, 223, 237, 237, 257, 258, 355
 Соня — см. Николаева С. А.
 Соркина Двойра Львовна, сокурсница Ю. М. по ЛГУ, литературовед 21
 Соссюр Фердинанд де, швейцарский языковед 18, 92, 95, 103, 245, 352
 Сосюра Владимир Николаевич, украинский поэт 43
 Сперанский Михаил Михайлович, государственный деятель 303
 Сталин Иосиф Виссарионович 25, 27, 36, 43, 44, 46, 54, 60—62, 90, 124, 241, 273, 327, 338, 345, 361, 363
 Сталь Анна Луиза Жермена де, франц. писательница 184
 Стамберг Линда, выпускница русского отделения ТГУ 99
 Стенгерс Изабелла, соавтор И. Пригожина 231
 Стерн Лоренс, англ. писатель 184
 Столович Леонид Наумович, проф. ТГУ, философ 72, 75, 123, 140, 163
 Судник Татьяна Михайловна, языковед 99
 Сумароков Александр Петрович, поэт, драматург 19, 340
 Суперфин Габриэль Гаврилович, выпускник ТГУ, архивист, диссидент 132, 319, 362
 Сыркин Александр Яковлевич, востоковед 134
 Тагер Елена Михайловна, писатель 130
 Тамарченко Анна Владимировна, литературовед 64
 Тамарченко Григорий Евсеевич, литературовед 64
 Тамарченко Натан Давидович, литературовед 247
 Тарник Артур, директор Тартуского учительского института 48, 312
 Татьяна Алексеевна — см. Николаева Т. А.
 Тацит, древнеримский историк 15
 Твардовский Александр Грифонович 36, 290, 293
 Терентьев Александр, сокурсник Ю. М. по ЛГУ 22
 Тимофеев Леонид Иванович, литературовед 185
 Тимошенко Семен Константинович, маршал 25, 28, 280
 Титуник И. Р. — см. Titunik I. R.
 Тициан, итал. художник 13
 Толстой Иван Иванович, проф. ЛГУ, филолог 18, 273
 Толстой Лев Николаевич 16, 71, 89, 113, 191, 233, 261, 263, 272, 275, 297, 310, 342, 357, 363, 364
 Томашевич Анатолий, офицер, фронтовой товарищ Ю. М. 29, 304
 Томашевский Борис Викторович, проф. ЛГУ, филолог 18, 37, 38, 51, 88, 126, 148, 149, 168, 326, 328, 331—336, 338, 339, 341
 Томашевский Николай Борисович, оильтратуровед, переводчик 33, 35
 Топоров Владимир Николаевич, академик, филолог, культуролог 8, 94, 98, 99, 101—104, 108, 109, 115, 117, 118, 121, 123, 126, 139, 257
 Топчиев Р. 239
 Тороп Пестер, проф. ТГУ, литературовед, семиотик 154, 217, 219
 Торопыгин Петр Григорьевич, преподаватель ТГУ, литературовед 214
 Третьяковский Василий Кириллович, поэт 339
 Третьяков Сергей Михайлович, писатель 130
 Третьякова Ольга Викторовна, вдова писателя 130
 Тронская Мария Лазаревна, проф. ЛГУ, литературовед 37
 Трубецкой Евгений Николаевич, князь, философ 247
 Трубецкой Николай Сергеевич, князь, языковед 95, 102, 103, 106, 126
 Трусова Елена Григорьевна, культуролог 249
 Турбин Владимир Николаевич, литературовед 240, 247, 256, 258
 Тургенев Иван Сергеевич 37, 113, 196
 Тургенев Николай Иванович, публицист, декабрист 175
 Тынянов Юрий Николаевич, писатель 126, 148, 168, 247, 251, 252, 309, 329, 338, 348, 353
 Тютчев Федор Иванович, поэт 151, 191, 197, 213, 252, 337, 357, 363
 Удальцов Иван Иванович, славист 98
 Улыбышев Александр Дмитриевич, литератор, музыковед 74
 Унбегаун Борис Генрихович, языковед 126
 Успенский Борис Андреевич, языковед, культуролог, семиотик 99, 101, 118, 120, 141, 142, 144, 161, 163, 205, 233, 256—258
 Успенский Владимир Андреевич, математик 97, 98, 118, 119, 123
 Ухтомский Алексей Алексеевич, академик, физиолог 258
 Ушаков Федор Васильевич, студенческий друг А. Н. Радищева 147
 Фадеев Александр Александрович, писатель 304, 345
 Федин Константин Александрович, писатель 85, 130
 Федор Кузьмич, старец 185
 Фельдбах Иоханнес (Иван Александрович), преподаватель ТГУ, литературовед 70, 81
 Феофан Прокопович, церковный деятель, писатель 86
 Флобер Гюстав, франц. писатель 20
 Флоренский Павел Александрович, священник, философ, инженер 135, 148, 215, 230, 245
 Фрейденберг Ольга Михайловна, проф. ЛГУ, филолог, культуролог 148, 239, 254
 Фридендер Георгий Михайлович, академик, литературовед 182

Фукс Нина, сокурсница Ю. М. по ЛГУ 21

Хаджийский Иван, болгарский революционер, философ 361

Халевина Маргарита Ивановна, сокурсница Ю. М. по ЛГУ, литературовед 8, 34

Хаскина Беатрисса Яковлевна, преподаватель ЛГУ, языковед 20

Хемингуэй Эрнест, американский писатель 275, 278

Хичкок Альфред, англо-американский кинорежиссер 288

Хлебников Велимир, поэт 124

Холквист М., американский культуролог 249

Христос Иисус 12, 188, 189, 215

Хрушев Виталий Васильевич, проректор Ленинградского института авиаприборов 210

Хрушев Никита Сергеевич, советский партийный деятель 69, 93

Цветаева Марина Ивановна, поэт 151, 181, 333

Цейтин Г. С., математик 97

Цивьян Татьяна Владимировна, языковед, культуролог 8, 99, 123

Цивьян Юрий, литературовед, киновед 204, 220

Цяловская Татьяна Григорьевна, литературовед 168

Цяловский Мстислав Александрович, литературовед, текстолог 168

Чаадаев Петр Яковлевич, философ 175, 239

Чайковский Петр Ильич 13, 14

Чаплин Чарльз Спенсер 203

Черкасский Вячеслав, литературовед 185

Чернов Игорь Аполлонович, проф. ТГУ, семиотик, культуролог 6, 108, 111, 115, 154, 219, 224

Чернышевский Николай Гаврилович 42, 58, 147, 361, 374

Чехов Антон Павлович 12, 37, 71, 91, 113, 233

Чижевский Александр Леонидович, биолог 258

Чуковский Корней Иванович, поэт, критик, литературовед 85, 109, 130

Чумаков Юрий Николаевич, литературовед 177, 183

Шалиев, офицер 26, 280

Шаныгин Александр Михайлович, доцент ТГУ, литературовед 50, 52, 60, 70, 313

Шаумян Себастьян Константинович, языковед 96

Шафф Адам, польский философ 126

Шахматов Александр Александрович, академик, филолог 350

Швейцер Альберт, нем.-франц. мыслитель, врач 5

Шевченко Тарас Григорьевич 43, 113

Шекспир Вильям 44, 128, 185, 186

Шеннон Клод Элвуд, американский инженер, математик 93, 128

Шиллер Фридрих, нем. поэт, драматург 55, 239, 245, 316

Шишков Александр Семенович, писатель, адмирал 79

Шиншарев Владимир Федорович, академик, филолог 18

Шниторов Виктор, сокурсник Ю. М. по ЛГУ 22

Шостакович Дмитрий Дмитриевич 347

Шпенглер Освальд, нем. философ, историк 29

Шпет Густав Густавович, философ 173, 174

Шредингер Эрвин, австрийский физик 91

Шрейдер Юлий Анатольевич, физик, культуролог 97

Штейнгольд Анна Матвеевна, преподаватель ТГУ, литературовед 214

Шторм Георгий Петрович, писатель 135

Шукман Анн, англ. культуролог, переводчик 6, 220

Шуман Роберт, нем. композитор 14

Щеглов Юрий Константинович, филолог 97, 99, 134, 321

Щеголев Павел Елисеевич, литературовед, историк 180, 181

Щерба Лев Владимирович, академик, языковед 18

Эйдельман Натан Яковлевич, историк 177, 269

Эйзенштейн Сергей Михайлович, кинорежиссер 204, 337

Эйнштейн Альберт, физик 5, 356

Эйхенбаум Борис Михайлович, проф. ЛГУ, литературовед 18, 37, 39, 44, 126, 148, 326, 328, 331, 338—340, 364

Эко Умберто, итал. философ, писатель 7, 220, 242

Элиашберг Фаина, сокурсница Ю. М. по ЛГУ 21

Эмерсон К., американский философ 251

Эндрю Дж., англ. русист 219

Эренбург Илья Григорьевич, писатель 85, 130

Эрнст Виллем, преподаватель ТГУ, языковед 84

Эткинд Ефим Григорьевич, филолог, переводчик 164

Эшби Уильям Росс, англ. кибернетик 103

Юдина Мария Вениаминовна, пианистка 8, 10, 103, 250

Яacobson Роман Осипович, филолог, культуролог 94—98, 102, 103, 106, 107, 119, 124—126, 131, 132, 139, 140, 142

Яковлев Михаил, преподаватель ЛГУ, филолог 348

Ямпольский Исаак Григорьевич, проф. ЛГУ, литературовед 36

Янакьев Мирослав, болгарский литературовед 126

Ярхо Борис Исаакович, литературовед 148

Andrew Joe 6

Bethea David 7, 244

Eco Umberto — см. Эко У.

Kauchtschischwili Nina — см. Каухчишвили Н. М.

Mandelker Amy 244

Marzaduri M. 7

Morson G. S. 250

Polukhina Valentina — см. Полукина В.

Reid Allan 244

Reid Robert 6

Sebeok Thomas 7

Segal D. — см. Сегал Д. М.

Shukman Ann — см. Шукман А.

Slivowski Rene — см. Сливовский Р.

Titunik I. R. 243

Verč Ivan 244

Voloshinov V. N. 245

Zytko Bogusław — см. Жилко Б.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	5
Детство и юность	11
В Ленинградском университете (1939—1940)	17
В армии и на фронте	24
Снова Ленинградский университет (1946—1950)	32
В Тарту. Учительский институт	49
Переход в Тартуский университет	60
Подступы к докторской диссертации	77
Новые пути. Размывание и усложнение классовости	87
Структурализм и семиотика	93
Заведование кафедрой. 1960-е годы	110
1-я «летняя школа» по семиотике	117
Первая структуралистская книга	126
Следующие «летние школы»	131
Научные труды периода «летних школ»	135
Заведование кафедрой. 1970-е годы	153
Труды о Пушкине	168
Другие работы о русской литературе	191
Труды об искусстве	199
Искусственный интеллект и артоника	205
Лотман в 1980-х и начале 1990-х годов	213
Научные труды последних лет	228
Вместо итогов	238

Приложения

1. Б. Ф. Егоров. Бахтин и Лотман	243
2. Т. Д. Кузовкина. Тема смерти в последних статьях Ю. М. Лотмана ...	259
3. Ю. М. Лотман. Воспоминания	271
1. Не-мемуары	271
2. «Просматривая жизнь с ее начала...»	323
3. Двойной портрет	331
Томашевский и Гуковский	331
Азадовский и Пропп: два подхода	343
<Эйхенбаум>	347
4. Интервью Ю. М. Лотмана	349
4. Б. Ф. Егоров. Воспоминания	355
1. Полвека с Ю. М. Лотманом	355
2. Наша молодая кафедра	363
3. На рубеже пятидесятих (отрывок)	368
4. Ю. М. Лотман в быту: характер и поведение	371

Указатель имен	375

Борис Федорович Егоров
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
Ю. М. ЛОТМАНА

Оформление серии Н. Песковой

Редактор *Е. Шкловский*
Корректор *Е. Чеплакова*
Верстка *В. Дзядко*

ООО «НОВое ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

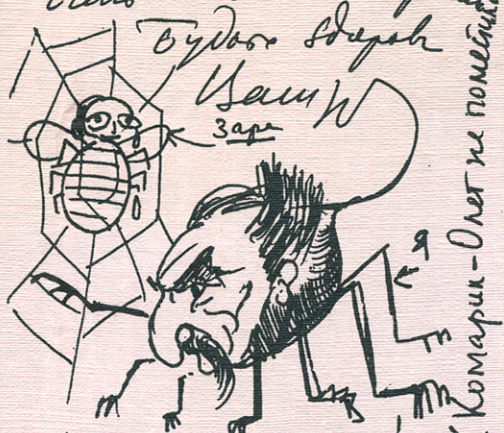
Адрес издательства:
129626, Москва,
абонентный ящик 55
тел. (095) 976-47-88
факс (095) 977-08-28
e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru

ЛР № 061083 от 6.05.1997

Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная № 1.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 24.

Отпечатано с оригинал-макета в Московской типографии «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6. Заказ № 961

Заря и не могу представить
такого замечательного
пожелания как "испо-
испо"! Но и я, со своей
свойской, желаю вам
очень много и хорошего!



Дорогие гости, помогите!
Пауки-злодеи зарубите!
(Зарубите)

НОВОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

ISBN 5-86793-070-X



9 785867 930707